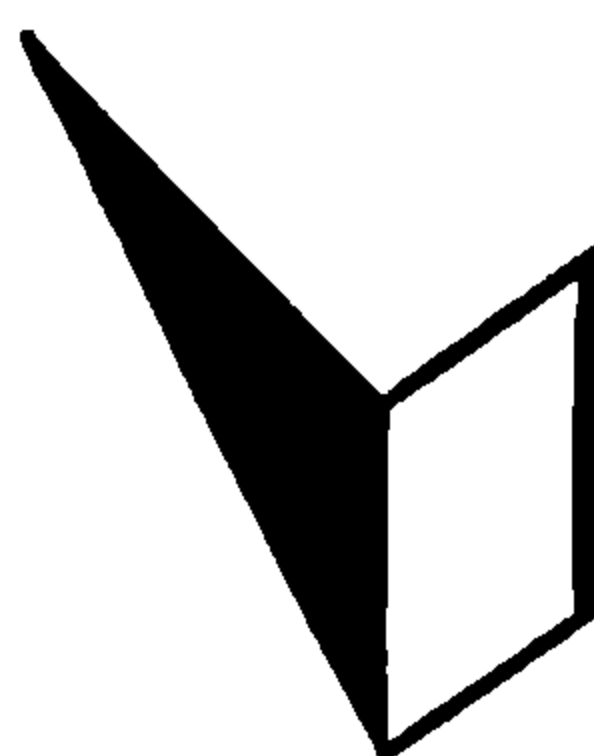


С. С. Скляр Енко



Гав. Латыш Т. Г.
за активное участие
в общественной работе
в период с 1960 г.





**БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ПРОЗЫ**

Семен Скляренок

КАРПАТЫ



РОМАН
В ДВУХ
КНИГАХ

*Авторизованный перевод
с украинского
Бориса Турганова*

КНИГА

1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА — 1960

Послесловие
М. ПАРХОМЕНКО



Светлой памяти народного героя
ОЛЕКСЫ БОРКАНЮКА –
посвящается

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1



Ночь была холодная, сырая. Восточный ветер волнами катил над Веной туман. По Дунаю ходила высокая зыбь, и казалось — бесконечная флотилия остроносых челнов выплывает и выплывает из ночного мрака, разбиваясь о гранитную набережную.

Часов около двенадцати начался дождь. Потоки воды хлынули на город. Закрывались магазины. Запоздалые прохожие спешили домой. Улицы окутывала мгла.

Только в правительственном здании ярко светились окна. У главного входа и у всех подъездов неподвижно стояли часовые. На улице, напротив здания, ожидало уже много машин, но разноголосые сирены продолжали реветь, прибывали новые машины, кто-то выходил из них, кто-то садился и мчался в темноту, в непогоду.

В самом здании было шумно, светло. Тот, кто попал сюда, забывал, что за стенами темно, холодно, идет дождь. Слышался громкий говор, смех, трескотня пишущих машинок. Казалось, люди, собравшиеся в этом здании, чувствуют себя здесь, среди ночи, не только не хуже, а, может быть, лучше, чем днем.

Особенно ярко освещено было одно огромное крыло дворца. В приемных, различных канцеляриях, отделах было шумно. Слышалась венгерская, польская, чешская,

румынская речь. Яростно стрекотали машинистки. Что-то записывали и расшифровывали стенографистки. Прилизанные, парадно одетые представители, доверенные лица, чрезвычайные уполномоченные Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии толклись в залах, о чем-то договаривались, что-то друг другу обещали, торговались, спорили, угрожали, мирились...

Порою то один, то другой, а иногда и несколько человек разом бросались к кабинету в глубине здания, умоляли секретарей доложить высокому начальству о том, что у них имеются все основания для аудиенции.

Но никто этих представителей, доверенных и чрезвычайных уполномоченных не принимал. В кабинете, куда они стремились, было тихо. На стенах кабинета висели портреты австрийских императоров, над дверями сияли золотом слова: «*Viribus unitis*»¹, которые теперь, после распада империи и захвата Австрии Гитлером, звучали как издевательство; вдоль стен были расставлены одетые в чехлы тяжелые кресла. Все здесь было погружено в полумрак, казалось холодным, мертвым. Только на видном месте, над большим тяжелым столом, висел свежий, покрытый блестящим лаком портрет фюрера: бесноватый ефрейтор был изображен в тот момент, когда он принимал фашистский парад и объявлял, что Австрии больше не существует.

В эту ночь, второго ноября 1938 года, в кабинете встретились министр иностранных дел фашистской Германии Риббентроп и министр иностранных дел фашистской Италии — Чиано.

Встреча двух министров напоминала встречу коммивояжеров в ресторане. На одном конце стола, под портретом фюрера, была разложена карта Европы и на ней разбросана дюжина цветных карандашей, на другом конце — там, где сидели министры, — стояли бутылки вина, бокалы, блюда с обильной закуской. Так учил своих министров и министров зависимых от него стран фюрер: плевать на установленный порядок, плевать на обычаи, все топтать своим грязным сапогом.

Карандаши, еще с вечера тщательно очиненные секретаршами, лежали на карте не только для формы.

¹ «*Viribus unitis*» — «Соединенными силами» (девиз императора Франца-Иосифа).

Карту Европы пересекали разноцветные линии, в центре Европы виднелось множество кружков, — они заканчивались стрелками, направленными на восток. Карандаши изрядно уже притупились.

Линии на карте особенно изрезали Чехословакию — новые границы ее проходили недалеко от Праги, рядом с Пильзенем, важная железнодорожная магистраль от Праги до Ясеней в Закарпатье дважды проходила по территории, которая включалась в состав Германии, один раз через Польшу и еще раз через Венгрию. Чехословакия даже на бумаге, на карте, выглядела искромсанной, искалеченной, а ведь эти линии должны были рассечь не только территорию, но и сердца народов.

— У нас остается еще один вопрос, — сказал, смакуя вино, прилизанный, подвижной, загорелый после летнего сезона Чиано.

— Какой? — пробасил Риббентроп.

— Нам нужно договориться о границах Венгрии на востоке и о Карпатах...

— Но ведь мы договорились об этом в Мюнхене, — перебил его Риббентроп. — Венгрия расширяет свои границы на востоке.

— Значит, будет создана общая венгерско-польская граница? — спросил Чиано и исподлобья поглядел на Риббентропа.

— О нет, — быстро ответил Риббентроп. — Венгерско-польская граница на сегодня нас не устраивает. Польшу и Венгрию надо держать на некотором расстоянии друг от друга... А между ними положить кусочек сала. Венгрия уже кое-что для нас сделала, и мы ей дадим долину Тиссы. С Имреди¹ договориться будет легко. Но с Польшей дело сложнее. Пока что пусть она получит кусочек в районе Тешина. А дальнейшее зависит от самой Польши. Полковник Бек еще должен доказать, на что он способен.

— Но ведь мы отдадим Венгрии не все Закарпатье. Так я вас понял? — полюбопытствовал Чиано.

— Конечно нет, — ответил Риббентроп. — Жизненные интересы Германии требуют, чтобы у нее был выход через Карпаты на восток.

¹ Имреди — министр иностранных дел фашистской Венгрии.

— Итак, на Карпаты претендует Германия? — взял карандаш Чиано.

— Нет, Карпаты пока будут кусочком сала для Венгрии или для Польши. Но на этот лакомый кусочек зарятся не только они. Здесь все время сидела американская делегация во главе с Геровским. Вот еще жулик...

— Шевелятся американцы, — протянул Чиано. — Куда ни ткнись, а они уже там...

— Хотят быть первыми, — ответил после минутного раздумья Риббентроп. — Ничего, на этот раз первыми будем мы. Да, да, — продолжал он и раздраженно взмахнул рукой. — Мы будем первыми в походе на восток. И потому... Вернемся, господин Чиано, к вопросу о Карпатах. В сущности, однажды после Мюнхена уже была дана «автономия» Карпатской Руси... Ха-ха-ха, — нагло захохотал министр. — Мы не могли допустить, чтобы существовал плацдарм, где могли бы высаживаться русские десанты. Прага, понятно, утвердила тогда правительство этой Руси. Премьером там был Бродий, затем Волошин... Этот Волошин приезжал к фюреру с делегацией «Украинского национального объединения», они добиваются создания Карпатской Украины.

— Карпатской Украины? — засмеялся Чиано.

— Господин Чиано, — строго сказал Риббентроп, — Карпатская Украина будет нашей базой, оттуда мы получим прямой выход и в Румынию. Кроме того, эта Карпатская Украина явится поводом, чтобы поднять шум на весь мир. Да, впрочем, уже и кричат, — американцы, спасибо им, из кожи лезут... Что же касается нас, то мы будем терпеть Карпатскую Украину ровно столько, сколько потребуется. А потом или сами проглотим этот кусочек сала, или дадим его тому, кто заслужит. Пусть в мире кричат: «Германия защищает интересы малых народов».

— Итак, да здравствуют русины! — поднял бокал Чиано. — Но, может быть, вы все же наметили бы, где пройдет граница между Венгрией и Карпатской Украиной?

— О, это необычайно просто! — ответил Риббентроп.

Он встал и направился к тому концу стола, где лежала карта Европы. Элегантно одетый и все-таки фатоватый, в позе наглеца, который никогда и нигде не теряет, он на мгновение остановился над картой, взял карандаш и провел линию от Хуста над Тиссой до Карпат за

Ужгородом таким резким движением, что острое карандаша хрустнуло и сломалось.

— Вот и все! — хриплым басом проговорил он.

— Смело и недурно, — подойдя сзади и стоя за спиной Риббентропа, захихикал Чиано. — Но, я вижу, русинам остаются только горы?

— А вам хотелось бы дать им и долины? Надо прекратить эту вечную заботу о туземцах. Пускай грызут камни — чем скорее подохнут, тем лучше.

— Вы шутник, господин Риббентроп, — сказал Чиано. — Мне нравится такой стиль. Государство без городов, без земли... Хи-хи-хи!

— Кажется, мы закончили? — спросил Риббентроп.

— Остается одно, — ответил Чиано. — Во главе правительства в этом новом, так сказать, государстве будет стоять...

— Правительство уже существует. К фюреру в Берлин, как я сказал, приезжал с делегацией премьер Волошин. Он наш резидент, работает там уже много лет и вполне акклиматизировался. Мне кажется, это самый подходящий кандидат.

— О да, господин Риббентроп. О Волошине мы беседовали и с Ватиканом. Кандидатуру поддерживаю.

2

В полной темноте, поблескивая стеклами, по линии Ясени — Прага, соединявшей столицу Чехословакии с Карпатами, мчался скорый поезд. На маленьких станциях он не останавливался, на больших стоял минут две и сразу, простуженно прогудев в тумане, погружался во мрак, точно хотел, пока еще ночь, убежать подальше от Карпат и долины реки Тиссы.

На станции Чоп в мягкий вагон в конце поезда сели три пассажира, нагруженные чемоданами, макинтошами, пледами и всевозможными свертками. Услужливый кондуктор чех отвел им отдельное купе.

— Наконец-то! — устало сказал один из пассажиров, войдя в купе. — Просто не верится, что все кончилось.

— Все кончилось, пан Геровский, — ободрил его другой. — Лишь бы нам домой добраться...

— Я думаю, Ральф, что с нашими паспортами теперь уже задержки не будет, — уверенно проговорил тот, кого называли Геровским. — Прага? О, мы можем ехать через Прагу спокойно. А по Германии — и подавно!

Ральф громко захохотал:

— Хо-хо-хо! Мы их научили, как нужно действовать. Но тут же он съежился, заговорил тише и кивнул на окно:

— Однако, пан Геровский, мы все еще стоим на станции; кроме того, я не верю чехам, от них можно ожидать любых сюрпризов. Вы только взгляните на кондуктора нашего вагона! Ведь ему нельзя верить ни на грош! Да и в Германии...

Третий пассажир ни словом не обмолвился: он старательно укладывал громоздкие чемоданы на полку.

Геровский не ответил Ральфу. Вынув из кармана пестрый платок, он долго, забираясь за воротник, вытирал пот, затем аккуратно сложил платок вдвое, вчетверо, уголкем и только после этого спрятал его в карман. Поезд тронулся, и Геровский отвернулся к окну. За окном таяли тусклые, окруженные мерцающими ореолами огни станции. Огни таяли медленно, подмигивая, наконец погасли. Серебряные капли стучали о стекло, будто просились в вагон.

И, как эти капли, в голове пана Геровского промелькнули воспоминания о последних месяцах.

Трое в вагоне носили громкое звание «американской трехчленной делегации». Эта делегация провела в Германии, Чехословакии и на Карпатах больше полугода и за это время натворила немало дел.

Уже давно правительственные круги США и американская пресса проявляли необычайный интерес к маленькому клочку земли, который назывался то областью Венгрии, то чехословацкой провинцией, то Карпатской или Подкарпатской Русью, а то попросту, как говорили сами люди этого края, — Закарпатьем.

Особенно начал беспокоить американцев этот клочок земли в те годы, когда по ту сторону Карпат, на востоке, совершилась Великая Октябрьская революция и ее волны докатились до Центральной Европы. Двадцать первого марта 1919 года была провозглашена советская власть в Венгрии, а в конце мая туда с востока долетели слова Ленина, обращенные к венгерским рабочим:

«Вы ведете единственно законную, справедливую, истинно революционную войну, войну угнетенных против угнетателей, войну трудящихся против эксплуататоров, войну за победу социализма. Во всем мире все, что есть честного в рабочем классе, на вашей стороне»¹.

Антанта — а за ее спиной Америка — была крайне обеспокоена возникновением Венгерской советской республики, этого островка нового мира в самом центре Европы. Правительство США приняло все меры, чтобы революция в Венгрии была задушена. Протянуло оно руки и к Закарпатыю. В Скронтоне было созвано собрание «американской национальной рады русинов» под председательством агента Уолл-стрита, юрисконсульта фирмы «Дженерал моторс» Жатковича. Эта «рада» по указанию президента Вильсона объявила о присоединении Закарпатья к Чехословакии. В Европу выехала делегация во главе с Жатковичем, а вместе с нею множество офицеров и отцов-миссионеров. Они очень спешили — ведь на Карпатах было неспокойно: трудящиеся Закарпатья единодушно выражали желание присоединиться к Советской Украине. Происки американских и англо-французских империалистов привели к тому, что десятого сентября 1919 года, по так называемому Сен-Жерменскому договору, Закарпатье было включено в состав буржуазной Чехословацкой республики, которая создавалась как барьер против революционной волны с востока.

Миссия «американской трехчленной делегации» во главе с Геровским была меньше по объему, но не меньше по значению. Когда накануне второй мировой войны положение в Европе стало не только напряженным, но и угрожающим и когда Гитлер начал открыто развязывать новую войну, правительство Соединенных Штатов Америки снова проявило чрезвычайный интерес к Закарпатыю.

И на этот раз в Соединенных Штатах всё сделали «по образцу 1919 года». Снова по указке государственного департамента созвали «американскую национальную раду русинов», состоявшую из лиц американского происхождения, срочно был подыскан новый проходимец — Александр Геровский, в прошлом — буковинский кулак. В помощь ему придали какого-то Ральфа и еще одного

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 361.

разведчика. Так была создана «американская трехчленная делегация», которая ехала якобы помочь братьям закарпатцам и которая не везла с собой виселицу лишь по той простой причине, что надеялась изготовить виселицу для закарпатцев на месте.

«Американскую трехчленную делегацию» встретили в Европе не так гостеприимно, как делегацию Жатковича в 1919 году. По требованию депутатов чехословацкого парламента — коммунистов и депутата Закарпатья, коммуниста Олексы Борканюка, прокурор Чехословацкой республики, обеспокоенный статьями в «Руде право» и «Карпатской правде», подписывает ордер на арест Геровского со всей его делегацией, если только тот осмелится появиться в Чехословакии. Американцев уже, как видно, тут знали и узнавали издавека.

Но Геровский со своей делегацией в Чехословакию и не поехал. Он остановился в Берлине, где беседовал с влиятельными лицами из гитлеровского окружения. Гитлеровцы и «американская трехчленная делегация» быстро нашли общий язык.

А тем временем и чешская реакция все теснее скрепляла узел своего сотрудничества с гитлеровской Германией. Сперва один из вожаков националистических партий в Закарпатье, уже давно служивший фашистам, предатель и шпион Бродий, как депутат парламента вносит запрос чехословацкому правительству о причинах запрещения на въезд Геровского в Чехословакию: он, мол, наш искренний друг; а затем премьер-министр Годжа не только отменяет ордер прокурора на арест Геровского, он сам радушно встречает его в Праге и устраивает в честь его банкет. Потом уже совсем легко было назначить Геровского представителем для переговоров между пражским правительством и так называемыми закарпатскими автономистами, которые на самом деле были наймитами и верными слугами либо немецких, либо венгерских, либо польских фашистов, а кое-кто одновременно служил и нескольким богам.

Коммунисты Чехословакии и Закарпатья боролись против этих действий буржуазного правительства, писали в своей прессе, что «американская трехчленная делегация» не является делегацией закарпатцев, загнанных нуждой в Америку и Канаду, что это всего лишь авантюристы, агенты, засланные фашистской разведкой.

Между тем чешская реакция на всех парах летела прямо в объятия к немецким фашистам, и реакционеры Закарпатья, которые прежде грызлись будто бы между собой, договорились относительно общих действий.

Одиннадцатого октября 1938 года было сформировано марионеточное «правительство» Карпатской Руси, куда вошли агенты иностранных разведок — Андрей Бродий, Бачинский, Волошин, Пищак, Ревай и Фенцик. Через несколько дней «премьер» этого правительства Бродий был арестован как венгерский шпион, но шайка с помощью различных подлых политических комбинаций, при полной поддержке пана Геровского, довела вопрос о судьбе Закарпатья до «венского арбитража».

Если бы в вагоне было светлее, коллеги главы «американской делегации» заметили бы, как при воспоминании об этом по его лицу пробежала веселая улыбка. Уж кто-кто, а он заранее знал решение венского арбитража. «Карпатская Украина!» Да разве не об этой «Карпатской Украине» писала американская пресса, разве не для того его послали в Европу! Ну, уважаемые джентльмены, Геровский выполнил свою миссию блестяще. Для непокорных закарпатцев приготовлена добротная виселица, а против Советского Союза создан еще один плацдарм.

Геровский оторвался от окна. Он надолго погрузился в воспоминания и думал, что его спутники уже успели заснуть. Да и ему самому пора отдохнуть от трудов.

Но коллеги пана Геровского, как ни странно, не спали. Геровский почувствовал на себе их пристальные взгляды.

— Не спите? — прокашливаясь, спросил Геровский.

Ему не ответили. Стучали колеса, дождевые капли настойчиво бились о стекло, словно умоляли пустить их в вагон, под потолком раскачивалась желтоватая лампочка, в коридоре было тихо.

— Мистер Геровский, — сказал вдруг Ральф, — нам нужно кое о чем договориться...

— А о чем же нам договариваться, — с деланной шутливостью сказал Геровский, — мы ведь, кажется, обо всем договорились.

— Нет, не обо всем, — кинул Ральф. — О самом главном мы не договорились.

— Как это нет? — пытался свести дело на шутку Геровский. — Вы поработали как следует, господа, и получите сполна всю плату в Америке. Я думаю, «Дженерал моторс» выдаст вам даже премию.

— Мистер Геровский, — сказал Ральф, — бросьте шутить. Мы говорим не о той плате и прибавке, какие вправе получить в Америке, а о тех ценностях, которые лежат в ваших чемоданах.

— В чемоданах? — смущенно переспросил Геровский.

— Да, да, мистер Геровский, — заговорили уже оба коллеги. — Ценности, какие вам вручил этот Бродий...

— Гм... — ни слова не смог выговорить Геровский.

— И этот самый — Фенцик...

— Господа!

— И Волошин!

— Мистеры...

— Слушайте, Геровский, — сказал коротко третий член делегации и, поднявшись на ноги, взялся за ручку двери. — Здесь не джунгли, но мы сумеем поговорить с вами и здесь, как говорили когда-то в джунглях. Начинаем разговор. Я буду считать до трех, а вы вынимайте ключи от ваших чемоданов. Раз... два...

Геровский съежился — он хорошо знал своих заокеанских друзей. Взглянул еще раз на Ральфа и, наконец... не выдержал, заморгал глазами, облизал сухие губы и вынул из кармана ключи.

Главный директор фирмы «Латорица» Кнайтл прибыл в Мукачево из Праги утренним скорым поездом и еще из дому по телефону приказал секретарю собрать к двенадцати часам на важное совещание всех управляющих отделами фирмы.

— Чудесно! Чудесно! — повторял он про себя и когда умывался в ванной комнате после дороги, и когда сидел за завтраком в столовой, и когда ехал в своем «бьюике» в контору фирмы.

Что казалось Карлу Кнайтлу «чудесным» — неизвестно. Горы на востоке были затянуты тучами, над Мукачевом моросил противный осенний дождь, на мостовых лежала опавшая листва, река Латорица напилась дождей и мчалась в своих берегах мутная, вспененная.

У здания фирмы, на главной улице, была та же знакомая картина. Грузовики, забрызганные грязью, возы, фаэтоны с поднятыми верхами. Кучка лесорубов стояла на улице и издалека глядела голодными глазами на окна и двери конторы. У парадного входа в дирекцию, под каштаном, стояла старая, седая женщина в лохмотьях. Все та же Гафийка, Марийка или София... И, как всегда, едва остановился «бьюик», женщина быстро выступила вперед, протянула руку и, задыхаясь, сказала:

— Прошу покорно ясного пана... Если б были так ласковы... Суровая зима идет, голодно... Смилуйтесь, пане.

Она готова была еще раз и еще рассказать этому пану, как ее муж Фотий десять лет работал в «Латорице» в лесу, как его насмерть задавило упавшей елью, а ей даже доски на гроб не дали. А кто ж теперь ей поможет?

— Прошу покорно ясного пана,— спешила она, и слезы катились из ее глаз. Хоть корону...¹ за мертвого.

Но Кнайтлу некогда и незачем было ее слушать. Старая история! Сколько таких лесорубов гибнет и калечится в лесах «Латорицы»! Он встречал таких женщин по всему свету, в колониях Азии, Африки. Нигде они не меняются...

Не менялся и Кнайтл.

— Не могу! Ничего не могу сделать! — раздраженно пробормотал он, обходя женщину, и вошел в здание.

Ему низко кланялись швейцар, бухгалтеры, счетоводы, секретари, машинистки — весь многочисленный аппарат дирекции, а он еле отвечал на приветствия короткими кивками головы и медленно шел по лестнице, думая о том, что все более грузным становится его тело и что не мешало бы снова съездить на курорт.

В приемной вдоль стен уже стояло несколько человек, встретивших директора низкими поклонами. Он им ответил кивком головы и скрылся за тяжелой дверью кабинета.

Кнайтл не сразу пригласил к себе всех вызванных на совещание, а продержал их в приемной ровно столько, сколько нужно было, чтобы поглубже сесть в кресло, просмотреть бухгалтерскую сводку, пробежать глазами

¹ К о р о н а — крона, чехословацкая денежная единица.

несколько телеграмм из Нью-Йорка, Лондона, Парижа.

— Чудесно! Чудесно! — еще раз сказал Кнайтл, нажал кнопку звонка и резким движением выключил настольный телефон.

Вот и все его доверенные лица перед ним. Совет министров в государстве, где ежедневно сменяются министры. Он даже улыбнулся. Что министры? Государства сменяются, а они все сидят в этой конторе над рекой Латорицей и всей своей коммерческой машине дали имя этой реки. Все движется, меняется, падает, а Латорица шумит и шумит за окном, и процветает на ее берегах фирма «Латорица».

Кнайтл постучал карандашом по столу, хотя в кабинете была полная тишина; доверенные боялись даже дышать.

— Господа! — сказал он. — Я собрал вас, чтобы посоветоваться с вами по некоторым вопросам и сообщить вам кое-какие новости.

Он помолчал минуту — так полагалось для порядка, для торжественности, чтобы подчеркнуть важность момента, и доверенные лица еще больше, как гусаки, вытянули шеи.

— Мы вступаем, господа, — продолжал Кнайтл, и на щеках у него выступили багровые пятна, — в чрезвычайно ответственный, кульминационный этап развития нашего акционерного общества. Вам известно, господа, что общество «Латорица» было основано как швейцарско-французское акционерное общество, пакетами акций которого располагают также Чехословакия и Венгрия и высокопоставленные особы этих стран. Значительная часть наших акций принадлежит и американским компаниям — это наша надежная опора и гордость, господа.

Он перевел дыхание — сердце, проклятое сердце! А может быть, это последствия прошлой бурной ночи, проведенной в одном из лучших ресторанов Праги?

— За годы своего существования фирма «Латорица» себя целиком и полностью оправдала, — говорил далее Кнайтл. — Вы, господа, свидетели того, как росло и богатели наше общество. Основой наших капиталов были конфискованные имения венгерских помещиков, проданные нам по очень дешевой цене Чехословакией. Мы эти богатства приумножили, и теперь в Закарпатье почти

все леса, четыре пятых земли, реки, заводы, фабрики и вся торговля принадлежат «Латорице». Я с гордостью говорю вам об этом, господа. Мы многого здесь добились. Единственное, что нам еще не принадлежит, — пошутил с улыбкой Кнайтл, — это воздух. Но что такое воздух для голодного верховинца? — закончил он свою шутку. — Мы — воздух Закарпатья, мы его кислород: захотим — дадимдохнуть, не дадим — дохните.

И все в кабинете угодливо засмеялись — это была «удачная» шутка главного директора.

— Господа! — повысил он голос. — Я вас собрал не только для того, чтобы воздать должное прошлому, но чтобы смелее и шире взглянуть в будущее. Это будущее довольно сложно. Только что закончился венский арбитраж, и по его решению часть Закарпатья передается Венгрии, а на другой части будет создана Карпатская Украина.

— Господин директор! — раздался в кабинете голос главного бухгалтера Тама. — Позвольте задать вопрос.

— Прошу, — бросил Кнайтл.

— Я хочу спросить, — как пружина, вскочил со стула Там, — а мы-то сидим сейчас в каком государстве?

Кнайтл метнул сердитый взгляд на Тама, будто в чем-то его заподозрил, но тут же лицо его просияло и сложилось в улыбку.

— Вы правы, — проговорил он. — Я понял вас, господин Там. Вы это должны знать. Мы сидим сейчас... то есть Мукачево сейчас принадлежит Венгрии.

— А Ужгород?

— Ужгород теперь уже Унгвар. Все города Закарпатья, по решению арбитража, передаются Венгрии, а Карпатской Украине дают Хуст и горы над ним.

Эти слова вызвали оживление, в кабинете слышался смехок, у некоторых вырвалось:

— Да ведь это будет настоящая Исландия!

Но Кнайтл не дал присутствующим высказать свои чувства. Им пора было приступать к работе, да и сам он берег свое время.

— Господа, — серьезно проговорил Кнайтл, — нас не должна интересовать политика. Мы — лица, присутствующие при политике. Исландия так Исландия, — а нам какое дело? Нас не касается, какая тут будет власть и на территории какого государства будут стоять

наши стулья. Наше дело — коммерция и интересы фирмы...

Он коротко пояснил:

— Когда-то Чехословакия конфисковала имения у мадьяр, и мы на этом неплохо заработали. Теперь у многих чехов конфискует имения венгерское правительство. Я договорился с венгерскими властями, и эти конфискованные имения также будут в наших руках. И леса, и земли, и виноградники...

Он помотал головой, точно воротничок ему был тесен.

— А что касается Карпатской Украины, то, само собою разумеется, она будет отрезана от всего мира. Чехословакия не сможет, а Венгрия не захочет что-нибудь дать ей. Представляете, какой голод начнется там? А мы... мы, господа, кинем туда все наши запасы кукурузы. Кто сказал, что она прелая? Во-первых, она не совсем прелая, а если и так, то как пища верховинской бедноте — пригодна. У нас имеются также большие запасы солонины. Не улыбайтесь, господа, эту солонину те люди также смогут есть. И, конечно, нам нужно форсировать работу на лесных деланках, на сплаве, на лесопильных и химических заводах. Наше общество, слава богу, заключило уже ряд договоров с германскими и итальянскими фирмами. Для войны, признаюсь вам, нет лучшего дерева, чем бук. Вы знаете, какой бук растет в Карпатах. И мы дадим этот бук! Я прошу вас не церемониться с этими туземцами, они должны сделать из дерева золото. Горы золота для нашей фирмы, господа!

...Долго стояла женщина верховинка у дверей «Латорицы». Слезы текли и текли из ее глаз. Черные, узловатые, похожие на корневища руки поднимались, с уст срывались проклятия.

4

Заседание Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии закончилось поздно ночью. За две недели до того, двадцатого октября 1938 года, пражская полиция, ставшая послушным орудием гитлеровской Германии, заняла помещение Центрального Комитета, разгромила редакцию его газеты. Заняты были и помеще-

ния многих низовых, партийных организаций. Полиция, шпики, детективы, специально прибывшие агенты гестапо хотели захватить руководящую группу коммунистической организации и не дать ей возможности продолжать работу.

Но хотя помещения компартии были заняты, хотя издание коммунистической газеты в Праге было запрещено,— Центральный Комитет работал, действовали низовые организации, выходила и говорила трудящимся суровую правду газета коммунистической партии.

Был осенний вечер, осыпалась листва каштанов, и звонко падали их плоды, усыпая влажные бульвары Праги.

— Чехословакию расчленяют, разрывают на куски гитлеровские захватчики, чтобы уничтожить ее обороноспособность и чтобы получить возможность в любой момент полностью ее сккупировать,— говорил докладчик, член Центрального Комитета.— Перед трудящимися и перед всеми народами Чехословакии во весь рост встала угроза фашистского порабощения.

— Мы знаем, какие трудные времена начинаются для всех нас,— продолжал он,— и знаем, к кому обращаться в тяжелом горе. Недавно товарищ Клемент¹ был у Сталина и рассказал ему о надеждах и чаяниях народов, об их готовности бороться с фашистами. Сталин сказал, что Советский Союз может оказать помощь Чехословакии при одном условии: если сама Чехословакия будет защищаться и обратится за помощью к СССР. Вы знаете, что произошло после этого,— чехословацкая буржуазия, в своих классовых интересах, не приняла руку помощи Советского Союза и предпочла позорную капитуляцию. Но народы порабощенной фашистами Чехословакии знают и должны знать правду обо всем, что произошло. Они обращают сегодня взоры к Советскому Союзу, просят о помощи, об освобождении. И они ни на миг не забудут и не должны забывать слова Сталина о том, что для своего освобождения Чехословакия должна бороться. И мы будем бороться, не щадя сил. Мы принуждены идти в подполье, но оттуда мы также ясно будем видеть солнце, которое светит нам вдали, и сколько

¹ Клемент Готвальд — вождь Коммунистической партии Чехословакии.

бы ни старались черные силы заглушить наш голос, он по-прежнему и еще сильнее будет призывать народ к борьбе и победе.

Юлиус Фучик пошел проводить Борканюка. Они давно дружили и всегда чувствовали взаимное доверие, встречались не раз в своей жизни.

Когда в апреле 1930 года Юлиус Фучик был избран в состав делегации чешских рабочих, которая должна была выехать в Советский Союз, и когда правительство «демократической» Чехословакии отказало в визе делегации, Олекса Борканюк дал немало полезных советов своему другу Юлиусу.

Они провели тогда много часов вместе, беседовали, мечтали. «Счастливого пути, Юлиус,— попрощался Борканюк,— поезжай туда, где уже побывал я, и расскажи об этом лучше, чем я сумел рассказать».— «Я обещаю это сделать»,— дал слово Юлиус Фучик.

Он сдержал свое слово. Возвратясь из Советского Союза, Фучик написал книгу очерков «В стране, где наше завтра стало вчерашним днем», а наряду с этим посетил много городов Чехословакии, рассказывая о Советском Союзе.

Побывал он тогда и в Закарпатье. Читал доклады в Ужгороде и Мукачеве, был гостем Борканюка, хотя и хозяин и гость чувствовали себя не очень спокойно: за ними обоими неотступно следила полиция «демократической» Чехословакии.

Так сошлись пути этих людей, так скрестились нити их жизни и борьбы, и кто вспоминает сегодня Юлиуса, пускай вспомнит также и Олексу, и кто рассказывает про Борканюка, должен сказать слово и про Фучика, ибо они были сердечными друзьями и никогда друг друга не забывали. Они были сыновьями разных народов — чех и украинец,— но входили в ту единственную партию — партию коммунистов,— которая вела и ведет трудящихся к светлому будущему, а этого достаточно для того, чтобы стать кровными братьями.

В октябрьский вечер 1938 года, встретившись после заседания Центрального Комитета, они пошли вместе. Обходили стороной центральные улицы Праги, где можно было встретить много недобрых знакомых, не спеша, точно усталые после смены рабочие, шли окраинами Праги, мимо особняков, утопавших в осенних садах,

мимо магазинов, возле которых уже становились ночные сторожа.

Над городом пламенело зарево тысячи огней, откуда-то издали доносились звуки музыки, слышались голоса на улице и чей-то шепот за оградами в садах.

Фучик и Борканюк остановились над тихой рекой, сели на скамейку под деревьями в таком месте, где бы они были мало заметны и откуда они сами видели изда- лека всякого, кто попытался бы подойти к ним.

— Вот мы снова встретились... В горячую пору,— сказал Борканюк.

— Но это, Олекса, не уменьшает радости нашей встречи,— вырвалось из глубины сердца Фучика.

— Конечно,— согласился Борканюк.— Я рад, что перед вихрем событий, надвигающихся на нас, мы можем еще раз посидеть вместе и поговорить.

— Да, да, Олекса. Вихрь бушует. Ты болеешь серд- цем за родных тебе людей, которые отделены от родного народа высокими Карпатами. Я болею за свой народ, который веками не может найти своего места на дороге истории. Страшные годы начинаются для людей Закар- патья, ефрейтор угрожает смертью и чешскому народу.

— Кто нам поможет? — вырвалось у Борканюка.— Англия, Франция, Америка? О нет! Господа из Лондона и Вашингтона уже сговорились с Гитлером, они отдали ему Австрию, Судеты, отдадут Чехословакию, Закар- патье, Европу, все отдадут, лишь бы только Гитлер дви- нулся на восток, против Советского Союза.

— Мюнхен! — пылко произнес Фучик.— Мир еще много раз будет вспоминать его. То, что мы знаем сей- час о заговоре в Мюнхене, это лишь малая частица того, что там было в действительности. Заговорщики делают вид, будто они не преступление совершили, а спасают человечество. Вот теперь заговорщики снова собрались в Вене на арбитраж. Спасают мир! Какое спасение? Во имя чего? Пройдут десятки лет, и тогда мир узнает, что на самом деле произошло в Мюнхене и Вене. Но уже и сегодня можно сказать, что в Мюнхене Гитлер, Да- ладье, Чемберлен, Муссолини, а в Вене Риббентроп и Чиано сговорились бороться с силами прогресса и демо- кратии, бороться с демократизмом. Договорились обо всем! Договорились о том, что и дальше будет идти дипломатическая трескотня, договорились о том, что если

одного из партнеров в этой кровавой операции, выражаясь их языком, подколют, то другой станет на его место. В Мюнхене перед всем миром поднято знамя фашизма.

— Но ведь и другое знамя реет над миром, Юлиус,— сказал Борканюк.

— Да,— согласился Фучик.— Именно это я и хотел сказать. Мюнхен— это измена и предательство. Но тщетно они думают, будто в Мюнхене, Риме, Лондоне или Вашингтоне можно сегодня решить судьбу человечества. В этих городах сейчас, к сожалению, решают только вопросы убийства, крови и разрушения... Олекса! — на миг остановился Фучик,— ты помнишь утро в Карпатах, много лет назад, когда мы с тобою стояли на перевале...

— Помню,— сказал Борканюк.

И, глядя на Прагу, засыпавшую над тихой рекою, глядя в даль, скрытую покровом ночи, они вспоминали утро, когда стояли на перевале...

Как волны гигантского, взметенного грозным штормом и внезапно застывшего моря, перед ними лежали тогда Карпаты. С вершины горы, со склонов Говерлы¹, они видели Семиградье, угадывали на горизонте Татры. А на востоке перед ними стояла Черногора, высился Хомяк, тянулись, гряда за грядой, цепи гор и перевалов.

Оба они были необычайно взволнованы в этот миг величественной картиной, развернутой перед ними. Где-то в глубокой дали, где небо сливалось с горами, им угадывалась земля, которую называли они родною.

И в этот поздний час ночи они мысленно снова перенеслись через растерзанную Чехословакию, через высокие Карпаты, через степи за Днепром, леса и равнины, увидели шумную, залитую огнями Красную площадь, словно стражей, окруженный елями Мавзолей из красноватого гранита, высокие старинные башни, звезды в синем небе, свет из окон Кремля...

— Чехословакия будет спасена,— проговорил Фучик.— Мы не сложим оружия, и в этой борьбе у нас будет поддержка.

— Я уверен, Юлиус, что в недалеком будущем найдут свое счастье и трудящиеся Закарпатья

¹ Говерла — одна из вершин в Карпатах.

Фучик повернулся лицом к Борканюку. Олекса увидел близко, очень близко глаза своего друга. Веселые, живые глаза, они радостно сияли в полутьме.

— Олекса! — проговорил Фучик. — Обещай мне! Я знаю тебя, твой характер. Но если будет трудно, ты должен помнить, что у тебя в Праге есть искренние друзья.

— Я тебя о том же хотел просить, — ответил ему Борканюк. — И ты, и все наши друзья в Праге должны помнить, что на Карпатах вам всегда помогут ваши близкие друзья.

Фучик взял обе руки Борканюка и крепко, изо всей силы пожал их. Сколько пройдет времени, пока они снова встретятся? Да и когда это будет?

Ни Борканюк, ни Фучик и в мыслях не допускали, что в жизненной буре, в вихре борьбы они, может быть, никогда уже не увидятся, не смогут переброситься словом, поделиться наболевшими мыслями, поддержать друг друга в борьбе и что это, быть может, их последняя встреча. Они были молоды, сильны, крепки, не думали об этом.

Над ними чуть колыхались ветви деревьев. На аспидно-серой земле лежали густые тени. Было поздно, но Прага еще шумела, жила. Светились огни в окнах домов. Много огней мерцало вдали. В вышине, тревожное, рдело небо. Мокрый асфальт напоминал быстрый горный поток, в котором там и сям рассыпаны были багряные, желтые и синие брызги. Мчались машины, двигались люди. Где-то в подвале, в кафе, назойливо, как жаба, квакал саксофон и сквозь раскрытые окна доносилось шарканье ног танцующих.

— До свидания, Олекса, — проговорил Фучик.

— До свидания, Юлиус, — ответил Борканюк.

Г л а в а в т о р а я

1

Гарри Клумп ужинал в грязном ресторане, каких сотни разбросаны в Нью-Йорке в припортовых улочках. Шумела публика, от кухни к столам метались официанты, на помосте в углу зала завывал джаз.

Заказав ужин, Гарри Клумп равнодушным взглядом обвел зал и вдруг заметил за соседним столиком человека, который пристально смотрел на него. Человек этот — немолодой уже, седоватый, чисто выбритый и костлявый, был одет в будничный серый костюм и ничем среди прочих посетителей ресторана не выделялся. Но именно это и обеспокоило Гарри Клумпа.

«Шпик! Следит за мною», — подумал он.

Он попытался успокоить себя мыслью, что неизвестный, наверно, ошибся и принял его за своего знакомого. Каких только случайностей и неожиданностей не бывает в Америке!

А человек за соседним столиком посидел еще немного, заканчивая свой ужин, потом встал, подошел к столику Клумпа и, не спросив даже разрешения, сел.

— Приятного аппетита, мистер Клумп! — сказал он. — Вы опять омлет с беконом?

— А кто вам сказал, что я ем только это блюдо? — возразил Клумп и хотел уже спросить, с кем имеет честь беседовать, но человек не дал ему сказать ни слова и сам начал:

— Вы продолжайте, мистер Клумп, свой ужин, а я вас тем временем кое о чем расспрошу.

— Умгу... — запершило у того в горле.

— Мы слышали, мистер Клумп, — продолжал незнакомец, — что вы решили покинуть Америку?

— Ничего я не решил, — ответил раздраженно Клумп и даже выронил вилку. — Откуда вы взяли?

— Как не решили? — покачал головой незнакомец. — В такое время, когда решается судьба Карпат...

— Судьба Карпат? — попытался улыбнуться Клумп. — А что мне до них? Я забочусь больше о собственной судьбе...

— Конечно, я понимаю, вы живете в Америке не только для того, чтобы смотреть на статую Свободы, но заботитесь прежде всего о собственной судьбе, — сказал незнакомец. — Мне кажется, Америка вас не обманула.

— О нет, благодарю...

— Но и вы не должны обманывать Америку.

— Вот этого я не понимаю, — развел руками Клумп.

— А что ж тут непонятного? — сказал незнакомец. —

Да вы непременно поедете на Карпаты.

— Что вы привязались ко мне со своими Карпата-

ми? — совсем уже сердито кинул Клумп. — Карпаты и Карпаты. Черт с ними!

— А что же вы дальше будете тут делать? — вкрадчиво спросил незнакомец.

— Как это — что? — огрызнулся Клумп. — То, что и делал. Зарабатывать буду.

— Но как, где, на чем? — казалось, вел допрос незнакомец.

— Я? Нет, вы, видно, принимаете меня за кого-то другого, если думаете, что я не умею заработать...

— Нет, я вас принимаю только за того, кто вы есть, — сказал незнакомец, — потому что знаю вас восемь лет.

— Восемь лет? — вытаращил глаза Клумп.

— А что ж тут удивительного? — тем же спокойным, холодным тоном ответил незнакомец. — Я доподлинно знаю, что вы живете в Америке восемь лет, знаю, откуда приехали, зачем приехали и что тут делали. Кроме того, я знаю, что вы никакой не Гарри Клумп, а Гаврило Клумак.

При этих словах Гаврило Клумак, который минуту назад был Гарри Клумпом, выпрямился, волчьим взглядом окинул зал и сказал:

— Тише, тише, ради бога! Надо ж тихонько. Хорошо, я назывался когда-то Гаврилом Клумаком. Но какое вам до этого дело?

— Вы ошибаетесь, — проговорил незнакомец, — я имею большое отношение к вашему делу, потому что связан с вами, как иголка с ниткой. Да и сами вы в этом убедитесь. Давайте разберемся в деле с самого начала.

2

Гаврило Клумак был родом из Закарпатья, из верховинского села Клены, которое раскинулось в горной долине, недалеко от Говерлы, над быстрой речкой, стремительно катящейся в Тиссу.

Испокон веку в этом краю над рекой Тиссой и на склонах Карпат жили украинцы, или, как их тут называли, русины. Но были они отгорожены от родных людей высокими Карпатами. Богатства гор и долин захватили у них и передавали из рук в руки то австрийские бароны,

то венгерские князья, то чешские аграрии. Они же и перепродавали эти богатства французским, швейцарским, американским магнатам. Был нищ и убог на родной земле русин, но свято берегал верность своему народу, обычай и язык своих предков, всегда с надеждой обращал свои взоры к братьям на востоке.

Каждую осень в этом селе, чтобы не умереть голодной смертью самим и чтобы спасти свои семьи, собирались бедняки, брали тайстры и бесаги¹ и уходили кто куда — в Венгрию и Германию, в Чехию и Францию и дальше, за океан — в Северную Америку, Бразилию, Аргентину.

Гаврило Клумак тоже поехал в Америку, но не для того, чтобы спастись от голода. Клумаки на нужду пожаловаться не могли.

Род их был древний, и не зря Клумаки считались дворянами — при австрийцах, мадьярах, чехах. Тимко — отец Гаврила — держал корчму в Кленах, чабаны его пасли скот на полонинах², брал он у государства лес на сруб, сплавлял его в Рахов и дальше, до самого Сигота, а все это давало ему добрый «хосен»³. Ох, и попил бедняцкой крови Тимко Клумак!

Был он человек необычайного здоровья, денег на водку не тратил, не курил, строго выполнял, как греко-католик, свои обязанности перед церковью, поддерживал самую тесную связь со священником, о. Герасимом Драгой, а после его смерти — с новым духовником, о. Федором Стрыпским. Уважало его и начальство, он сам, как вирилист⁴, входил в правительство. Жил бы Тимко Клумак еще много и много лет, но однажды утром его нашли с перерезанным горлом на дороге с Печенежской полонины...

Жандармы арестовали тогда в селе нескольких «неблагонадежных», взяли и пастухов с Печенежской полонины во главе со старшим чабаном Сегинем, потому что в его колыбе⁵ найден был нож, на котором запеклась кровь. Но чабаны показали, что в ту ночь, когда был

¹ Тайстры, бесаги — мешки, сумы.

² Полонины — горные луга.

³ Хосен — барыш, прибыль.

⁴ Вирилисты — крупные налогоплательщики, входившие в состав буржуазного чехословацкого парламента без выборов.

⁵ Колыба — чабанский курень.

убит Клумак, чабан Сегинь собственноручно зарезал на полонине овцу, сломавшую ногу. «Неблагодетельных» и чабанов повели в Рахов, три месяца держали в тюрьме, допрашивали и передопрашивали и, наконец, выпустили. После Тимофея Клумака остались два сына — Дмитро и Гаврило. Братья тут же продали корчму, поделили имущество, скот, землю и два дома. При домах было по четыре-пять угров¹ земли, в усадьбах — колодцы, сарай, погреба. Усадьбы от улицы были отгорожены высокими каменными стенами. День и ночь за стенами метались на цепях злющие псы.

Братья поставили между усадьбами еще одну стену, такую, что ее не смог бы перескочить человек. Зачем было отмежевываться братьям? А вот отмежевались, огородились, каждый из них сидел за стеной, сам по себе.

Дмитро Клумак был старший. Русый, плотный, широкий в плечах, неповоротливый, говорил тонким, почти женским голосом и диковинно смеялся, — казалось, будто в горле у него булькает вода. Голова у Дмитра была коммерческая, совершал он операции на десятки тысяч корон или пенго и, умея писать только «Дм. Клумак», вместо каких-нибудь там канцелярий нарезал всю свою бухгалтерию по лесу и скоту на дощечках. На чердаке в Дмитровом доме был целый склад дощечек. Один год дощечки для него, длиною в метр и в два сантиметра шириной, заготавливали на лесопилке из дуба, потом из ясеня, потом из другого какого-нибудь дерева. На этих дощечках Дмитро делал зарубки. Роясь в памяти, Дмитро припоминал: «Это было в сосновый год... это было в год граба». Потом лез на чердак, доставал связку и пальцами перебирал свой «счет».

У Дмитра Клумака была жена Варвара. Темна и непонятна была история этой женщины. Привез ее Дмитро в Клены еще в 1918 году, когда самому ему было лет двадцать пять, не венчался с ней, свадьбы не справлял, кто она и откуда — даже отцу не сказал. «Полюбилась, — говорил, — вот и все!»

Потом заговорили в селе, что жена Дмитра — княгиня. Пошло это от работницы их, Килыны. Что-то не так сказала Килына хозяйке, а та как взъярится: «С кем

¹ Угр — 0,57 га.

говоришь?.. Я — княгиня... Как муху тебя раздавлю». А что за княгиня, что там творилось за стенами у Дмитра Клумака, — кто знает?

Младший Клумак — Гаврило — был холост, и прислуживал ему только один немой Осип. Уродливый, с отрезанными ушами, батрак ходил за Гаврилом, как тень, и глазами угадывал его желания. Но Гаврило редко бывал дома. Был он неугомонный, быстрый, изворотливый.

После внезапной смерти отца Дмитро пытался привлечь Гаврила на свою сторону, сделать компаньоном.

— Гаврило, — уговаривал он, — что это мы болтаемся во все стороны, точно колокола? Я басом бью, а ты сразу в несколько малых тенькаешь. И каждый из нас из-за этого малую силу имеет, каждый сам по себе. А вот если бы мы ударили во все колокола разом, да если бы управление было в руках хорошего звонаря, тогда вышел бы такой концерт, что только держись. Отче наш — берегись нас!

— Что же ты предлагаешь, брат Дмитро?

— Тартак¹ поставим над рекой... пилу... Зачем мне лес сырым в Сигот сплавливать? На доски, паркет все переработаю. Вдвое больше барыша...

Гаврило понял, к чему клонит Дмитро и кого он метит в управители! Нет, не таков был Гаврило, чтобы подчиниться...

— Невелик у тебя разгон, брат. Я хотел бы не какой-нибудь там тартак, а все Карпаты вот так в руку зажать — и леса, и реки, и людей, все... — И Гаврило действительно так стиснул пальцы, что они даже затрещали.

— Что же ты думаешь для этого делать? — спросил Дмитро.

Гаврило молчал долго, долго, а потом сказал:

— В Америку, видно, поеду.

— Ты... В Америку?

— А почему нет?

— Да ведь туда только нищие едут. Что у тебя, на прожитие не хватает?

— На прожитие у меня есть, — ответил Гаврило, — а в Америку я все-таки поеду.

¹ Т а р т а к — лесопилка.

В Америку Гаврило ехал на пароходе «Колумбус». Пароход принадлежал северогерманской фирме «Ллойд-Бремен», которая перевозила людскую рабочую силу из Европы в Новый Свет и привозила эту же истощенную Америкой людскую массу назад, в Европу. Кроме «Колумбуса», у компании было еще несколько больших пароходов, совершавших рейсы в Аргентину и Бразилию.

На «Колумбусе» были, как водится, комфортабельные каюты первого класса с салонами и ресторанами на верхней палубе, довольно прилично обставленные отдельные и общие каюты второго класса. Еще ниже пассажирских классов и палуб, на которых перевозили багаж, начинались трюмы. Инженеры компании, должно быть, долго ломали себе голову, но добились того, что в трюмах «Колумбуса» использовался каждый сантиметр всех трех измерений — длины, высоты, ширины.

Трюмы, как плотно составленные металлические консервные банки, тянулись на корме парохода. Были они настолько низки, что человек высокого роста не мог бы там выпрямиться. Пассажиры спали прямо на полу, но компания хотела получать больше прибыли, и в трюмах были еще «плацкартные» места — нары над полом. Как в могиле, лежали люди под нарами; тем, кто корчился на дощатых нарах, доставалось не меньше: нечем было дышать, свет едва пробивался сквозь узкие иллюминаторы.

Гаврило Клумак никогда не гнался за особыми удобствами и, кроме того, не любил бросать деньги на ветер. Поэтому он взял себе место в общей каюте. Ехало в ней четверо пассажиров, постель ему досталась возле иллюминатора, в который порою видно было солнце, порою — тучи, и все время — высокие волны. Его не соблазняла музыка, доносившаяся из ресторана, не беспокоила и мысль о трюмах с рабочей силой. Каждому, как говорится, свое место на земле, а Гаврило Клумак был вполне удовлетворен своим местом между люксами и трюмами.

Он быстро перезнакомился со своими соседями по каюте, отрекомендовался: сам он из Закарпатья, человек со средствами, в Америку едет кое-что приобрести и поучиться...

Соседи — один поляк, а другой болгарин — поддакивали Клумаку, сами рассказывали про свои плохие дела и глядели с надеждой на океан, за которым — Америка.

Третий спутник — американец, который, к удивлению, знал и украинский язык (мол, когда-то его изучал), — подсаживался к Гаврилу, когда другие два пассажира выходили на палубу, и заводил с ним долгий разговор.

Так он вел себя не только с Клумаком, но и с другими пассажирами. Его всегда можно было увидеть то на палубах, то в каютах, то в ресторане. Всегда он очень внимательно слушал рассказы, или просто выводывал у пассажиров сведения об их краях, или же рассказывал об Америке. Ему было о чем рассказать — он знал Америку и ее порядки в совершенстве, неизменно утверждал, что это, мол, «единственная в мире, самая богатая, самая культурная, самая передовая страна».

— Вы хорошо сделали, мистер Клумп, — сразу перевернул он на американский лад фамилию кленовского богача, — что решили ехать в Америку.

— А что мне — сел тут, встал там, — басил Клумак. — Людей посмотрю, сам покажусь...

— Но что вы там сможете делать? — задумался его спутник.

— Я? Лишь бы деньги платили — все могу делать...

— Ишь какой вы, — усмехнулся пассажир. — Там таких любят. Какой вы партии, кстати?

— Моя партия такая, какая власть. При австрийцах мы были за цесаря, при мадьярах — поддерживали короля, а при чехах пошли в аграрии. Да вся партия моя — вот. — Он показал сжатый кулак.

— Ей-ей, вы мне нравитесь, — засмеялся американец. — Советую вам по приезде в Нью-Йорк обратиться в компанию «Мелест». Я вам адрес дам.

— А что это за компания?

— Компания по набору рабочей силы, прибывающей из-за океана.

— Что же это вы? — прищурил глаз Клумак. — Думаете, что я рабочая сила и пойду наниматься? Ого! Только этого не хватало!

— Вы меня не поняли, мистер Клумп. — Я отнюдь не считаю вас рабочей силой, а, наоборот, думал, что компания может использовать вас на ответственной работе по набору рабочей силы.

— Это другое дело,— согласился Клумак.— С рабочей силой я знаком и знаю, как с ней обращаться. Дайте, будьте ласковы, адресок.

Они попрощались, как друзья, хотя каждый из них, наверно, сразу же потерял из виду другого. Но разговор на пароходе Клумак не забыл — он сошел с парохода, тут же попал в руки какого-то коммивояжера и вскоре сидел в вестибюле отеля и, прислушиваясь к шуму Нью-Йорка, расспрашивал, как попасть на ту улицу, где помещается компания «Мелест».

Директор компании «Мелест» Ральф Берк и глазом не моргнул, когда Клумак рассказал ему о встрече с каким-то американцем на борту «Колумбуса». Он сам долго и обстоятельно беседовал с Гаврилом, поинтересовался даже, к какому религиозному течению он принадлежит — римско-католик, греко-католик или кальвинист. И на работу Клумака принял с предупреждением, что должен к нему приглядеться, проверить.

Компания «Мелест» занималась набором рабочей силы, которую привозили из Европы ее вербовщики. Кроме того, у компании были агенты, они вылавливали пассажиров, ехавших вслепую, с мыслью: «Где-нибудь устроимся, Америка велика». Таких людей компания делала каторжниками, едва они сходили с парохода на землю, и это была страшная, жестокая каторга. Так действовала не одна только компания «Мелест», а десятки и сотни других компаний: иные из них имели дело с европейцами, иные специализировались на китайцах, другие — на африканцах, на индусах.

Посредник компании «Мелест» Гаврило Клумак специализировался на украинцах. Да и что ему было специализироваться? На языке этих людей он говорил с малых лет, узнавал их с первого взгляда, умел подойти, — кому же, если не земляку, было верить им в этом Новом Свете?

Клумак завел книжечку, в ней было обозначено, когда и в какой день прибывают пароходы на всех линиях, соединяющих морским путем Нью-Йорк с портами Европы. Пароходы компании «Ллойд-Бремен» — «Колумбус», «Орион», «Марс» — он быстро научился различать, едва они появлялись на горизонте. Он знал также пароходы

компаний «Роял Мейк Ляйн»: «Альдес», «Альманзора», «Арланцу», «Дарро», «Аккантаро», «Астуриас» — и всех прочих компаний Европы.

Узнав, когда прибывает пароход, Клумак отправлялся в порт, стоял ждал, пока тот пришвартуется, следил, как медленно и важно по трапам с верхних палуб плывут, точно с неба, пассажиры первых классов, и очень беспокоился, если долго не опускали нижние трапы.

И вот наконец трапы опускали. Как хищник, глядел Клумак на потоки, изливавшиеся из трюмов парохода, и безошибочно находил то, что его интересовало.

Люди, которых он искал, недавно еще носили чабанские войлочные шляпы или же зеленые крисани¹ плотогонов и лесорубов, вытертые киптари², широкие чересы...³

Сейчас все они были одеты в одинаковые, серые, похожие на саваны костюмы из самого дешевого материала, шитые на один фасон...

Так должен был одеваться человек, если решил ехать в Америку на заработки. Костюм, пусть похожий на саван, но костюм! И закарпатцы на последние деньги шили эти костюмы.

Но не на костюмы смотрел Гаврило Клумак. Он узнавал земляков — «краяи» — с первого взгляда, как хищник свою жертву...

В одну минуту он оказывался возле них, и с уст его срывалось:

— Землячки! Краяне! Очутились вы, я вижу, на краю света и не знаете, где голову приклонить. И правда, тут страшновато, эти американцы еще загонят вас на остров Эллис. Но я тут, ваш земляк и свой человек в Америке, везде поручусь за вас. Идем, идем за мной, любезные землячки.

Правда, он так обращался не ко всем землякам. Он любил иметь дело с крестьянами, приезжавшими из Львовского и других воеводств Польши, но очень осторожен был именно с закарпатцами. Если измученный долгой дорогой путник был родом из Ужгородской или Мукачевской жупы⁴, это был кровный земляк Клумака.

¹ К р и с а н я — широкополая шляпа.

² К и п т а р ь — короткий кожушок-безрукавка.

³ Ч е р е с — кожаный пояс.

⁴ Ж у п а — округ.

А если приезжий называл Марамарошскую жупу, Гаврило пристально к такому приглядывался и расспрашивал — из какого он села, где живет его родня. Еще, не дай бог, нарвешься на кого-нибудь из односельцев.

«Нет ничего хуже, — думал Клумак, — как встретить земляка на чужбине».

Но от некоторых марамарошцев и даже кленовчан он не отворачивался. Так было, например, с Матвеем Онищук, кленовчанином, соседом. Сразу узнал его Гаврило, вспомнил, как перед выборами агитировал Матвей за коммунистов.

— Кого я вижу! — воскликнул Клумак. — И вы, Матвей, сюда, на этот свет?

— Довелось, — ответил Онищук. — Там просто смерть. Хочу здесь работы поискать.

Чего только не наобещал ему Клумак. И работу, и поддержку, и деньги...

А там на минутку вильнул в сторону, перемигнулся с агентом тайной полиции — и, кроме порта, а потом тюрьмы, Онищук ничего больше и не увидел в Америке. Да и вышел ли он из тюрьмы? Одни говорили, что попал Онищук куда-то на шахты, другие — что помер в тюрьме. Кто знает? Клумак этим не интересовался, его дело было — донести.

Так он охотился в порту. Размах его деятельности ширился и ширился. Не только закарпатцев — Клумак вербовал поляков, болгар, румын, венгерцев. Ой, землячки, краине!

А то, что землячки после проклинали его так, что если бы действовали их проклятия, то его и сожгло бы, и разорвало, и лицо ему перекривило бы, — об этом Гаврило не думал. Его проклинали те, кто работал в горячих цехах на металлургических заводах Пенсильвании, и те, кто глубоко под землей обушками рубал уголь на шахтах Иллинойса и Кентукки. Кляли мерзавца-землячка и на верфях Орегона, и на нефтяных вышках всевозможных компаний, — да всюду, куда ни попадали эти люди, они, голодные, холодные, убогие, не раз еще поминали земляка Гаврила. А он в это время вел новых землячков в контору «Мелест» и здесь, вместе с директором, прикидывал, на какую каторгу их послать. Компания была связана с очень многими предприятиями, он и сопровождал людей на эти предприятия. Миссия его заканчивалась только

тогда, когда за землячками закрывались те ворота, из которых они выходили только калеками.

И каждая такая душа, он так и считал землячков — на души, давала прибыль фирме и хосен ему, Гаврилу Клумаку.

Он крал последнюю копейку у землячка, получал от компании «Мелест» определенную сумму за каждую душу, набавлял на билеты, когда вез землячков, и, наконец, получал вознаграждение от той компании, которой поставлял людской материал. Вот как действовал Гаврило.

— О'кей,— сказал наконец Берк, который поначалу смотрел на него свысока, пренебрежительно.— Вы, мистер Клумп, способный человек.

Мистер Клумп! С той поры так и пошло. Да и к чему было Гаврилу доказывать, что он Клумак из Кленов? В Закарпатье он Клумак, а в Америке — Клумп, попал бы в Италию — стал бы Клумполетто, во Франции — де Клумпи. В Америке ему надлежало быть только Клумпом, и спустя некоторое время новый гражданин США получил, как Клумп, да еще и Гарри, свой паспорт с орлом.

Он снимал комнату в славянском квартале, но редко можно было застать его дома. Однако не городом Нью-Йорком интересовался Гарри Клумп,— он или сторожил в порту, или же торговался в конторе, или же мчался куда-нибудь на север или на юг с завербованными им душами.

Правда, было одно место в Нью-Йорке, куда любил наведываться Клумп,— католический собор. Он знал там всех ксендзов, а больше всего — о. Гордона, еженедельно посещал литургию, особенно любил слушать проповеди архиепископа Френсиса Спеллмана, и эти проповеди западали в самую душу Клумпа.

«Шестую часть земного шара занимают богоотступники большевики. Благо тому народу, который подымается на борьбу с ними»,— звучал голос архиепископа под сводами собора и будил живейший отклик в душе кленовского богача.

Нью-Йорка, как такового, Клумак не знал. Он им просто не интересовался. Позднее, когда кто-нибудь спрашивал его про Нью-Йорк, только и мог он сказать: «Большой, знаете, город. Статуя там Свободы, небоскребы,

а уж света, света...» Это и было все, что он знал об этом городе, больше того — он даже как следует не разглядел той статуи Свободы, о которой рассказывал, и не мог бы объяснить, что это такое — мужчина или женщина, из камня оно или из металла.

Клумак и подобные ему не интересуются тем, где они живут и как там кто-то живет: лишь бы удобнее самому, лишь бы досыта наестся и был чтобы бизнес по-американски или хосен по-закарпатски.

Из-за этого бизнеса Клумак даже поссорился с директором компании «Мелест» и перешел в компанию «Альмиро», куда его, конечно, приняли. Произошло это так. Однажды в порту Клумак поймал десяток закарпатцев, завел их в контору «Мелест», оформил и повез поездом в штат Иллинойс, на каменноугольные копи. По дороге в вагоне один закарпатец — пожилой уже селянин из Воловца, Хома Верета, отец семерых детей, как сказывали о нем земляки, — умер. Сидел, всхлипнул раз, другой, и нет человека. Сердце! Клумак хотел сдать труп на первой же станции и ехать дальше, но закарпатцы уперлись: пока не похороним Хома, дальше не поедем. Что скажем жене и детям? Да и самим неловко. Пришлось Клумаку сделать остановку на целый день, пока всё оформили и похоронили Хому Верету. Только тогда поехали дальше. Понятно, по возвращении Клумак предъявил конторе счет: остановка не по своей вине, яма на кладбище, гроб, — а всех расходов набралось на шестьдесят семь долларов. Из-за этого и поссорился директор «Мелеста» с Клумпом. Никто из них не хотел брать на себя похороны Хома Вереты. Так и ушел из «Мелеста» Гаврило Клумак.

4

— Ну и что из того, что вы все обо мне знаете? — спросил сердито Гаврило Клумак. — Преступник я, коммунист или какой-нибудь уголовник?

— Избави боже, вы оказались настоящим американцем, — усмехнулся незнакомец, — и хорошо усвоили мою науку.

— Погодите, — сказал Гаврило. — Так это я с вами ехал в одной каюте из Гамбурга в Нью-Йорк?

— Вы угадали, — ответил его собеседник.

— И это вы,— продолжал Клумак,— советовали мне обратиться в компанию «Мелест»?

— Я не только советовал вам, а рекомендовал вас дирекции компании «Мелест», а потом «Альмиро».

— Ничего не понимаю,— покачал головой Клумак.— А если бы вы меня не рекомендовали?

— Мистер Клумп, вы-то хорошо знали, кого нужно послать в «Мелест», кого в «Альмиро», а на кого нужно моргнуть полиции. Припоминаете Матвея Онищука?

— Я и не знал, кого я должен благодарить за все,— сказал Клумак.— Я думал, господь бог...

— А вышло — мистер Стог.

— Позвольте, мистер... Так, может, мы с вами в одинаковом положении, и вы такой же Стог, как я Клумп... Стог... Стогарюк... Стогарчук,— начал угадывать Клумп.

— Не гадайте, мистер Клумп,— перебил его Стог.— Это ни к чему. Мы с вами не на равном положении. Хоть я, может, и был когда-то Стогарюком или Стогарчуком, зато до конца жизни буду Стогом, а вы сейчас Клумп, но можете стать Клумаком.

— Но почему вы думаете,— огрызнулся Гаврило,— что я должен стать самим собой?

— Вы всегда будете самим собой,— ответил его собеседник.— Но сейчас вам тут нечего делать.

— Как это нечего? Буду нанимать для компании рабочую силу.

— Закарпатцы сюда больше не поедут. Там у них все горит...

— Если бы я имел дело только с закарпатцами, то пропал бы. И кроме них хватает.

— Может, китайцы?

— А хотя бы и китайцы.

— Да вы же их языка не знаете.

— Мистер Стог! Слов «хочу есть» можно и не знать. Голодного видать по глазам, а богатого по карману.

— Я вижу, вы неплохой шутник,— сказал Стог.— Но нам сейчас не до шуток. Вам теперь нечего здесь делать. Компаниям вы больше не нужны.

— Мистер Стог! — Клумаку показалось, что его шею сдавливают петля.— Да что ж это такое? Кому до меня какое дело? Что я, батрак, что ли? Есть правительство, есть президент. Я хочу — и все,— ударил он кулаком по столу.

— Послушайте,— перебил его Стог.— Вы в Америке

никогда не делали того, что хотели, а делали то, что хотели мы.

— Да кто вы такой?

— Я? — Стог огляделся по сторонам и тихо проговорил:—Я служу в компаниях, для которых вы набирали рабочую силу, и должен иметь о ней точные сведения. Нам нужно, чтобы эта сила была покорна, послушна, чтобы она не лезла в какие-то там профсоюзы, чтобы не бунтовала против хозяев. Я, так сказать, инвизибл гармонайзер.

— Что? — переспросил Гаврило.

— Инвизибл гармонайзер, то есть невидимый гармонизатор,— повторил Стог.

— Не говорите этих чудных слов,— перебил его Клумак.— Признайтесь, что вы ловите коммунистов.

— И коммунистов, и тех, кто им сочувствует,— согласился Стог.— Мы за гармонию в промышленности, за полную тишину и спокойствие вокруг. Хозяин — на своем месте, рабочий — на своем. И никаких конфликтов, забастовок, стачек... Гармония! Потому-то компании и стремятся иметь опытных и надежных агентов. Вы были на своем месте, мистер Клумп.

— Вот теперь я вижу,— вздохнул Гаврило,— что вы меня просто обжулили. Трудился столько лет, как невидимый гармонизатор, а денешки получали вы.

— Мистер Клумп,— похлопал его по плечу Стог.— Вы свои деньги получали в компаниях.

Он порылся в кармане и вынул бумажку.

— Вот копия вашего банковского счета.

— То есть как это? — воскликнул Клумак.— Ведь я держу деньги в филиале Подкарпатского банка...

— Филиал Подкарпатского банка? — засмеялся Стог.— Весь этот банк — наш филиал...

— Ладно, ладно,— засмеялся и Гаврило.— Но что же дальше?

— Вот мы какие,— сказал Стог.— Сделали это с банком, можем поступить так и со всей страной. Возьмите свое Закарпатье. Ведь кого только там не было!

— Что правда, то правда,— проговорил Клумак.— Я бы не только Закарпатье, а и болгар, и словаков, и чехов, и поляков скрутил в бараний рог...

— А русские? Большевики?

— О! — откликнулся сразу Клумак.— Это страшная опасность

— А кто бы мог этих русских исправить и направить по правильному пути? — спросил Стог.

— Америка это могла бы сделать, — выдохнул Клумак. — Я тут насмотрелся, американцы — народ коммерческий, у них голова на плечах. Они такие, что родного отца не пожалеют, съедят с волосами.

Стог молчал, собираясь, видимо, перейти к основному, и вдруг спросил Клумака:

— Вы про Закарпатскую Украину слышали?

— Как не слышать! И на собрании был, когда Геровского посылали. Только что это даст...

— Погодите, не горячитесь, мистер Клумп, — успокоил его Стог. — Эта Украина — только повод.

— А для чего?

— Сначала Карпатская Украина в горах, а там Киев, Донбасс, Черное море.

— Значит, присоединить Киев к Рахову? ¹ — засмеялся Гаврило. — А что ж, чем Рахов не столица?

— Вы не смейтесь, мистер Клумп, — заметил Стог, — о Карпатской Украине пишут все американские газеты.

— Не читаю я газет, — признался Клумп. — У меня от них живот болит.

— Пишут и будут писать. В этой Украине заинтересованы и «Дженерал моторс» и «Стандарт ойл компани», вся Америка.

— И что же будет? — спросил Гаврило.

— Что будет? Вы были нашим невидимым гармонизатором в Америке, будете и на Карпатах. А дальше, пан Клумак, вы даже представить себе не можете, какую должность можете занять позднее...

— Лишь бы платили, — процедил Гаврило.

— Об этом договоримся.

— А знаете, — решил Клумак, — и вправду, что-то я соскучился по Карпатам...

5

Гаврило Клумак собирался в дальний путь, не теряя ни одного дня спешил закончить свои дела.

Дел было немного. Нужно было прежде всего взять расчет на работе, потом сходить в банк, дать распоряже-

¹ Рахов — небольшой городок в Карпатах.

ние о переводе принадлежащих ему денег в Подкарпатский банк в Ужгороде, заказать билет на пароход в Европу и, наконец, помолиться перед дорогой в соборе.

И он все это сделал, или, как сам говорил, провернул, очень быстро, за один день. Клумак даже удивлялся, как удачно все складывается. Казалось, маховик машины, который вертелся в одну сторону, на миг замер во время беседы со Стогом в ресторане, а теперь начал вращаться в другую сторону все быстрее и быстрее, присвистывая даже: «На Карпаты... за океан... за океан!»

Правда, именно теперь с Клумаком случилась неприятность. Он встретил одного из тех земляков, от которых убегал, словно черт от ладана, целых восемь лет.

— Пан Клумак! — услышал он тихий голос, когда шел по камням набережной.

Перед ним стоял закарпатец — это видно было с первого взгляда, — молодой еще человек, бледный, изможденный.

— Что это? Кто? Откуда? — вырвалось от неожиданности у Гаврила.

— Я Данило Ковач, — сказал человек. — Амвросия сын... Из Кленов я. Ваш дом на нашем старом участке стоит.

— А! Вспомнил, вспомнил, — забормотал Клумак. — Вправду, землячок. Что ж, очутились в Америке, работаете? Гуд бай¹, — попрощался он.

— Очутился это я за морем, — заспешил Данило, поняв, что Клумак собирается идти дальше.

— Ну и что ж, на здоровье, — сказал Гаврило.

— Да нет здоровья. Съела его Америка. Только домой ехать, нечего тут делать, хоть помереть на родной земле. Не на что ехать, год за годом, и все на одном месте. Может, пан Клумак, помогли бы мне?

Гаврило пожал плечами, огляделся: где, черт возьми, этот бобби, лучше бы спровадить земляка, который осмелился узнать его в Америке, в каталажку. А то начнет еще там, в Кленах, молоть всякую чепуху. Да где же этот бобби?

— А чем же я могу помочь? — спросил Гаврило.

— Денег одолжите на билет. Там, за морем, отдам, лóтом и кровью отработаю.

¹ Прощайте (англ.).

Полисмена все не было, и Клумак решил сам отделаться от землячка.

— Знаете, дружище, — сказал он, и у него было такое удивленное лицо. — Вы приехали сюда заработать денежек, а я, думаете, зачем приехал? И вот видите, и вам и мне не повезло. С дорогою душой дал бы, но ни доллара, ни цента. Ничем не могу помочь. Прощайте! Гуд бай! Я очень тороплюсь.

И он вышел из порта деловой своей походкой, как ходил здесь тысячи раз. Уже начинало вечереть, а Клумак непременно хотел побывать еще в соборе, исповедаться, чтобы бог простил ему все грехи, какие он, может быть, содеял на американской земле...

6

— Собака! — шептал Ковач, глядя вслед Клумаку.

И хотя у него в теле было совсем мало крови, но эта кровь ударила ему в голову, лицо горело. «Как я мог протянуть ему руку? Ведь слышал же о нем от других. И сам знал! Зачем?»

Данило Ковач стоял и, словно во сне, слышал гудки пароходов, скрежет машин, тысячеголосый шум толпы, и только в одном месте, между корпусами двух пароходов, видна была узенькая полоска голубого океана... Полететь бы по ней через море, через океан, а там хоть и пешком — на Карпаты, на Верховину, стать перед родной хатой, сказать:

— Здравствуйте, отец! Здравствуйте, братики и Юлинка! Это я, Данило, неужто не узнаете?

И эта мечта, это желание были так велики и неудержимы, что сквозь шум порта и все людские голоса он услышал голос отца, звонкую речь Юлины:

— Да иди же, иди скорее, Данило!

А корпуса пароходов все сближались и сближались, щель между ними сделалась как нитка, как волосок, как паутинка... И не успела эта щель вовсе исчезнуть, как Данило Ковач зашатался и упал на камни мостовой.

Данило Ковач выехал из родного села Клены в Америку восемь лет назад. Позднее — уже в Америке — он

часто спрашивал себя долгими, бессонными ночами: «На что ты надеялся, Данило? Зачем сюда ехал?» И сам себе отвечал: «А что, что мне было делать?»

Действительно, что он мог делать на Карпатах, в верховинском краю? Убогая хижина его отца Амвросия Ковача стояла в горах, на лужайке, вдали от села. Жил когда-то Ковач в Кленах, в долине, да забрал за долг участок Тимко Клумак. Ушли они в горы. Такая доля выпала не только им. Вокруг Кленов, в горах, куда ни кинь глазом, будто ласточкины гнезда, прилепились к серым скалам и рассыпались среди лесов хижины. Это все жилища людей, которые обитали когда-то в счастливой, как вспоминали они, долине, где их обобрали до нитки богатеи, вытеснили в горы.

Детей у Амвросия Ковача было четверо — три сына: Данило, Гриць, Павло, и самая меньшая — дочка Юлина. Дети — это, как говорят, цветы жизни, надежда. Амвросий Ковач с женой готовы были душу детям отдать.

Но трудно жилось на серых скалах Верховины. Копни на пол-лопаты в глубину — камень: картошки не посадишь, овса не посеешь, а о ржи и пшенице на Верховине и не слыхали — все вымерзает. Ходил работать за сноп к Клумакам старый Ковач вместе с женой Палагой. Когда жена умерла от зоба, брал с собой хлопцев. Но заработанного все равно хватало только до рождества. Пошел работать на лесные заготовки к тому же Клумаку, простудился, сам схватил чахотку.

Когда Данилу исполнилось восемнадцать, отец сказал: — Вот ты, Данило, вроде бы и взрослый, вышел в люди, а что с того, какой путь лежит перед тобой? Вижу только голод и нужду. Нет нам счастья, ой, нет счастья, сынок.

И долго молчали отец и сын. Шумел вблизи вековой лес. Над самым жильем гнало ветром тяжелые сизые тучи.

— Сынок! — поднял голову отец. — Неужто это конец? Ведь у земли две половинки. На этой половине, вижу, нет нам удачи. Но, может, посчастливится на другой?

— На какой, батько?

— В Америке, сын. Говорят, наш — это старый свет, а там, сказывают, — свет новый. Не знаю, а по-моему, этот наш верховинский свет надо было бы со всеми шенборнами, клумаками и репашами сжечь, тогда только,

может, мы легче бы вздохнули. И в американский свет я тоже не верю.

Он продолжал так, словно говорил не сыну, а вековому лесу, тучам над Карпатами, соснам, солнцу, скрытому за тучами на западе, всей земле:

— Новый свет вон там,— он протянул натруженную руку и указал на покрытые снегами горы,— где русская земля и братья наши; сказывают, теперь там настало счастье. Только отгородили от нас ту землю и горы и люди. Далеко до родной Украины.

И упала натруженная, высохшая отцовская рука.

— А пока что нам, сынок, на этой верховинской земле гибель. Не вижу, сын, спасения.

Он жестоко закашлялся. У него из глаз выкатилось несколько слезинок. Это были первые слезы отца, увиденные сыном, и Данилу стало нестерпимо больно.

— Не надо, не надо, батько. Говорите же, что делать?

— Я долго думал,— ответил старик.— Ночей не спал. Ведь ты у меня старший. Тут как раз вербовщик приехал, кое-кто из наших уже записался. Вот бы и ты с ними вместе. Не для меня — что мне, много ли осталось? Для тебя, для Павла, Гриця и Юлины. Вам жить, сын. А на дорогу я у Клумаков под коровку в долг возьму.

— Так и будет, батько,— сказал сын.— Поеду в Новый Свет.

Он встал, снял крисаню, чтобы благословил отец, и лицо у него сделалось такое, как снег на горах.

Так Данило вместе с другими кленовчанами отправился в далекую Америку. Чехи на ту пору закрыли кордон, чтобы рабочая сила не убегала в другие края, но прошли юноши, будто погонщики, со стадами чужих свиней, через перевал в Польшу, оттуда попали в Гамбург, из Гамбурга в Нью-Йорк ехали на «Колумбусе», а там угодили на остров Эллис.

Остров Эллис! Справедливо прозвали его люди островом слез.

Когда пароход из Европы прибывал в Нью-Йорк, с него беспрепятственно сходили те пассажиры из далеких краев, у кого были в Америке богатые родственники или же кто был связан с американскими фирмами, компаниями, всякие коммивояжеры, пасторы и попы.

Но горе было тем, кто сходил с парохода и толпился на набережной, заглядывая в глаза всем и каждому

с немим вопросом: «Меня погнали в Америку нужда и горе. Где же тут можно заработать?»

К ним немедленно подходили, окружали их представители «Эмиграционного бюро», с тремя вопросами:

1) Грамотен ли эмигрант?

2) Есть ли у него десять долларов для уплаты различных податей?

3) Может ли за него кто-нибудь поручиться в Америке?

И закарпатцы отвечали, что они неграмотны, потому что у них в горах школ нет, долларов не имеют, потому что еле доехали до Америки, а поручителей откуда им взять?

Такие ответы, конечно, никак не удовлетворяли представителей «Эмиграционного бюро», и растерянных, затурканных людей под конвоем полисменов грузили на баржи и везли на остров Эллис.

Попал на этот остров и Данило Ковач. Его и еще восемьсот человек привезли и заперли за железной решеткой, вышиной в двенадцать футов, и дали полную возможность поглядеть на Нью-Йорк.

Был вечер. За железной решеткой ходил взад и вперед часовой. Полковник Стумп и мистер Сеннер, в чьих руках были жизнь и судьба «эмигрантов», закончили свой рабочий день и уехали из лагеря. Во дворе за решеткой и в здании посреди двора уже слонялись какие-то темные людишки, они говорили о терпении и покорности господу богу.

Миллионами огней, как гигантский костер, пылал Нью-Йорк. До острова долетал шум города, и казалось, что это стонет какое-то страшное чудовище. В воде залива отражались огни Нью-Йорка, и еще играл на сверкающей глади луч факела статуи Свободы...

Со страхом глядели закарпатцы на это море огней, прислушивались к скрежету, выкрикам американской ночи, и многим из них хотелось упасть головой на холодный песок острова, плакать горькими слезами, проклинать долю, которая закинула их за океан, так далеко от родного края. Они боялись думать о завтрашнем дне.

И они, конечно, не знали того, что агенты и посредники разных компаний и фирм уже справились по телефону у полковника Стумпа и мистера Сеннера, сколько сегодня прибыло «товара» из-за океана, какой расы люди, какого пола. Теперь эти агенты и посредники веселились, танцевали, пили в салунах и барах или же спокойно спали

в мягких и теплых постелях, чтобы поутру отправиться на остров Эллис, на облаву. Облава начиналась довольно рано, потому что агенты конкурировали между собой и каждый из них хотел сделать на обездоленных людях свой бизнес.

Они разглядывали человека не для того, чтобы узнать, на каком языке с ним разговаривать, а чтобы определить степень его истощенности, прикидывали, крепкие ли у него мускулы, определяли весь «экстерьер» человека, как сами выражались, и быстро приходили к выводу — куда и кого послать на работу.

Всех агентов очень интересовало, нет ли среди эмигрантов «славонион герлс»¹. И горе было той девушке, которая попадала во власть откормленной американской госпожи или распутного господина!

Проходил целый час, пока агенты и посредники спорили между собой и уплачивали начальству лагеря его долю. А затем запертым за решетку людям говорили, что по «справедливым» законам Америки их следовало бы немедленно выслать назад, за океан, потому что, мол, нищих у них нет и не должно быть. Но в Америке, и особенно в Нью-Йорке, живут добросердечные люди, и за каждого из прибывших уже заплачено по десять долларов, которые удержат у них на месте работы. Им всем предоставляется возможность познакомиться со своими благодетелями, а затем все они как можно скорее должны покинуть лагерь, потому что вскоре прибывает новая партия эмигрантов.

И благодетели, как коршуны, набрасывались на свои жертвы. Набросились они и на Ковача.

Данило Ковач начал свой путь по Америке с несколькими кленовчанами, решившими держаться вместе. Но разве от них это зависело? Они напоминали осенние листья, которые оторвались от своей ветки и под порывами резкого ветра летят в разные стороны. Один заболел и сгорел в дороге, как свеча, другой сказал: «Будь что будет!» — и не захотел идти дальше, третий сошел с ума, и кто знает, что с ним случилось потом. А Данило Ковач крепко сжал кулаки и сердце, потому что дома у него были отец, Юлина, Павло и Гриць, он должен крепиться, мучиться, но работать.

¹ Славянской девушки (англ.).

Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Миссури! Он работал и на земле и под землей, в горах и на реках, работал, сколько у него было сил, в надежде, что прокормится сам и какой-нибудь доллар пошлет за океан, на Карпаты...

Восемь лет! А сколько дней, сколько ночей! Это была подлинная каторга. Данило Ковач побывал на сталелитейных заводах, судовых верфях Кайзера, на заводах Форда в Детройте, на шахтах Пенсильвании, Иллинойса, Кентукки.

Как вздох из родного края, дошло до него письмо от сестры Юлины.

«Отзовись, Данило, подай весточку о себе!»

Он отозвался:

«Что писать, сестра? Об этом не напишешь, это надо передать словами, такими горячими, как раскаленное железо, такими безудержными, как наши горные потоки... Мечтаю об одном только — увидеть родные Карпаты и услышать шум сосен. Но когда это будет? Широк, широк океан».

Раз и другой послал Данило немного денег на Верховину. Мало послал, и на пальцах мог бы сосчитать, сколько вышло долларов. А потом замолчал и ничего не писал, ничего не мог послать домой.

Став на работу, увидел, что не хватает самому, поехал на второй завод, третий — всюду было одно и то же, опустился под землю, не знал ни дня, ни ночи, по пояс стоял в воде, дышал ядовитыми газами, тяжело заболел и за лечение заплатил все, что скопил. Думал заработать, чтобы как-нибудь добраться домой, так как увидел, что в этой Америке ему не на что надеяться, нечего ждать, — и вот снова заболел.

7

Песню начал теплый, задушевный голос, и сразу ее подхватило несколько голосов, между ними выделялись второй тенор и низкий бас:

Чорна хмара з-за Унгвара ¹, із-за Піп-Івана ²,
Не чувати, не видати Андрусяка Йвана.
Не чувати, не видати його голосочку.
Лиш дівчата заспівають йому співаночку.

¹ У н г в а р — венгерское название города Ужгород.

² Піп-Ів а н (Поп Иван) — гора в Карпатах.

У Данила Ковача защемило сердце. Америка, все та же Америка, и далеко, далеко до родной земли, до Карпат. Ведь это там, в Карпатах, на высокой полонине, залитой лучами багряного вечернего солнца, уселись на чахлой траве дивчата и, охватив головы худыми руками, поют грустную песню:

Гей бо у тій Америці, як на другім світі,
Там не чути зозулечки ні взимі, ні вліті,
Айбо у тій Америці правечко всудили,
Аби наші легіники¹ тяжко не робили.

И еще сильнее защемило сердце у Данила. Плачут, стонут дивчата, и далеко за море льется их песня:

Та коби я крила мала, як у ластовиці,
Нікуди бим не літала, як по Америці,
Полетіла, розшукала Андрусяка Йвана,
Повернула до Унгвара, до Попа-Івана...

Вдруг Данило Ковач очнулся, ему показалось, что у него вот-вот разорвется сердце. Привстав, огляделся тревожными глазами по сторонам.

— Не спится? — спросил его сосед.

— Ой, нету сна, — вздохнул Ковач, — а если и заснешь, то одно горе и мука в голове.

И только тогда дошло до сознания, — нет, это не Америка. Ревут где-то близко за спиной двигатели, мелкой дрожью дрожит металлический пол, сквозь открытый иллюминатор слышно, как шумит океан. Ведь его, Данила, подобрали в порту родные люди, это они собрали последние доллары и везут его на родную сторону.

Не Америка! В трюме парохода лежат и сидят мужчины и женщины, кое-где к родителям прижались дети. Вокруг полумрак, а все же видны изможденные, зеленоватые лица людей. Слышен говор на разных языках, но Данило все понимает. Больше всего здесь людей из Закарпатья, есть люди из Львовщины и Тернопольщины, что по ту сторону Карпат, есть еще и поляки, болгары, словаки. Как не понять речь этих людей!

Идет пароход по океану. Ударится вдруг яростная волна о борт, и тогда в иллюминатор летят, падают на лица соленые брызги. Сколько путей в этом океане, сколько пароходов бороздят его воды?

¹ Легінь — молодой парень.

Но все эти люди знают только один путь в океане, соединяющий материки, — путь невольников.

Ведь все они или на этом проклятом «Колумбусе», или на другом подобном пароходе, кто год, кто два, а кто, может, и все пять лет тому назад, ехали по этому невольничьему пути в Америку — на заработки, за долей, за счастьем.

И вот возвращаются — без доли, без счастья. Да и не все возвращаются — сколько их погибло еще тогда, когда ехали в Америку, сколько легло в желтом песке за океаном, сколько погибнет, пока пароход придет в Европу.

Пришел матрос и наглухо задраил иллюминатор. Тяжко стало в трюме, не передохнуть. Данило Ковач встал и, хватаясь за стены, вышел в коридор. Подступило к сердцу: и от жестокой качки, и оттого, что был голоден. Он остановился в коридоре возле трапа, винтом подымавшегося вверх, на палубу.

И там, высоко вверху, он увидел Гаврила Клумака, который равнодушно смотрел вниз, в глубину трюма.

Глава третья

1

Гаврило Клумак возвращался из Америки в Клены и думал, что там его никто не ждет. Кому нужен Гаврило? Дмитру? О, этому неповоротливому Дмитру он тоже мешает. Разве Осип — так ведь он же слуга, ничто! И пусть не ждут, пусть не надеются, он себя покажет, когда появится в селе. Тогда все поймут и почувствуют, кем был и кем стал Гаврило Клумак.

А в действительности кое-кто знал, что Гаврило Клумак возвращается из Америки. Понятно, не брат Дмитро, не кленовские селяне, не Осип. Знал об этом священник кленовского прихода о. Федор Стрыпский.

Священнику было лет под пятьдесят, ничем особенным он не выделялся: среднего роста, русый, лысоватый, с голубыми глазами, говорил приятным голосом, неплохо пел. Жил в своей усадьбе вместе с женой Татьяной, была у них дочь Мария, учившаяся в Ужгородской женской

греко-католической учительской семинарии. Так жило в Закарпатье много попов.

А все же Федор Стрыпский был священник особенный, о чем знали в епархии, в епископской канцелярии и даже в священных конгрегациях «пропаганды веры» и «Восточной церкви» в Риме.

Семейные предания и церковные хроники гласили, что один из предков Федора Стрыпского, тогда еще именовавшийся Стрыпой, о. Роман, был среди тех немногих лиц, которые во главе с монахом Петром Ростошинским в 1646 году подписали в древнем ужгородском замке унию с римским папой.

Ведь недаром еще в 1352 году папа Климент VI призывал венгерского короля Людовика к походу на «схизматиков»; не случайно через сто лет после этого папа Сикст IV посылал своих кардиналов к королю Корвину, убеждал его искоренить, истребить в Венгрии всех русских еретиков... И недаром спустя сто лет Юрий Дожа собирает ни мало ни много, а семьдесят тысяч украинских и венгерских крестьян, и волна восстания захлестывает на много лет Закарпатье. Видно, Юрий Дожа дал себя знать панам,— они, схватив вожака, придумывали для него самые лютые пытки и наконец сожгли живьем...

Но продолжали действовать иезуиты, посылали новых и новых агентов, основывали в Закарпатье свои школы, орудовали и крестом и мечом.

Они и их предки хотели ввести унию еще раньше — в конце 1640 года мукачевский епископ Василь Тарасевич, подкупленный католическим примасом, в свою очередь подкупил нескольких попов, и те согласились принять унию. Но об этом проведали мукачевцы и однажды утром вытащили епископа Тарасевича из постели, поставили во дворе и сказали:

— Знаем, святой отец, к чему ведет эта уния... От родных людей горами мы отделены, так хочешь, чтобы мы обычаи и язык отцов забыли? Мало того, что одним панам проданы, так хочешь продать нас еще и другим? Скорее рви унию с папой, не то мы тебя разорвем.

И епископу пришлось прилюдно, на крыльце, порвать в клочья заготовленное им письмо к римскому папе.

Тогда за людей, не желавших идти в неволю, принялась ужгородская графиня Анна Другет, которую народ не случайно прозвал «вешательницей». Монахи Петр

Ростошинский и Гаврило Кошович отправились по долинам и горам. Впереди них ехали отряды драгун. Так было всегда — крестом и мечом!

И двадцать четвертого апреля 1646 года шестьдесят три попа, в числе которых был и Роман Стрыпа, собрались, предводительствуемые монахом Петром Ростошинским, в резиденции «вешательницы». У Петра Ростошинского после поездки в горы недоставало левого глаза, еще у нескольких попов были перебиты ребра. Но кривой поп прочитал «Верую», побитые попы ему подтянули — и уния с папой была принята... Все же и паны и попы дрожали — замок охраняли драгуны, и попов-униатов задержали там, пока не пришел ответ из Рима: папа благословил своих «новых детей».

Тогда уже на Карпатах и над Тиссой называли Романа и тех, кто был с ним в Ужгороде, отступниками, душепродавцами и предателями. Люди видели, к чему идет дело, — порабощенные на исконной своей, родной земле венгерскими королями, отделенные от родных братьев шляхетской Польшей, они не хотели умирать, продолжали бороться...

Роман Стрыпа не достиг великой славы. Больше того! Такова судьба отступников и предателей, — те, кто только вчера называл Романа Стрыпу другом, приятелем своим и кто вложил в его руку гусиное перо в ужгородском замке, на другой же день отказались от него, загнали его далеко в горы, ибо им не нужны были свидетели черного дела.

Семейные предания утверждали, будто бы Роману Стрыпе принадлежат слова: «Я священник, политика — не мое дело. Суть на то иные, более достойные, предоставим им, пусть творят они сие и далее...»

В действительности же Стрыпы, поколение за поколением, только то и делали, что занимались политикой. Не веру предал Роман Стрыпа в ужгородском замке, а предал и продал свой народ. Сыновья его и внуки — Стрыпские уже — столетиями окатоличивали подкарпатских селян, подчиняли их папе, а этим самым уничтожали их многовековую культуру и стремились совершенно поработить их, согнуть в ярме.

Каждый из них прикидывался голубем, клялся в любви к бедным русинам, но все это делалось для того, чтобы обмануть, опутать бедняка, чтобы он верил своему

наставнику, делился с ним своими думами, раскрывал наболевшую душу. А когда в этой душе оказывалось нечто враждебное панству или престолу папы, Стрыпские умели хорошо писать и посылали жалобы, кляузы, доносы, подметные письма. Так под теплыми голубиными крыльями текла холодная змеиная кровь.

2

Федор Стрыпский родился в селе Черные Подолы, на Верховине. Два года учился он в народной школе, затем вступил в богословскую школу в Ужгороде, а после того в Будапештскую богословскую семинарию. В Мукачеве Федора Стрыпского рукоположили в священники, и он надеялся получить приход. Однако новому священнику прихода не дали, а послали в Рим, где ему и еще двум десяткам молодых попов читали специальный курс о задачах греко-католической церкви на Востоке, поднимали завесу над планами, которые выходили за пределы Рима, нити которых тянулись ко многим странам Европы, терялись где-то за океаном.

«Великая миссия выпадает вам, священнослужителям восточных епархий. Ваш долг — укреплять католицизм в странах, где сейчас трудитесь, но вы должны помнить, что рядом с вами, на Востоке, существуют миллионы людей, на которых не почилла благодать божия. Эти миллионы нужно привести к покорности! Безразлично, каким способом!» — так говорили их наставники из «Коллегиум руссикум» в Ватикане.

Тогда же о. Федор познакомился с американским священником о. Гордоном. Этот священник-миссионер несколько раз беседовал со Стрыпским, очень интересовался Карпатами, неоднократно подчеркивал, что на Карпатах католическим священникам большой простор для работы и в этой работе им могут сильно помочь американцы, и, наконец, пообещал, что он сам непременно там побывает и что они еще встретятся.

В самом деле, они неожиданно встретились. В 1919 году в Ужгороде по указке Вильсона состоялось «Всерусинское национальное собрание». О. Федор Стрыпский был на нем делегатом. «Выборы» на это собрание проводились весьма оригинально. Ночью, в начале мая 1919 года,

в селе Кленах, где о. Федор получил место по возвращении из Рима, появились полицейские и предложили ему немедленно выехать с ними в Ужгород. Одновременно со священником полицейские захватили Тимофея Клумака, повезли их в долину, а оттуда «экстренным поездом» в Ужгород. А четвертого мая сто восемь делегатов, «избранные» так же, как о. Федор и Клумак, единогласно вынесли постановление, сделавшее Закарпатье частью Чехословакии. Спустя немного времени после этой комедии в Ужгород прибыл Григорий Жаткович, назначенный губернатором Закарпатья из Америки, а там в Кленах побывал в гостях у о. Федора и американский священник-миссионер о. Гордон.

— Итак, отец Федор,— признался он,— мы вложили в это дело значительные средства, и не случайно резолюцию «Всерусинского собрания» утверждал президент Вильсон. Вам в своей дальнейшей работе, что бы ни случилось, следует помнить о том, что в Америке очень интересуются Закарпатьем и будут влиять на вашу жизнь. Я — священник, и меня, естественно, прежде всего интересует религия, с этой целью я и прибыл сюда. Мы должны, брат мой, вместе с вами содействовать распространению святой католической веры, дабы схизматики были побеждены и святая католическая церковь торжествовала во всем мире.

— О! — с восторгом согласился о. Федор.— Только во всем мире.

— Вам,— продолжал о. Гордон,— это понятно более, чем кому бы то ни было. Ведь схизматики от вас близко — Украина, Россия...

— Да, да,— шептал о. Федор.

— Кто знает, когда и как это будет,— вздохнул о. Гордон.— Никто не ведает дня и часа, когда свершится суд божий. Но он свершится, верьте мне, брат мой!

— Иисус, мать божия, благословите нас,— молитвенно возвел глаза к нему о. Федор.

— Но если мы хотим,— продолжал о. Гордон,— чтобы победила католическая церковь, то мы должны позаботиться, чтобы она опиралась на силу. Наш век — это век экономики. Мы хотим знать экономику, силы, возможности Закарпатья. Нам нужны плацдармы против Советского Союза, и, в первую очередь, здесь, на Карпатах. Я думаю, что мы с вами поэтому всегда будем под-

держивать теснейшую связь. Америка — могучая страна, и страна будущего. А за вашу кропотливую работу вы будете получать вознаграждение. Об этом вам незачем беспокоиться — вам его будут выплачивать в епископской консистории, там есть специальный фонд «Американского комитета гражданской информации»...

— Гражданской информации?

— Нельзя же называть все своими словами. А цель комитета, конечно, военная.

— Но какой же я военный... простите, гражданский информатор?

— Вы даже не представляете себе, о скольких важнейших делах можете нас информировать, — подчеркнул последнее слово о. Гордон.

— Что ж, попробуем с божьей помощью, — согласился о. Федор.

И о. Федор стал «информатором» из Закарпатья. Его целью, как и прежде, было окатоличивание народа, но вместе с тем он аккуратно представлял одному из священников консистории, а временами и сам посылал в Америку, требуемые сведения, по заданиям о. Гордона.

Заданий было много. К религии они никакого отношения не имели, а доказывали, что там, в Америке, весьма интересуются Закарпатьем как плацдармом и военной базой. «Где построены новые мосты, — запрашивал о. Гордон, — где проложена железная дорога?» О. Федор обязан был сообщать о лесоразработках и о сплаве, о соли и разведке на Карпатах нефти, железа, угля.

Это была пора, когда в Закарпатье тучей двинулись туристы. В Праге существовало даже туристское бюро «Чедок», оно обслуживало не только чехов, но и всех туристов Европы, Америки. Особенно много приезжало в долины Тиссы туристов на «праздник винобрания» в первые дни октября, когда там, в помещичьих имениях, заканчивали сбор винограда, давили из него сок, по вечерам раскладывали на склонах гор костры, резали баранов, пили вино и плясали под музыку цыган. Тогда поезда из Праги в Ясени были битком набиты.

Но не только в долины ехали туристы. Много их направлялось в горы, на перевалы и подымалось на Говерлу, откуда в погожие дни видно Горгапы, Хомяк и даже

далекие Станислав и Коломыю. Туристов принимал в селе о. Федор, он был полномочным представителем «Чедока», он же держал несколько надежных проводников из зажиточных селян для прогулок в горы.

Туристы подолгу беседовали с батюшкой, записывая нужные сведения, шли в горы, что-то там обмеряли, спускались в села, собирали верховинцев и фотографировали их на лесном сплаве, возле скота на полонинах, на фоне островов высокогорных цветов. Еще обязательно фотографировали туристы свадьбу: невесту и дружек с венками на головах, в запасах, сапожках; жениха и бояр — в крисанях, в кожаных поясах, с топориками; свата — с древком в руках. Их не интересовало то, что не у каждого было во что одеться: «Вот деньги... берите в долг, а одевайтесь». И брали в долг, фотографировались с веселыми улыбками на лицах, словно бы и вправду веселые, радостные. Так требовали туристы. Они и печатали альбомы этаких «веселых верховинцев», с иллюстрациями, на меловой бумаге...

Но были иные альбомы у туристов, — их не печатали, а скрывали от людского глаза. Да и кто их мог бы печатать? Эти альбомы были подробными картами всей Закарпатской долины и Карпат — туристы фотографировали вершины, перевалы, горные тропы, мостики, населенные пункты, предприятия на Карпатах, — для всех и всяческих разведок на европейском материке и за морем. В этом деле туристам очень помогал о. Федор.

Что касается партий, которые на глазах у о. Федора создавались, разваливались и снова возникали в те годы на Закарпатье, то к ним о. Федор относился снисходительно. Демократы, промышленники, аграрии — он рассматривал борьбу этих партий как своеобразную и умелую игру. Шумят, кричат, что-то кому-то обещают, а на деле все ведут к одному — к утверждению права собственности: счастье и радость благословенным от бога, вечный труд рабам. Это не расходилось с принципами католической церкви!

Страшила его и вызывала у него лютую ненависть одна партия — коммунистов. Эта партия не только обещала что-то верховинской бедноте, но и вела ее за собою. Федор Стрыпский вспоминал осень 1918 года, когда на Верховине появились коммунистические организации, и холодок пробежал по его телу. Ох, уж эти «народные

советы!»! А «народная гвардия»! Кровавый бой под самым селом, когда с утра и до поздней ночи беднота билась с жандармами. А вече в Кленах, когда голодранцы кричали в один голос: «Волим до Советской Украины!»

И дальше, дальше... В апрельские дни 1921 года, вместе с вешним теплом, в окна поповского дома ворвались слухи о крупных забастовках в Береговом и Севлюше. Федор Стрыпский сердито захлопнул окно. Но кто-то стучал в стекла и говорил, что забастовали солекопы в Слотвине. Что ни год, то забастовка, красные флаги на улицах. Кирпичники Берегового, лесорубы в Сваляве, снова Береговое, и убитые, и раненые...

Да и на Верховине было беспокойно. Вот этот сын лесоруба из Ясеней — Олекса Борканюк! Все от него идет! И объявился же на их голову! Откуда у него такая сила? Коммунистические ячейки в селах, газета «Карпатская правда» в хатах бедняков, запрещенные книги. А когда были выборы в парламент, то как ни боролись все партии, сколько ни расходовали денег, кого и как ни подкупали, а большинство голосов, — говорят, сто тысяч — собрал Борканюк. Известно, кто голосовал за Борканюка: лесорубы да чабаны, бедняки да батраки, — управы на них нет! Нужно уничтожить всех коммунистов, чтобы и следа их не осталось, а прежде всего — уничтожить Борканюка!

Поэтому о. Федор и стал организатором в Кленах читальни «Просвіти»¹, поддерживал самые тесные и добрососедские отношения с председателем окружной «Просвіти» в Рахове Миколой Панасюком. Он же следил, чтобы в Клены не попадали те книги, которые значатся в индексах запрещенных конгрегацией священной канцелярии и в списках «канцелярии защиты веры» Мукачевского епархиального управления, взял кленовскую «Просвіту» под полный свой контроль и руководство.

Стрыпский «поддерживал» каждое общество или организацию, возникавшие, как грибы, в Закарпатье. Они назывались добровольными, основатели их — заядлые «деятели» разнообразных партий — всячески доказывали, что общества эти далеки от политики, а преследуют

¹ «Просвіта» — культурно-просветительное общество в Западной Украине и Закарпатье, использованное националистами в своих целях.

только культурные цели. Так возникли «Сокол»¹, «Общество Красного Креста».

Отец Федор заботился о том, чтобы общества были под его наблюдением, и потому говорил о них даже с церковного амвона.

— Что есть «Сокол»? Знаете вы большую, сильную птицу сокола, которая на своих могучих крыльях подымается высоко-высоко над землей и оттуда озирает все своим внимательным оком? Так и в обществе «Сокол» молодежь наша должна воспитываться, чтобы стать сильной и стойкой, как эта птица, и чтобы видеть далеко-далеко вперед...

Или про «Общество Красного Креста»:

— Это такое, братия, благотворительное Общество, которое будет помогать неимущим детям и членам общества. В этом Обществе дети будут устраивать складчину, театральные игры, пойдут колядовать, а собранные деньги отдадут бедным детям...

И так, затушевывая истинную цель общества, о. Федор заканчивал:

— «Сокол» и «Красный Крест» — это организации демократические, они нам помогут быть здоровыми в мирное время, но они будут весьма полезны и во время войны, которую готовят схизматики на Востоке, большевики...

А тем временем «добровольные» организации «Красного Креста» были объединены в дивизию со штабом в Мукачеве, а по всему Закарпатья шли окружные съезды «соколов» и колонны откормленных, сытых сынков и дочек попов и богачей четким военным шагом, со знаменами, маршировали под командой офицеров по улицам Ужгорода, Мукачева, Хуста. Делалось это на американские деньги. Недаром ведь правительство США выделило союзу «американской католической молодежи» три миллиона долларов для работы среди молодежи Закарпатья! Три миллиона — большая сумма, а о. Федора целиком удовлетворили несколько сот долларов из этой суммы! Да здравствуют «Сокол» и «Красный Крест»!

Стрыпский родился в Австро-Венгрии и возносил молитвы за Франца-Иосифа, потом славил Венгрию и в алтаре повесил икону девы Марии с короной короля Сте-

¹ «С о к о л» — националистическая спортивная организация.

фана на голове, а позднее спрятал эту икону на чердак и принялся править молебны за здоровье Томаша Масарика.

Что ему были отчизна и родной народ? Он был врагом тех стран и народов, которые шли против католицизма и частной собственности. Он готов был стать на колени и курить фамиям перед палачами народа, расписывавшимися в верности папе и считавшими частную собственность капиталистов «даром природы и бога». А там — вселенская власть папы, основные принципы которой сформулированы еще в творениях Фомы Аквинского, даром что жил он в XIII столетии, и развиты затем в энцикликах Льва XIII «Рерум новарум», Пия XI «Квадрагесимо анно», в посланиях Пия XI и в человеконенавистнических, воинственных воззваниях и призывах двести шестьдесят второго преемника святого Петра — папы Пия XII.

3

Отец Федор приехал в Ужгород навестить дочку, выполнить поручения попадьи Татьяны и побывать в епископате.

Он провел с дочерью несколько часов. Посидели в семинарской приемной, зашли вместе к начальнице, погуляли по саду. И все время о. Федор посматривал на дочь, любовался ею.

Мария действительно была красива. Жила она у отца в довольстве и достатке, выросла здоровой и сильной. Ее — необузданную и жадную, не интересовали ни этот Ужгород, чуть слышный шум которого доносился до стен семинарии, ни тем более какие-то там Клены на Верховине; ее больше интересовал дворец графа Шенборна в Берегваре, ей снилась Ривьера, про которую она читала в книгах, Италия, где бывал ее отец, Америка, куда ехало столько народу из Закарпатья. Но ехать не на заработки, как они, а жить в небоскребах, быть киноактрисой, сорить деньгами.

Она часто спрашивала отца:

— Почему вы отдали меня в семинарию, папа?

— Разумный человек должен начинать с малого и постепенно идти к вершинам, — отвечал о. Федор. — Я мог бы отдать тебя в гимназию, а там — в университет. Но что это тебе дало бы? Служить в канцелярии какого-

нибудь Ласло Микша или Дезидерия Готлиба, или быть секретаршей в жупанате? ¹ Нет, Мария из рода Стрыпских должна быть дальновиднее, должна ставить перед собой высокую цель. Достигнуть этой цели поможет тебе католическая церковь. Не будем заглядывать слишком далеко. Возьмем то, что у нас есть. Твой отец — верховинский священник, но его хорошо знают в епископате, знают в Риме. Когда ты закончишь семинарию, я вправе буду сказать: «Я сделал, что мог, помогите сделать больше». Семинария — это твой первый шаг, а есть еще Будапешт, Вена, Рим, целый мир...

— Я понимаю, папа, — вырывалось у Марии, хотя она и не все понимала. Но знала, что отец ее из Кленов видит не только верховинский мир, а нечто большее, более значительное.

Ежегодно с началом лета о. Федор приезжал и увозил Марию на вакации. Тогда она до упаду бегала по усадьбе, купалась в ледяной воде ручья, поднималась крутыми тропинками в горы, бродила в лесной тени, ложилась где-нибудь, закинув руки за голову, в зеленой мягкой траве лужайки. Над нею проплывали, словно исполинские корабли, тучи, она провожала их глазами, но, увлеченная просторами, думала не об этом верховинском мире, не о горах, которые высились на горизонте. Нет, ей хотелось сесть на крыло синей тучи и лететь с нею, попасть в Будапешт, Прагу, Рим, жить в роскоши, богатстве...

Но в душе девушки под влиянием отцовского воспитания и учения в семинарии постепенно созревали и иные чувства. На тех же вакациях она организовала из жен кленовских богачей «Маринскую общину». Эти, в свою очередь, вели на собрание общины своих батрачек, угрожали женам бедняков, не понимавшим, чего от них требуют. Пылкая, вдохновенная, с блестящими глазами и румянцем на щеках, Мария заводила речь о какой-то любви к родному краю, о Верховине, она вбивала женщинам в головы, что земля — это родина страданий, долина слез, но что церковь обещает им счастье в вечности. И, разжегши, доведя до исступления женщин, Мария начинала чудесным грудным голосом маринскую песню:

О Маріє, мати божа,
Молися за нас...

¹ Ж у п а н а т — окружное управление.

И женщины в унисон, вслед за Марией, тянули эту песню рабской покорности, примирения с земными страданиями.

Так поступать, иметь две души, требовала семинария, мариинская конгрегация ордена Василиан, в который вступила Мария.

И теперь Мария снова спросила:

— Когда же, отец? Когда будет то, что вы обещали?

Кленовский священник постоял на дорожке парка, омытой осенним дождем, поглядел вдаль и уверенно сказал:

— Скоро уже, дочка, скоро.

4

Ужгород! Федор Стрыпский любил этот город на реке Уж, с его узенькими улицами, магазинами, гостиницами, ресторанами. В каждый свой приезд он воздавал здесь должное и делам и легким развлечениям...

И потому он зашел в модную мастерскую Ратца, где шили шелковое платье матушке, в магазине Ласло Гика купил батареи для радиоприемника, сделал кое-какие мелкие покупки, отнес все в отель «Корона», побеседовал в номере с еще моложавой служанкой Розой... Но ему предстояло еще посетить епископскую резиденцию.

Резиденция возвышалась над одной из трех гор, на которых стоит Ужгород. Справа, на более высокой горе, виден был древний замок, слева, за базаром, выделялись крыши жупаната. Реку, пересекавшую город, улицы и сады вдоль нее уже окутывали сумерки, но в горах было еще светло.

Федор Стрыпский несколько раз поскользнулся на крутой улице: недавно прошел дождь, камни были мокры, а он не носил калош. Какие там калоши в Кленах — в обыкновенных мужицких сапогах и то едва проплывешь, Улица поднималась вверх очень круто, и он несколько раз останавливался и стоял переводя дыхание.

Совсем близко был ужгородский замок, его от города отделяла высокая стена с глубоким рвом перед ней. Когда-то здесь был подъемный мост, об этом говорили гнезда для цепей в стенах. За стеной высились здания замка с островерхими крышами.

«Вот так же,— думал, отдышавшись, о. Федор,— поднимался когда-то по этой улице и прапрадед мой Роман, чтобы подписать документ об унии, может и отдыхал на этом самом месте. Такие уж все мы, Стрыпские, трудимся и трудимся друг для друга».

Епископская резиденция занимала обширный участок на темени горы. Эта епископская держава также отделена была от города стеной. Прямо на улицу выходил собор, открывавшийся порталом с четырьмя серыми колоннами и двумя высокими тонкими колокольнями.

Во дворе, в двухэтажном здании, примыкавшем одним углом к собору, помещался епископат. Сюда прибывали один за другим по приказу Ватикана епископы, они жили здесь в палатах, где все сверкало золотом, бархатом, шелком; отсюда и выносили, одного за другим, мертвых епископов.

Епископы в своей резиденции, бок о бок с «божьим домом» — собором — творили самые черные дела. Сюда приходила — на нее набрасывались, как воронье, монахи и священники — газета «Оссерваторе романо». Сюда прибывали «важные», «весьма важные», «секретные», «совершенно секретные» документы и указания конгрегаций Ватикана: священной канцелярии, конгрегации священных ритуалов, консисторской, индекса священной римской роты, апостольской сигнатуры. С трепетом вскрывали некоторые пакеты с печатями даже доверенные лица епископата. Апостольская сигнатура — верховный суд католической церкви, и священная римская рота — ее трибунал, были безжалостны даже к католику, если он хоть на шаг отступал от обрядов церкви.

Все эти документы читались тихими голосами, тихим голосом отдавалось приказание, и тогда приходила в движение вся машина в Закарпатье, начиная от епископа и кончая приходским священником в горах...

И хотя все епископы, от первого до последнего, клялись, что политика — не их дело и что для этого существуют другие, достойнейшие, но эти «достойнейшие» — венгерские графы и бароны, чешские промышленники и аграрии, как и остатки белогвардейцев, гетманцев, петлюровцев, бежавших в свое время из-за Карпат и осевших в тихом Ужгороде,— все они были желанными гостями в епископате на горе и получали здесь благословение на кровавые, мерзкие дела.

Но не о том думал о. Федор, направляясь в епископат. Он привык к такому порядку, он сам был винтиком в машине для порабощения народа Закарпатья. Открыв калитку в железной ограде, он пригнулся и прошел ровными шагами к парадному входу.

Епископат жил своєю размеренной, как бы приглушенной жизнью. По коридорам ходили озабоченные священники. Молча что-то писали секретари во всех комнатах. Федор Стрыпский обошел, как и всегда, все отделы епископата, взял бумаги, которые должны были отправить ему по почте, получил свежие номера «Благовестника» и «Миссионерского вестника», а потом зашел к знакомому священнику консистории о. Павлу.

Отец Павел, низенький и полный, похожий на картофелину человек, безбородое лицо которого, с носиком шишечкой, напоминало вторую маленькую картошку, очень обрадовался, увидав о. Федора.

— Что ж это вы не показываетесь, отче?

— Далеко от неба до земли, отец Павел. Где мои Клены, где ваш Ужгород...

— Так вы считаете ваши Клены небом?

— О нет, отец Павел, небо — это вы, а Клены — это простая земля, Верховина.

— И как на той земле?

— Мрак кромешный и скрежет зубовный.

— Коммунисты?

— И коммунисты, и сам по себе этот русинский народ. Опришки¹, что вы хотите.

— Вы тоже виноваты в этом, отец Федор! Не боретесь...

— Это я? — поглядел на о. Павла голубыми глазами о. Федор. — Будь моя сила, я бы...

Он не закончил фразы.

— Сила будет, — понизив голос, сказал о. Павел. — Сила собирается.

И уж совсем шепотом:

— Чехам уже конец. Формируется новое правительство для Закарпатья. Волошина знаете?

— Еще бы, ведь благодаря ему мы получили чехов.

— Ничего, теперь благодаря ему мы получим...

¹ Опришки (историч.) — повстанцы на Карпатах и в Закарпатье, выступавшие против гнета помещиков и австрийских властей.

Он наклонился над ухом о. Федора и прошептал ему несколько слов.

— Верю! — сказал о. Федор. — И Германия и Америка — это надежные силы.

Тогда о. Павел вдруг раскрыл папку, лежавшую у него на столе, и отыскал в ней бумажку.

— Вы знаете, отец Федор, Гаврила Клумака? — поглядел он на него сквозь очки в золотой оправе.

— А как же, — ответил о. Федор. — Наш, кленовчанин. В Америку уехал.

— Был в Америке, а теперь возвращается назад.

— Интересно, — усмехнулся о. Федор, — как он там. Этот из таких, что везде свое возьмут.

— Видно, взял. Он теперь под опекою наших американских братьев. Нужно помочь.

— Чем именно помочь, отец Павел?

— Вы меня не поняли. Помогать нужно не ему. У него все нужные указания имеются. Наше дело маленькое...

— Проследить?

— Теперь вы меня правильно поняли, — проговорил о. Павел, — четыре глаза видят больше, чем два. Наши братья очень интересуются тем, как будет работать здесь Гаврило Клумака.

— Хорошо, — сказал о. Федор. — Организую.

— Вы получили деньги за вашу информаторскую работу? — спросил о. Павел.

— Получаю. Исправно.

Осенний ветер шумел за окном. В туманах кутались далекие горы.

5

Гаврило Клумака сошел с парохода и остановился. Он не мог не остановиться...

Прошли пассажиры первых классов, вместе с которыми Гаврило ехал на пароходе. Их ждали машины, ждали знакомые и родственники. И только после этого, как узловатые канаты, начали выматываться из трюмов «Колумбуса» несколько людских потоков.

Люди вышли, остановились на набережной и, как перелетные птицы посреди неведомого острова, озирались

по сторонам, будто искали, к кому им обратиться на этой земле, кто им может пособить?

Но Клумак только ежился, завидев их. Нет, он не пойдет к закарпатцам. Какие они земляки ему — эти грязные, оборванные, зеленоватые после долгой качки в океане люди? Он называл их землячками там, за сизым океаном, где на них можно было кое-что заработать.

Равнодушными, холодными глазами он долго глядел на людей, вышедших из чрева парохода; не спеша направился к стоянке автомобилей и поехал на другой конец города, на вокзал.

Словно по военному лагерю, ехал Гаврило Клумак от Гамбурга, через Брауншвейг и Магдебург, на Прагу и дальше через Брно, Кошице и Чоп в Закарпатье.

Изменилась Германия! Когда Клумак восемь лет назад проезжал по этим местам, здесь было тихо, мирно, покойно.

Казалось, лихорадка трясла теперь Германию. Повсюду высились корпуса новых заводов, и ржавый дым от них летел над полями. Вокруг городов тянулись военные лагеря, в полях во многих местах тускло мерцал асфальт аэродромов, на станциях стояли воинские эшелоны, по улицам городов шли колонны, и над ними реяли флаги со свастикой.

Чехословакия, Прага. Да какая же это Чехословакия, что это за Прага? Немецкие солдаты, немецкие песни!

Венгрия! Та Венгрия, которую вдоль и поперек изъездил Клумак. Но даже в том небольшом уголке Венгрии, где проходил поезд, Клумак увидел и танки, и самолеты, и колонны солдат.

«Потрудилась Америка, — думал он, сидя у окна. — Действуют американские доллары!»

Он знал, против кого настраивалась военная машина. Правильно говорил мистер Стог в Америке — пускай ссорятся, грызутся, воюют, наше дело ждать, пока все перекипит, а тогда действовать по-готовому.

Над тем, почему его называли когда-то австрийцем, в Америке считали американцем и даже паспорт за милую душу дали, почему сегодня он едет в Чехословакию, а может быть, попадет и в другое государство, — надо всем этим Гаврило Клумак долго не задумывался.

В молодости, помнится, задумывался, когда перед выборами наезжали в Клены агитаторы и наперебой кричали так, что и не разберешь, кто именно из них кричит: «Русины мы...» — «Мы карпато-русы...» — «Угро-русы есьмо...» В семье Клумаков голосовали за «единичку»¹. Сказано: не то, что роднее, а что выгоднее. Вы хоть чубы друг другу пообрывайте, голосуйте, за кого хотите, лишь бы против четверки. Четверки — избави бог!

Четверка же, понятно, на выборах принадлежала коммунистам. Они не наезжали перед выборами в Клены, не становились на столы, не вели многословных речей, как другие. А вот чувствовалось, что они — все время к Кленах, существует и делает свое дело их организация. А особенно — Борканюк. Еще бы, землячок, ясеновский. И единомышленников у него — армия. Не зря же его и в чехословацкий парламент избрали. Голосов столько набрал, что все партии пересилил. Не Клумаки же его выбирали, — все тут коммунисты!

Клумак слушал раз, другой Борканюка, — почему и не послушать? Он — Гаврило — такой, что кого угодно может слушать. Раз, помнится, пошел в Нью-Йорке в парк, послушать ораторов. Выходили там всякие: и господа, и попы, и ученые, и женщина даже.

А то вышел негр. Черный, точно из шахты вылез. Волосы на голове, как войлочная шапка у чабана, на теле рубаха насквозь светится, штаны до колен и башмаки на босу ногу.

Вышел и начал. Руки к небу подымает, будто солнце хочет обнять, глаза у него как угли, грудь как кузнечный мех ходит, башмаками пристукивает.

Что он там говорил — Клумак не понял. Пусть послушают другие. А эти другие — господа какие-то там, торговцы, монахи — не дали много и поговорить негру. Со стола его, в кулаки. До крови избили. И Гаврило руку приложил. А чего ты лезешь, если негр?

Олекса Борканюк, правда, не черный. Но именно о нем и о таких, как он, говорил мистер Стог, что это и есть наибольшая опасность. Да Стог мог этого и не го-

¹ Е д н и ч к а — список № 1 аграрной партии, на выборах в буржуазный чехословацкий парламент.

ворить! Уж кто-кто, а Клумаки знают, что такое большевики.

Тем же поездом, каким Гаврило ехал из Чопа, ехало в Ужгород много венгерских солдат.

«Что ж, пускай поживут здешние люди под Венгрией,— думал Клумак, шагая по улицам города.— А мы — на Карпатской Украине».

Его интересовало только одно: получил ли уже Подкарпатский банк его доллары, которые были переведены филиалом банка из Америки. Его успокоили — перевод только что получен. Клумак мог ехать дальше.

6

Выехать из Ужгорода было легко. По шоссе на Мукачево шли непрерывным потоком машины и подводы, нагруженные шкафами, столами, стульями, картинами и всяким домашним добром. Перевозились учреждения «Хустского правительства», ехали и сами чиновники с женами, детьми, любовницами, они везли в Хуст все, что только могли захватить в Ужгороде.

Гаврило Клумак уговорился с каким-то шофером, что тот за совсем малую плату подкинет его в Хуст. Но когда он в назначенный час разыскал шофера, то даже похолодел — на машине стояло несколько человеческих скелетов, валялись черепа...

— Что это вы, на кладбище? — спросил Клумак.

— Экспонаты,— ответил шофер.— Хустское правительство музеей с собой везет.

— О, тогда другое дело,— ободрился Гаврило.— Что ж, поехали. Но если уж так, то лучше я с вами рядом, в кабине сяду.

И они поехали очень быстро и без всяких остановок через Мукачево, Береговое и Севлюш, потому что, если даже и пробовали где остановиться, к ним подходили местные люди и просили убираться подальше и поживее со своими мертвяками.

— Что вы, знахари какие или чародеи? А ну, поезжайте!

Так они попали в Хуст. Клумак расплатился и попрощался с шофером на окраине города, чтобы никто не

видел, как именно он приехал, прошел пешком по городу и остановился перед гостиницей.

Номера в гостинице Клумак, однако, не получил. За большую плату ему дали там приют, и то на одну ночь, в подвале, превращенном в общежитие.

И кого только не было и в этом подвале, и на всех этажах здания гостиницы! Сборище людей, которые, как клещи, заполонили все этажи, давало полную картину того, что представляет собой волошинское правительство, кто на него возлагает надежды и на кого оно само опирается.

Тут жила супружеская чета князей Долгоруковых, в давно минувшие времена владевших имениями на Черниговщине, рядом с ними занимал комнату бывший екатеринославский фабрикант Найдис, были тут выгнанные с Украины гетманцы и петлюровцы, атаманы и бандиты. Все они отродясь совести не имели, теперь утратили всякое человеческое подобие, но и наяву и во сне продолжали мечтать о свержении советской власти и о своем возвращении в Россию и на Украину. За свою жизнь к каким только правительствам самых различных стран они не кидались, давно продались им со всеми своими потрохами.

Был между ними, например, помещик с Полтавщины, Давыд Левицкий, который по своим документам числился подданным персидского шаха и эфиопского негуса.

Клумак ночью разговорился с этим персо-эфиопом с Полтавщины, оказавшимся его соседом по подвалу.

— И как же вы, пан Левицкий, до этого дошли? — спросил он. — Перс вы или эфиоп, как прикажете считать?

Давыд Левицкий долго скреб небритый свой подбородок, уставясь припухшими глазами в стену, по которой ползали клопы, и наконец сказал:

— Если бы я вам еще рассказал о своем вероисповедании, то вы бы и подавно руками развели. Я, — приготовился он считать по пальцам, — православный, римско-католик, греко-католик, кальвинист, австралийский реформатор, канадский протестант, буддист, магометанин...

— Ого-го! — вырвалось у Клумака.

Еще раз здесь, в грязном Хусте, по команде венских арбитров и с благословения Америки все эти подонки,

а вместе с ними и Давыд Левицкий, метнулись к Августину Волошину. И он принимал их, давал квартиры, пособия, платил деньги из «Американского комитета гражданской информации», — ему нужны были головорезы и душепродавцы. А головорезы и душепродавцы из этой сволочи были отменные.

В тот же вечер Гаврило Клумак оказался в помещении «Хустского правительства» и встретился с премьером правительства Августином Волошиным. Волошину было уже под семьдесят, голова у него была голая, как колено, он настолько плохо видел, что, когда читал, чуть ли не носом терся о бумаги...

Но был он старикашка на диво подвижной и живой и, как Клумак успел заметить, жадный, ненасытный, загребущий.

Он долго, пытливо сквозь свои очки глядел на Гаврила Клумака, когда тот вошел в кабинет, точно прикидывал — подходящий ли это человек для его целей. Осмотр удовлетворил его — усмешка пробежала по лицу премьера.

— Садитесь, прошу вас, пан Клумак! — сказал он. — Садитесь!

Клумак уселся в кресло.

— Сердечно благодарю. Рад приветствовать пана президента.

— Так вы, пан Клумак, были в Америке? — поднял голову Волошин.

— Восемь лет, пан президент.

— Это хорошо, хорошо. И как там, скажите?

— Что ж! Скажу коротко. Очень интересная страна. Статуя Свободы, небоскребы, а уж света, света...

— Это вы про внешний вид. А люди как там?

— Люди, я вам скажу, подходящие, крепкие, коммерческие люди. Эти возьмут, где и не клали.

— Так, знаю. А нами они как, интересуются?

— Интересуются, пан президент, да еще как. Я бы, может, и не поехал оттуда, потому что мне там было, прямо скажу, хорошо, но они мне сказали: Карпаты сейчас в огне, вы только там должны быть...

— Я знаю об этом,— процедил Волошин.— А о деловой помощи нам они говорили?

— Да как же? «Стандарт ойл компани», и «Дженерал моторс», и Зингер, и Вулворт. Они такие люди, пан Волошин, что если их что интересует, то не выпустят из рук... Помогут. Тут у меня и письмо к вам...

Он вынул из кармана письмо.

— Вы ехали через Германию? — спросил почему-то Волошин, прежде чем прочитать письмо.

— Да...

— А в Праге не останавливались?

— Зачем? Я уж скорее сюда.

— Это хорошо,— проговорил Волошин и только тогда пробежал письмо.— Так,— продолжал он.— Ага... умгу... так, так! Что ж, за письмо — спасибо. Мы, конечно, все это знаем, но свежее слово, новая информация об Америке нас очень интересуют.

Он помолчал.

— Что же вы теперь собираетесь делать, пан Клу-мак? — спросил Волошин.— Может, вас в какое-нибудь министерство?..

Гаврило подумал, вспомнил Давыда Левицкого.

— Нет, видно, поеду я пока что в Клены.

— Знаю, бывал. Хорошее село. Это неплохо, что вы туда едете. И там будете?

— Там, пан президент.

— Ну и хорошо,— сказал Волошин.— Нам везде нужны люди, особенно там, на Верховине... Американец на Верховине... Чудесно!

— Погляжу...

— Приглядитесь, расспросите... Возрождение... Новая эпоха!.. Я вас познакомлю с паном Реваем. Он вам подробно расскажет о политике партии «Украинское национальное объединение» в отношении русинов...

— Пан Волошин,— сказал Клумак,— что касается этого населения, так оно у меня в печенках с малых лет сидит.

— Ха-ха! — засмеялся Волошин.— Люблю за откровенность. Сидит, говорите, в печенках? Понимаю вас. Народ тут действительно дикий, темный, и если им не руководить, ничего не выйдет...

— Да уж... Борканюкам только дай волю...

— А вы и Борканюка знаете?

— Я, пан Волошин, знаю его еще вот таким.

Волошин был очень доволен и стал серьезным.

— Пан Клумак,— сказал он.— Вы поняли, что я думаю. И это хорошо, очень хорошо. Вы не напрасно приехали из Америки. Тут идет такая борьба, какой еще не знали Карпаты. Этих самых Борканюков мы должны стереть с лица земли... И в этом деле я на вас возлагаю большие надежды...

Ночью, после свидания с Реваем, оформившись в партии «Украинское национальное объединение», Клумак выехал поездом на Солотвин.

7

А пока «американец с Верховины» ехал в горы, Августин Волошин беседовал с командиром «сечевых стрельцов» Иваном Рогачом. Им легко было договориться — Рогач был воспитанник Львовской католической духовной семинарии, Волошин закончил католическую семинарию в Закарпатье. Два католических ксендза только недавно сбросили свои рясы, и хотя один из них надел стрелецкую форму — мундир немецкого офицера, а другой — штатский сюртук премьера, но от этого совсем не изменились их души.

— Слава Иисусу,— говорил Августин Волошин.— Вот мы и в Хусте, правительство разместили, людей пристроили. Итак, есть республика,— указал он за окно.— Нужно только помнить об одном: скорее и как можно скорее очищать Закарпатье от коммунистов. Наши отряды должны немедленно выехать в села и выявлять всех, кто ориентируется на Восток. Выявить и забрать. Там на месте нужно связаться с нашими людьми и, конечно, с католическими священниками.

Отдохнув немного после беседы с Рогачом, Волошин вызвал к себе двух братьев Ревай, из которых Юрий именовался теперь министром внутренних дел, а в действительности был начальником новосозданных концентрационных лагерей, а Федор стоял во главе партии «Украинское национальное объединение», созданной по образцу фашистской партии в Германии.

Волошин был недоволен работой братьев.

— Какие вы помощники? — начал он. — О чем думает ваше министерство? Почему молчит партия? Вы поймите! Мы только что приехали в Хуст, только начинаем работу, собираемся да раскачиваемся, а они уже и здесь...

Он ткнул под нос Юрию Реваю листовку, и тот громко прочитал:

— «Трудящиеся Закарпатья! Коммунистическая партия призывает вас к беспощадной, непримиримой борьбе с врагами украинского народа, с продажной шайкой «Украинское национальное объединение» во главе с...»

— Довольно! — завопил Волошин. — Вы бы еще вышли да на улице прочитали. Министры, командиры, начальники! Коммунисты у вас под носом ходят, а вы спите...

— Пан Волошин, — попытался успокоить его Юрий Ревай, — Коммунистическая партия запрещена, их организации уничтожены, Борканюк бежал...

— «Уничтожены», «бежал», — передразнил его Волошин. — Что ж, по-вашему, я печатаю эти листовки? Эх, на выучку бы вас к отцам василианам, по монастырям разослать, а тогда уж на работу. Вам бы все готовое, на тарелочке. А нужно по-другому — этак бочком, бочком пролезть в их партию, провести подготовительную работу, убедить руководителей, что нужно назначить день и час для восстания, а за день до восстания всех и выловить.

— Мы это делали, пан Волошин. Иван Пасько недавно прибыл из Берлина.

— Знаю. И что же этот Пасько?

— Труп его выбросила Тисса.

— Так пошлите другого — Гаська, Маська, Стеська.

— Пробуем. Но чем дальше, тем труднее работать.

— Тогда брать всех подряд! — рассвирепел Волошин.

Федор Ревай помогал брату.

— В Думене уже больше тысячи...

— Нужно сто, двести тысяч! — задыхался Волошин. — Да, да, нужно истребить половину непокорных бунтовщиков, а вторую половину заковать в кандалы... Опришки... Довбуши... Слышите? Наша задача — уни-

чтожить всех, кто хоть сколько-нибудь сочувствует коммунистам.

И вышли от Августина Волошина два брата Реваи — Федор и Юрий — черные и страшные, как ночь.

Потом Волошин принял представителя гестапо Гофмана, который приехал в Хуст раньше премьера.

— Поздравляю вас с новосельем, — сказал Гофман, обстоятельно оглядев кабинет. — Что ж, для начала и это неплохо.

— Да, да, — согласился Волошин. — Тесновато, правда. И беспокойно очень, герр Гофман. В Хусте есть разные элементы, и в окрестных селах. Я уже не говорю о горах.

— Это все зависит от вас, — поучительно говорил Гофман. — Вам предоставлены исключительно большие возможности и широкие прерогативы во всем крае.

— О! — загорелись глаза у Волошина. — Прерогативы мы сумеем использовать. Но, герр Гофман...

— Я понимаю вас, — предупредил премьер-министра Гофман. — Вы вполне можете рассчитывать на нашу помощь и вооруженные силы...

— Спасибо, герр Гофман, — низко склонил голову Волошин. — Передайте, пожалуйста, господину Риббентропу и, по возможности, фюреру, что мы никогда не забудем...

— Это, конечно, будет сделано, пан Волошин, — ответил Гофман, — но я просил бы вас помнить, что внутреннюю жизнь в вашей республике нужно наладить так, чтобы все отвечало интересам Германии. Прежде всего речь идет о полном уничтожении коммунистов и всех, кто им сочувствует. Рассматривая Закарпатье как плацдарм, мы должны подумать и о сооружении военных укреплений в горах.

— Все, что в наших силах, — заверил Волошин.

В ту же ночь Волошин принял еще одного представителя — уполномоченного премьер-министра Венгерского королевства.

— Поздравляю вас, глубокоуважаемый пан Волошин, и желаю... — начал представитель.

— Что вас интересует? — перебил его премьер-министр.

— Я уполномочен передать вам,— продолжал представитель,— что те хорошие отношения с венгерским правительством, которые у вас с ним существовали на протяжении тридцати лет...

— И за которые мне платили жалкую сумму — какую-то тысячу корон в год,— засмеялся Волошин.

— Пан Волошин,— засмеялся и представитель,— если на бирже существует только один курс, это говорит о крахе. Я уполномочен заявить вам, что правительство обещало поднять курс...

— До той суммы, какую я назову?

— Да, даже до той суммы, какую вы собираетесь назвать. Но при условии, что ваш курс останется неизменным.

— Понимаю,— проговорил Волошин и задумался.— Ах, этот граф Кароль Кгуэн-Гейдервар! Он таки перехитрил меня в тысяча девятьсот девятом году. Вы подумайте — я даю ему обязательство писать в журнале «Наука», который мне тогда пришлось редактировать, только «наше венгерское правительство», «наша венгерская национальность». И за все это две тысячи корон? Нет, нет, так дешево меня второй раз уже не поймаете. Вы думаете, легко отстаивать права русинов и одновременно служить вам?

— Пан премьер-министр,— сказал представитель правительства Венгерского королевства.— Мы знаем, какая это сложная работа, и, естественно, готовы удовлетворить ваши претензии...

— Что ж,— кивнул головой Волошин.— В этом случае мой курс остается неизменным.

8

В Клены Гаврило Клумак добрался на машине. Он не хотел ехать на какой-нибудь там попутной крестьянской подводе. Подумают еще, будто он возвращается из Америки без денег.

И как раз тогда, когда он на базаре решал сложный вопрос, как двигаться дальше, подвернулась машина, которая ехала на перевал за Кленами. Гаврило Клумак даже не заплатил ничего шоферу, а сел за «алдомаш»¹.

¹ Магарыч (венгерск.).

Вместе выпили румынки и позавтракали в Солотвине, перекусили и выпили палёнки в Рахове — вот и все!

На окраине Кленов Гаврило Клумак попросил шофера остановить машину, вылез, огляделся. Странное дело! Он не был здесь много лет, здесь лежал на кладбище его отец, здесь прошли и детство и юность Гаврила. Казалось, это были родные ему места, но все, что увидел он в эту минуту, нисколько не взволновало его, в верховинском пейзаже он не почувствовал ничего привлекательного, ничего родного. Его внимание не привлекли ни горы, ни леса, ни полонины, не поразили его зеленовато-серый ручей, не взволновали запахи дымков и хат. Его заинтересовало только одно — сколько еще в селе хат развалилось, много ли деловой древесины у братнего тартака?

И еще одно беспокоило Гаврила.

— Ты меня подвези вон к тому дому,—сказал он шоферу,— и так, чтобы слышно было! Погуди! Погуди!

Шофер прибавил газу, загудела сирена, и машина, разбрызгивая снег и грязь, всполошив свору черных псов, которые выскочили из дворов и погнались следом, промчалась по улице и остановилась у клумаковского двора.

Немой Осип — он сильно постарел и даже почернел за эти годы — выбежал на улицу, подхватил чемодан. Шофер попрощался и поехал дальше на перевал.

Клумак не спеша прошел по двору, остановился у крыльца и огляделся. И тут его все раздражало: и то, что у крыльца валялся мусор, и что куры сидели на цементном круге колодца, и что двери амбара были распахнуты настежь.

— Непорядок!—сказал Клумак.—Ой, какой беспорядок.

Окончательно же вывело его из себя то, что в коридоре лежала кошка, а возле нее несколько котят.

— Утопить!.. В ручей! — крикнул он Осипу.— Не хватало мне еще котов кормить.

— Слава Иисусу! — начал Гаврило, войдя к Дмитру.

— Вовеки... Смотри, Гаврило! — сказал Дмитро.—

Что ж это ты глаз не кажешь? Забыл брата. Варвара! А ну, иди сюда! Посмотри, кто к нам пришел.

Братья обнялись и поцеловались — холодно, бесстрастно, как прикладываются к иконам. Вошла Варвара, также холодно поздоровалась и исчезла в кухне.

Гаврило и Дмитро уселись и вполголоса начали беседу.

— Совсем приехал? — спросил Дмитро.

— Совсем.

— Ну, как там, в Америке?

— Страна хоть куда. И статуя Свободы, и небоскребы, а уж света, света...

— А заработки как там?

— Это как кому. Голову и там нужно иметь.

— А ты как?

— Ничего. Заработал малость.

— Хоть на год-два хватит?

— Нет, думаю, что и на десять будет.

Дмитро завистливыми глазами оглядел брата, его костюм, башмаки.

— Обжулил американцев?

— А тебе что, жалко их?

— Черт с ними. Я о тебе говорю.

— А что ж, — произнес значительно Гаврило. — Сам знаешь — Клумаки!

— Мы таковские! — горделиво усмехнулся Дмитро.

И вдруг Дмитра прорвало:

— Ты вот едешь, комбинируешь, а тут прямо зарез. Что такое? И живем вроде по закону, и не убиваем людей средь белого дня, а кругом враги и только враги. Ну, прямо осатанел народ. И на тартаке и на бутине¹. В горы и показаться не пробуй — опришки там не переводятся. Ох, эти горы! Если не Довбуш, то Баюрак, если не Баюрак, то Шугай². Но те все уже мертвы, а Борканюк жив. И не один уже он, а много этих Борканюков. Ей-ей, еще немного, и нас, как отца, зарежут.

— Это правда, — согласился Гаврило. — Нож у каждого из них за голенищем. А о чем вы думаете?

— Так что ж нам, по-твоему, делать?

¹ Б у т и н — арендованный кулаком лесной участок.

² Д о в б у ш, Б а ю р а к, Ш у г а й — вожаки опришков.

— Бороться...

— Бороться? — прищурил глаз Дмитро. — Ты думаешь, я об этом не размышлял? Да разве мы не боролись? И на австрийцев, и на мадьяр надеялись, кого только сюда не приглашали? Но на кого теперь опереться? На чехов надежда слабая, у них самих хата горит. Венгрия? Так, видно, мы не входим в ихние планы. Теперь Волошин. Я ж его знаю — и его, и всех этих Панкевичей, Гирчаков, Пашковских. Люди вроде и хорошие, только слабосильные...

— Эх, Дмитро, Дмитро! — хитро подмигнул Гаврило. — И ты и я — мы все сами по себе малосильные, а сила наша в капитале, вот попробуй, возьми нас. Сами любому горло перегрызем. И Волошин, уж будь уверен, сам по себе не явился. В такое время, и на тебе — республика! Значит, мы, — Гаврило ткнул себя пальцем в грудь, — кому-то понадобились...

— Как будто так! — согласился Дмитро. — Видно, кому-то понадобились...

— Маленькая республика в горах, — размышлял Гаврило, — но к ней можно присоединить и большую республику... Вон ту, что за горами. Думаешь, Волошин это придумал? Нет, это всемирный план против большевиков.

— Уж и всемирный!

— А что ж! Вот и Америка к Закарпатыю подбирается. Тут и богатства, и ворота на восток. Есть бизнес!

— Не пойдут они, — сказал решительно Дмитро. — Очень далеко, океан.

— Других пошлют. Германия, сам видал, готовится...

— А по мне — кто угодно, — загорелись глаза у Дмитра, — лишь бы только уничтожить этих опришков.

Гаврила Клумака встретил в поповском дворе сам о. Федор. Он, видно, собирался идти в церковь или к кому-то из прихожан, но, увидев гостя, возвратился домой, принял Клумака в своем кабинете.

— Вы откуда же? — спросил он. — Из Европы или, может, в Бразилии, в Аргентине побывали?

— Нет, батюшка, прямо из Нью-Йорка.

— О, значит, повидали свет! Как там?

— Интересная страна,— сказал Клумак.— Статуя Свободы, небоскребы, а уж света, света... И американцы ничего, скажу я вам, люди. У них нет шахер-махера, а все начистоту. Лишь бы деньги...

— Выходит, вас не обидели?

— Что вы, пан-отец. Напротив, я очень, очень доволен ими.

— Это хорошо,— сказал о. Федор.

И хотя ему нужно было многое выпытать у гостя, но начал он издалека:

— А как вы там, сын мой, исповедовались ли?

— Постоянно, отец духовный. Только пост настанет, я и говеть. Есть и в Америке наши церкви. Борьба там идет, батюшка, между церквями... Есть такие, что держат руку митрополита Платона, есть обновленский митрополит Иван Кедровский, но есть и наш земляк, епископ с Карпат, Адам Филипповский, он отстаивает в Америке интересы его святейшества папы...

— Вот как! — даже схватился за ручки кресла Федор Стрыпский.

— Подлинная баталия случилась там между митрополитом Платоном и Адамом... — увлекся воспоминаниями Клумак.— До того дошло, что они друг дружку по судам таскали, в тюрьмы сажали... А тем временем третий епископ, Александр, продал тайком сто пятнадцать церковных домов и сбежал в Европу. Пришлось уж нам поддержать нашего епископа Адама. Мне это обошлось в двадцать долларов...

— Боже мой! Боже мой! — вздохнул о. Федор.— Всюду борьба, всюду споры и раздоры...

— Да, да, батюшка, — вздохнул и Клумак.— Это правильно. Нашей церкви с трудом приходится пробивать себе дорогу. Но стараются. Я, правда, больше в нью-йоркский собор ходил. Хороший там священник — отец Гордон. А архиепископ нью-йоркский Френсис Спеллман! Какая фигура, какой голос! За американскую демократию и против большевиков.

Ни один мускул не дрогнул на лице у о. Федора.

— Очень хорошо,— сказал он,— что вы на чужбине не забывали святой церкви. Но советую заглянуть и в наш убогий храм. После всего этого — Америки, Нью-Йорка... надо очиститься,

- Непременно зайду, пан-отец!
- Никуда не собираетесь ехать? — спросил о. Федор.
- Пока нет... Я это, признаться, заехал по дороге в Хуст... у пана Волошина на приеме был...
- И как он вам?
- Понравился... Решительный человек. Мы с ним сошлись, батюшка. И верно, почему нам не иметь своей республики...
- Так, так, — неопределенно протянул о. Федор.

9

Уже почти стемнело, когда возле лачуги механика лесопилки Ласло Потоки остановился прохожий. Он постоял у забора, оглядел дорогу, село, хатки, а потом открыл калитку и вошел.

— Нельзя ли у вас напиться? — спросил он у женщины, которая, услышав шаги, вышла в сени.

— Прошу вас, уважаемый пан, — ответила жена Ласло Коти, — она всегда была вежлива и гостеприимна, — и пригласила прохожего в дом.

Он вошел, напился воды, спросил:

— Что это хозяина не видать?

— Мой муж работает механиком на тартаке в селе...

— Значит, зовут его...

— Ласло Потоки...

Прохожий посмотрел на темное окно.

— А когда Ласло Потоки будет дома?

— Он вот-вот должен прийти, — сказала Коти.

— Так, может быть, вы позволите мне обождать здесь вашего мужа? — спросил прохожий. — У меня есть дело к Ласло Потоки, — пояснил он.

— Пожалуйста... Не хотите ли с дороги закусить? — предложила Коти.

— Спасибо, — ответил прохожий. — Я не голоден.

И замолчал.

Коти хлопотала по хозяйству, несколько раз пыталась заговорить с прохожим, спросила, откуда он идет и куда направляется. Но прохожий отвечал скупое, неохотно, и она так и не поняла, что привело его сюда. И даже когда

пришел сам Ласло Потоки и заговорил с гостем, Коти не удалось удовлетворить свое любопытство.

— Тут тебя ждут,— сказала Коти, едва Ласло переступил порог.

— Я слушаю вас,— проговорил Потоки и посмотрел на прибывшего.

— Товарищ Ласло? — спросил прохожий.

— Да! — ответил Потоки и быстро шагнул вперед.— С кем имею честь говорить?

— Я издалека,— сказал гость и взглянул на жену механика.

Ласло понял и обратился к жене:

— Я хотел тебя попросить...

— У меня много работы во дворе,— догадалась она.— Мне еще нужно подоить козу и принести дров и воды...

— Извини, Коти,— виновато сказал Ласло,— но я нынче не смогу тебе помочь.

— О, я сама управлюсь,— ответила она и вышла из комнаты.

— Садитесь! — пригласил Ласло гостя и повторил свой вопрос: — С кем имею честь говорить?

— Зовут меня Степаном,— начал гость,— а послали меня к вам наши друзья.

— Я слушаю тебя, Степан,— придвинулся ближе к гостю Потоки.

— Настали тяжелые времена,— начал Шегута.— В конце октября полиция разгромила помещение ЦК Компартии Чехословакии в Праге, через день в Ужгороде вышел манифест о роспуске всех партий и о создании «Украинского национального объединения», а еще через несколько дней правительство Волошина выпустило манифест о роспуске Коммунистической партии в Закарпатье.

— Тебе нужно перейти границу? — спросил Потоки.

— Ты меня не понял,— ответил Шегута.— Я пришел по другому делу.

— Ты коммунист?

— Да, я член Коммунистической партии, но не собираюсь переходить границу. У меня другое поручение. Я могу рассчитывать на тебя?

— Вот рука товарища и друга,— сказал Потоки.

— Спасибо! — поблагодарил Шегута.— Теперь перейдем к делу. Центральный Комитет в Праге действует и борется, действует краевой комитет и у нас в долине, существует и работает вся коммунистическая организация. И я пришел к тебе, чтобы сказать, что нам нужно развернуть работу и здесь, у перевалов. Краевой комитет для этого послал меня сюда, на Верховину. Пришел я сюда не на день, а на долгое время. Кто знает, сколько это может продлиться? Значит, мне нужно где-то здесь найти работу.

— Может, устроить тебя на тартаке? — задумался Потоки.

— Я хотел бы попасть туда, где больше рабочих,— например, к лесорубам...

— Это еще проще. У тебя, надеюсь, есть документы?

— Для них документы найдутся...

Коти долго ждала, пока Ласло позовет ее в дом. Она подоила козу, нарубила хворосту, принесла воды из горного потока — Ласло все ее не звал и не зажигал огня. Было уже совсем темно, когда Потоки с гостем вышли из дому и направились куда-то по улице.

Коти зажгла свет в доме, приготовила ужин на троих. Но Потоки возвратился один, гостя с ним уже не было.

Она не спросила, куда ходил Ласло, не спросила, кто был их гостем, только сказала с сожалением, указывая на хлеб, миски с картошкой и капустой на столе:

— Нужно было бы его покормить. Разве так можно, Ласло?

Он подошел, сел за стол, поднял на нее ласковые глаза и проговорил:

— Ты знаешь, Коти... Есть вещи, которые нужно забывать... Ты забудь, что у нас нынче кто-то был в доме. Убери, Коти, со стола одну тарелку, а то невзначай кто-нибудь войдет.

Она молча убрала тарелку. Коти, как и Ласло, умела молчать.

Долго добирался Данило Ковач из Гамбурга в Клены. Пожалуй, легче было ему переплыть через океан,— упал в трюм в Нью-Йорке, встал в Гамбурге. Голодал? Да, семь суток голодал, дрожал каждую ночь на железном полу парохода, а все-таки ехал, приближался к земле.

А на земле было куда труднее. У него не было ни долларов, ни марок, ни корон,— приходилось рассчитывать только на собственные ноги. А далеко ли ноги понесут? На площадки товарных поездов его не пускали, со ступенек классных вагонов сталкивали. «Только военные! Только военные!» А Данило Ковач был не военным, а мирным человеком и жаждал только одного: вернуться наконец из этой проклятой Америки в родные Клены.

Он жадно глядел на окна ресторанов, за которыми ели и пили немецкие господа и гитлеровские офицеры, сплевывал горькую слюну на мокрый асфальт перронов, смотрел на длинные эшелоны, к которым его близко не подпускали, и все-таки цеплялся на ходу, зарывался в уголь, где нечем было дышать, лежал между бревнами и ждал, что его вот-вот раздавит,— но ехал дальше и дальше на восток, все ближе, ближе к Закарпатыю.

От Мукачева он пошел пешком — что значит какая-нибудь сотня километров после нескольких тысяч пути? И с харчами стало легче. Правда, он обходил усадьбы в долине, огороженные каменными стенами, за которыми рычали псы. Но смело входил в хижины на околицах, в землянки, где ютились цыгане. Обитателям этих хижин и землянок было очень трудно, голодно, но они последней краюхой делились с человеком, который шел из Америки.

«Так говоришь, земляк, и в Америке той нам не светит? Вот, значит, где правда. Когда наши хлопцы ехали туда, вербовщики рай обещали. Расскажи же нам про ту Америку, расскажи!»

Короткими, обрывистыми фразами, как умел, говорил Данило. Пароход «Колумбус» прошел по океану, и след

его смысла волна. А Данило Ковач шел долиной Тиссы, затем свернул в горы, а позади, в убогих хижинах, оставался след, и его ничто не могло стереть — слово правды про хищную Америку.

Так он дошел до Кленов. Долго стоял на околице и смотрел на широкую улицу, которая вела к центру села, на горный поток справа между скалами, на тартак Клу-мака и хатки, темневшие то здесь, то там среди деревьев. Это была очень неприглядная картина.

Но убогий уголок Верховины был милым и родным его сердцу. Здесь он родился, здесь рос, горевал, здесь жили такие же, как и он, нищие люди. Он знал — пройди по селу, покажись людям, и из каждой черной хаты кто-нибудь выйдет, скажет:

— Да это ж наш Данило! Откуда ты взялся?

И не только спросит, а возьмет за руку, приведет в убогую свою хату, поделится ложкой похлебки и последним кусочком овсяного хлеба, сядет с ним рядом, выслушает, скажет:

— Боже мой! Чего только ты не натерпелся на чужой стороне! А теперь слушай, Данило, что творится здесь, у нас на Верховине...

И полется горькая и жгучая исповедь о великом горе, о муках, что роднят и сближают бедных людей.

Но Данило знал, что и до этого дойдет очередь, он еще успеет побывать в селе. А сначала и прежде всего надо поглядеть, что делается у него дома, где остались и отец, и братья, и Юлина...

Он круто свернул на тропинку в горы и, хотя устал от далекой дороги, а в гору тяжело было идти, все же спешил, поднялся на один пригорок, сбежал в долинку за ним, поднялся на другой, прошел через лес и остановился на лужайке.

Родная хата! Вот она! Такая же, какую оставлял и о какой мечтал долгими-долгими ночами за океаном. Низенькая, черная, два маленьких оконца, крытая дранкой крыша, из-под каждой дранки пробивается дым, будто хата тлеет.

Но хата не горела и не тлела. Это была обычная верховинская картина. Сквозь дырку в стене дым из очага выходил в сени, из сеней вился на чердак, а оттуда пробивался между дранками к небу.

Этот дымок, его запахи о многом сказали сердцу Данила. Горит огонь в хате, есть там живые люди, это они готовят похлебку на ужин...

— Эгей! — крикнул он радостно, на всю лужайку. — Кто там живой? Батько, Петро, Гриць, Юлина!

Быстрыми шагами он пробежал клочок земли, отделявший его от хаты, резко рванул дверь.

— Данило! — раздался навстречу ему крик.

На пороге хаты стояла сестра Юлина.

— Братик! — вскрикнула она и замерла, растерялась, а потом кинулась вперед, припала к его груди. — Так ты жив, воротился из Америки. А говорили люди: пропал Данило, нет его... Здравствуй, братик, здравствуй, милый!

Сестра горячими губами коснулась заросшей щеки брата, поцеловала, и он ответил жарким поцелуем.

Но из хаты больше никто не выходил, и ему стало отчего-то страшно.

— А где же батько? — спросил он.

— Да прощен будет, — сказала Юлина, как говорят на Верховине при упоминании о мертвых.

На минуту наступило молчание.

— А Петро, Гриць? — крикнул он.

— Да прощены будут... в ту весну...

Так вот почему никто не выходил из их хаты. Никого не осталось из семьи, только он да Юлина.

— Идем, сестра! — сказал Данило.

В хате он обвел тяжелым взглядом такие знакомые предметы: голый, незастланный стол, две скамьи, сбитую из нескольких досок кровать, деревянные миски, ложки, топор и — в углу — отцовскую палку с крюком. Потолка не было видно, его заволокло дымом. Знакомое все, как при дедах-прадедах, только родных людей не стало.

Данило отроду был молчалив, как его отец, как все бедняки Верховины. И теперь молчал.

— Расскажи, — сказал коротко и присел к столу, как был с дороги, не скинув даже порожнюю суму с плеч.

Юлина рассказала Данилу страшную, но вместе с тем такую обычную на Верховине историю.

Отец недолго болел после того, как уехал Данило, на другую осень его не стало. Все кашлял, пошла кровь горлом — и конец. Попа не было, потому что не платил отец на церковь. Да и наказывал отец, умирая:

— А к тому униату не ходите, не надо его, и так уж я прощен...

Трудно им стало без отца. Дмитро Клумак подал нотариусу расписку, которую взял с отца, когда давал деньги под коровку. Коровку молочную описали за долг, потом бохтар¹ объявил, что приехал экзекутор². За сто пятьдесят корон продали. Так что Клумакам они ничего не должны.

Но они бы еще держались, хоть без молока жили, только на картошке и воде. Хлопцы на бутин ходили, сплавляли плоты. Но в позапрошлом году лютая зима была на Верховине, и начался тиф. Из каждой хаты кого-нибудь выносили, а Петро и Гриць померли почти разом. Да они так ослабели, что недолго и лежали. Первые дни еще стонали, а там вроде заснули.

И сама Юлина болела, сразу же после смерти братьев слегла. Померла бы — в хате холодно, ни крошки хлеба. Но ее выходили чабан Сегинь и учитель Короджий. Хороший человек этот учитель, часто бывал в горах, заходил и к ним в хату. Подкормили, присмотрели, вот и выжила.

— Говоришь, учитель? А теперь? Как теперь живешь? Ведь сколько времени прошло.

— Так и живу, брат, есть же люди...

Он с беспокойством взглянул на нее. Неужели и ей довелось, как и ему, идти к этим клумакам, клочурякам, которые насмеются над человеком и ничего не дадут?

— Так ты с сумой пошла, сестра? Милостыню просишь?

— О нет, — зажегся в ее глазах огонек. — Нет, Данило, до Клумака я не пойду. Он нашего отца убил. На полонине я все лето была.

— На полонине? С чабанами? Да разве это девичье дело?

— Все так говорили. А вот Сегинь взял. Сам назвал меня, когда чабанов выбирали. Только недавно воротилась с гор.

Данило глядел на нее и сам себе не верил. Неужели это та дивчинка, с какою он прощался когда-то? «Юлина, Юлинка, Юлася», — у нее было много имен, и все

¹ Б о х т а р — сельский барабанщик, глашатай.

² Э к з е к у т о р — судебный исполнитель, сборщик податей.

теплых и нежных: ведь в холодной хижине в горах и родителям и братьям хотелось хоть словом согреть девочку. Была она тогда робкая и нежная, как птичка, которая съеживается от малейшего дуновения ветра, как былинка, что не видит солнца.

Изменилась теперь Юлина. Темные волосы, узкие брови, лицом бледная, высокая, тонкая и гибкая станом, а голубые глаза вспыхивают, играют, говорят о твердом характере. Она была как сосенка, что вырастает на скале. Под нею камень, рядом — черная бездна, ее пронизывают резкие ветра. А она капля за каплей вбирает влагу, живится каждой крохой земли, и вот выросла, гордо встала на скале — против ветров, против мороза.

— Так вот ты какая, сестричка! — вырвалось у Данила. — И выходили тебя учитель с Сегинем?

— Он очень хороший человек, наш учитель, — сказала Юлина. — Его все село уважает. Ты сходи, Данило, к нему. И к Сегиню пойдем вместе. Как чудесно было у нас на полонине!

2

Как по ступеням, с вершин спускалась зима. Выпал снег на хребте и на перевалах, словно сел там белый коршун и все ниже и ниже опускает в долину свои когти. Холодком повеяло над полонинами и долами. Выпадали вперемежку со снегом дожди.

Но старший чабан Сегинь со своими подручными все не покидал гор. Еще не зима, а уже голодно в хатах — нечего есть людям, нечем кормить скотину. Каждый лишний день, какой можно продержаться со скотиной на поблеклых вялых травах, — чистое золото. И чабаны переходили с полонины на полонину, боролись за каждый день и час.

Наконец настал последний вечер. Больше держаться было не под силу. Тяжелая сизая туча приползла с гор, расходился ветер, вот швырнул и снегом. Того и гляди подыметесь метель в горах, погибнет на тропах или же сорвется в бездну скотина.

— Приготовить к утру лошадей, навьючить их так, чтобы прошли по всем тропкам, — приказал Сегинь. — А ну, заиграйте в трембиту!

Каждая ночь торжественна и по-своему прекрасна высоко в горах, где только небо, леса и скалы. Но ни с чем не сравнить последнюю ночь на полонине: еще ярко горит огонь, который был зажжен весной и не угасал все лето, но знает чабан, что поутру огонь погаснет, забьет пепел снежком, и всю зиму будет лежать полонина печальная, опустелая.

...Сырые ветки изгибались, как бы ускользая от огня, но голубые и золотые язычки неотступно ползли за ними, обвивали,— и вдруг зашумел, разгорелся костер, как щедрый сноп, метнулось пламя, колосьями заиграли и полетели в бездонное небо искры. Будет полыхать еще одну ночь костер, пусть знают люди в долинах, что чабаны в горах не спят.

Перед костром, опершись руками на посошок, сидел, подобрав под себя ноги, старший чабан Сегинь. Три чабана — молодые еще хлопцы в промасленных шляпах, туго застегнутых киптарях, кожаных поясах — лежали вокруг костра. Был на полонине в эту ночь и желанный гость пастухов — Олекса Борканюк.

Он часто бывал здесь, на горных пастбищах. Не было окрест пастуха, который не знал бы родного своего Олексы. Да разве только пастухи? А лесорубы, беднота в селах? Все они знали, любили, уважали Олексу Борканюка.

Ветер утих, на полонине было тихо, только где-то далеко-далеко в лесу выл зверь да потрескивал огонь. И в тишине, как водится в эту ночь, старший чабан начал, а его слушали с загоревшимися глазами остальные пастухи.

— Давно, давно,— говорил Сегинь и смотрел в темноту, куда волной воздуха гнало искры,— на Марамороше было одно село. Далеко-далеко, между темными лесами, где солнце лишь изредка заглядывало в оконца маленьких хат. Трудно было там людям, потому что был над ними один пан, что жил в Рахове, а они на этого пана задаром должны были работать и с каждого урожая давать часть и подать платить.

Он говорил тихим, ровным голосом, и казалось, это струится по камням и рокошет горный поток, струится и будит отклик в сердце.

— А больше всего печалился,— продолжал Сегинь,— один бедный человек, старый Довбуш,— он в великой нужде жил со своею старухой и младшим сыном, не знал

он, как заплатить пану подать. Молодой Довбуш, Олекса, все лето ходил печальный с ягнятами на полонинах, слышал он от отца, что пан пообещал, если до осени не заплатят подать, забрать ягнят. А когда воротился с полонины домой, то увидел, что возле хаты стоит конь, на коне сидит пан и кричит на старика, вертит кожаную плетью. Хотел молодой Довбуш бежать назад с ягнятками, да уже было поздно, пан увидел его и закричал: «Сюда с ягнятами, ты, пес!» Довбуш подошел, и ягнята за ним. «Ну, идем! — крикнул тогда пан. — Пригонишь ягнят в мой двор». Загорелось у Олексы сердце. «Я не погоню, гони ты!» — сказал он. «Ты, пес! Ты смеешь говорить, чтобы я, пан, гнал ягнят! На...» — разъярился пан и хотел ударить Довбуша плетью по голове... Хлопец покраснел, затрясся от гнева, а потом высоко поднял свою палицу и так ударил пана по голове, что у того потемнело в глазах, брызнула из ушей кровь, а когда пан смог раскрыть глаза и неистово закричал — молодого Довбуша и в помине уже не было...

И сам Сегинь в этом месте рассказа так взмахнул своим посохом, ударил о вытопанную землю пастбища, что гул пошел.

— На следующий день, — вздохнул чабан, — пришли панские слуги с саблями, ружьями, искали Довбуша, но не нашли, только ягнят угнали. А молодой Довбуш в это время бродил по темным лесам и не знал, что делать. Домой не смел воротиться, а в лесу — что будет с ним зимой? Однажды шел по горам, по лесам, увидел курень среди густых деревьев. Вошел он туда и увидел старого деда. Дед обрадовался юноше, начал его расспрашивать, как попал в эти места. А когда Довбуш рассказал свою историю, не пустил его дальше дед, оставил при себе, выучил и сделал опришком, потому что был этот дед одним из самых знаменитых опришков в Карпатах. Выучив, дед намазал тело юноши какою-то мазью, после чего не брала Довбуша ни сабля, ни пуля. Только такая пуля могла его взять, которая была бы вылита из гвоздя подковы черного коня, подкованного впервые. И так стал Довбуш опришком; за два-три года собрал целый отряд, больше ста хлопцев, все, что забирал у богатого, бедному отдавал. Боялись его по всей округе паны, гонялись за ним, посылали на него войска, но не могли поймать, потому что он оказывался там, где его не ждали, и стал он

грозным опришком этих мест, а люди говорили, что и не умрет никогда...

И вот однажды среди белого дня на глазах товарищей взяла его пуля. Взяла, потому что сказал он, какая пуля может его взять, одной богатой женщине из долины; она сказала о том своему мужу Стефану, а тот вылил такую пулю и убил Довбуша. Лежит Довбуш на Черной горе, а где-то в Карпатах зарыты его сокровища. А еще где-то закопал он свой пистоль, и каждый год этот пистоль на маковое зерно поднимается, и когда выйдет совсем из земли, кто-нибудь возьмет его в руки и будет таким, как Довбуш...

Замолчал чабан, пошевелил посошком костер, и словно несколько роев золотых пчел один за другим взлетели в темное небо.

— А где же конец сказке, вуйко? ¹ — спросил Борканюк после долгого молчания.

— Было ли, не было ли, — ответил Сегинь. — Какой конец сказке — того не знаю. Может, ты скажешь, Олекса?

Олекса Борканюк глянул по сторонам.

— Знаю, — сказал он. — Сказка эта кончается тем, что пистоль Довбуша уже выходит из земли. Слышите?

Все молчали. Ветер с гор приносил шум лесов. Борканюк смотрел на огонь, следил за разноцветными язычками, раздуваемыми ветром, будто читал книгу, а потом поднял голову.

— Знаю точно, — заговорил Борканюк, — откуда сказка идет, знаю, для чего она сказывается. Да и сказка ли это? Ведь ты правду говорил, вуйко! С давних времен живем мы здесь, за Карпатами, оторванные от родного народа, эти горы стали могилой и для Юрия Дожи, который собрал под свои знамена семьдесят тысяч, и для Олексы Довбуша, и для Марусяка, и для Шугая.

— Правда, — говорили чабаны. — Это сущая правда, Олекса!

— И не удивительно, что они боролись, разве может стерпеть сердце? — продолжал Борканюк. — Вы взгляните на Карпаты! Зеленеют леса, широко раскинулись полонины, шумят горные потоки, есть в долинах и пастбища и щедрая земля. Всего вдоволь, чтобы жить, не зная болезней и голодной смерти... Но кому принадлежат эти

¹ В у й к о — дядя.

горы и леса? — Швейцарско-французской «Латорице». Чьи это земли вокруг? — «Латорицы». Чьи реки шумят в Карпатах? — Да их же! А если не их, то либо немецкого графа Шенборна, либо чешского помещика Пихи, либо венгерского пана Репаша, либо того же кулака русина, что напился нашей крови, — Клумака или Клочуряка. Есть у нас уголь, нефть, разные руды, но паны не только не добывают их, а закрывают и те жалкие предприятия, какие существовали, потому что не хотят давать нашим людям заработок. Есть у нас соляные копи в долине, но принадлежат они иностранным фирмам, а за то, что они ежедневно вывозят сорок вагонов соли в чужие края, мы же платим в год десять миллионов корон податей, а сами употребляем только ропу¹ да красную соль. У нас нет хлеба, мы не знаем, какова на вкус солонина, не имеем дерева, чтобы построить себе хату, и хворосту, чтобы протопить эту хату, а они построили нашим потом и кровью дворцы, целые кварталы в Ужгороде, Мукачеве, Береговом, Хусте. А чтобы жиреть самим, чтобы набивать свое брюхо, они же нас еще и податями облагают. Ведь только за последние пятнадцать лет подати у нас увеличились в пятнадцать раз. С нас берут за все, даже за окно и за печную трубу, и сидим мы в черных избах, задыхаемся от дыма, гибнем от чахотки. С нас собирают ежегодно шесть миллионов корон на жалованье попам, а сами попы дерут с нас еще и сбор на церковь. За что же и за кого они молятся?

Молча сидели пастухи вокруг костра и глядели на родные горы, на леса, ущелья, скалы. Правду говорит Борканюк — такое богатство вокруг, и все чужое.

— Но теперь нас ждет еще большая беда, — продолжал Борканюк. — Враги чехословацкого народа, которые десятками лет угнетали и чехов, и словаков, и бедноту на Верховине, сегодня продали Чехословакию Гитлеру, а нашу судьбу взялись устраивать гитлеровский дьяк и муссолиниевский пономарь — два министра, Риббентроп и Чиано, провели какой-то там арбитраж в Вене и на куски разорвали Закарпатье. Ужгород, Мукачево и вся долина отданы теперь венгерским панам, Хорти, а здесь, в горах, они решили создать, со столицей в Хусте, Карпатскую Украину.

¹ Р о п а — соленая вода.

— Чтобы их самих на куски разорвало,— слышались голоса.— Посадить бы их на эти скалы...

— Так, так,— говорил Борканюк.— Вот еще одна виселица на нашу голову, а палачом будет Августин Волошин.

— Знаю мы его! Продажная шкура, убийца! Ко всем чертям! В пропасть его! На сосну! — зашумели пастухи.

— Знаю вашу думку,— сказал Борканюк,— потому и пришел к вам. Нужно, ой, как нужно нам поговорить. Правительство Волошина — это правительство капиталистов и помещиков, которых поддерживают немецкие, венгерские, американские и прочие фашисты. Мы должны заявить им и всем, кто держит нас в неволе: убирайтесь с вашей Карпатской Украиной, мы не хотим и не признаем ее. Мы хотим не какой-то там Карпатской Украины, а хотим быть воедино с родным нашим народом, который строит за горами свою счастливую жизнь. Мы кричим, и пусть это слышат не только Карпаты, но и весь мир, что мы века прожили в неволе и боролись, чтобы жить, как подобает людям. А теперь еще раз и решительно клянемся — сил своих, жизни не жалеть, лишь бы вырваться из ярма. Клянемся!

И покатилося мощно и решительно:

— Клянемся!

Вдали синели гордые Карпаты.

3

Странная судьба была у верховинского учителя Короджия. Это была судьба не его одного, а многих людей верховинского края, у которых были способности и талант, да не было счастливой доли.

Отец Короджия, Михайло, был рабочим-краснодеревщиком на мебельной фабрике в Ужгороде и тяжелым трудом зарабатывал свой кусок хлеба. Ему очень хотелось вывести в люди — выучить — сына, но он не смел и мечтать, чтобы послать его в Дебрецен или Прагу, как это делали богачи из долины и ужгородское панство. Однако, отказывая себе во всем, Михайло Короджий все-таки учил сына — сперва в городской школе, а затем в учительской семинарии.

Иосифа влекло другое — у него были наклонности к

рисованию, и уже с пятнадцати — шестнадцати лет он начал посещать каждую субботу и воскресенье школу рисования, которую в каком-то холодном подвале организовал на собственный счет кружок местных художников. Эти люди больше всего любили живопись и бесконечно могли говорить о форме, пропорциях, гармонии красок, они пророчили Иосифу блестящую карьеру, славу и деньги, но не могли дать ему ни единой короны, без чего слава и карьера в прежней Чехословакии не могли быть достигнуты. А тем временем юноша закончил семинарию, проводил прах отца-краснодеревщика на тихое ужгородское кладбище и, убедившись, что в наследство ему осталась только светлая память об отце, пошел в школьный отдел Гражданского управления и получил назначение в кленовскую школу.

Так Иосиф Короджий попал на Верховину. Мало увидел он тут радостного. В горах было чудесное солнце, чистый воздух, водопады и голубые реки, леса и чащи. Но всюду была несказанная бедность, люди здесь жили неграмотными, их мучили болезни, косил голод.

Но Иосиф Короджий был молод. Он решил, что должен учить, учить во что бы то ни стало родных людей. Душа молодого учителя пела, и он часто брал в руки палитру и кисти. Рисовал он то, что привлекало глаз: чабанов на высоких полонинах, сплавщиков на горных реках, селян и селянок...

Потом он повез картины в Ужгород, показать своим учителям из школы рисования. Это был прекрасный подарок людям — энтузиастам искусства.

— Какая красота! — говорили они. — Ты должен оставить свои картины для выставки, которую мы организуем осенью.

И выставка эта состоялась. На нее откликнулись краевые газеты. «Иосиф Короджий, — писали рецензенты, — показывает нам красу Карпатских гор, праздники Верховины. Сколько солнца, какие пейзажи, какие костюмы! Это — подлинно светлый день счастливых людей, где нет и следа каких-то идейных жалоб или социального элемента. Через материю он открывает нам тайну живой сути и, таким образом, создает поэму Верховины. Будем верить, что если художник пойдет по этому пути, то он станет одним из основоположников типичного, особого искусства Подкарпатья».

В таком же тоне писали и другие газеты. Для Короджия нашлось несколько строчек на страницах пражских газет. И единственным человеком, которому не понравилась такая оценка его работ, был сам Короджий. Он думал: «Да где же этот праздник на Верховине, где этот светлый день? Здесь люди гибнут, как мухи».

А картины его между тем были проданы. Еще и теперь их можно встретить во многих домах в Закарпатье... И в кармане у Короджия появились, впервые в жизни, значительные деньги.

— В Рим! — сказали друзья художнику.

В Риме он учился в Академии художеств и успешно ее закончил. После этого он побывал в Мюнхене, в Брюсселе, в Париже, где жил в колонии художников Гаржелис на Елисейских полях. Ему советовали подражать богам тогдашнего Парнаса: Сезанну, Дюффи, Утрилло, Дерену... Короджий смотрел картины этих художников, но они не вызывали в нем ни малейшего восхищения.

Зато и в Париже, и в Мюнхене, и во всех картинных галереях тех городов, где ему довелось побывать, Короджий подолгу стоял перед работами художников, чьи имена печатались в конце каталогов, чьи картины вывешивались в дальних углах галерей.

Это были картины русских художников. Их не много выставляли в музеях Европы. Но и то небольшое число картин говорило о неисчерпаемой, колоссальной силе русского искусства. Короджий часами простаивал перед набросками смелых, решительных людей, изображенных Репиным, и трепет охватывал все его тело: ему казалось, что он когда-то видел, а скорее хотел видеть людей, каких показывал Верещагин; у него захватывало дыхание, когда он видел на картинах Айвазовского могучее, грозное Черное море и людей, бесстрашно борющихся со стихией; перед ним проходили люди Урала и Сибири, Крыма, Украины. Какие художники, какая земля! После всех этих скитаний Короджий возвратился в верховинский мир, в Клены. Было лето, цвела Верховина. Цветами оделись долины, горы, леса.

Осенью этого года в Ужгороде должна была открыться художественная выставка. К ней готовились все местные художники, готовился в глухом горном углу Иосиф Короджий.

Он много времени проводил у горного потока за селом. Когда открывали запруды в горах, поток становился рекой, и по ней одна за другой летели дарабы¹. Крепко держа опачины² в руках, их вели смелые бокораши³. Он ходил в горы и не раз встречал восход солнца возле пастушьих землянок на высоких полонинах.

Однажды он ночевал на Печенежской полонине, в землянке чабана Сегиня. Находившись за день и поужинав с чабанами, он упал в душистое сено и крепко заснул.

Короджий проснулся ночью. На полонине горел костер, и на стенах землянки, озаряя висящие на крючьях сумы и ножи с деревянными колодками, играл красноватый отсвет. Издалека доносилось блеянье овец, мерный звон колокольцев на шеях коров, фыркание лошадей, приглушенный людской говор.

Когда Короджий, низко пригнувшись в дверях, вылез из землянки, он увидел, что перед костром сидят двое. Длинные их тени тянулись далеко по траве. У огня стоял, вытянув голову, большой рыжий пес — он казался медным. Узнав Короджия, пес лег на траву.

— Не спится, Иосиф? — спросил Сегинь, когда Короджий подошел к костру.

— Выспался уже, — ответил учитель.

— И то правда, час поздний, — согласился чабан и, заметив, что учитель пристально разглядывает незнакомого человека, сидящего у костра, добавил: — Это, Иосиф, Борканюк Олекса. Помнишь, говорили.

Верно, и здесь, на полонине, и повсюду Короджий много слышал про сына бедняка селянина из гор, Олексу Борканюка — коммуниста, редактора газеты, депутата парламента.

— Конечно, слышал, — сказал Короджий. — Как же не слышать про Борканюка?

Они крепко пожали друг другу руки.

— Присаживайтесь к нам, — предложил Борканюк. — Видите, все спят, а мы беседуем. Так расскажите, — обратился он снова к чабану, — как это произошло?

— А что мне рассказывать, — усмехнулся чабан. — Я же сказал, все зовут меня Сегинем, а я вовсе и не Сегинь.

¹ Д а р а б а — плот.

² О п а ч и н а — руль плота.

³ Б о к о р а ш — сплавщик, плотогон.

Короджий заинтересовался, сел на утоптанной траве, протянул руки к костру. Чабан подбросил сухих ветвей в костер — огонь сразу загудел, вспыхнул, и вверх, будто подпрыгивая по лесенке, в глубину темного неба начали подниматься золотые искорки.

— История эта очень простая, — сказал чабан. — Дед мой рассказывал, что наш прадед звался Русинем.

— Русин? — протянул Борканюк.

— Ну да, — ответил чабан. — Сказывал дед, что издавна тут жили наши люди — русины. Тысячу, а может, и больше лет жили здесь они, вот и прапрадеды мои так прозывались.

— Так почему же тогда Сегинь? — пожал плечами Борканюк.

— Сейчас... — глубоко вздохнул чабан. — Был прапрадед Русинем, а свои и мадьярские паны забрали у него все, что имел он здесь, в горах, волю забрали, а потом отняли даже имя и прозвали его, как и многих еще людей, просто сегинями. Так и пошло: сегинь Марко, сегинь Давыд, а меня уже с большой буквы начали писать — Сегинь Юрко. Вы ведь венгерский язык знаете? Понимаете, почему они нас сегинями перекрестили? ¹

Замолк чабан. Молчал, глядя в темноту, Борканюк. Пламя костра освещало темные волосы на его непокрытой голове, высокий лоб, большие серые глаза, тонкий нос, выразительно очерченный рот, оттененный ямкой подбородок.

— Русин, — повторил Борканюк и повернулся к чабану. — Правдивую и страшную историю рассказывали вы, вуйко. Но ведь Сегини, наверно, помнят, что они Русины?

— Эге, Олекса, — вырвалось у чабана. — Кабы это от нас зависело, мы перевернули бы Карпаты. А особенно теперь, когда там, над Днестром, вольными стали. Ты вот рассказывал о них, — так и полетел бы туда на крыльях.

— Карпаты переворачивать не следует, — улыбаясь, проговорил Борканюк, — но на Карпатах многое нужно перевернуть. Хороши Карпатские горы, и стоять им века. А вот в горах, в долине и здесь, на полонинах, многое надо сделать.

¹ Бедняк, нищий (венгерск.).

— Но как?

— А так, вуйко Русин. Ведь и здесь целая армия чабанов.

— Что чабан? С овцами он...

— Нет, вуйко. Наши люди должны делать свое дело, где бы они ни стояли. И чабан иногда может сделать многое.

— Ты про старого Клумака? — спросил Сегинь.

Он смотрел в темноту, словно что-то там видел.

— Нет, тем, что убьешь одного Клумака, ничего не достигнешь. Только обозлишь других. Нужно бить так, чтобы возвратить все те богатства, какие они захватили у русинов. Забрать нужно леса, земли, горы. Что один Клумак? Есть еще и Клочуряки, Репаша, в Ясенях Климпуши, а вон там — Шенборн.

— Ты знаешь, — подтвердил чабан, — что мы готовы. Когда угодно...

— Знаю, вуйко, — ответил Борканюк.

Только тогда он обратился к Короджию и сказал:

— Слышал я, что вы рисуете?

— Да, — ответил Короджий, догадавшись, что Сегинь с Борканюком говорили о нем, когда он спал в курене.

— Я видел ваши картины.

— Это вы про выставку?

— Я видел на выставке в Ужгороде ваши работы и читал о них. Если не ошибаюсь, тогда писали, что ваши произведения — это светлый день Верховины, потому что в них нет идейной жалобы и социального элемента...

— У вас прекрасная память, — смущенно проговорил Короджий. — И после разговора, который я только что слышал, мне неловко все это вспоминать.

— Почему же неловко? Они писали то, что им выгодно, но ведь кисти остаются у вас в руках. У вас, наверно, и тут есть с собой рисунки?

— Есть несколько этюдов, я сделал их за последние дни. Но тут нет нужного освещения.

— Ничего, — ободрил его Борканюк. — Хорошую картину можно смотреть при любом освещении. Покажите-ка.

Тихими шагами Короджий направился к землянке. Высоко в темном небе переливались огнями Косари¹,

¹ К о с а р и — созвездие Плеяд.

над горами уже зажглась Светялка¹. Так и запомнилась навсегда эта ночь — вся расцвеченная огнями костра и далеких звезд.

Он поставил свои новые этюды возле кучи хвороста, перед костром. Олекса долго смотрел на них. Чабан стал позади Борканюка и через его плечо тоже смотрел.

— Очень хорошо, — сказал наконец Борканюк. — И эта речка, и работа на ниве, и восход солнца на полонине. До чего хороша Верховина, милый наш край!

Он немного помолчал, словно собираясь с мыслями, и глядел в эту минуту не на картины, а дальше, на темные горы и долину.

— Но почему вы думаете, — продолжал он, — что надо рисовать именно так? Вот у вас речка, а по ней тихо и спокойно идет плот. Бокораш одет, как на праздник. Вот поле, верховинка ведет пару лошадей, а за плугом шагает верховинец. Полонина, восход солнца, но как тихо, пусто и мертво кругом. Почему у вас так получается? Это красиво, очень красиво, но правда ли это? Возьмите бокорашей. Ведь они стоят на плотях мокрые, напряженные, но сильные, непобедимые, они побеждают сегодня опасную горную реку. а завтра осият и большее. Вы написали не труженика, а Клумака — упрямого, дерзкого, нахального. Если у бедняка есть клочок земли на скале или угр мочажины, он берет соху, впрягается в нее вместе с женой и детьми. Такова правда жизни... Восход солнца! — закончил Борканюк. — Вы это очень хорошо нарисовали. Но вы не показали, что у нас есть кому встретить солнце, что эти бедняки готовы его встретить.

Он заговорил вдруг тише и указал на чабана — тот отошел от костра и стоял, опершись всей левой рукой от локтя и до запястья на свой посох, высоко подняв голову, прищулив глаза, дыша полной грудью.

— Вот так его и напишите, как он сейчас стоит, — прошептал Борканюк. — Непобедимый и гордый хозяин гор. Темная ночь, страшно вокруг. А кому страшно? Ему? Чабану Сегиню? О нет, не ему. Он знает — скоро взойдет солнце. Нарисуйте и покажите людям. Пусть и они знают, поймут. Выходит наше солнце. Оттуда, с востока!

¹ Светялка — утренняя звезда.

В своей жизни Короджий потом не раз вспоминал Олексу Борканюка и встречи с ним. Но эта встреча в горах всегда вспоминалась прежде всего: костер, озаренное красноватым пламенем лицо Борканюка и рука его, протянутая на восток, туда, где восходит солнце.

Той же осенью в Ужгороде состоялась художественная выставка. Наряду с произведениями других художников были выставлены картины Иосифа Короджия.

Зрители стояли и смотрели на его «Верховинский дворец». Там была нарисована хижина верховинца, половину которой раскидали ветры, а другая клонилась в пропасть. У двери хижины стоял ее хозяин и глядел на ров, зиявший перед хижинкой, как вырытая могила, и на дуплистую вербу, напоминавшую гроб.

На другой картине — «Под синими тучами» — был показан и конец этого хозяина: перед хижинкой, которая еще больше развалилась, стояла кучка бедных людей, они как бы прикрывались от пронизывающего ветра яркими хоругвями, покойника выносили из хижины, на колыях плетня висели разбитые горшки. А по небу, как корабли, плыли синие тучи.

Но самое большое впечатление производила картина «Трембита зовет». Седой, но крепкий еще, широкоплечий чабан с вдохновенным лицом, очень напоминавший Сегиня, стоял посреди полонины в серой, мохнатой гуне¹, в разбитых постолах, в темной войлочной шляпе. Его окружали напряженные, готовые двинуться вперед люди, и он, предчувствуя победу, звуками трембиты встречал рассвет, рождавшийся на востоке в горах.

Когда в газетах появились отчеты о выставке, в них было написано много красивых слов о произведениях тех художников, у которых, мол, не было идейных жалоб и социального элемента, про Короджия же говорилось очень скупое, но решительное: «Не оправдал надежд... общественность ошиблась в оценке... недостойные произведения».

И только одна газета совсем по-иному оценила картины Короджия. Это была «Карпатская правда». Там был напечатан снимок с картины «Трембита зовет» и

¹ Г у н я — свитка с длинными рукавами,

помещена небольшая статья под заглавием «Художник Верховины», в которой писалось:

«Не только красоту Карпат показал нам художник Короджий, но, раскрыв в своих творениях думы и стремления бедноты гор, показав, в каких ужасающих условиях живут они, художник доказал, что люди эти борлись, борются и будут бороться за лучшую жизнь, за счастье».

Эта статья была подписана одним словом «Русин», но Короджий знал, кто так откровенно и искренне мог написать о его картинах.

4

Борканюк не был уверен, что ему снова придется побывать в горах, и потому встретился с лесорубами, поднялся на полонины к чабанам, наведалься в несколько сел и там, в убогих хижинах, поговорил с беднотой. Секретарю крайкома о многом хотелось сказать обездоленным людям Верховины, и именно теперь, перед событиями, какие надвигались на Карпаты.

Еще одну ночь провел он в селе Ясени — там у него была назначена встреча с Короджием.

А кроме того, хотелось ему побыть хотя бы одну ночь в том селе, где он родился и провел свои детские годы, побывать у родичей, особенно в хате брата Дмитра, который помер недавно от обычной болезни верховинцев — чахотки, помочь его вдове — Явдохе...

Явдоха очень обрадовалась, увидав, как вверх по тропинке к их хижине подымается Олекса. Она слышала, что он появился в горах, надеялась, что, может, побывает и у них.

Увидев дядю на тропинке, побежали от хаты маленькая Анка и брат ее — Иван.

— Вуйко Олекса! Вуйко! — кричали радостно они.

Он принес им, как это делал всегда, подарки — золингенский нож Ивану, кораллы и колечко Анке, конфет обоим.

— Ты, Явдоха, не плачь, — сказал Борканюк Явдохе. — Детей подымать надо.

— Правда твоя... — положила мать руку на голову Анке.

Ивану было шестнадцать лет, Анке тринадцатый, — счастливый детский возраст. С виду они — бледные, истощенные, малокровные — выглядели даже меньше своих лет, но глаза у них были, как у взрослых. Печально глядел на мир Иван, печальны были и глаза Анки — большие, тревожные, беспокойные.

И Олексе Борканюку, когда он встретил взгляды детей, показалось, что перед ним открылось зеркало, в котором отражены его собственная молодость, его детские годы.

Здесь, в хижине, под северными ветрами, жил его отец, тоже Олекса Борканюк. В этой хижине рождались и таяли, как грошовые свечки, дети. Их было много, и все они гибли, как мотыльки, в лучшие годы, на весне жизни. Чахотка, — говорили безнадежно старшие, когда погибала еще одна молодая жизнь, и в знак печали, как повелось на Верховине, вешали на колья плетня разбитые горшки. Придя с кладбища, эти разбитые горшки снимали и ставили на чердак, — другие дети еще бегали по двору, не бить же каждый раз новую посуду...

И ничего не мог поделать старый Борканюк, чтобы спасти малышей. За третью часть брал землю у богачей, лес рубить к ним ходил, водил плоты, бывал и за Тиссой, но хлеб и деньги были редкими гостями в их доме. Так погиб и сам. Чахотка! На колья плетня повесили разбитые, давно припасенные горшки.

Олекса Борканюк выжил. Почему — кто знает! Нашлись какие-то силы в крошечном существе, он выжил и понял, что нельзя жить так, как его отец, иначе — гибель и смерть.

Он учился в народной школе в Ясенях. После взял отцовский топор и шест с крюком, пошел на бутин и четыре долгих года работал лесорубом.

Там, среди лесорубов, из которых большинство побывало уже на заводах и фабриках Европы и Америки, он — самый младший между ними — увидел то, чего не мог видеть из окна отцовой хаты.

Тяжко, очень тяжело приходилось лесорубам на бутине, зарабатывали они ничтожно мало и голодали, болели, погибали.

Но в душах этих молчаливых, суровых с виду людей горел огонь, и он час от часу давал о себе знать, вспыхивая порою жарким и могучим пламенем.

Они повидали уже свет, знали, что такое Европа и Америка, они кляли капиталистов, помещиков, попов, они не верили обещаниям многочисленных партий, которые шумели в Ужгороде и Мукачеве.

У них была другая вера. Долгими осенними ночами они зажигали огни в холодных, сырых землянках и в тесном кругу, крадучись, чтобы не заметил враг, говорили о том, что люди, которые могут им помочь, живут за высокими Карпатами, что у этих людей есть партия, ведущая их к победе, — партия коммунистов, что живет там великий человек — Ленин.

От молодого Борканюка лесорубы не таились. «Свой хлопец!» — отзывались о нем рабочие. И сам он тянулся к старшим своим друзьям, как стебелек, который пробил черную корку земли и тянется к солнцу.

И, должно быть, в одну из таких ночей, когда горел огонь в землянке и вокруг него сидели и тихими голосами переговаривались лесорубы, когда кто-то из них произнес уверенно: «Совершилась революция за горами, но придет когда-нибудь и к нам освобождение!» — должно быть, в такую ночь Олекса вышел из землянки.

Он долго стоял на пригорке, откуда видны были Карпаты, перевалы. Голова его горела. Учащенно билось сердце. Пальцы сами собою сжимались в кулаки.

Ветер летел над землей: «Придет!» Листва деревьев шелестела, словно говорила: «Придет!»

И здесь, в лесу, окрыленный вестями с Востока, чувствуя крепкую поддержку друзей своих — лесорубов, он упорно учится и заочно сдает экзамены за четыре класса городской школы, а потом едет в Ужгород и поступает там в торговую академию — так пышно называлась обыкновенная средняя школа, где готовили канцеляристов и служащих.

Трудно жилось Олексе, горькая была у него учеба. Временами куска хлеба не было, а о хорошей одежде — и говорить нечего. И все-таки за весною приходила весна, на набережной Ужа зацветали розы, и он сам мечтал о грядущей весне.

Он мечтал, потому что в Ужгороде вступил в молодежную организацию, познакомился с коммунистами, и новый чудесный мир открылся его глазам. То, чего раньше он не мог постичь, стало понятным, и то, что

множество людей на Верховине считали непреодолимым, совсем таким не было.

Он жадно, со священным трепетом, читает произведения Ленина, то, что с большим трудом удавалось доставать, начинает понимать, что повсюду в мире существует класс эксплуататоров и класс трудящихся, что между этими классами идет жестокая борьба; эта борьба все обостряется, но победа и будущее принадлежат только трудящимся.

Директор академии строго запрещал студентам собираться; по вечерам инспектор, как крыса, шнырял под окнами общежития, следя за студентами, как того требовало полицейское управление; а они собирались, во главе с Олексой, где-нибудь за городом, и в горы летела песня:

Верховино! Світку ти наш,
Гей, як у тебе тут мило!
Як ігри вод пливе тут час,
Свобідно, шумно, весело...

Но так только в песне пелось. Большая круглая луна вставала из-за гор, в ее свете переливались, как живое серебро, волны Ужа, а дальше лежала ограбленная панами, обманутая ксендзами и попами Верховина...

Харьков! Его отправила туда молодежная организация учиться. Там и повсюду на Советской Украине Борканюк своими глазами увидел то, о чем раньше мог только мечтать, увидел, как советские люди строят социализм.

По возвращении с Советской Украины он сам руководил молодежной организацией, был редактором газеты, стал секретарем краевого комитета Коммунистической партии на Закарпатье.

Во время выборов в чешский парламент, когда аграрии, промышленники, католики развернули бешеную агитацию против «четверки» — списка коммунистической организации, на Верховине, где в каждой хате знали Борканюка, его избрали депутатом парламента.

Он выступал в парламенте с пламенными речами, говорил о голоде и нищете в горах. Он знал, что бесполезно обращаться к депутатам — аграриям, промышленникам и католикам, сидевшим в зале.

Но через их головы Борканюк обращался к народу, к советским людям, он хотел, чтобы голос угнетенных закарпатцев слышали большевики Советского Союза.

А сейчас он гладил головку племянницы Анки, — у нее были льняные, тонкие волосы, — коснулся ее шейки — тоненькой, восковой.

— В хату зайдем, Олекса? — предложила Явдоха.

— Да... Должен ко мне один человек прийти. Условились тут встретиться.

В хате пахло дымком, травами полонины. В печи блестяли угли. Заблеял, почуяв людей, ягненок.

Был бедный ужин — похлебка, овечье молоко, овсяный хлеб. Ели в молчании.

Но это молчание говорило о многом: как дорог здесь, на Верховине, кусочек овсяного хлеба, как трудно он дается людям и какая радость, что они пока что могут усестись за одним столом и разломить этот хлеб.

Тишина! Ужин закончился. Анка собрала деревянные ложки в деревянную же миску и поставила ее в угол, смела рукой крохи со стола, на что мать заметила:

— Никогда не сметай, Анка, рукою крошки со стола на пол. Это грех!

Борканюк поднял голову и оглядел хату. Нет, не грех, а боязнь того, что крошка хлеба пропадет. Какая бедность, несказанная бедность. Крошка — и то золото!

— А теперь, дети, спать!

— Доброй ночи, вуйко Олекса!

— Доброй ночи, милые!

Дети легли на деревянную кровать, на соломенную труху, укрылись старой дерюжкой. Все же Анка и на ночь не сняла кораллов с шеи и колечка с пальца, а Иван, прежде чем заснуть, еще раз раскрыл нож-золиаген и попробовал его лезвие.

— Спите, дети!

Явдоха уселась на лавку, рядом с Олексой.

— Ну как вы, Явдоха?

— Ой, не говори, Олекса! Осень, а ничего нет. Только и всего, что конопля уродилась. Будто на петли для людей. Ни картошки, ни овса. Климпушам и так уже полмеры должна. А придется взять еще. Есть у меня угр землицы, хочет он у меня ее забрать, и не знаю, удержу ли? А дальше что?

— Я вам оставляю немного денег.

— Тебе и самому надо. Знаю, как живете.

— Обойдусь. А Климпушам отдайте, слышите, Явдоха, отдайте, ведь спасти детей надо.

— Это верно,— согласилась она.— Только и живем для них.

Она помолчала немного и спросила:

— У вас еще маленького нет?

— Нет, Явдоха. Мечтаем — пусть хоть он лучше поживет.

— Доведется ли, Олекса?

— Доведется.

— Ой, когда бы...

Под окном слышались шаги.

— Это ко мне,— сказал Борканюк.— Впустите, Явдоха. А сами ложитесь спать.

В хату вошел человек.

— Вы тут, Олекса?

— Тут. Подходите ближе к столу.

Олекса Борканюк и учитель Короджий крепко пожали друг другу руки.

— Ждал, пока стемнеет,— сказал учитель.

— И хорошо сделали,— улыбнулся в темноте Борканюк.— Я ведь нынче тут, завтра в другом месте, а вам придется здесь жить и работать...

Явдоха заперла двери в сенях, возвратилась в хату, легла возле детей и, казалось, сразу заснула. А может быть, нарочно лежала так тихо, чтобы не мешать беседе, а сама в это время думала, закрыв глаза, горькую свою вдовью думу.

А секретарь и учитель, усевшись возле окна, вполголоса говорили:

— Вчера я ночевал у нашего Русина,— сказал Борканюк,— и вспомнил одну ночь на полонине. Вы не забыли ее, Иосиф?

— О нет,— ответил Короджий.— Я вам очень благодарен за откровенное слово, оно раскрыло мне глаза на творчество. Хотя теперь я редко беру кисть в руки.

— Нет, Иосиф,— решительно произнес Борканюк,— нигде и никогда вы не должны оставлять своей кисти. Я понимаю, что вам тяжело. Они хотели купить за деньги ваш талант, ведь им нужны не только материальные ценности, но и такое искусство, которое обманывает и

затуманивает народ. Вы со своими картинами выступили против них, и они вас хотели втоптать в грязь. Но вы должны работать дальше, народ никогда не забудет того, что для него создано. Добра народ никогда не забывает. Да я уверен,— задумчиво сказал Борканюк,— что в вашей жизни, хотели бы вы этого или не хотели, а будут такие минуты, когда вы не сможете не взять кисть в руки. И берите, берите тогда!

Время шло, а им нужно было о стольких вещах поговорить. Борканюк прислушался к тишине в хате, к монотонному пенью сверчка...

— Спят,— сказал он.— И Явдоха заснула и дети. Знаете, Иосиф, сегодня я пришел сюда и ужаснулся. Все, все, как было десять, двадцать, сто лет назад. Ничего нет,— говорит Явдоха,— да еще задолжала Климпушам. Сколько пережили тут на Верховине люди. А там, за горами, родные нам люди, они погибали когда-то, как гибнем мы теперь, а вот освободились, живут радостной, счастливой жизнью! Они победили, зовут к борьбе и победе другие народы, указывают путь и нам — своим братьям.

Борьба предстоит большая,— продолжал Борканюк.— Сегодня Волошин, завтра кто-нибудь другой, но все, все они одинаковы и мечтают только об одном. Советский Союз! О, в какую ярость бросают их эти два простых слова! До сих пор они опирались на грубую физическую силу и только ею держали в покорности народы, эксплуатировали их, пользовались благами земли и даже доказывали, что весь этот «порядок» — от бога. И вот возникает Советский Союз, союз, основанный на дружбе, равенстве братских народов, и оказывается, что люди могут жить, не эксплуатируя друг друга, организованно и дружно работая. Народы Советского Союза не воюют, они никому не угрожают, они чистосердечно хотят мира, и только мира, об этом говорил Ленин, об этом заявляет Коммунистическая партия. Возьмите простой факт — Советский Союз существует более двадцати лет и за это время отбил десятки вражеских нападений, но сам он ни разу ни на кого не напал, а, разбивая врагов, звал и зовет человечество к миру.

Он снова замолчал, и долго в хате стояла тишина; обоим им показалось, будто кто-то прошел за окном. Но на дворе никого не было видно, ничего не было слышно.

— Они много дали бы,— снова заговорил Борканюк,— чтобы Советский Союз не существовал. Над чем другим, а над этим они потрудились изрядно. Мир видел уже немало их попыток, направленных к одному — к непримиримой борьбе с советскими людьми. Советские люди отбили все эти попытки. Но враги не успокаиваются и выдвинули теперь Гитлера. А за его спиной стоят капиталисты и Европы и Америки. Правда, все они селятся доказать, будто бы между ними есть какие-то расхождения, будто бы они чуть ли не враги между собою. А на самом деле это один фронт, один штаб.

Кто-то из детей застонал — глубоко и тяжело, точно от боли. И сразу Борканюк вскочил, подошел к кровати и долго там стоял, прислушиваясь, поправил на детях дерюжку.

— Но они не учитывают одного,— продолжал он, возвратясь к окошку.— Коммунистических идей, идей партии Ленина ничто в мире задержать не может. Они распространяются по земле, как радиоволны, как солнечный свет, как воздух. Убить эти идеи — то же, что уничтожить свет, уничтожить воздух. Понимаете, Иосиф, к чему сейчас дело идет? Чем тяжелее жизнь и чем труднее — тем дальше хочется заглянуть вперед и тем яснее видишь, к каким просторам через напряженную борьбу идут трудящиеся к коммунизму.

— Я с большим интересом выслушал ваши слова,— сказал Короджий.— А еще с большою радостью полетел бы за горы, увидеть новую, советскую страну...

— Мы еще увидим эту страну,— уверенно произнес Борканюк.— Новую жизнь мы построим и тут. Но сейчас перед нами трудные годы. Войны как будто еще нет, но она идет, уже содрогаются Карпаты. Эта война будет тяжелая и затяжная, она потребует немало человеческих жертв и принесет немало опустошений. Страшная война началась, и, если они сейчас безжалостны и жестоки, мы должны быть смелыми, стойкими и решительными. Мы должны знать, какие трудности стоят перед нами, и глубоко верить в то, что мы все одолеем и будем победителями. Нельзя терять ни минуты.

— Мы так и делаем,— сказал Короджий.

— Я знаю. Побеждают только сильные волей и готовые на жертвы. Мы должны быть такими. Каждый на своем месте, на своем посту. Вы слышали, как я тогда ночью говорил чабану, что он должен много поработать

для нашего дела. Он действует. И все должны действовать. Вы были художником и, как художник, уже многое сделали. И дальше вы должны быть им, величие нашей борьбы надо отразить в картинах. Вы работаете учителем, делайте свое дело и как учитель. Но всегда и вы, и я, и все мы, коммунисты, должны быть людьми, которые любят народ и за лучшее его будущее готовы отдать все силы, не щадить самой жизни. Я вам сейчас назову несколько имен, вы должны их запомнить. Это имена наших друзей. Если вам будет тяжело, обратитесь к ним. Если кто-нибудь из них придет к вам, знайте — ему нужна немедленная помощь, поддержка.

— Я готов, — ответил Короджий.

Глава пятая

1

Савва Шепя вышел из сельской управы сгорбленный, с барабаном, перекинутым на веревке через плечо, с двумя палочками за поясом.

Сколько, сколько раз выходил он так из сельской управы! Бохтар! Где-то в столицах выходят законы, эти законы попадают в жупанаты, жупанаты посылают их сельским управам. А в селе — известно как! Позовет староста бохтара, прикажет ему:

— Так ты ступай, Савка, по всем концам, барабань, чтобы вечером собрались к сельской управе...

Или же:

— Ты, Савка, барабань, что в субботу будет продажа с торгов имущества Михайла Чопа.

Как ненавидел Савва свой барабан, бохтарскую свою жизнь! Ведь был он когда-то человеком, здоровый был, статный, красивый. Собирался жениться, любил Катрю, дочь Миговка, и она ему отвечала любовью. Но бедняки были — что Миговки, что Шепы. Пошел Савва на заработки, лес рубить Клумакам. А там его елью придавило, перебило хребет, изуродовало лицо...

Возили односельчане Савву в Рахов, к лекарю. Да чем помог он больному верховинцу? И ради чего стал бы помогать этот частный врач-коммерсант человеку, у ко-

торого нечем заплатить? Подошел к возу, покачал головой, процедил: «Это в Пешти или в Унгвар — там могли бы полечить». Пешт и Унгвар — разве они для них, бедняков? Повезли Савву, не в Унгвар, а назад в горы, и он, испытывая нестерпимую боль в хребте, когда воз подскакивал на выбоинах, лежал и сухим, безнадежным взглядом, как птица с перебитым крылом, глядел на высокие горы, леса, полонины.

Калекой стал Шепя. Катря у него на глазах таяла, таяла и умерла. Только спустя много лет, когда умер Лукиян Здвизжа — сельский бохтар, на его место назначили Шепу. Бохтар — сельский барабанщик. В действительности же у Шепы было много дела, был он, как говорится, «старшим, куда пошлют». Шепя убирал сельскую управу, подметал у писаря, его гоняли и поп, и дьякон, и лесник, и все, кому только не лень было. А когда приказывали, выходил со своим барабаном и палочками, останавливался в каждом конце, а таких концов в Кленах было пять, долго бил, сначала медленно, а потом все чаще и чаще, в свой барабан...

Он стоял босой, в коротких штанах, в латаной-перелатанной сорочке. Подходили к нему люди, спрашивали с тревогой в голосе: «Что там такое, Савва?» Но он молчал, барабан его гремел все громче и громче, и только тогда, когда собиралась вся улица и барабан уже не гремел, а звенел, как стекло, бохтар отрывал палочки от туго натянутой кожи, с минуту молчал и начинал:

— Честная громада! Пан староста приказал...

И слово в слово повторял Савва то, что приказывал ему объявить староста.

— Честная громада! Слушайте! Слушайте!

Так и теперь шел он по селу, останавливался в концах улиц, отчаянно бил в барабан и кричал:

— Честная громада! Сельские власти приказали немедленно внести подати... Раз... Пан-отец приказал нести деньги на церковь... Два... Утром в воскресенье будут выборы в сейм! Три! Честная громада, в воскресенье выборы... в сейм... в сейм!!!

В воскресенье утром в Клены на машине приехал представитель правительства Карпатской Украины Россоха, а с ним, еще на одной машине, десяток сечеви-

ков. Верховинцам не приходилось видеть на своем веку таких вояк, которые были бы одеты в немецкие мундиры, имели американские винтовки да к тому же еще носили бы трезубцы на фуражках и ругались, как раховские извозчики. Поэтому они выглядывали из своих дворов, смотрели, как эти вояки появились в селе, как остановились у сельской управы, а затем направились к усадьбе Гаврила Клумака.

— Видали? — спрашивали одни.

— Ну и морды! — отвечали другие. — Ежели ночью такое померещится, так уж, верно, после того глаз не сомкнешь!..

— Молчите, люди! Поглядим лучше, что будет. Ведь приехали они не зря.

Спустя некоторое время, потому что нужно же было представителю властей вместе со своими сечевиками, после дороги из Рахова, позавтракать, все они вместе с Гаврилом вышли из Клумакова двора и двинулись к сельской управе по молодому снежку, покрывшему землю не больше, чем на два пальца.

В сельской управе, как и прежде, были только писарь Магарычка да Савва Шепя, чинивший свой барабан. Сразу, правда, появились о. Федор, Золтан Репаша, Клочуряк, еще человека три из более зажиточных.

— Запаздывают что-то наши избиратели, — покачал головой Россоха. — Непорядок!

— Такой уж народ, — поддакнул о. Федор. — Как воскресенье, им только бы есть да спать...

— А мы их сейчас соберем, — усмехнулся Россоха и процедил: — Пошли в церковь!

На церковном дворе тоже было пусто, только два пса как очумелые носились между акациями.

— На колокольню! — приказал Россоха своим сечевикам. — И во все тяжкие!

Несколько сечевиков взбежали по лестнице на колокольню и так ударили в колокола, что стало слышно, пожалуй, на самых дальних полонинах. В селе, однако, никого не было видно, и Россоха крикнул снизу: «Эй, звонари, ударьте покрепче!..»

И перепуганные люди понемногу потянулись к церковному двору. «Пожар или еще что?» Они шли, входя-

ли во двор. А тут их только и ждали сечевики, загоняли в церковь.

Перед селянами на этот раз выступил представитель власти Россоха. О. Федор, простирая руки, молился в алтаре.

— Панове! — сказал Россоха. — Хорошо, что вы собрались сюда, в божье место. Давайте-ка воспользуемся этим случаем, чтобы провести и наше собрание — выборы в сейм.

Молча стояли люди в церкви, поглядывали на дверь, о чем-то шептались между собой. Клумак, Клочуряк и Репаша забрались на клирос и стояли там, как столбы.

— Веками наш народ, — продолжал Россоха, — оскорбляли и принижали. Кто только не сидел у вас на шее. И кто не издевался над вами.

— Верно! — слышались голоса. — Так, вправду, и было и есть, пан.

— Но довольно, — иступленно вопил Россоха, — мы должны самостоятельно строить свою жизнь. Такую жизнь несет нам партия «Украинское национальное объединение», которая только что организовалась... И собрали вас сюда для того, чтобы выбрать сегодня нашего делегата на сейм, который будет устанавливать нашу политику.

— Не слышали... Не знаем, — раздавалось в толпе.

— Да, да, панове, — продолжал Россоха. — Есть у нас партия, есть и правительство, оно будет осуществлять наше объединение... Но, чтобы это правительство имело достаточные полномочия, мы хотим провести сейм, который установит нашу политику...

— Что ж это за сейм? — спросил кто-то из задних рядов.

— Сейм — это съезд представителей всей Карпатской Украины, — ответил Россоха. — Что постановит сейм, то и будет. Власть ведь в наших руках.

— А кукурузу сейм даст? — раздался один голос.

— Даст и кукурузу и картошку.

— Но дозвоьте, милостивый пан, — казалось, насмешливо сказал кто-то, — откуда сейм возьмет кукурузу и картошку, ежели у нас уже нечего взять...

— Займем на время, Гитлер — немецкий фюрер — поможет, — бодро пояснил Россоха.

— Америка тоже не откажет,— добавил с клироса Гаврило Клумак.— Сам слышал, только что приехал оттуда. Америка — такая страна, что даст. Там этой пшеницы, бэкону и даже кофе столько, что хоть в море топи...

— Может, и правда,— зашумели люди, но это был недобрый и раздраженный шум.— Там добро в море топят, а у нас, пан, на Верховине ничего уже нет... Одна смерть. Ни кукурузы, ни какой-нибудь работы.

— В Праге сейчас,— принимая шум толпы за знак одобрения, продолжал Россоха,— наши представители уже заключают договор с германским правительством на прокладку асфальтовой дороги из Берлина на село Гуменное и дальше, на Перечин, Сваляву, в горы... На такую дорогу, панове, понадобится очень много рабочей силы... А если так, то можно будет заработать большие деньги, а будут деньги, появится и кукуруза.

— Смотри, какая дорога! От Берлина в самые горы. Да кто же поедет по той дороге? — гомонили люди.

— Станет богатой и счастливой Верховина,— продолжал Россоха.— Была она, видите, как маленькая пуговица, ну, и пришивали ее к кому угодно. А когда у нас будет правительство, а его признает весь мир, то мы сможем присоединить к себе и ту Украину, что за Карпатами.

— Пан начальник,— перебил его кто-то из толпы,— обождите!

— А что еще там? — остановился Россоха.

И тогда в церкви сразу стало так тихо, что слышно было, как тяжело дышит Россоха и как несколько раз чем-то звякнул в алтаре Федор Стрыпский. В этой тишине гулко прозвучали чьи-то шаги. Из толпы вышел и стал впереди Михайло Тиснянец.

— Оно, конечно, пан, хорошо бы иметь свое правительство,— сказал он.— И что мы такая маленькая пуговичка, тоже правда, пан. Очень маленькая пуговичка. Но, пан, та, Советская Украина, что за Карпатами,— это все-таки большая свитка. Что ж это вы надумали — пришивать свитку к пуговице?

Громкий смех прокатился кругом.

— А может, лучше было бы,— закончил Тиснянец,— кабы нашу малую пуговицу да пришить к той большой свитке...

— Правда, правда! — шумели кругом. — Пришить! Пришить!

Михайло Тиснянец стоял впереди, отдельно, но он был уже не один, его окружали обездоленные люди Верховины, он выражал их мечты, их волю...

— Панове, — хрипло закричал и даже побледнел Россоха, — это демагогия и коммунистическая пропаганда. За Карпатами только принудительный труд, над теми людьми нет божьей благодати, там голод и нищета.

Отец Федор выскочил из алтаря и глядел на народ большими от испуга глазами.

— Голод и нищета! — сказал Тиснянец, стоя все на том же месте. — Уж кто-кто, а мы хорошо знаем, где голод и нищета...

И только тогда он повернулся и ровным шагом пошел назад, в толпу, к селянам.

— Панове, — взъярился Россоха, — здесь не место для агитации... Здесь божий дом, а нам предстоит великое дело. Предоставим все решить нашему сейму и нашим депутатам. Это будет такая организация, с которой будут считаться и Гитлер и Америка! А сейчас перейдем к выборам, будем называть кандидатов... Прошу начинать. Записывайте, пан писарь.

Молчание стояло в церкви.

— Называйте! — предложил Россоха. — Кому доверяете выразить вашу волю...

— Борканюку бы... — заговорило сразу несколько человек.

— Погодите, — повернулся Россоха к селянам. — Кандидаты так не выставляются, их могут выдвигать только партии.

— Это ж и есть партия, — зашумели люди. — Борканюк, всем известно, коммунист...

— В нашем государстве, — пояснил Россоха, — партии коммунистов не существует, и список их я не могу принять.

— Так как же тогда выбирать? — спросил кто-то.

— Очень просто, — ответил Россоха, — существует одна партия «Украинское национальное объединение».

— Национальное объединение? — вырвалось из толпы холодно и едко. — Кого же и с кем объединять?

Золтан Репаша — он до того стоял молча и только покачивал головой — крикнул:

— Есть кого объединять! Я, пан уполномоченный,

также принадлежу к партии украинских национал-социалистов... Недавно в Рахове...

— Так, так, панове! — даже побагровел Россоха. — У нас есть кого объединять, есть что делать нашей партии. И эта именно партия должна выставить своих кандидатов. Список этой партии мы имеем. В нем есть имена пана Волошина, Реваев, Марущака, Клочуряка, отца Демьяновича и от вас — многоуважаемый Гаврило Клумак, которого все вы знаете, который сумеет защитить ваши интересы. Для проведения выборов правительство утвердило и комиссию в составе пан-отца Федора, пана Клочуряка и меня, при секретаре нашем, писаре Магарычке. А теперь, панове, не расходитесь, мы начинаем выборы.

Он обратился к о. Федору:

— Просим вас, отец духовный, прочитать нам перед великим делом молитву.

Стрыпский вышел из алтаря, склонился перед царскими вратами и прочитал молитву. Опустился на колени и Россоха.

— Сейчас секретарь нашей комиссии пан Магарычка, — обратился снова к селянам Россоха, — выдаст каждому из вас выборный листок, на котором написаны фамилии наших уважаемых кандидатов. Голосование состоится в притворе, где уже стоит ящик. Пусть видит сам господь бог, пусть он нас благословит. Каждый избиратель входит туда и опускает выборный листок. Пан секретарь, приступайте к работе. Именем правительства объявляю выборы открытыми.

И кленовчане один за другим подходили к столу, за который уселся писарь Магарычка, и он каждому давал листок. Потом они проходили в притвор, останавливались перед ящиком и выходили из церкви.

Когда ж прошли все, в притвор вошла комиссия, взяла ящик и направилась с ним в сельскую управу. Гаврило Клумак поспешил домой, приготовить обед; селяне медленно расходились по своим дворам.

Избирательная комиссия — поп, Россоха, Клочуряк и Магарычка — заседала в сельской управе. На крыльце караулили сечевики.

— Ну и выборы, — устало сказал Россоха, вытряхивая из ящика листки. — Но в чем дело, панове? — вдруг

крикнул он.— Ведь здесь совсем мало листков. Один, два, три, четыре, пять. Да нас одних и то больше. Три члена комиссии, Дмитро Клумак, Репаша, пан писарь. Выходит, шесть выборных листков должно быть, а тут только пять. Так, может, вы, пан писарь, не голосовали?

— Вот как перед богом,— встал со стула, поднял глаза к небу и даже перекрестился Магарычка.— Ей-ей, голосовал.

— Дивны дела твои, господи,— сказал о. Федор.

— Может, Дмитро Клумак против Гаврила голосовал? — произнес Клочуряк.— Известно ведь, братья!

— Э, не важно кто,— махнул рукой Россоха.— Главное то, что они не голосовали. И куда девались листки? Ведь говорил вам, отец Федор, чтобы присматривали. А вас, пан Магарычка, зачем ставили? Под пол бы вас вместе с мышами посадить.

— Ничего не понимаю,— сказал о. Федор.— Просто чудо.

— Никакого чуда нет,— отозвался решительно Россоха,— а вот мы должны сотворить чудо... Пишите,— обратился он к Магарычке.

И продиктовал твердым голосом, а Магарычка, поскрипывая пером, вывел на чистом листе бумаги:

— «Выборы в сейм прошли в селе Кленах при очень высокой поддержке всего населения. Кандидатом от партии «Украинское национальное объединение» был выдвинут Гаврило Клумак. За указанного кандидата голосовало...— Россоха немного подумал, подсчитал что-то в уме и закончил: —...девяносто четыре процента населения. Против было подано только пять голосов, которые, по мнению комиссии, принадлежат коммунистам». Записали? Подпишите протокол, панове!

Он оглядел членов комиссии и недвусмысленно заметил:

— Запомните, панове! Девяносто четыре процента. Заседание комиссии объявляю закрытым. Идемте, панове, поздравим нашего многоуважаемого депутата.

2

Михайло Тиснянец возвращался с выборов домой. По дороге встретил немого Осипа — тот тащил полную корзину бутылок,— еще обогнали его двое цыган, Сабо и Маркел, они куда-то спешили, прижав к груди скрипки.

Михайло Тиснянец шел. Перед глазами плыло село, островерхие черные хатки напоминали стога перешрелого сена. Ветер вейл с гор, и вербы при дороге начали покрываться инеем, зазвенели, как струны.

Зазвенели вербы! Он остановился и прислушался. «Эх, звенят, сплелись ветвями, будто серебряная дорожка пролегла выше и выше, в горы».

В мыслях полетел по этой дорожке — на Карпаты и дальше — за Карпаты.

Увидел себя в эту минуту молодым еще человеком, одетым в форму солдата цесарской армии. Не он надевал форму, злая доля заставила его натянуть на себя зеленоватый мундир, штаны в обтяжку, узкие сапожки. И, конечно, боже избави, и мысли у него не было — брать в руки оружие, австрийский карабин. Силой его одевали, силой повесили на плечо оружие, насильно погнали через Карпаты на восток...

Звенят вербы! И тогда звенели, жаловались, когда тоскливыми днями и смутными ночами сидел в окопах Михайло Тиснянец и с ним еще много закарпатцев, и они проклинали войну и навязанное им оружие... А там, однажды ночью, — она тянулась необычайно долго и была наполнена, как это всегда бывает на войне, подозрительным шумом, криками и столами, — несколько их, солдат австрийской армии, когда заснули командиры, выскочили из окопов и побежали, поднимая вверх руки, на восток, где тонкими нитями занимался рассвет, где были, как говорили австрийские офицеры, вражеские окопы, батареи, смерть...

Вражеские окопы, смерть! Михайло Тиснянец усмехнулся, вспомнив эти слова. Вот послушайте, как звенят вербы, слышите, что ветер несет с востока? Про вражеские окопы и смерть твердили австрийские и венгерские офицеры, им подпевали греко-католические попы и римско-католические ксендзы, которые подстегивали их даже и на фронте, гнали на смерть. Были офицеры и по ту сторону фронта, видел Тиснянец и там попов. Они тоже твердили про вражеские окопы и про смерть — на этот раз по ту сторону Карпат, на их западных склонах. Но ведь Тиснянец всегда был человек простой, рядовой солдат, таким же простым человеком и уже не солдатом остался в плену. Военнопленным, заложником, австрияком — так его называли в документах. Но люди,

с которыми он сталкивался по работе в киевском арсенале, где пришлось проработать несколько лет, звали его просто: «Мяшка... Михайло... закарпатец... русин». С этими простыми, рабочими людьми был ровня и Михайло Тиснянец. Он быстро нашел путь и сдружился с рабочими, которые ненавидели, как и он, офицеров и австрийской — цесарской — и царской армии, попов и ксендзов.

И когда в октябрьские дни 1917 года по улицам Киева шли рабочие с красными флагами, а во главе их — арсенальцы, в их рядах шел и Михайло Тиснянец. Шел, упивался ветром с Днепра, радостью победы братьев.

Этой же дорогой, над которой звенят вербы, возвращался Михайло Тиснянец в Клены. Шел пешком с дальней стороны, как и все бывшие военнопленные, с котомкой за плечами. На перевале остановился, поглядел на леса и полонины, на реки, серебряными нитями сверкавшие в долинах, на родное село. Здравствуй, родная земля! Заволокло глаза туманом из долин. Бежал по тропинке вниз; свистел воздух навстречу, звенели придорожные вербы.

— День добрый, батько! — сказал громко Михайло, став на пороге.

— Сын мой, сын! — кинулся к нему отец. — Ждал тебя, сокола, хотел увидеть. Какой же ты теперь? Высокий да статный... А это что — седина на голове или в глазах у меня рябит?

— Морозит, батько, туман. Вот и вербы при дороге поседали.

— Добро, если так. А тут что только делается! Были мы цесарские, потом стали мадьярские, а теперь уж чешские. Про аграриев же слышал?

— Слышал, все знаю, батько!

Эх, звенели вербы, звенят и звенят. То не вербы звенят, то надрывно стонут Карпаты.

В усадьбе Клумаков громко играли цыгане, гости пьяными голосами ревели песню.

Тиснянец перешагнул через тын родного двора.

— Это ты, Антон?

— Я, батько. Там люди в хате собрались, ждут.

— Вот и ладно. Иду.

Дым пеленой висел у потолка. Тлел в углу огонь, вспыхивали порою золотистые язычки, и тогда видно было жену Гафию — она сидела с девочками на кровати — и собравшихся селян.

— Так, говорите, проголосовали? — засмеялся Михайло Тиснянец.

— А как же, Михайло! Вот принесли выборные листки, может понадобятся?

— А как же, понадобятся! Ну, давайте!

Схватил пачку бумажек, которые подал ему десяток рук, пошел в угол хаты, бросил их в огонь. Вспыхнули выборные листки, даже в хате светлее стало.

— Горят! — весело сказал кто-то из мужчин, — Чтобы они все так погорели.

— Должны сгореть! Слышите, должны! Вон в усадьбе Клумака музыка играет. Сами себя избрали и бесят-ся. Пусть себе выбирают, поют, пляшут. А мы свое делать будем. Вот сказали слово — и не отступимся от него. Не хотим, слышите, не допустим, люди. А если бы и нас, старших, не стало, так дети ж есть. Антон, Пазлик, слышите?

— Да, батько, — сказал Антон от двери.

Тиснянец стоял посреди хаты с протянутыми к людям руками.

— Нужно скорее Борканюка извесгить, как мы здесь выбирали. Кому черед идти на долину?

После полуночи во двор с топориком в руках выскочил пьяный Гаврило Клумак.

— Да пустите же меня, — кричал он и хотел бежать в село. — Я его сразу прикончу.

— Пан депутат, — Россоха схватил Гаврила за грудки. — Мы с ним еще успеем расправиться. Подумайте только, какой крик они могут поднять. Выборы — и на тебе! Нет, нужно все аккуратно. Вы на меня надейтесь, пан депутат.

3

Данило Ковач застал учителя, когда тот рубил дрова, и Ковачу даже в голову не пришло, что это и есть Короджий, о котором говорила Юлина.

— Мне бы учителя,— сказал, остановившись возле него, Данило.

— Слушаю вас,— положил топор Короджий.

— Я — Данило... Юлины брат...

— Данило? — радостно воскликнул Короджий.— Слыхал, что вы возвратились из Америки. Так почему же глаз не кажете? Тут вас так ждали, Юлина все слезы выплакала. Входите в дом, гостем будете.

В комнате Короджия все стены от потолка и до самого пола были завешаны картинами. Восхищенно глядел на них Данило: там, в горах, лежала зима, а здесь, на картинах, было столько голубого неба, зеленых трав, ярких цветов. Долго стоял Данило перед картиной, на которой был изображен чабан,— он с трембитой в руках встречал восход солнца, а позади него стояли мужчины и женщины.

— Вроде бы наш Сегинь? — спросил Данило.

— Он и есть,— ответил учитель.

И тогда Данило повернулся к учителю.

— Говорила Юлина,— начал он,— что тяжело больна была, а вы ее выходили... Спасибо вам сердечное.

— За что, Данило? — даже удивился учитель.— Девушку надо было спасать. Каждый бы так сделал.

— Ой, не говорите,— вздохнул Данило.— Я сам думал, что бывает у человека такое горе, когда каждый помочь должен. Да нет...

— Почему же так? Да садитесь же!

Ковач сел на скамью и резко ответил:

— Нет таких людей. В Америке чуть не пропал. Трудно было так, что и не рассказать. Земляка увидел — Гаврила Клумака, руку протянул...

— Этот не поможет,— сказал твердо учитель.— Не надо было и просить, Данило. Вам не помог, а, говорят люди, сам в Америке заработал немало.

— Кровавые деньги,— отмахнулся с отвращением Ковач.— На пароходе, да и там, в Америке, мне сказывали, как он наших людей принимал. «Землячки, крайне!» — к ним. А потом этих землячков на каторгу, в землю.

И он рассказал с болью, с волнением о том, что ему довелось увидеть и пережить за морем, в Америке. Это была страшная повесть человека, у которого в далеких краях наболело сердце, кричала душа.

— Будь проклята эта Америка, век бы ее не видать.

Он рассказал и о том, как стоял на берегу в нью-йоркском порту, как упал там и как выручили его родные люди.

— А тут снова горе,— закончил Ковач.— Пришел — ни отца, ни братьев... И все как было, ничто не переменялось.

Учитель сел рядом с Данилом, положил руку ему на плечо, отчего Ковач вздрогнул и поглядел на Короджия с тревогой: еще никто никогда так не клал ему руки на плечо...

— Неужели ничто не переменялось?—спросил учитель.

— А что ж? — поглядел за окно Ковач.— И Клумаки и Репаша, все как было.

— Вы переменялись, Данило,— проговорил учитель.

— Я? — пожал Ковач плечами.

— Да, Данило,— вы!

Короджий встал, прошелся по комнате и, остановившись у окна, засмотрелся на горы, леса, небо.

— Слушайте, Данило, ведь вы многое повидали в Америке...

— Да,— вспомнил Ковач остров Эллис, дни и ночи под американским небом, свои мечты.

— Следовательно, теперь знаете, где ваши друзья, а где враги.

— Это правда,— согласился Ковач, и ему стало понятно, что привело учителя в их горную хижину и почему он сел у постели больной Юлины.

— Вы были тут на выборах? — спросил Короджий.

— Был...

Учитель громко засмеялся.

— И кинули листок?

— Ого! Прямо в поток! А что из этого, пан учитель? Все равно они на своем поставили...

— Поставили? — поднял брови учитель.— То, что они поставили, не прочно,— по-настоящему поставит народ.

Задумался Данило.

— Но что делать?

— Работать.

— У Клумаков? — схватился за грудь Ковач.— Что я у них заработаю?

— На большие заработки там, правда, нечего рассчитывать,— говорил учитель.— Что поделаешь, тут, куда ни ткнись,— либо Клумак, либо Репаша. Но ведь вы идете не к ним, а к тем людям, которые там работают.

— У меня — одно горе, — сказал Данило. — А там целое море того людского горя.

— Это уже лучше, — сказал учитель. — Ведь свои же люди.

«Свои!» — Короджий произнес это слово и почувствовал, что может и должен открыто поговорить с этим человеком, пережившим так много. Открыто и искренне!

— Данило! — начал он. — Вы сказали, что вам сейчас очень тяжело. Да, очень тяжело. Наступают еще более трудные времена, к войне дело идет, Данило. Но неужели вы не слышите, что среди темной ночи, здесь, на Верховине, звучит уверенный голос. Вот послушайте, что говорят коммунисты...

Поздно в тот вечер возвращался Данило Ковач к себе в горы. Поднялся ветер, жалобно поскрипывали деревья, шумели в вышине сосны, в кустах слышались шаги.

Но он уверенно шел по лесу, вышел на желтый огонек родной хаты, переступил порог.

Это была та же убогая хата, но в ней, казалось, посветлело и стало уютнее. Юлина протопила печь и выгнала в сени весь дым. Она обмела хату, посыпала пол душистым сеном, постлала на стол пеструю, материнского еще шитья, скатертку, а на нее поставила в бутылочке несколько засушенных цветов с горных полонин. Видно было, что она ждала, когда брат воротится из долины, и не раз подходила к окну, поглядывая на тропинку из леса, а потом, наверно, выходила и во двор, прислушивалась, ожидала...

Да и оделась Юлина не по-будничному, на ней была новая, вышитая на рукавах красными мальвами сорочка, пестрая запаска, повязалась Юлина синим с золотой прошвой поясом, а на шею надела монисто из разноцветных бисеринок.

Брат внимательно и долго смотрел на сестру-чабанку.

— Был у учителя? — спросила Юлина, но сразу поняла, что нечего об этом и спрашивать. Конечно, был, потому что другими, уже не такими печальными, как раньше, глазами смотрел на нее Данило; быстрым жестом кинул он на скамью крисаню, шагнул вперед, протянул руки...

Ой, ішла я в полонину, ішла я, ішла я,
Питалися вівчарики, чия я, чия я? —

пропел Данило песню, знакомую с детских лет.

Та не ваша, півчарики, не ваша, не ваша,
Бо я собі полюбила на горах бовташа,—

живо подхватила Юлиня.

Из-за окна доносился шум сосен. Свистел ветер между дранками крыши.

4

Проводы сына! Будь другие времена, о, в селе долго бы говорили, как Золтан Репаша провожал в дорогу своего Яноша. Устроил бы Золтан обед, созвал гостей, нанял музыкантов, пировали бы до рассвета, так что Клены шумели бы, а там проводили бы Яноша на Раховский шлях, все по очереди поцеловали, пожелали бы ему счастливой дороги...

Но теперь Золтан Репаша не мог этого сделать. Слишком сложна жизнь, непонятны события, дрожит душа.

Так было, правда, и в 1919 году, когда Закарпатье стходило к Чехословакии. Репаша тогда очень волновался: а что, если опишут его имущество? Ведь Репаша был настоящий помещик — брал в аренду бутин, имел три мельницы над потоком, пастбища в горах, пахотной земли с полсотни угров, ну и, конечно, усадьбу, дом...

Но тогда все обошлось, имущество его не реквизи- ровали, с властями Золтан Репаша наладил самые лучшие отношения и записался даже в партию аграриев.

Теперь венский арбитраж! Ужгород сделали уже Ун- гаром, венгерцам отдали всю долину. А в горах какая-то «Карпатская Украина», в Хуст приехал Августин Воло- шин. Что это за Украина — Репаша хорошо знал: значит, к власти приходят Клумаки. А что, если они реквизируют имущество Репаша? Нет, нужно скорее договориться с волошинцами!

Золтан Репаша побывал в Рахове и там записался в партию украинских национал-социалистов. Пхе, разве ему не все равно? Лишь бы никто его не трогал... На вы- борах в сейм он нарочно сказал, что принадлежит к этой партии. Пускай знают, пускай не трогают Репаша.

И вот в это самое время пришло письмо, необычайно строгое и весьма секретное письмо. Когда знакомый член

комитета «национального единства» вручил его Золтану, он полдня носил письмо с собой, пришел домой, пообедал и только тогда вспомнил...

— Я получил нынче письмо,— сказал он жене Юдит.

— Э,— махнула рукой Юдит.— Должно быть, снова пишет Дезидерий.

Дезидерий Репаша был внук Шимана Репаша, который приходился двоюродным братом тому Пишти Репаша, который был братом отца Золтана Репаша — Балинта. Дезидерий весьма аккуратно посылал письма родичу Золтану, просил у него помощи. Но Репаша считал ниже своего достоинства отвечать этому лодырю, как он называл каждого бедняка.

— Что ты понимаешь,— сказал Репаша,— налей мне кофе.

Он вскрыл конверт, а Юдит пошла на кухню, грела кофе, что-то напевая под нос. Всегда было так: курит вонючие сигареты и поет.

— Ой,— вдруг воскликнул Золтан.

— Что такое? — оборвала песню Юдит и вбежала в комнату.

— Где Янош? — спросил взволнованный Золтан Репаша.

Янош в это время был на дворе. Золтан в окно увидел, как он возится у велосипеда,— лица его не было видно, только широкую спину и еще более широкие бедра. До чего здоров Янош! В кого он пошел? Сам Золтан маленький, невидный... А Янош — как бык. Нет, только в деда.

— Что случилось? — спросила еще раз Юдит.

Она стояла с сигареткой в руке, полная, упитанная.

— Позови Яноша! — сказал коротко Золтан.

Янош опять принес на сапогах навоз со двора.

— До каких пор... — начал было старый Репаша.

Но сейчас не время было говорить о каком-то там навозе!

— Ты едешь в Будапешт! — торжественно произнес Золтан.

— А зачем? — большими коровьими глазами поглядел на отца Янош.

— Слушай, Янош! — еще более торжественно заговорил Золтан Репаша.— Ты думаешь, если мы сидим в этих Кленах, то уж все забыли, что есть на свете

Репаша? О нет—не зря твоего деда, а моего отца Балинта Репаша, хотя был он только раховским мясником, принимал когда-то сам Франц-Иосиф, не зря я был на фронте в четырнадцатом году и получил бронзовую медаль, не зря я,—Золтан Репаша поднял плечи и указал на грудь,—в девятнадцатом году душил эту Венгерскую советскую республику... Вот...

Он с торжеством взмахнул в воздухе бумагой.

— Про Золтана Репаша знают не только тут, а в самом Будапеште! В Бу-да-пеш-те! Ты понимаешь? И не зря я заполнял карточки партии «Национальное единство» и писал, что у меня есть сын Янош!..

— Золтан! — нетерпеливо крикнула Юдит, она стояла у двери в кухню и успела за это время выкурить уже вторую сигарету.— Ты так никогда не закончишь своей речи, Золтан!

— Я уже окончил,— ответил он и даже вскочил с кресла.— Вот он, голос из Будапешта... «Военное министерство Венгерского королевства просит вас, многоуважаемый господин Золтан Репаша, немедленно направить сына Яноша, о котором вы сооблаговостили нам писать, для прохождения службы в Будапеште».

— Вот что?..— довольно спокойно сказала Юдит.— На мясника его учить будут, что ли? И сколько они будут платить?

Золтан Репаша посмотрел на нее таким взглядом, что другой сгорел бы на месте, но Юдит не боялась этого взгляда и героически выдержала его.

— Что ты понимаешь? — кинул Золтан.— Его вызывают как сына члена партии «Национальное единство» на службу в военном министерстве Венгерского королевства.

— Да ведь здесь, папа, Карпатская Украина,— сказал Янош.— И вы, кажется, записывались в их партию.

— Пхе! — сказал отец и поглядел в окно.— Если тебя зовут, то, значит, в Будапеште готовятся. А если готовятся, то вскоре что-то будет, а если будет, то ты понимаешь, что ожидает и тебя и меня? В такое время ты можешь пойти очень, очень далеко... Ты будешь, конечно, сначала солдатом, но ты должен стать офицером, а там можешь стать и генералом... Поздравляю тебя, Янош!

Далеко нацеливался Золтан Репаша!

Закарпатье было разорвано на две части. Звонили колокола в церквах Ужгорода и Мукачева — это попы греко-католики, ксендзы римско-католики, проповедники-кальвинисты торжественно встречали венгерские войска. Звонили и в Хусте, Тячеве, Воловом — там пировала «Сечь».

Отец Федор Стрыпский был у Гаврила Клумака, когда в Клены вторично приехал отряд сечевиков.

— А, дорогие гости, — сказал, выбегая во двор, Клумак. — Давно вас ждем.

— Да ведь сколько сёл, — спрыгнул с машины командир отряда.

Отец Федор вышел на крыльцо и присмотрелся внимательнее. Лицо командира показалось ему знакомым.

— Пан Панасюк! — произнес о. Федор.

— Кто там? — резко повернулся командир отряда. — А, это вы, батюшка? Приветствую вас от всего сердца.

Они, оказалось, знали друг друга давно. О. Федор был хорошо знаком и не раз встречался с Панасюком, — тот был председателем окружного управления «Прогресив»...

— Что ж, довольно уже заниматься «Прогресивом»? — спросил о. Федор.

— Новое время, новые формы, пан-отец. Просветить этих лодырей можно только нагайкой.

— Давно пора, — поддакнул о. Федор. — Кого же вы думаете просвещать в наших Кленах?

— Вам лучше знать. Ведь у вас в селе, батюшка, не все в порядке. Среди бела дня, говорят, коммунисты выступают, вот выборы чуть не сорвали...

С машины сошел второй командир.

— Это из нашей партии... объединения украинских националистов... Консультант... — отрекомендовал его Панасюк. — Пан Церех.

— Очень приятно, — протянули руки о. Федор и Клумак.

— Гутен таг... Гутен таг¹, — бодро сказал Церех.

В доме у Клумака нашлось чем погреться — все они хорошо выпили, закусили.

¹ Добрый день (нем.).

— Так что ж,— сказал после этого Панасюк.— Пожалуй, пора и за дело.

— А как же,— согласился Клумак.— Дело — прежде всего.

— Про Борканюка не слышать? — спросил Панасюк.

— Если бы мы о нем услышали, разве молчали бы? — покачал головой священник. — Вы бы сюда военную силу...

— Будет еще сила,— утешил его Панасюк.— А пока что на вас надежда... Ведь у Борканюка есть единомышленники.

— Скажите прямо,— рубанул Клумак,— скольких нужно?

— Как видите, отряд у меня небольшой... Ну, троих...

— Так бы и говорили,— засмеялся Клумак.— По-американски. Что ж, отец Федор. У меня прямо душа горит, ведь они как раз на меня руку подымали, но называйте вы,— а то я за океаном позабывал фамилии. Кто там из них?

— Так это ж известно,— поднял глаза к небу о. Федор.— Вот хотя бы Михайло Тиснянец...

— Агитатор, настоящий коммунистический агитатор,— поддакнул Клумак.— Такие речи, такие слова на выборах. «Пришить свитку к пуговице». Запишите его, пан Панасюк—очень резкий на язык и опасный человек...

— А, так это Тиснянец агитировал? Понятно. Он у меня давно в списках. Что ж, еще раз запишем,— сказал Панасюк.— Давайте дальше.

— Панас Марунич,— продолжал о. Федор.— Он еще на Мараморош-Сиготском процессе сидел на скамье подсудимых. Три года тогда ему дали. Жаль, что мало. Пишите его теперь. А еще Михайло Козинец и Павло Гоц.

— Это уж вроде четверо,— вздохнул Клумак.

— Я думаю, и четверых не помешает,— бодро проговорил о. Федор.— Как, пан Панасюк?

— Четверых можно,— согласился Панасюк и записал в свой блокнот все фамилии, которые назвал ему о. Федор.

Панасюк с Церехом и сечевиками направились в село.

Крик стоял на улицах Кленов. Двоих верховинцев — Панаса Марунича и Павла Гоца взяли в их дворах, когда один рубил дрова, а другой толок в ступе какие-то

листья — покормить детей. Михайла Козинца схватили у горного потока — закоченев от холода, голодный, он с самого утра пытался поймать там хоть какую-нибудь рыбешку.

Михайла Тиснянца застали дома. Он отдал сапоги меньшому сыну Павлу, чтобы тот пошел по дрова, а сам босой грелся у огня. В доме, кроме него, была еще жена Гафийка и две девочки. Сын Антон рубил хворост у сарая.

— Где Михайло Тиснянец? — глядя в записку, спросил Панасюк, войдя во двор.

— Батько в хате, — ответил Антон.

— Батько! — насмешливо процедил Панасюк.

Панасюк и Церех вошли в дом. Церех сморщил нос, остановился на пороге. За ними вошло несколько сечевиков.

— День добрый! — медленно поднялся от огня и босиком стоял посреди хаты Тиснянец.

Панасюк не ответил на приветствие, а хмуро оглядел хату, остановил взгляд на Тиснянце и спросил:

— Так это ты занимаешься коммунистической агитацией?

Тиснянец выдержал взгляд Панасюка, более того — он сам пытливо, чуть наклонив голову к правому плечу, смотрел на Панасюка, как бы угадывая его намерения.

— Вы меня спрашивали, занимаюсь ли я коммунистической агитацией, пан?

— Не стенам говорил, а тебе...

— Нет, пан, не занимаюсь... Какой уж из меня агитатор? Агитирую, простите на слове, голой спиной да босыми ногами...

— Ты и теперь не перестаешь? — крикнул Панасюк. — Нашел чем попрекать! Мы, что ли, в твоей бедности виноваты?

— Я молчу, пан, — поднял тощие плечи Тиснянец, — а бедность, — он обвел взглядом хату, — сама говорит, ее не спрашиваешь, а она кричит...

— Борканюк где? — крикнул Панасюк.

— Не ведаю того, пан.

— Может, скажешь, что и самого не знаешь?

— С чего бы я такое говорил? Это ж наш земляк, его тут каждый знает.

— Ты коммунист? — продолжал Панасюк.

Тиснянец только руками развел.

— Где уж там. Да и в селе объявляли, что коммунистическая организация запрещена!

Обыск! — коротко приказал Панасюк сечевикам, стоявшим у порога.

И два здоровенных, откормленных сечевика начали обыск. Собственно говоря, в хате было так мало вещей, что негде было и искать. Они раскрыли Гафийкин сундучок и выбросили на пол все вещи, провернули стол, сорвали со стены пучки горных трав, полку...

— Есть, — сказал один из сечевиков.

— Это что? — вышел вперед Панасюк и уставился взглядом в книги — они упали вместе с полкой и лежали на полу. — Шевченко? — Он протянул руку к первой книге. — Откуда ты это взял?

— Эта книга у нас, пан, еще от отца, да прощена будет, — ответил очень спокойно Тиснянец. — А где батько взяли — того не знаю. Бережем, сами знаете, как с книжкой на Верховине.

— От отца?! — крикнул Панасюк. — А это? — Он взял сразу несколько тоненьких книжечек. — Ленин... Сталин... Ну? Что ж ты теперь скажешь, большевистский агитатор? Так вот почему ты предлагаешь пришить пуговицу к свитке.

Тиснянец молчал. Он поглядел на жену, девочек, долгим-долгим взглядом обвел хату, словно решал что-то необычайно важное, что решается, может быть, один только раз в жизни.

И, видно, решил. Поднял голову, глубоко вздохнул, сверкнул глазами.

— Что ж, пан, — громко сказал он. — Поймали меня, и оправдываться не стану. Не стану и не хочу. Да, были у меня эти книжки, принес я их давно когда-то с востока. И не только эти книжки принес, пан, а принес с собой такую веру, которой не убить, не выжечь. Людям передавал я эту веру. И они уже верят, знают. Не свитку к пуговице, а нас к той Украине.

— Опять! — завопил Панасюк.

Он сказал несколько слов по-немецки Цереху и показал ему книги. Тот махнул рукой: «О, зер гут!»

— А ну, выходи! — приказал Панасюк.

Заплакали дети. Михайло Тиснянец ровными шагами

пошел из хаты. Когда он переступил порог сеней, позади него раздался выстрел. Что-то больно ударило его в голову, потемнело в глазах, и, выбросив вперед, к горам, руки, повалился он наземь.

— Батько! Батько! — кричал сын его Антон.

Обедали Панасюк и Церех у священника: тот непременно хотел принять высоких гостей, и попадья Татьяна специально для них вычитала несколько рецептов из раздела «Русинская кухня» в книге «Домашняя хозяйка».

Клумак тоже пришел к обеду. По дороге встретил Золтана Репаша.

— Куда направляетесь, пан Клумак? — поинтересовался тот.

— В гости, — деланно-небрежно ответил Гаврило. — Приехало начальство, посидим у пан-отца.

Он не стал даже много разговаривать с Репаша, зашагал дальше.

А Золтан долго глядел завистливым взглядом на Клумакову спину и тряс рыжей, похожей на паклю бородкой.

«Пируют, ходят друг к другу в гости. Отвечать полюдски не хотят, рады бы разорвать. Что им до того, что Балинт Репаша говорил с Францем-Иосифом, что Золтан Репаша воевал в четырнадцатом году с Россией и получил за это медаль, что Янош Репаша марширует в Будапеште, готовясь к великим походам? Но погодите, не всегда так будет, придете вы к Золтану, еще и поклонитесь!»

А в поповском дому в это время шла тихая, непринужденная беседа.

— Так, говорите, и книжки нашли? — спрашивал о. Федор. — Что ж, этого можно было ожидать. Те, кто побывал в России, все такие. И как вы его?

— В голову, — спокойно ответил Панасюк.

— Он, понятно, заслужил это, — решил о. Федор. — Такого — только убить, — говорил он тихим голосом. — Книжки из России! Вы подумайте, какая это опасность. Нет, нет, самого убить, а книжки сжечь, чтобы и пепла не осталось. Но, ей-ей, это несправедливо, пан Панасюк. Вы — раз, бах, и нет его, а мне: и похорони его, еще и

припечатай. Ну, бог с ним, такова уж моя обязанность...
А этих как?

— Повезем с собою.

— Вот видите,— обратился к Гаврилу о. Федор.—
Я же вам говорил — трое. Так и вышло.

Они снова выпили и закусили, дружно похвалили по-
падью, которая проявила себя мастерицей и русинской
кухни.

— Да что вы, что вы, я всегда рада,— говорила по-
падья.

— А этот, как его, по-нашему не понимает? — спро-
сил, кивнув на Цереха, о. Федор.

— Ни слова! Немец! А зачем ему что-нибудь пони-
мать? Это наша сила.

— Плохо, что я не знал, кто он,— жаловался о. Фе-
дор.— Матушка приготовила бы ему что-нибудь из не-
мецкого. Слышишь, Татьяна! Приготовь пану Цереху хо-
тя бы кофе...

Вечером Панасюк и Церех уселись в легковую маши-
ну, а на грузовик сели, взяв с собой трех арестованных,
сечевики.

Павло Тиснянец спускался тропинкою с гор. Он ходил
в лес, чтобы тайком от лесника набрать дров, потому что
нечем было протопить, а отец так кашлял...

— Я сбегая,— вызвался утром Павло,— Антон выше
ростом, и его каждый увидит, а меня лесник и не при-
метит. Станет темнеть, я и вернусь.

Отец улыбнулся. Он очень любил Павла. Хлопцу едва
минуло пятнадцать лет, был он ловкий, послушный, сер-
дечный. Красивый мог выйти из него юноша: смуглый,
чернобровый, когда смеялся, ямочки проступали на ще-
ках.

— Помощники мои,— радовался старик.— Не век
мне жить, кто малышей выведет в люди? Известно, Антон
да Павло.

Павло очень любил лес, шум сосен, журчание пото-
ков, богатство красок и днем и ночью, когда над деревья-
ми висит золотой месяц. Будь его воля, он и не жил бы
в селе, где толкуют только про горе да нужду, а ходил бы
по горам, полонинам. Да если бы еще ружье, так ни одии
жандарм или лесничий его не поймал бы,— лисиц, выдр,

куниц приносил бы в отцовскую хату. Хоть и молод был, а знал каждую скалу, звериную тропу. А там высмотрел бы место, где валяются дикие свиньи, устроил на дереве засаду и сидел бы, пока не убьет кабана.

А набив зверя, он шкуры продал бы, а на эти деньги одел отца, мать и сестер. Такое уж сердце было у Павла, мало заботился о себе, больше думал о родных.

И утром он пошел в лес, осторожно ступал, озирался из-за каждого куста, чтобы не нарваться на лесника, насбирал и связал веревкой такую кучу хворосту, что когда взвалил на плечи, то словно гора выросла над ним,— и в сумерках спустился к селу.

Он никого не встретил и пробрался кустами до самого своего двора, спрятал хворост под оборогом¹, а тогда медленно, будто никуда и не ходил, направился к хате.

Но что такое случилось? Возле их дома стояла толпа мужчин и женщин. Все они молчали и, кутаясь в свои гуни, смотрели в сени. Молчаливый и бледный, стоял посреди двора под грушей брат Антон. Из соседнего двора с трембитой в руках шел Иван Антрошко.

Почувяв недоброе, вихрем пролетел Павло по двору и остановился на пороге. Люди увидели его и расступились.

— Иди-ка, иди, сынок,— слышались голоса.

И сразу зашумели, загомонили все:

— Что творится, люди! Ведь такое горе! Ой-ой!

Павло вошел в хату. И тут вдоль стен стояло много людей. Мать держала на руках маленькую Настю, слезы катились по ее высохшему лицу.

А на столе, застланном рядном, лежал, вытянувшись, с закрытыми глазами, совсем бледный отец; на виске у него черным пятном запеклась кровь.

Павло повалился в ноги мертвому.

— Батько! Батько!— крикнул он.

И замолчал.

— Господи помилуй! Ой, горе, людоньки! Ой, горе великое,— стонала множеством голосов и, казалось, разрывалась их хата. А люди все входили и входили.

Вошел и низко поклонился покойнику бокораш Иван Антрошко, долго молча стоял в хате, а потом вышел во

¹ О б о р о г — соломенный навес на четырех столбах, под которым складывают сено, пшеницу, рожь; он может опускаться и подниматься по мере надобности.

двор, стал возле угла дома, взял в руки трембиту и высоко поднял ее вверх.

Это была не обычная трембита. Делал ее еще в молодые годы отец Антрошка, Марко́. Знал он, что дерево для трембиты, чтобы была звонкая и звучная, следует брать только из пенька той сосны, какую разбило громом, а берзовую кору, которою обертывают трубу, — из пенька того дерева, что росло над водопадом: тогда трембита будет шуметь и играть, как водопад. Все сделал, как положено, Марко Антрошко.

Трембита Марка Антрошка много и послужила. Она отзывалась в праздники, торжественно играла, когда выгоняли стадо на пастбище, с высоких полонин кидала свой зов в долину. Если же слышалась песня трембиты в селянском дворе — знали люди: кончилась чья-то песня на земле.

И теперь взял Иван Антрошко в руки трембиту, и печально поведала она, что не стало в горах еще одного честного человека — Михайла Тиснянца, что помер он не своею, а злою, насильственной смертью.

А он лежал между свечками в хате на столе, с пробитым черепом, — окровавленный, бледный, безмолвный, будто думал все об одном: как помочь бедным людям Верховины в их великом горе?

6

Не было войны, но военная комендатура издала приказ, чтобы каждую ночь Хуст был затемнен. Приказ распространялся на другие города и села. Едва где-нибудь пробивался свет, патрули, шагавшие по улицам, подбегали и наугад стреляли в «опасные» окна.

Это все делалось для того, чтобы доказать, как об этом писалось в волошинской газете, будто кто-то зарится и готов напасть на эти горы и долины, да еще для того, чтобы под покровом ночи творить черное дело.

По улицам Хуста всю ночь тянулись колонны — это сечевики вели из верховинских сел в страшный Думен и другие концентрационные лагеря людей, которые не покорялись волошинцам и оккупантам. В долине Тиссы по ночам то тут, то там видны были вспышки и доносилось эхо пулеметных выстрелов. Это начинали действо-

вать «фабрики смерти». А на станции в это время гудели паровозы и к перронам подползали, задыхаясь, поезда из Будапешта и Берлина. Немецкие эсэсовцы и венгерские салашисты выходили из вагонов и дружно маршировали в сопровождении гостеприимных сечевиков в приготовленные для них казармы.

Шум на улицах Хуста и выстрелы хорошо слышал и корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» мистер Пирсон, — он работал до этого в Праге, но, по приказу начальства, после захвата Судет срочно переметнулся дальше на восток. Он слышал шум и выстрелы, знал, что они означают. Но что ему было до местных людей, до их медленной и жестокой гибели? Интересы редакции, за спиною которой стояли могущественные компании, были для него превыше всего на свете. Редакция приказывала ему внимательно следить за тем, как собираются на Карпатах антисоветские силы, как они организуются, редакция приказывала всячески содействовать этим силам.

И поздно ночью, сидя в хустском отеле, в самом лучшем номере, предоставленном ему по распоряжению самого Волошина, мистер Пирсон, наклонясь над столом и по временам поднимая глаза к потолку, где висела загаженная мухами лампочка, выстукивал на машинке очередную корреспонденцию в свою газету, под звучным заголовком «Пьемонт на Карпатах».

Мистер Пирсон знал в Закарпатье только отель «Корона» в Ужгороде, «Звезду» в Мукачеве, отель в Хусте и рестораны при всех трех отелях. Этого было, конечно, маловато для того, чтобы писать о Карпатах! Но разве Пирсон не был до того собственным корреспондентом в Абиссинии, в Испании и еще во многих и многих странах и, разве ему нужно было занимать у кого-нибудь вдохновения?

Он писал:

«Я объехал все Карпаты, говорил со многими людьми, сидел с ними при свете «хостр» (Пирсон слышал в ресторане слово «костер», но переврал его) и знаю их мысли, мечты, стремления».

Взяв такой разгон, мистер Пирсон легко пошел дальше. Он напоминал теперь дятла, который пробил кору и долбит клювом живую сердцевину.

«Чудесный край! — прищелкивал языком мистер Пирсон и ударял пальцами по клавишам. — Здесь повсюду

высятся горы, в долинах шумят быстрые реки, склоны гор покрыты лесами, в этих лесах можно встретить медведей и диких кабанов, а над горами тучей кружат гордые орлы».

В этом месте мистер Пирсон даже заерзал на стуле. Ему понравились орлы, которые тучей кружат над горами.

«А какие тут люди! — быстро подвигался дальше мистер Пирсон. — Смелые, отважные, полнокровные, они прекрасно выглядят. Многие из них побывали когда-то в Америке и по вечерам, при свете «хостр» (Пирсон экзотики ради повторил это слово), — при свете «хостр» они рассказывают о своих приключениях в Америке, вспоминают, как много сделали для них добросердечные американцы, и надеются, что Америка и в дальнейшем им поможет. И нужно им помочь, потому что сейчас, когда благодаря Америке, под руководством генерала Волошина, создана Карпатская Украина, она является подлинным Пьемонтом в отношении некоторых стран, лежащих к востоку от Карпат...»

Позднее мистер Пирсон, побродив по коридору отеля, постучался в дверь номера, где жил корреспондент немецкой газеты «Фелькишер беобахтер» герр Бегал. Тот, побывав в этот вечер на приеме у «генерала» Волошина, тоже закончил очередную корреспонденцию. Обоим корреспондентам было о чем поговорить и что вспомнить за бутылкой доброго местного вина.

7

На колокольне звонил колокол. Его стоны катились по долине, воплями отзывались в высоких, покрытых снегом горах, — будто стремились эти тоскливые звуки перешагнуть через леса и перевалы, чтобы всем людям повесть верховинскую печаль.

Из двора Тиснянцев вышла погребальная процессия. Закрытый гроб положили на сани, запричитали женщины, о. Федор затянул «Вечную память».

Много народу собралось проводить Михайла. Конечно, не Клумаки его провожали, Гаврило с Дмитрием сидели в это время за обедом и рассуждали: «По таким, как Тиснянец, не в колокола звонить, а из пушек в них стрелять. Чем меньше их будет, тем нам лучше».

На похороны пришли люди из курных верховинских хат — мужчины, женщины, дети, пришли сплавщики, чабаны, лесорубы. Были между кленовчанами и незнакомые люди, и это никого не удивило — Михайла Тиснянца знали, уважали и в окрестных селах. Пришли люди, поклонились покойнику, влились в толпу.

На колокольне печально звонил колокол. Двинулись сани по наезженным колеям, громче запричитали женщины, о. Федор затянул «Вечную память».

«Вечная память!» Пустые и лживые слова! Вот он лежит в гробу — труженик Верховины, который дробил камни в горах, с великим трудом обрабатывал тощую землю, рубил вековые деревья и сажал для грядущих веков новые леса, руки которого были все в мозолях... Сколько уже до него за сотни лет сошло в могилу таких людей? Сколько раз над такими, как Михайло Тиснянец, людьми раздавалась «Вечная память»...

Так, должно быть, думал и о. Федор. Для виду он пошел проводить и похоронить и этого кленовчанина. «Политика, мол, не мое дело, я только раб рабов божиих...» А ему был вовсе безразличен человек, чья жизнь так внезапно оборвалась, были безразличны все люди, тащившиеся по мокрому снегу за санями, безразлично все людское горе... Пропев охрипшим голосом несколько церковных песнопений и прочитав евангелие, о. Федор зашагал проворнее, чтобы поскорее закончить погребальную церемонию.

Вдруг о. Федор оглянулся и остолбенел...

На санях лежал в гробу Михайло Тиснянец, задумавшись шагали по снегу люди, — мужчины, женщины, дети. Но над ними вился и трепетал под ветром, веявшим с гор, красный флаг...

Федор Стрыпский остановился, поднял руки, хотел что-то крикнуть. А толпа подвигалась вперед, по укатанным, разбитым колеям ползли сани.

И о. Федор сошел с дороги, сделал несколько смешных, неловких шагов, чтобы не упасть в снег, обеими руками поднял рясу... Закусил губы, зажмурясь стал у плетня...

Проползли медленно сани, и прошла толпа мимо него. Долетели слова старой Тиснянчихи:

— Ведь отец преподобный сошел... Кто ж похоронит?
И слова какого-то человека, незнакомого о. Федору:

— Держитесь, Гафия, вы ж поглядите — тут все село. Все село! Это было сказано не зря. Не было на похоронах только Клумаков, Ключуряков, Репаша. Но здесь была вся верховинская беднота, она провожала в последний путь Михайла Тиснянца, были здесь незнакомые, но, видно, очень родные люди, кто-то из них поддерживал под руку вдову покойного, мозолистые руки подняли над толпой красное знамя.

Кто и когда шил это красное знамя? Может быть, это было знамя, сшитое еще в 1918 году, когда собиралась здесь беднота и говорила: «Хотим до Советской Украины прилучиться», — может быть, это было знамя, которое то здесь, то там появлялось на Верховине в дни забастовок, в Майские и Октябрьские дни, когда беднота хотела показать, что она сердцем и душой рвется за высокие Карпаты. За этим знаменем охотилась венгерская и чешская полиция, его простреливали, срывали с древка. Но его снова подхватывали новые сильные руки, кровь, пролитая на Верховине, казалось, окрашивала все ярче и ярче знамя... И теперь знамя борьбы снова реяло в воздухе, плыло над толпой, говорило, что не даром прожил свой век Михайло Тиснянец. Нет, не даром!

Глава шестая

1

Волна оваций разлилась и стихла, ее догоняли новые волны.

Потом наступила такая глубокая тишина, что слышно было, как рука коснулась пюпитра, как плеснулась вода в стакане, зашелестела бумага.

«Товарищи! Со времени XVII съезда партии прошло пять лет. Период, как видите, не малый. За это время мир успел пережить значительные изменения. Государства и страны, их отношения между собой стали во многом совершенно иными».

Слушали делегаты XVIII съезда партии большевиков, слушали трудящиеся Советского Союза, слушал мир.

«Уже второй год идет новая империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая

до Гибралтара и захватившая более 500 миллионов населения. Насильственно перекраивается карта Европы, Африки, Азии. Потрясена в корне вся система послевоенного так называемого мирного режима».

Олекса Борканюк задумчиво, не отрывая глаз от зеленого огонька радиоприемника, опершись головой на руки, сидел за столиком. Еще несколько человек из краевого комитета сидели вплотную возле него. В углу, за отдельным столиком, на котором горела свеча, писала женщина. В комнате, в Хусте, где они собрались час назад, было необычайно тихо.

«Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, нарушив все и всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в печати о «слабости русской армии», о «разложении русской авиации», о «беспорядках» в Советском Союзе, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. Нужно признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора».

Вздохнул Олекса Борканюк. Отсвет зеленого огонька заиграл в его глазах. Зашевелились все в комнате. Кто, как не они, знал и на себе испытал все то, о чем говорил товарищ Сталин? Далеко Москва, а как близко, совсем близко до нее.

«Характерен шум, который подняла англо-французская и северо-американская пресса по поводу Советской Украины», — долетел голос из Москвы.

И они вспомнили «русина из Америки» Геровского и его трехчленную делегацию, которая облазила все города в Закарпатье, а еще больше пресмыкалась в Праге и Берлине, вспомнили статьи из английских, французских и американских газет, статьи, которые старательно перепечатывали в своих газетках вожаки фашистских организаций в Закарпатье — Бродий, Фенцик, Волошин. «Пьемонт на Карпатах», — так писал и пишет мистер Пирсон, который днюет в хустском отеле, а ночует в ресторане при нем.

«Деятели этой прессы до хрипоты кричали, что немцы идут на Советскую Украину, что они имеют теперь в

руках так называемую Карпатскую Украину, насчитывающую около 700 тысяч населения, что немцы не далее как весной этого года присоединят Советскую Украину, имеющую более 30 миллионов населения, к так называемой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований.

Конечно, вполне возможно, что в Германии имеются сумасшедшие, мечтающие присоединить слона, то есть Советскую Украину, к козявке, то есть к так называемой Карпатской Украине. И если действительно имеются там такие сумасброды, можно не сомневаться, что в нашей стране найдется необходимое количество смиренных рубах для таких сумасшедших».

В эту минуту там, в Москве, взорвалась подлинная буря рукоплесканий, а в комнате в Хусте бурно и неудержимо забили у всех сердца.

В тишине звучало:

«Но если отбросить прочь сумасшедших и обратиться к нормальным людям, то разве не ясно, что смешно и глупо говорить серьезно о присоединении Советской Украины к так называемой Карпатской Украине? Подумайте только. Пришла козявка к слону и говорит ему, подбоченясь: «Эх ты, братец ты мой, до чего мне тебя жалко... Живешь ты без помещиков, без капиталистов, без национального гнета, без фашистских заправил,— какая ж это жизнь... Гляжу я на тебя и не могу не заметить,— нет тебе спасения, кроме как присоединиться ко мне...»

В Москве, в зале, раздался общий смех. Там смеялись над сумасшедшими, которые в болезненном бреде считали, что держат в своих руках народы, что могут будто бы их соединять и разъединять по своему усмотрению.

В Хусте опасно было не только смеяться, но и говорить обыкновенным голосом. Так было в Хусте, в Ужгороде, Мукачеве, по всему Закарпатыю

Но какие глубокие чувства вызывали во всех слова доклада! Поднялся, казалось, в эту минуту из гроба Михайло Тиснянец, поднялся, выпрямился во весь рост, стал, высокий и сильный, сказал таким голосом, каким всегда говорил: «Это правда, что мы маленькая пугови-

ца, а Советская Украина, по ту сторону Карпат, большая свитка. С ума сошли те, кто вздумал пришить свитку к пуговице».

Будто и не умирал Михайло Тиснянец, а стоял среди живых и говорил:

«А может, лучше было бы, кабы нашу малую пуговицу да пришить к той большой свитке».

И оттого, что в Закарпатье уже не было уголка, где бы не знали, что сказал в смертный час верховинец Михайло Тиснянец своим врагам, и оттого, что все обездоленные люди думали здесь так же, как и он, навстречу словам Сталина вырывалось из груди:

«Волим! Защити нас, батько!»

Борканюк обвел взглядом товарищей, собравшихся в этой маленькой комнате. Подполье? Да, подполье! Плотно завешены окна в комнате, чуть мерцает свеча, люди переговариваются приглушенными голосами. Кто-то из друзей караулит во дворе, еще кто-то сторожит на улице. Подполье!

Но доклад на XVIII съезде затаив дыхание выслушали сейчас тысячи тружеников Закарпатья, — где-нибудь в тесном кругу на квартире рабочего-подпольщика, где-то в доме учителя, слившего свою судьбу с судьбой народа, в какой-нибудь курной хате на Верховине... А если и не все слушали, — ведь повсюду следят фашистские шпики и сыщики, — то все равно уже завтра речь эта из уст в уста облетит все Закарпатье, решительно поставит перед каждым вопрос: «А что ты сделал для победы нашего дела?»

2

Данило Ковач вскинул на плечи торбу, подпоясался, взял пилу, отполированный до блеска отцовскими руками шест с крюком и отправился в горы, на бутин к Дмитру Клумаку.

Это место лесорубы недаром называли «зеленой тюрьмой». Здесь работали кленовчане, ясеновцы, люди из других сел, были здесь старики и молодежь, мужчины и женщины, даже дети. Всех их гнало на бутин одно — нужда, горе, голод...

На бутине никто не считался ни с силой человека, ни с возрастом. Работа в лесу начиналась, едва в горах

забрезжит свет. Десятники трубили в рога, и люди вылезали из землянок — мокрых и холодных ям, напоминавших могилу. В бледном свете утренней зари садились они на пеньках, а то и прямо на землю, съедали, что у кого было — тот кусочек мамалыги, тот ложку вчерашней жиденькой похлебки, а иной грыз корку овсяного хлеба, запивая ее холодной водой.

А потом они отправлялись в лес. Что были для Клумака люди, работавшие тут? Что ему было до этих нетронутых лесов, стоявших столетиями? Он думал только о выгоде и приказывал, близко ли, далеко ли, а выбирать и рубить только лучшие сосны, ели, буки.

И люди валили чудесные деревья, стоявшие сотни лет, сдирали с них кору, волокли руками стволы, спускали по желобам в горный поток.

В лесу оставались на месте груды ветвей, они гнили там годами. Но Клумак и лесники не позволяли людям вынести из лесу и щепки, — пусть гниет валежник, пусть в холоде сидит беднота.

Стоголосо шумел лес, тяжело вздыхали, падая, деревья, то тут, то там слышалось: «Вардьяй!»¹, — и, как желтые стрелы, описывая дуги в воздухе, со склонов в горный поток летели по деревянным желобам бревна. А там, стоя по колени в ледяной воде, промокшие до костей сплавщики-бокораши вязали плоты, прилаживали к ним опачины, чтобы по бешеному потоку спустить в тартак. Их всех в лесу и над потоком подгонял Клумак со своими десятниками. Люди работали, сколько было сил и сверх силы; шумел лес, ярился и кипел поток, а все же нес и нес в долину Клумаковы плоты.

Поздно вечером заканчивалась работа в лесу, и тогда лесорубы и сплавщики шли тяжелыми шагами к землянкам, валились на холодную землю и погружались в беспокойный сон до рассвета, когда снова трубил рог и по землянкам пробегало тревожное: «На работу! На работу!»

Данило Ковач пришел на бутин, увидал, как работают люди, задумался. Кто-то из односельчан спросил его:

— Что ж ты, Данило, после Америки да в «зеленую тюрьму»?

¹ В а р д я й — предостерегающий крик лесорубов.

Но это уже был не тот Данило Ковач, который когда-то ехал в Америку на заработки, не тот, что стоял когда-то беспомощный на острове Эллис и в тяжелую годину протянул руку за помощью к Гавриле Клумаку. Он уже многое повидал в жизни, в нем уверенно рождалась та сила, которая заставляет человека смело глядеть в глаза опасности, трудностям, не отступать перед ними...

— Вы ж работаете? — сказал он односельцам. — А мне после Америки и черт не страшен.

Ковач разыскал на бутине Дмитра Клумака, — тот как раз в эту минуту накинулся на одного из работников. Когда Клумак замолчал, Данило подошел к нему.

— Я до вас, пан Клумак.

— А что? — поглядел на него богач.

— На работу хотел бы стать.

— Ты не Амвросия Ковача сын?

— Его.

— У Клумака заблестели глаза.

— Слышал, слышал, — сказал он. — Да ты и в Америке побывал?

— Побывал.

— Что ж, — усмехнулся Клумак. — Американцев я люблю, бывалые люди. На работу приму. Только помни, здесь не так, как в Америке, денег тебе даром платить не будут.

— Пан Клумак, — сказал Ковач, — в Америке тоже денег даром не платят.

— Знаю, — перебил его Клумак. — Ты не сумел в Америке, а вот другие сумели...

Так Ковач стал на работу, сделался пленником «зеленой тюрьмы». Работал он, как все, голодал вместе со всеми, лежал, как и другие, в холодной землянке.

В первые же дни он познакомился с одним лесорубом, по прозвищу Степан Шегута. Вместе они валили деревья, обрубали ветви, спускали стволы по желобу.

Как-то в обед, когда лесорубы рассыпались по прогалине, где еще утром шумели буки, а теперь, точно кладбище, торчали пеньки, они разговорились.

— Ты, говорят, в Америке побывал? — спросил Шегута.

— Бывал, — коротко ответил Ковач: не хотелось ему вспоминать американскую каторгу.

— Что-то мало ты о ней рассказываешь, — не отставал Шегута, глядя на Ковача прищуренными глазами.

— Не хочу я о ней вспоминать, — с болью вырвалось у Ковача. — Вот тут, под сердцем, печет, когда вспомню...

— Ты это зря, — совершенно спокойно продолжал Шегута. — Не нужно носить в самом себе того, что у тебя болит. Вот ты побывал в Америке и знаешь правду... А здесь разве не то же самое? Ведь у них один фронт...

— О чем ты говоришь? — отставил в сторону свою кружку Ковач.

Шегута глядел на прогалину, на людей, которые там и сям сидели на пеньках, и легонько улыбался.

— Слушай, — сказал Шегута, — а ты знаешь, для кого Клумак рубит лес? Знаешь, на кого мы работаем?

— Ну?

Ведь все это для армии, мы работаем на войну...

— На войну? — тихо протянул Ковач.

— А ты думал — из чего порох делают? А самолеты? А линии обороны? Всё делают из дерева, а нашей кровью хотят смочить...

Растерянno огляделся Ковач по сторонам, а потом встретился со взглядом Шегуты.

— Так почему бы нам не собраться и не поговорить? — заглядывая, казалось, в самую душу Ковача, говорил Шегута. — Ты про Америку, я повидал немало горя в долине, есть тут люди, что побывали и за Карпатами, на востоке. Нам есть о чем посоветоваться, подумать...

О многом хотел расспросить Данило Шегуту, но кто-то подошел, и разговор оборвался.

Разговор оборвался на несколько дней.

Неожиданно Степан Шегута исчез с лесоразработки. Как ни присматривался Данило, как ни искал между людьми, работавшими на делянке, а найти его не мог. Расспрашивать же, куда девался Степан, Ковач не хотел.

Но были и другие события, отвлекшие Данила от мыслей о Шегуте. Эти события взволновали не только одного Ковача.

На лесоразработке была лавка, принадлежавшая фирме «Латорица». Не только на бушине Клумака держала фирма свою лавку. В Закарпатье, на какую бы вы-

сокую гору ни взошел и как далеко ни глянул бы, все, что видели глаза, принадлежало «Латорице».

Эта швейцарско-французская фирма, поддерживавшая самые тесные связи с американскими конторами, акции которой бешено скупали когда-то чешские аграрии, за которые дрались и местные богатеи — Климпуши, Ключуляки, Волошин и прочие, — она как пиявка присосалась к живому телу Закарпатья и пила людскую кровь. «Латорица» владела землями, она захватила леса, шесть ее лесничеств паутиной оплетали горы и долины.

На разработке у Клумака «Латорица» держала только лавку. Сидел в ней какой-то Бейла Вереш, сам по себе невзрачный, кривой на один глаз, тощий, скрюченный.

Бейла следил, чтобы те жалкие короны, какие лесорубы получали за свой каторжный труд, попадали только в его лавочку, чтобы издыхал лесоруб, чтобы богатея «Латорица», чтобы был хосен и ему — Бейле.

Он видел, когда лесоруб доходил до изнеможения, когда у него подкашивались от усталости ноги, и протягивал ему стаканчик паленки или же вонючей ханжи — румынки.

— На здоровье! — говорил он лесорубу и крал у него последнюю корону.

Бейла Вереш и кормил так же лесорубов — отбросами и всякой дрянью, пригодной только для животного. Да и животное, пожалуй, не стало бы есть такого.

И вот дошло!

Вечером, когда пошабашили, подошла к лавочке толпа рабочих. Они были очень голодны, это видно было по их глазам, по истощенным лицам...

— Эх, поесть бы, — сказал один из них, Устим, человек необычайной силы, который шутя ворочал огромные бревна.

Кто и откуда был Устим — никто не знал, хотя в каждой землянке у него были друзья, уважавшие его не только за силу, а и за то, что душа у Устима была широкая, открытая, простая.

Он немало повидал на своем веку, бывал на морях и материках. Любо послушать было лесоруба Устима, да и внешне он был привлекателен, — темноволосый, жилистый, крепкий.

Но сейчас он сказал мало.

— Эх, поесть бы! — и все.

— Так чего же,— кинулся вперед Бейла Вереш.— Вот солонина вареная, вот солонина жареная, вот вареники с солониной, вот фасоль с мясом...

На солонину противно было смотреть. Она — не жареная и не вареная — стояла у лавки в бочках. У солонины был землистый, грязный цвет, от нее нестерпимо воняло, она шевелилась. А рядом с бочками солонины стояли еще мешки муки из прелой, проросшей кукурузы.

Устим выступил вперед, ткнул рукой в бочку с солониной.

— Ешь,— сказал вдруг он, глядя на Бейлу.

— Что такое? Как ты смеешь? — завизжал Вереш.

— Ешь, собака! — повторил Устим.— Ешь то, чем нас травишь, а то я тебя...

— Чего кричишь? — завопил Бейла.— Ешь ты, лодырь, бунтовщик, чего тебе дают.

— Так, говоришь, не будешь есть? — спросил Устим.

— Нет, нет, это я тебе глотку заткну.

— Что ж, добро,— проговорил Устим.

Он подошел ближе к бочкам с солониной.

— Помогите! — позвал он рабочих.

Лесорубы подошли к нему, приподняли бочку.

— Вот так! — Устим обхватил руками бочку.

— Что ты делаешь? — визжал Бейла Вереш.— Эй, охранники! Охранники! — звал он.

Устим молча нес бочку к деревянным желобам, по которым обычно спускали бревна.

— А ну, вардьяй! — крикнул Устим.

И он первый толкнул бочку в желоб.

Загудела делянка, зашумел лес. Три бочки летели по желобам. Они ударялись о стенки желоба, ударялись одна о другую, и в воздухе свистело, ревело, грохотало. Бочки долетели до конца желобов, описали, как пушечные снаряды, большие дуги в воздухе и так хлопнулись в воду, что у запруды, точно высокие ели, поднялись вдруг пена и брызги.

И снова что-то зашумело по желобам, что-то пролетело по ним, но так до конца и не долетело. Над желобами встало ржавое облако. Это Устим в сердцах вслед за бочками с солониной спустил вниз и мешки с кукурузной гнилой мукой. Облако поползло к реке и там пеленой легло на воду. И сам Бейла, пожалуй, только потому не

угодил в желоб, что спрыгнул с кручи и поспешно сбежал вниз, хватаясь за стволы и камни.

А высоко над кручей стоял Устим.

На другой день чуть свет на разработку явились сечевики. Они окружили место, где на лесной опушке выкопаны были землянки лесорубов, окружили их таким тесным кольцом, что не только человек, птица не выпорхнула бы. Потом они кинулись к землянкам и устроили обыск. В лавку тем временем приплелся и Бейла Вереш.

Сечевики перетряхнули все до щепочки. Где лежал мешок, набитый травой или мохом, где стояло ведро с водой, где на крючке висел какой-нибудь мешок или узелок, — все они перевернули, перебили, поломали.

Это было страшное зрелище. Лесорубов отогнали в сторону, и они стояли под деревьями, дрожа в рваной одежде от утренней прохлады, а еще больше от ярости. Они готовы были кинуться вперед, но вокруг них все время стояли сечевики, и, едва кто-нибудь шевелился или хотя бы поднимал руку, раздавалось: «Куда? Стой!»

Обыск ничего не дал. Сечевики чертыхались и плевались, надышавшись пылью и дымом в землянках. Они избили нескольких лесорубов — так, наобум, нужно же было им на ком-то сорвать злость.

Но ушли они с разработки ни с чем. Того, кто им был нужен, они не нашли. Устим и еще несколько лесорубов исчезли.

Через день случилось новое происшествие.

С зарей затрубили рога, просыпались в холодных и сырых землянках лесорубы, выходили на воздух...

Было необычно тихое весеннее, светлое утро. Золотые нити рассвета заткали уже весь восток. Выше лесов поднимались горы: белые, с нежно-голубыми полутенями на снегах и с розовыми полосами на хребтах, куда проникали лучи солнца. В лесу было очень тихо, только кое-где пробуждалась птица, осыпалась роса. В воздухе носились запахи леса — пахло опавшей, прошлогодней листвой, но уже угадывался в воздухе аромат растаявшей смолы, молодой травки, может быть и первого цветка.

Лесорубы выходили, становились перед землянками. Хотя эти люди были каторжниками, узниками «зеленой тюрьмы», но как остро и тонко ощущали и понимали они величие родных гор, обаяние зеленых лесов, запахи родного края. Просыпались рано — у них оставались всего минуты, чтобы позавтракать и бежать на работу, и все же они задерживались, хоть ненадолго, чтобы взглянуть на красу рассветного неба, гор, лесов.

И вдруг кто-то вскрикнул. Потом никто не мог припомнить и сказать, кто крикнул первым, потому что этот первый голос потонул в вихре других голосов. Все увидели, что на высокой ели, ствол которой не смогли бы охватить и трое людей, висит лист бумаги.

Лесорубы направились к нему. Лист бумаги был, видимо, повешен еще с ночи, — его густо покрыла роса. Но под каплями, которые переливались всеми красками и сверкали, тем четче выступали строки той же газеты коммунистов, которую они читали прежде:

«Трудящиеся люди Закарпатья!

В Москве состоялся съезд коммунистов Советского Союза.

Товарищ Сталин сказал:

«Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми странами, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить интересы нашей страны.

Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со всеми соседними странами, имеющими с СССР общую границу, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить, прямо или косвенно, интересы целостности и неприкосновенности границ Советского государства.

Мы стоим за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и борющихся за независимость своей родины.

Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность Советских границ».

Читали. Один, второй, третий. Другие слушали, мало кто из местных людей умел читать. Но никто позже не сказал, кто именно читал в этот утренний час.

— Верно,— раздались голоса, когда была дочитана последняя строка.— Вы слышите, люди? Слушайте, слушайте все!

Но слышались голоса десятников:

— На работу! Эй, что там? Эй, чего стали?

Они быстро поняли, эти проклятые надсмотрщики «зеленой тюрьмы», что произошло утром в лесу. Кто-то из них кинулся вперед сорвать лист бумаги. Кинулся, но остановился...

— Куда? — вырвалось из толпы.

И снова уже несколько голосов:

— Не трогай! Эй, прочь! Не трогай!

— На работу! — закричали десятники.— Чего стали?

На работу лесорубы пошли. Молча, один за другим. Должны были идти! Выходило солнце, все ярче и ярче сияли горы, многими голосами шумел уже лес. На работу они должны были идти!

Но никто и ничто на свете не могло им запретить думать о том, что они только что услышали. О, какое чудесное утро переживали они, хотя вокруг была тюрьма.

Только тогда Данило Ковач встретил на бутине Степана Шегуту. Степан сделал вид, будто ничего не случилось, будто он не отлучался из лесу. И хотя Данилу нестерпимо хотелось о многом расспросить Степана, закончить наконец беседу с ним, он понимал без слов — нужно помолчать, ждать.

Вечером Степану Шегуте пришлось идти вниз к горному потоку за водой. Он взглянул на лесорубов.

— Если бы еще кто со мной. За один раз и на утро принесли бы.

В этом не было ничего странного. На лесоразработке было очень беспокойно. Лист бумаги исчез со ствола, но этим не могло окончиться. Нужно было ждать гостей. Каждому страшно было одному идти в лес...

Взгляд Шегуты остановился на Коваче.

— Я пойду с тобой,— понял его взгляд Данило и схватил ведро.

Молча они спускались по тропинке среди буков и елей. Из-под самых ног у них вспархивали птицы, искавшие ночлега. Иногда ведра ударялись о стволы деревьев, и тогда звон их долго звучал в лесу, словно плыло:

«Глянь! Глянь!» Один раз Данилу почудилось, что кто-то отошел от дорожки, когда они приблизились, отошел и остановился, стоит за стволом бука. Шегута, казалось, и не заметил этого, промолчал и Данило.

Только внизу, у запруды, где лесорубы всегда набирали воду, Шегута стал, огляделся, вынул кисет с табаком, сказал:

— Так, может, закурим?

— А что ж! Если позволишь, возьму.

— Кури, Данило,— предложил Шегута.

Они по очереди наклонились к спичке; засветившейся красноватым огоньком, и прикурили.

— Ты уже слыхал? — спросил Данило.

— А как же... Знаю.— Шегута понял, на что намекал Ковач.

— Что же ты скажешь?

— Что ж говорить. Так должно быть. И не то еще будет, Данило.

— Слушай, Степан,— поглядел на него Данило.— А где ты был все эти дни?

— Ну,— ответил Шегута,— скажу, что к доктору в Рахов ходил. Хочешь, скажу, что с любовницей видался. Веришь? Нет? Ну, хорошо, ходил по нашему делу.

И вдруг Ковач сказал то, чего не успел сказать в лесу. А может,— и это больше напоминало правду,— может, долго думал он, поделиться ли ему своими мыслями с Шегутой, и наконец решился.

— Друг Степан,— проговорил Ковач.— Ты от меня не таись. Мы оба рабочие люди. Я с топором все Карпаты исходил, в Америке лумберджеком, стало быть по-нашему, лесорубом был. Намедни ты говорил мне, на кого мы работаем. Ведь это страшно — на войну! Теперь Устим... Опять-таки газета. Ведь глаза раскрываются. Все это правда, чистая правда, Степан. А вот когда мы шли, видал,— следят. Да черт с ними, может лучше пойдем в долину?

— Эх, Данило,— усмехнулся Шегута.— Уйдешь ты отсюда, уйду я, да хоть и все мы уйдем, а лес все равно будут рубить, сплавливать в долину, порох делать. Нет, никуда не нужно уходить. Здесь нужно работать. Работать, будь проклят он, у Клумака, а делать свое дело...

— Но какое?

И вдруг Степан спросил о том, что, казалось, не имело никакого отношения к их делу.

— Ты свою сестру любишь?

— Юлину? Ты знаешь ее?

— Да, знаю. А ты отвечай...

— Люблю,— строго сказал Данило.— Очень...

— Почему же ты о ней не думаешь?

— Как это почему? Ты о чем, Степан?

У Шегуты было суровое лицо. На нем резко очертились скулы.

— Слушай, Данило! Они уничтожают наших людей на перевале, мучат здесь, в лесу. Если не бороться с ними, убьют все живое, загубят весь край. Твою сестру, мою мать, детей...

Он глазами указал на горы, перевалы, леса, долину... И Данило огляделся кругом. Такая богатая, кажется, и такая нищая земля!

— Степан,— проговорил Ковач,— я согласен, но что делать?

— Есть сила, которая может спасти народ,— сказал Шегута.— Ты про Борканюка слыхал?

— Знаю его.

— Борканюк и еще много коммунистов. Они скажут, как бороться, что делать.

— Степан,— проговорил Ковач.— Что ж ты таишься от меня? Ну, скажи, как найти коммунистов? Я с тобою, с дорогой душой...

Когда поднимались тропинкою в гору, Степан запел. Не знал Данило, что у него такой голос. Не думал, что в такую минуту можно петь. Но Шегута знал, что делает.

Он начал:

Іване, Іване, раз...
Не ходи горами, два...
Не топчи зіллячко, шум-три-аров,
Білими ногами, юх-ха-ха!

Ему подтянул и Данило:

Бо тее зіллячко, раз,
Маруся садила, два,
Тими годинами, шум-три-аров,
Коли тя любила, юх-ха-ха!

Слушал ли кто-нибудь там, за стволем бука, эту песню, или нет,— кто знает? Если слушал, то вряд ли

понравилась ему эта песня. Эхо катилось по лесу, плескалась вода в ведрах. Лесорубы песли воду.

Най мою білянку, шум-три-аров,
Ніхто не збиткує, юх-ха ха!

8

Гаврило Клумак выехал в Хуст. Не ждал не гадал, что так быстро все станется. Под вечер возле его дома остановился грузовик, из кабины вышел дебелый, широкоплечий, с длинными черными усами, в офицерской форме сечевик, из кузова выпрыгнули несколько рядовых сечевиков. Гаврило заметил, что в кузове стоял и пулемет.

— Пан Клумак? — спросил офицер, покручивая усы.

— Доподлинно так, — ответил Клумак.

— Так вот, собирайтесь и поедem.

— Куда именно, пан офицер?

— В Хуст.

— А по какому делу?

— Не знаю, пан Клумак. Правительство вызывает.

— Так, так, — проговорил Гаврило, поняв, что офицер ничего ему больше не скажет. — Что ж, поедem. Харчи с собою брать?

— Сказано, везти в чем стоит...

И Гаврило Клумак поехал в Хуст как стоял. Только и всего, что американский костюм из плохонького синего бостона надел. Все-таки приличнее! Потом, правда, пожалел — офицер сел в кабину, а Гаврила посадил в кузов, с рядовыми сечевиками. Так и сидел Клумак вплоть до самого Хуста, а машина неслась быстро, подпрыгивала в лужах, перелетала потоки, и грязью, как ни ежился Гаврило, а забрызгало американский костюм...

Ежился Гаврило не только от этого, — его беспокоило, что, едва они тронулись с места, один сечевик застыл у пулемета и высидел так всю дорогу, беспокойно оглядывая горы, леса и даже каждый кустик, мимо которого они проезжали.

В Хусте машина остановилась перед самым зданием правительства, и Клумак сразу попал к Реваю.

— Фамилия? — спросил Ревай, точно никогда его не видал.

— Клума́к Гаврило,— ответил кленовский богач,— я ж у вас, помните, был, когда приехал из Америки... Тогда еще вы мне про украинское национальное объединение втолковывали. И мы на Верховине неукоснительно... Об этом объединении никогда не забывали. Михайло Тиснянец и прочие...

Но Ревай, казалось, все забыл и ничего не слышал.

— Сейм! — сказал он.

— Извините, недослышал.

— Сейм у нас завтра начинается...

И только тогда Ревай взглянул на Клумака, кинул:

— Что-то у вас, пан депутат, костюм не в порядке.

— Да ведь знаете наши верховинские дороги.

— Дороги знаю, да вы лучше зайдите сейчас же в правительственную мастерскую и подберите подходящий костюм.

— Вот и добре,— согласился Клума́к,— только я забыл с собой деньги взять.

— Бесплатно! — крикнул Ревай.

— Так что ж! Оденусь!

— Одевайтесь и за ночь продумайте, что можете сказать на заседании сейма.

— Я на заседании сейма? Из меня оратор...— виновато промямлил Клума́к.— Если бы в горах, так крикнул бы. А тут...

— Нет, нет, пан Колумбак,— переделал фамилию Гаврила Ревай,— не говорите. Мы с паном Волошиным тут совещались. У нас, пан Колумбак...

— Клума́к,— осмелел Гаврило.

— Я и говорю, Клума́к,— сердито крикнул Ревай,— Говорю, пан Клума́к, что у нас сейчас создалось очень напряженное положение... С одной стороны, видите Румыния, с другой — Венгрия, а тут еще непосредственная угроза со стороны Советского Союза... Понимаете... Двойной удар... Опасная политическая игра...— что-то вспоминал и все больше и больше беспокоился Ревай.— И здесь все уговаривали, все обещали, а дают шиш... Одним словом, пан Клума́к, мы постановили немедленно созвать сейм, на котором наши депутаты должны заявить, что здесь существует государство, что мы люди воинственные, но нужно же нам помочь. Должны также заявить, что у нас есть немалые претензии на ту Украину, что за горами...

— Да уж это так,— согласился Клумак.— Известно, не отказываться же...

— Вот потому мы, пан Клумак, и решили, что нужно провести сейм...— закончил Ревай.— Кричать будем на весь мир!

— Это, кхе, можно! — кашлянул Клумак так громко, что даже стекла зазвенели.

— Готовьтесь!

На этот раз Гаврилу Клумаку повезло — отдельный номер во втором этаже, рядом князь Долгоруков, с другой стороны Давыд Левицкий, а напротив — американский корреспондент. Клумак встретил этого корреспондента в коридоре — рыженький, паршивенький, точно не могли получше прислать.

Новый костюм из правительственной мастерской пришелся Клумаку впору, правда штаны дали ему коротковатые...

«Ничего,— подумал он,— дома в сапоги — в самый раз».

К нему заглянул сосед, Давыд Левицкий. Он тоже был в новом костюме, и у него штаны были коротковаты. Клумак оглядел Левицкого с головы до ног, тот ответил таким же презрительным взглядом...

— Ну, как поживаете, эфиопский царь? — решил уязвить Левицкого Клумак.

Пьяноватыми, выцветшими глазами поглядел на него Левицкий.

— Индийским королем собираюсь стать, не хотите ли в компанию?

— Что вы? — засмеялся Клумак.— И не думаю.

— Не думаете,— захохотал на весь номер Левицкий.— Тогда я вас сделаю далай-ламою.

«Да он совсем пьян»,— решил Клумак. К чему клонил речь и на что намекал эфиопский царь, Клумак понял только позже.

Однако заснул он так крепко, что не чувствовал даже клопов, которые грызли его всю ночь, и только, встав утром, почесался, позавтракал, сходил на базар.

Все шло по плану Клумаку — что он, как депутат, будет участвовать в сейме, что гостиницу и здание гимназии, где должен был происходить сейм, охраняют сечевики...

И кормили их в ресторане при гостинице, как депутатов, бесплатно. Ешь, хоть тресни! Что ни говори, а все деньги!

Место Клумаку досталось во втором ряду — в первый не мог протиснуться. Но все равно — президиум как на ладони. Кашляет Волошин или высморкается в пестрый платок — все видать. И что другие делают в президиуме, заметно: переговариваются там, подмигивают один другому, дергают сзади оратора за полу или подсовывают ему какие-то записочки. Правда, скрываться особенно президиуму не приходилось, в зале сидело, как это совершенно точно подсчитал Клумак—двадцать два человека.

Было еще несколько полов и корреспондентов, среди них и рыжий американец.

Что касается речей, Гаврило Клумак очень радовался, слушая их. Собрание открыл сам Волошин.

— В нашем обществе не должно быть враждебных классов, рабочих и капиталистов,— кричал он с трибуны.— У нас на Верховине нет какой-то там буржуазии, как это утверждают коммунисты. Мы все трудящиеся, и нам не нужно никаких партий, кроме партии «Национальное объединение», не нужно профсоюзов и прочих организаций...

«Ну и чешет»,— думал Клумак.

В перерыве Клумака вызвали к Волошину.

— Вы это,— сказал премьер, почесывая за ухом,— были как будто в Америке...

— Я ж вам рассказывал.

— Помню. Вот и расскажите об этом сейму.

— Я, пан Волошин, не оратор.

— Нам и не нужны какие-то там ораторы. По-простому говорите. Голос у вас, дай боже, хоть в дьяконы...

— Да о чем мне говорить?

— Вот так бы и начинали,— засмеялся Волошин.— Слушайте, пан Клумак. Скажите им, что в Америке есть люди, которые интересуются нашей Карпатской Украиной.

— Еще бы. Такие люди есть.

— Вот видите. А после скажите, что эти люди нам всегда помогут.

— Это про «Стандарт ойл компани»?

— И про эту компанию, и про другие. А закончите тем, что мы, закарпатцы, сейчас возлагаем великую надежду именно на Америку.

— Что ж, — согласился Клумак. — Ладно... Скажу.

Он потоптался еще минутку на месте, а потом добавил:

— Я скажу, пан президент. А вам признаюсь, — мы вот заседаем, но надо кого-то и на Верховину послать. Ведь нам там жить...

— Вы не беспокойтесь, пан Клумак, — успокоил его Волошин. — Закончим сейм — и все силы на Верховину. Защитить вас всегда сумеем.

— Надеюсь, — сказал Клумак.

И он не пошел, как собирался прежде, обедать, а взял в буфете бубликов и конфет, уселся в кустах возле гимназии и принялся про себя репетировать свою будущую речь — выкидывал вперед правую руку, как это делает Волошин, поднимал кверху брови, делал вдохновенное лицо.

— Панове! — крикнул он, когда после перерыва кто-то дал ему слово. — Вот что я вам скажу, панове! Не только мы думаем о нашей Верховине, ею интересуется весь мир. Я, например, был в Америке. Ой, что это за страна, панове! Статуя Свободы, небоскребы, а уж света... света... И вы думаете, что эта Америка не интересуется нами? Нет, панове. Очень, очень интересуется. И «Стандарт ойл компани», и «Дженерал моторс», и все ихние компании. Мы должны возлагать на них великую надежду. Статуя Свободы, небоскребы, а уж света... света...

Клумак вдруг замолчал и огляделся. В президиуме сидел один только человек, и тот дремал за столом, а в зале было не слишком людно — пять-шесть депутатов, впереди всех эфиопский царь. Американский корреспондент в эту самую минуту заглянул было в дверь и метнулся назад.

— Панове! — крикнул еще раз Клумак и сорвал голос.

4

Риббентроп и Гофман так много обещали! Волошин был резидентом гестапо в Закарпатье с того самого дня, как к власти пришел Гитлер; он беспощадно боролся с коммунистами, разгромил профсоюзы, организовал «Сечь», которая может очень пригодиться фюреру, провел сейм...

Вот в Словакии — Тисо. Бывший священник из Бановца, позднее архиепископ, — он сделал не больше, чем Волошин. А теперь Тисо стал президентом Словакии. Неужели он, Волошин, не мог бы стать президентом Карпатской Украины, а затем, в зависимости от военных успехов, и всей Украины? Пусть она даже и не называется Украиной, а протекторатом или провинцией. Ведь какой у него стаж, какой опыт! А тут какой-то регент Перени! Тьфу!

Прежде Гофман сам приезжал на прием к Волошину. Теперь старый волк проворно побежал к нему. Гофман к тому же заставил Волошина просидеть в приемной целый час.

— Герр Гофман, — говорил, моргая близорукими глазами, Волошин, — я ничего, абсолютно ничего не понимаю... Там идет сейм, депутаты выражают волю...

— А чего ж тут не понимать? — ответил спокойно Гофман. — Все произошло так, как мы раньше с вами договаривались. Венгрия присоединилась к антикоминтерновскому пакту, и войска ее уже выступили из Ужгорода на Хуст.

— Я боюсь столкновений...

— Пан Волошин, — засмеялся Гофман, — ваши сечевики будут целоваться с венгерскими гонведами.

— Так-то так, — согласился Волошин. — Но как быть с сеймом?

— Сейм уже не существует, пан Волошин. Да он и не существовал, говоря между нами.

— А «Сечь»?

— Пан Волошин, вы знаете, что сечевики вооружены Германией и во главе их стоят наши офицеры. Мы их берем под свою защиту.

— Но я... Что делать мне? — вырвалось у Волошина.

— Вы меня спрашиваете, что вам делать? — даже удивился Гофман. — У вас есть имение и несколько тысяч угров в Закарпатье — подарок чешских аграриев, у вас есть имение в Венгрии — подарок ваших тамошних друзей. Есть у вас имущество и в Праге, и в других городах. У вас очень широкий выбор, пан.

— Так, выходит, я больше не нужен? — понуро процедил Волошин.

— Пан Волошин, — сказал Гофман, — мы знаем вас

как исполнительного сотрудника и, если понадобится, не откажемся от ваших услуг.

— Что ж... спасибо,— промямлил глава сейма.

«Рыжая собака,— думал Волошин, выходя от Гофмана.— Но я еще поборюсь и добьюсь своего».

— В дом правительства! — приказал он шоферу.

До позднего вечера Волошин не выходил из дома правительства. Он вызвал руководителей партии «Украинское национальное объединение» Федора Ревая и министра внутренних дел Юрия Ревая.

— Сейм принял манифест...— начали они.— Мы будем бороться.

Волошин махнул рукой.

— Бороться? — завопил он.— Боритесь, сколько влезет, а вон фюрер договорился с Хорти, и венгерские войска уже выступили из Ужгорода, а завтра, наверно, будут в Хусте.

Он поморгал глазами и продолжал спокойнее:

— Борьбой здесь ничего не достигнешь. Перехитрил нас Хорти, обогнал. Но я не удовлетворен, панове! Мы столько трудились для благополучия Закарпатья, а тут на готовое появляется барон Перени. А мы, на что же мы, панове? Нас всех обошли, о нас забыли... И потому я решил немедленно ехать в Берлин, хлопотать, действовать кричать! Я уверен, что достигну цели и, конечно, не забуду всех вас, панове!

Потом состоялась встреча с руководителем «Сечи» Рогачом, а затем Волошин принялся вызывать одного за другим начальников своих канцелярий и управителей.

Когда он уехал наконец и братья Реваи остались одни, Федор сказал:

— Старое чучело! Сказал бы прямо, что хочет быть фюрером, и все было бы понятно. А то бормочет что-то. Пускай едет, пробует. А мы, брат, служим Германии, послужим еще и Венгрии, а там будет видно...

Августин Волошин недаром сидел в здании правительства. Даром он никогда ничего не делал. И хотя в этот последний день существования этого правительства ему, естественно, хотелось подольше посидеть в высоком

кресле кабинета, он, кроме того, хотел выиграть время, пока позвонят по телефону из его особняка.

А в особняке премьер-министра, в глубине сада, за высокой оградой подручные Волошина из Подкарпатского банка и финансового управления правительства «Карпатской Украины» укладывали в чемоданы и просто набивали в мешки те ценности, какие Волошин успел награбить и накрасть. Тут были ценности из Подкарпатского банка, во главе которого стоял Волошин, а также фонды страхового общества «Бескид» и других предприятий, принадлежавших этому банку. Были там деньги от продажи с торгов имущества селян, которые брали ссуды в банке, но не смогли их возвратить. Наконец собралась круглая сумма из податей и контрибуций, взысканных с тысяч верховинцев. Это были пот, слезы, кровь людей Верховины.

Но волошинцы спокойно набивали чемоданы и мешки, завязывали их, сами выносили из дома к машинам, стоявшим под деревьями в саду, потому что на этот раз решили обойтись без посторонних услуг, и только тогда, когда все было закончено, позвонили Волошину.

— Мы ждем, пан Волошин.

Поздней ночью, как из черного туннеля, из сада особняка Волошина в Хусте выскользнули три легковых машины. Часовые их не останавливали — передний «бьюик» принадлежал главе правительства, а на двух машинах его всегда сопровождали сечевики. Машины, разбрызгивая грязь, промчались по главной улице.

Ни Волошин, ни сопровождавшие его не знали, что в ту самую минуту, когда их машины выезжали на главную улицу, к особняку премьер-министра подошел «эфнопский царь». Он видел и понял, куда направляются правительственные машины, долго бежал за ними...

— Вот и снова опоздал, — сказал Левицкий, стоя в туманной мгле и тяжело дыша, — пойду, видно, к мадьярам.

Волошин и сопровождавшие его лица не знали также, что за час до них из Хуста выехала еще одна машина, в которой сидел мистер Пирсон. Он переезжал на Балканы.

Правительственные машины мчались вдоль Тиссы к Тячеву. Из окна Волошин хорошо видел освещенное фарами шоссе. Возникали в темноте, проносились мимо и

молниеносно исчезали позади хатки, деревья, стебли кукурузы, колодцы и распятия.

Иногда в полосу света попадала толпа людей. Одетые в свитки или гуни, в куцых ноговицах и в постолах, окруженные сечевиками, они отступали в сторону, в грязь, когда приближались машины. Отряды Ревая действовали, гнали бедноту в лагеря.

Этих людей, под охраной сечевиков, Волошин не боялся. Но когда они оставались позади и машины летели дальше по пустынной, холодной дороге, у бывшего «главы правительства» тревожно билось сердце!

А что, если на шоссе выйдут солотвинские рабочие, сплавщики с Тиссы, лесорубы с гор? Выйдут, остановят машину, скажут:

— Куда ж вы, пан Волошин, спешите? И почему едете в такую позднюю пору? А ну-ка, вылезайте из машины да посчитаемся за все, что вы натворили на Карпатах!

Старческому, дряблему сердцу было отчего тревожно биться! Почти семьдесят лет прожил Волошин на свете, и, должно быть, еще мать-униатка напоила его молоком измены, ибо предателем и убийцей закарпатских трудящихся был он всю жизнь. И теперь ему было чего страшиться, не случайно ему мерещилось, что из темноты выходят и преграждают дорогу мстители с винтовками в руках, что они целятся в него.

— Скорее! Скорее! — срывалось у Волошина.

5

Правительственные венгерские газеты писали:

«Наши войска торжественно вступили в Севлюш... Наши войска под колокольный звон вошли в Иршаву. Наша армия в Хусте».

Но в газетах не писалось о том, что в Солотвине «в честь прибытия» оккупантов не вышли на работу солескопы — как русины, так и венгерцы, что в Сваляве в первую же ночь пребывания оккупантов сорван был с сельской управы и втоптан в грязь флаг Венгерского фашистского королевства, что где-то под Иршавой взлетел на воздух грузовик с боеприпасами, что повсюду в лесах раздаются выстрелы, что люди бегут, когда где-нибудь появится фигура оккупанта.

Венгерские войска вступили в Хуст и двинулись дальше. Волна хлынула ущельями Тересвы, Терембли, Латорицы и наконец достигла перевалов.

В горы потянулись колонны машин, они везли орудия, пулеметы, прожекторы, зенитные установки и строительные материалы. Туда же гнали под конвоем тысячи людей из Чехии, Словакии, Венгрии. Движение замыкали, как на параде, самолеты-бомбардировщики и истребители; они, точно коршуны, долго кружились над долинами и опускались на луга у Тиссы.

В горах вскоре слышались взрывы, там взлетали в воздух скалы, на которые никогда не ступала нога человека. Звенели пилы, стучали топоры, стон и треск катились по чащобам, — это падали красавицы вековые сосны, ели, буки.

У перевалов выросли деревянные бараки, а иногда просто рыли рвы, прикрывали их ветвями. Оттуда на рассвете выгоняли тысячи людей, а на ночь загоняли обратно. Бараки и рвы были обтянуты рядами колючей проволоки, повсюду стояли караульные башни и рычали псы. Там, в горах, строили укрепления — «линию Арпада».

Катилась встречная волна и с Верховины. Оттуда в концентрационные лагеря, заранее подготовленные Волошиным, и в новые — на Думен, в Кривский лагерь, в «Конер» в Мукачеве, «Раковцы-Коштель» в Чинадиеве гнали сотни и тысячи людей. По ночам раздавались выстрелы на Веляцинском мосту, и воды Тиссы принимали в свои глубины трупы замученных оккупантами.

Особенно же разыскивали венгерские фашисты коммунистов. «Кемелгарито»¹, жандармерия, все дирекции и управления, администрация жуп, бировы и солга бировы², вся система «Латорицы» — все мобилизованы были на поиски коммунистов. А больше всего искали Борканюка, за голову которого обещана была крупная награда. Десятки детективов и шпионов ловили Борканюка по всему Закарпатыю.

Все это совершалось с благословения господ бога. Палач Венгрии Хорти, захватывая Закарпатье, получил благословение на «тяжкий труд» у архиепископа Миндсенти. Архиепископ благословил ксендзов римско-като-

¹ «К е м е л ѓ а р и т о» — венгерская фашистская разведка.

² Сельский староста, окружной староста (венгерск.).

ликов и священников греко-католиков Закарпатья. Канцелярия мукачевского епархиального епископа Александра объявила всем приходским священникам, что в чин литургии вводится молитва за церковь, «указующую нам надежный путь к небу и подающую способы, необходимые для достижения нашей конечной цели». В этом же циркуляре приказывалось возглашать «многая лета» рыцарю Хорти и регенту Закарпатья барону Перени.

Застонало Закарпатье.

6

— Что ж,— сказал Гаврило Клумак, взойдя на обвитое диким виноградом крыльцо дома нового бирова Золтана Репаша,— вот пришел я к вам передавать власть. Приветствую, пан биров!

— Таков приказ солга бирова,— хотя и виновато, но все же нахально, стоя в сенях, ответил Репаша.— Думаете, я...

— Слушайте, Золтан,— перебил его Клумак.— Вы думаете, я насмеяться пришел? Не таковский Гаврило Клумак. В Америке побывал, от статуи Свободы просветился, понимаю, куда и к чему все идет. И вам говорю, Золтан, очень хорошо, что так случилось; если хотите знать, то так и должно было статься.

— Может, в дом зайдете, по стаканчику выпьем? — сразу подобрел и предложил Репаша.

— А что ж, можно,— согласился Клумак.

— Юдит! Юдит! — позвал Репаша жену, войдя в дом.— А ну, выйди к нам, тут гости.

И Юдит, все еще молодившаяся, хотя удавалось это ей с большим трудом,— была она уже в годах, толстая и тяжелая, точно куль муки,— вышла, играя глазами, с перстнями на пальцах и серьгами в ушах, протянула неуклюже, как черпак, ладонью вверх руку Клумаку, начала своей сигаретой.

— Сердечно поздравляю вас, глубокоуважаемая пани,— поцеловал ладонь, пахнувшую чесноком, Клумак.— Чрезвычайно приятно, глубокоуважаемая пани.

— Ты нам рыбки поджарь,— попросил Репаша.— Дьоршаббан¹,— добавил он по-венгерски.

¹ Скорее (венгерск.).

— Присаживайтесь, прошу вас,— пригласил гостя Репаша и подставил Клумаку старинное буковое, с львиными головами, кресло.

— Благодарю вас,— слегка поклонился Клумак.

Дом Золтана Репаша был добротный, высокий и светлый, как и у Клумака, потому что строил все эти дома один и тот же подрядчик из Рахова. Юдит очень любила все яркое, пестрое, и стены в их комнатах были залеплены дешевыми картинками, портретами неизвестных, объявлениями разных фирм. Под потолком во всех комнатах висели дешевые большие корзины, опять-таки с ужасающе пестрыми цветами. В общем же, на вкус Клумака, у Золтана Репаша было довольно уютно и все побуждало к теплой беседе.

И когда они выпили и закусили жареной форелью с кислой капустой, первой форелью, которую какой-то бедняк выловил в Тиссе этой весной и обменял на кружку кукурузы у Юдит, Клумак сказал:

— Форель отменная. Мастерница ваша жена. А что касается власти, Золтан, то признаюсь, что хоть я и русин, но мне все равно, какая будет власть, чешская или венгерская. Лишь бы тут, на Верховине, власть была вот где...

И он так стиснул кулак, что пальцы хрустнули.

— Запомните, Золтан,— добавил Клумак,— что мы,— он ткнул себя в грудь,— сделали все, что могли. С Тиснянцем на месте покончили, других, имею доподлинные сведения,—повесили. А вы должны и дальше нажимать на них—и никакой пощады. Чуть что—петля либо расстрел.

— Неужели я не понимаю, пан Клумак? — удивился Репаша.— Еще мой отец кровь проливал...

— Я помню вашего отца. Он был мясником в Рахове...— пробормотал Клумак.

— Балинт Репаша не только резал коров... Его за немаловажные заслуги сам Франц-Иосиф принимал. А я, вы забыли уже, видно, пан Клумак, я тоже на войне был. Теперь сын мой Янош в армии служит. Вот письмо от него. «Дорогой папа, я очень скучаю по вас и по маме, но не скоро возвращусь к вам. Меня зачислили в армию...» Я недавно был в Рахове и просил, чтобы сюда прислали отряд сабад-чапатощцев¹. Вы знаете, что они делают?

¹ С а б а д - ч а п а т о ш — католическо-фашистские террористические отряды.

— Это очень хорошо,— бормотал Клумак.— Но главное — это Борканюк. Вы не представляете себе, Золтан, как он для нас опасен.

— Я не представляю? — вскрикнул Репаша.— Вы меня еще не знаете. Дайте я поцелую вас, пан Клумак!

7

Через Клены в горы проехал конный отряд. Это был отряд сабад-чапатошцев, но между ними были и сечевики. Впереди всех ехал бравый капитан Пишта Чакши, сын торговца из Ужгорода, в прошлом студент Дебреценского университета. Сейчас ему было не до науки, он командовал отрядом, уже немало бед натворил в долине и теперь спешил к перевалу, где, как извещал посланный оттуда гонец, неизвестные преступники убили двух жандармов. Дело было необычайно серьезное и угрожающее: жандармы были убиты средь бела дня, на глазах у всех. Преступники — одни говорили, что их было двое, другие довели это число до десяти — вышли будто бы из лесу, в сторожке, где сидели жандармы, раздалось несколько выстрелов,— оба жандарма были убиты, а преступников как ветром смело. Понятно, что каратели были очень обеспокоены и спешили.

Но все же по дороге капитан Чакши вызвал бирова Золтана Репаша и предупредил его, чтобы вечером никуда не отлучался, а вместе с тем приказал передать Федору Стрыпскому, чтобы тот ожидал его к ужину.

Федор Стрыпский сидел в столовой, когда под окном прошел Золтан Репаша. Близилась весна, но с гор тянуло холодком, и преподобный отец только днем, когда пригревало солнце, выходил на часок погулять, а то больше сидел в комнатах и грелся.

Золтан Репаша откашлялся и, став на пороге, уведомил пан-отца о происшествии на перевале и приказании капитана Чакши.

— Примем, Золтан,— сказал о. Федор.— Рука дающего да не оскудеет. Я приму пана капитана, а вы позаботьтесь об остальных.

— Орлы! — кивнул Репаша за окно.— Ну, они на перевале себя покажут. Это лесорубы наделали, батюшка. Только их рук работа. Они там лес для армии рубят.

А под пеньками у них оружие. До чего проклятый народ!

Он переступил с ноги на ногу и виновато добавил:

— А как мы будем с испытательной комиссией, духовный отец? Биров намекал на то, что им нужно выполнить приказ окружного управления, создать «испытательную комиссию» по проверке населения, чтобы выявить «лояльность» каждого к новой власти.

— Этими днями соберемся,— вздохнул о. Федор.— И подходящий случай есть, переговорю об этом с паном капитаном.

— Надо поскорее,— сказал Репаша, потирая руки, точно он собирался рубить дрова.— Центр торопит.

Когда Репаша исчез, пан-отец встал, прошелся несколько раз по столовой и так громко проговорил: «Вот оно! Начинается! Что ж, хорошо, хорошо!» — что даже попадья выглянула из кухни и спросила:

— Ты звал меня, Федор, что ли?

— Нет, нет, матушка, не звал,— ответил он.— Это я вслух размышляю. А впрочем, если уж вошла, слушай. Нынче у нас будет ужинать венгерский капитан. Ты подумай насчет ужина, надо его принять как следует. И непременно чтоб было что-нибудь мадьярское, они это любят: гуляш там, паприкаш и сладкое. Осенью, помнится, ты делала такие маленькие варенички из картофеля, а внутри сливы.

— Сильваш гомбоц? — переспросила, облизывая губы, попадья.

— Да, да сильваш гомбоц,— подхватил о. Федор.— Именно об этом я и хотел тебя попросить. Свежих слив, правда, нет, но ты сделай из сушеных. Чудесное кушанье! Ну, и паленка чтобы была, геринг¹ к ней...

— Все будет,— сказала попадья и кинулась вычитывать, на всякий случай, несколько рецептов венгерских блюд из чешской книги «Домашняя хозяйка».

— Во благовремении! — закончил пан-отец беседу.

Отец Федор ходил из угла в угол по столовой. Ему было где походить и поразмыслить. Столовая у пан-

¹ Селедка (нем.).

отца просторная, большая. Три широких окна ее выходили в сад, под окнами стояли тумбочки, на которых, в глубоких вазах, летом и зимой цвели белые и красные цветы. Посреди комнаты возвышался большой круглый стол, накрытый ковровой скатертью, а вокруг него стояли стулья. Один угол комнаты занимали радиоприемник и горка, на полках которой играла золотым и синим орнаментом посуда, другой угол — фисгармония: о. Федор любил играть по вечерам, подпевая пискливым тенорком. Между горкой и фисгармонией, как корабль на якоре, стоял широкий, обтянутый вишневым плюшем диван, а над ним висел в круглой бронзовой раме писанный масляными красками портрет папы Пия XI. Папа на этом портрете был изображен в виде садовника, осматривающего кусты роз. Под портретом папы висела в застекленной рамке медаль, отлитая в Риме на память о Берестечской унии — ее рассылали и священникам Закарпатья. На медали был изображен папа Климент VIII, перед которым стоял на коленях склоненный человек. Надпись под ним гласила: «Ruthenis receptis»¹. Еще на одной стене, над дверью в кухню, висела в черной раме репродукция с картины художника Мункаччо «Иисус перед Пилатом».

Но о. Федор не видел ни цветов у окон, ни портрета святейшего папы, ни суда Пилата. Он ходил по столовой нервными шагами, часто останавливался, что-то шептал, а это свидетельствовало, что пан-отец очень и очень обеспокоен.

В сущности говоря, странно, почему о. Федор так обеспокоился, услышав о приезде капитана Чакши. Все у него было решено еще задолго до этого. Он имел время об этом подумать в давно минувшие годы, под жарким солнцем Италии, у апостольского престола, когда учился в «Коллегиум руссикум» в Риме, где наряду с теологическими науками слушал курс «Борьбы с еретическими идеями, которые впитал русский народ при большевизме». Было понятно, для чего готовят их в Риме и почему послали на Карпаты по окончании коллегиума. Просвещать украинцев? Вот еще! Судьба украинцев беспокоила папский престол так же, как и о. Федора. «Но от Карпат,— так учили их в Риме,— недалеко до той

¹ На принятие русинов (лат.).

огромной страны, над которою еще нет божьего благословения, и каждый из вас должен быть готов, когда начнется победоносный поход на восток!»

Осенью 1938 года в Ужгороде в епископате состоялось совещание всех приходских священников Закарпатья.

— Вы, пастыри, должны быть готовы к активным действиям.

Осень того года была теплая. В Ужгороде все утопало в цветах. О. Федор сидел в саду женской учительской семинарии и беседовал с дочерью. Попы в черных сутанах ехали на Верховину. Лига «Католическое действие» переходила в наступление.

И они теперь действовали активно, настойчиво и упорно. В Хусте появился Августин Волошин, и в села ехали сечевики. Кто их встречал?—они, служители святого престола. Выступили из Ужгорода на Хуст венгерские войска — и священники в черных сутанах встречали их колокольным звоном. В темной кленовской церкви о. Федор возгласил славу Волошину, а позже отслужил благодарственный молебен венгерским оккупантам и провозгласил многолетие Хорти. А кто организовал отряды «Сабад-чапатош»? Кто же, как не униатский священник Демьянович из Рахова, который был духовным наставником о. Федора Стрыпского.

Итак, все было решено и продумано у о. Федора, и приезд капитана Чакши уж никак не мог быть для него неожиданностью.

Капитан Чакши возвратился в Клены поздно вечером, когда село уже спало. Он заехал в сельскую управу и приказал бирову сидеть и ждать. А затем капитан направился к священнику, правда под окнами дома поставил несколько часовых — после случая на перевале он решил быть осторожным.

— Непонятное убийство,— рассказывал Чакши, сидя на плюшевом диване в столовой.— Эти два жандарма были в сторожке в долине. Когда слышалась стрельба, туда немедленно прибежали их товарищи. Никто из сторожки не выбегал, лес оттуда далеко. Но жандармы были убиты.

— Может быть, они сами? — размышлял о. Федор.— Напились, допустим, а потом повздорили.

— Не допускаю и мысли,— возразил капитан.— Это политическое убийство, и мы его иначе не можем расценивать. Лесорубы, вот кто виноват. О, я сегодня с ними не церемонился. На этот раз за двоих жандармов — пять лесорубов. В следующий раз за каждого будет десять. Они будут помнить капитана Чакши.

— Успокойтесь, пан капитан,— сказал о. Федор.— Перейдем лучше к ужину.

Матушка приготовила отменный ужин. Чакши, изрядно выпив и закусив, говорил неумолчно. Он, оказалось, знал бесчисленное количество анекдотов, из которых часть мог рассказывать вслух, но некоторые — только на ухо пан-отцу. Матушка наконец вышла на кухню, чтобы им не мешать.

Тогда капитан сказал о. Федору:

— А теперь еще анекдот...

— Вы поскорее,— попросил о. Федор,— а то матушка...

— Я быстро,— проговорил Чакши,— и коротко. Тут, говорят, недавно на похоронах одного бунтовщика несли красный флаг.

— Было такое... Ох, эти флаги! А бунтовщика того украинские националисты убили...

— Украинские националисты убили, а за флаг на похоронах бунтовщика должны мы отплатить.

— То есть — преемственность власти,— сказал о. Федор.

Ему понравились слова «преемственность власти». И верно, власть меняется, но разве у них — и в партии «Украинское национальное объединение», и в партии «Национальное единство», к которой принадлежит Чакши,— разве у них не одна цель?

— Да, да,— согласился Чакши,— у нас должна быть полная преемственность власти. Мы отплатим и за них.

— Я понимаю это и одобряю,— скромно произнес о. Федор.— А все же, может, вы сами бы выявили неблагонадежных, вместе с бировом?

— Что биров? — перебил его капитан.— У них даже списка всех селян нет. Тут дело высокой политики. Да вы к тому же председатель испытательной комиссии. Что ж, пора действовать. Кроме того, и пан-отец Демьянович советовал обратиться именно к вам.

— Да это так,— глядя бесстрастно на стену, проце-

дил о. Федор.— Я знаю и тех, кто умер, и тех, кто живет...

— Меня интересуют те,— оборвал Чакши,— которые не должны жить.

— Я вас понимаю,— очень вяло сказал о. Федор.— Но первый из них — это Борканюк.

— Мы ищем Борканюка,— успокоил капитан священника,— и найдем его. А пока что вы составьте мне списочек. Федор Стрыпский посмотрел в глаза капитану.

— Сколько? — спросил он.

— Ну, десять,— холодно кинул капитан.

В это время вошла попадья, и Чакши обратился к ней:

— Своим сильващ гомбоцем вы меня привели в восторг и напомнили мне покойную мать, она тоже превосходно готовила это кушанье.

— Спасибо, что хоть вы похвалили,— сказала попадья.— А то от своих благодарности не дожدهшься. Готовь, вари, пеки, а они только едят.

— Духовные особы,— утешил ее капитан,— думают о небесных делах. А это кто? — заметил капитан фотографию Марии в позолоченной рамке над диваном.

— Это, пан капитан, наша дочь.

— Шарман! ¹ — крикнул капитан.— Ведь это личико мадонны. Где находится она?

— Она учится в Ужгороде,— ответила матушка,— но скоро приедет на вакации. Я надеюсь, что пан капитан будет нашим гостем и познакомится с Марией.

— О матушка, только начнутся вакации, я буду тут. Вашу ручку...

— Я на минутку,— проговорил о. Федор, собираясь выйти из столовой.

— Видите,— кивнул попадье на о. Федора капитан.— Все о своем, небесном. Хоть и на пять,— обратился он к священнику.— У нас есть о чем поговорить с матушкой.

Через несколько минут о. Федор вернулся из своего кабинета. Попадья угощала капитана черным кофе.

— Ты и мне налей,— тихо попросил о. Федор.

И пока она на столике в углу наливала кофе, о. Федор передал Чакши бумажку, на которой столбиком стояли фамилии и имена.

— Я вижу одиннадцать,— засмеялся капитан.

¹ От франц.: *charmant* — очаровательно.

— Христос всегда был щедрым и нам велел такими быть,— глотнул черного кофе о. Федор.

— О, вы, я вижу, шутник,— крикнул Чакши.

Он изрядно захмелел. Развеселилась и попадья, глаза у нее блестели, щеки пылали.

— Да, она у меня еще ничего,— подумал о. Федор, поглядывая на нее.— Красивая, и в теле...»

— А знаете,— сказал капитан, прощаясь,— я думаю, что вы правы.

— Вы о чем? — полюбопытствовал о. Федор.

— Да о тех двух жандармах, что убиты на перевале. Мы действительно нашли в сторожке много порожних бутылок из-под паленки. И потом эти гильзы на полу. Вы правы — они пострелялись, черти. Ведь никто к этой сторожке и близко не подходил. Но пускай — этим лесорубам наука на будущее. Пускай знают! И пять человек для первого раза совсем немного. Вашу ручку, матушка. Вы мне очень напоминаете мою покойную мать. А о дочери вашей я не забуду. Передайте ей привет от влюбленного капитана. О, сильваш гомбоц!

Прозвучали и затихли шаги под окном. Федор Стрыпский сам запер и заложил щеколдой дверь на крыльцо.

— Знаешь, Татьяна,— сказал он, возвратясь в столовую,— этот капитан мне очень нравится. Веселый парень. Как ты полагаешь?

8

Утром попадья несколько раз входила в спальню и будила священника.

— Федя! Федя! Проснись! — говорила она, наклоняясь над постелью.

— Подожди, матушка, подожди еще минутку,— бормотал он.

Но дело было не в минутке. Ему просто не хотелось вставать. После обильного ужина пан-отец плохо спал: всю ночь болело под ребрами в правом боку. Только к утру боль прошла, и о. Федор погрузился тогда в тихий, спокойный сон. А под утро ему приснился дивный сон: Италия, Рим, торжественный перезвон колоколов. Слушал бы и слушал этот мелодичный звон, грезил бы и грезил. Но попадья снова и снова напоминала, что уже десятый час, а потом — что уже и одиннадцатый.

— Долго ты спать будешь? — наконец рассердилась она, открыла окно в спальне и задвигала стульями. — Ведь там с самого утра тебя люди ждут.

— А ты им сказала, — открыл он глаза, — что я заболел ночью?

— Все сказала, а они отвечают, что все равно будут ждать.

— Ох, грехи, грехи, — вздохнул о. Федор и спустил на цветной половичок свои кривые волосатые ноги. — Никогда, никогда тебе не дадут покоя.

Он вышел на крыльцо только через полчаса, после того как побрился, умылся, обтер душистым одеколоном лицо и руки, плотно позавтракал и напился кофе со сливками.

Было чудесное утро. В вышине цвело бездонное голубое небо. На вершинах гор еще белели клочки снега. Ярko зеленели на склонах гор омытые дождями леса. Недалеко от поповской усадьбы шумела, сбегая по камням, напившаяся водою вершин речка. От нее веяло прохладой. Дышалось легко и свободно. Преподобный отец вышел на крыльцо и левой рукой даже заслонил на минуту глаза — столько было в долине солнца, — а правой в то же время благословил людей, стоявших у крыльца.

Следом за ним, как обычно, вышла и попадья. Она всегда интересовалась делами пан-отца и теперь остановилась в дверях — через плечо о. Федора глядела на людей. Были тут и старики верховинцы — седоусые, морщинистые, сухие, точно грибы, — они, несмотря на теплое утро, дрожали в своих гунях, пропахших салом и дымом; были женщины — они прибежали сюда, в чем были в хатах, — в рваных запасках и серых от пыли рубахах; были и дети, прижимавшиеся к своим матерям. Все они сидели прямо на земле или на бревнах, а когда вышел духовный отец, вскочили на ноги, двинулись к крыльцу, остановились и склонили головы.

— Наставник наш! Отец духовный! — заговорили они тотчас, едва поп благословил их и сложил крестом руки на груди. — Защити нас, выручай!

— Что случилось, дети мои? — спросил о. Федор.

В эту минуту его, правда, передернуло даже. Дети! Да какие они дети ему — он стоит на крыльце умытый, холеный. А эти хлопы — неумытые, ободранные, покрытые пылью, полумертвецы. Его душу не беспокоило

сомнение — почему это так, почему? Он был приверженцем установленного порядка вещей и не хотел искать виновников неравенства между людьми. Если бы кто-нибудь посмел ему сказать, что виновники существуют, что их нужно искать, он крикнул бы раздраженно: «Но при чем тут я? Какое мне до этого дело?» Федор Стрыпский, как это бывало не раз и прежде, чувствовал, ибо так учила католическая церковь, свое превосходство над другими людьми, был убежден, что он лучше других...

— Арестовали... Ночью... Одиннадцать человек... Заковали в кандалы... Ночью и повели... — говорили люди.

— Ничего не понимаю, — широко раскрыл глаза о. Федор. — Кто арестовал? Когда? За что?

Один из толпы выступил вперед и рассказал, что жандармы, которые вчера ездили на перевал, вломились ночью в хаты, разбудили, взяли с собой и увели одиннадцать селян.

— За что их взяли? Куда повели? — жаловались верховинцы, плакали женщины.

— С перевала ехали, говорите? — заметил о. Федор. — Там, кажется, кто-то кого-то убил. Так, может, и наши там были?..

— Нету наших на перевале.

— Ничего не понимаю, дети мои, — повторил он. — Все это выше меня. Политика не мое дело, на то есть другие, более достойные.

— Какая там политика? — возражали старики и женщины. — Что за политика, когда в хате ни картошки, ни кукурузы? Политика — то не нашего разума дело, преподобный отец. Куда нам до нее? Заступитесь!

— Если люди совершают ошибку, — неопределенно сказал о. Федор, — просить надо за них; если меньшую — защищать надо их; если неповинны — надо выяснить недоразумение. Но никогда нельзя оставлять людей в беде, и мы их не оставим.

Он стоял на крыльце, которое еще чуть свет тщательно вымыла работница, в черной сутане, в туго накрахмаленном белом воротничке, с серебряным блестящим крестом на груди, и, сложив набожно руки, утешал свою паству.

Кто из этих убогих людей, потерявших ночью свою надежду и опору, мог знать, что в их пастыре только и есть чистого, что воротничок, а крест на его груди прикрывает змеиное сердце?

— А может,— высказал предположение о. Федор,— может, и мы, дети мои, чем-нибудь заслужили недоверие к себе? Эти красные флаги, я уже говорил вам прежде, до добра не доведут... Что-то я не всех тут вижу...

— У Тиснянцев сына Антона забрали,— слышался голос.

— Вот видите,— казалось, даже обрадовался священник.— Выходит, я прав. Под всеми этими непонятными событиями есть справедливая почва. Нельзя, не нужно носить красные флаги,— сказал он уже угрожающе.— Не нужно вмешиваться в политику. Ибо, сами знаете, правительство, какое бы оно ни было, должно карать за такие деяния жестоко, нещадно! Несть бо власти, аще не от бога!

Запугав людей, он снова свернул на свое:

— Но я, люди, не политик и должен думать обо всех. Я буду просить за наших людей. А теперь помолимся, братия!

Люди выходили со двора один за другим. Были они согнуты, сгорблены, их руки были черны от работы...

— Вот кабы Борканюк! К нему пойти бы,— сказал кто-то.— Только он нам поможет.

Остановились посреди улицы и долго, долго стояли, глядели на молчаливые горы, немые леса...

На колокольне ударил колокол. Преподобный отец звал их молиться.

9

...Тиснянчиха к попу не пошла. Она пыталась еще утром выйти на улицу, но тело было как каменное, красные и зеленые круги плыли перед глазами, все туманилось. Возвратилась домой, упала на кровать и лежала так с закрытыми глазами, обхватив землистыми руками голову.

Павло сам покормил двух сестричек, пробовал их позабавить, ведь они — маленькие, ничего не понимали и не знали. Тяжко было хлопцу, у самого тряслись руки и кривилось лицо.

— Там, мамо, соседи собираются до пан-отца! — подошел он к матери, когда у дверей остановилась кучка женщин.

Она ненадолго открыла глаза, темные, как вода под скалой.

— Никуда я не пойду! Слушай, сын, так и скажи им — не пойду!

И снова закрыла глаза, всё кругом кружилось, колыхалась под нею кровать. А из сумрака, клубившегося вокруг, все возникало и возникало лицо Антона.

Он растерялся, когда их посреди ночи схватили жандармы, и по-ребячески испугался, когда выводили его из дому. Но это был страх не только за себя, — уже на пороге сеней крикнул:

— Мама! Да не плачьте же!

Слезы ручьем потекли у матери, когда уводили Антона со двора. Ночь, холодно, сыро, а она упала наземь и лежала, пока не стихли шаги вдали. Тогда вскочила, побежала по улице:

— Люди! Люди! Где ж вы? Ой, ой, ой!

Ночь была такая темная, такая тихая — ни голоса, ни звездочки. Стояла в темноте, думала тяжкую думу:

«Небо! Вот глядишь на меня, а молчишь! Звезды! Что же вы скрылись от меня? Может, и вам страшно смотреть на наши муки и страдания? Так расступитесь же, тучи, откройтесь, звезды, солнце, взойди! Кто, кто нам здесь, на Верховине, поможет?»

Молчала ночь, замолкла мать, потекли час за часом — пустые, немые...

Только под вечер открыла она глаза. В маленькие оконца вливалось снаружи багровое, как кровь, зарево. Детей дома не было — пошли, наверно, к потоку.

Возле нее сидела Юлина. Теплая рука ее лежала на плече вдовы.

— Не плачьте, — сказала девушка. — Ой, да не плачьте!

— Я не плачу, нет, — ответила мать.

— Меня послали сказать, — продолжала Юлина, — что Антона спасут.

Из последних сил приподнялась вдова, широко раскрытыми глазами посмотрела на девушку. Точно — Юлина, чабанка, это она.

— Кто тебе говорил об этом? — сухим, даже хриплым голосом спросила Тиснянчиха.

— Меня послали сказать, что это сделают коммунисты...

— Коммунисты? Кто тебе это сказал? Где они?

И вдруг схватилась за сердце.

— Нет, Юлина, не говори мне ничего, молчи, молчи! Вот так! Молчи ты, и я еще помолчу!

Грудь ее разрывалась. Казалось, окончилась, оборвалась жизнь, когда эти выродки убили Михайла, — ну как же, что, что дальше было делать? И вдруг что-то большое, необычно большое поддержало — на похоронах красное знамя заалело над гробом, несколько сильных рук подхватили ее: «Держитесь, держитесь, Гафия!..» Вторично, кажется, оборвалась жизнь, когда этой ночью забрали Антона — старшего! И вот еще солнце не успело закатиться за горы, а ей сказано, что Антона спасут. Сказала Юлина, чабанка. Только не нужно ее ни о чем расспрашивать. Разве не был точно таким убогим, неприметным человеком и Михайло? А он оказался сильным, страшным для врагов, ведь слабого они не стали бы убивать...

Но кто же сильнее — те, что кричат и убивают, или те, что борются молча, а в горе подают друг другу руку помощи? Слушайте вы, враги! Мы — живы. Я, Павло — меньшей, девочки, Юлина!

— Дай мне, Юлина, руку!

Мать взяла протянутую руку чабанки, и вдвоем они вышли во двор. Багрово-багрово, будто пожар, на западе полыхало небо. Пылало, как огонь, и сердце матери.

Глава седьмая

1

Павло Тиснянец стал хозяином — «газдою». Какой, спрашивается, хозяин из пятнадцатилетнего хлопчика? Ему бы расти да расти под теплой отцовской рукой, мечтать о ружье, о прогулках в лесу и охоте на зверя, но далеко даже не отходить от хаты.

Говорили люди, когда убит был Михайло:

— Что будет делать Тиснянчиха с детками?

После пасхи пошла мать с детьми на кладбище. Солнце стояло высоко, заливало землю теплом и светом. Над могилою легко шелестела молодою листвою березка, зеленая травка стлалась по земле, там и сям проглядывал барвинок. А они сидели на земле, — мать, сын и двое девочек.

— Ой, видит бог, да не милует...— начала Гафия.

Она плакала и горевала по Михайлу, который лежал здесь в земле; по Антону, которого угнали на край света — на муки, каторгу, а может, и смерти! Как удерживать слезы, льются они и днем и ночью.

— Ой, видит бог...— плакалась старая.

Павло беспомощно поглядел на ее лицо, по которому бежали частые слезы, глянул на сестричек, готовых тоже заплакать, положил руку на плечо матери, сказал:

— Мамо, не плачьте! Вот говорю вам... Слушайте, мамо...

Было что-то необычное в его голосе, и она сразу оборвала плач, взглянула на сына.

А он говорил, как взрослый. Одна рука его лежала на материнском плече, другая — на свежей могиле отца.

— Мамо! — сказал он. — Эту землю нашу мы вспашем и засеем. Ведь добрые люди овса на посев дали. А там, мамо, добуду я ружье и пойду в лес, убью зверя — оленя, лисицу, куницу. Продам я их — и оденемся. Ой, мамо, да я тот лес из конца в конец знаю. Где олений ход, а где кабаны лежат, в одном месте даже медведя видел... Только бы ружье, мамо, но я его добуду.

— Верно, сынок, — казалось, заслушалась она его. — Мы должны посеять, правда. И посеем, что ж. А про ружье ты уж молчи. Такое горе с отцом, а теперь с Антоном. Услышат они про ружье, всех нас заберут. Что им наше горе?

А сама упорно думала, кто же это принес меру овса на той неделе? Подошли ночью к хате, позвали: «Отворите!» Отперла она, а люди — с плеч сумки: «Это, мол, на посев». — «Кто ж вы, откуда?» — спросила. «Не спрашивайте, свои люди!» — ответили. И пропали в ночном мраке. Свои люди!

Их угр земли лежал над пропастью. С обрыва страшно было даже глядеть — такая глубина. Еще Михайло, бывало, говорил:

— Работаешь, а когда-нибудь как сорвешься вниз, так и похороны справить не придется.

Весна! Грело солнце, пар клубился над землей, уже бурьян показался на ниве.

— Сынок, — сказала мать. — Дай уж я мотыгой.

— Нет, мамо, — ответил он, — мотыгой не годится...

— Тогда вместе, сынок.

И ухватились они вдвоем за сошку, сделанную еще старым Михайлом. Подпрыгнули и въелись в землю грабовые зубья, проползли немного, вырвались и снова зарылись.

— Не надрывайтесь, мамо.

— Ой, сынок, ты уж молчи.

Ухватившись за сошку, они тяжело ступали по своему угру, так что ноги погружались в землю. Резкий ветер бил в грудь, точно хотел их остановить, тучи набегали на солнце, точно хотели скрыть от него людскую муку.

— Вы, мамо, не бойтесь. Как-нибудь управимся, а там посеем. Мне не тяжело, мамо. Дойдем до межи и передохнем. Ведь так? Что же вы молчите, мамо?

Весна! Хозяин шел по полю.

2

Дмитро Клумак имел все основания быть довольным. Усмешка не сходила с его лица, смеялись глаза, он как-то по-новому научился подавать руку — высоко и резко поднимал ее вверх, мягко сгибал, лопаточкою, и плавно, как в воду, вниз: «Здравствуйте пожалуйста!» И то не каждому подавал, а с выбором — о. Федору, Репашу, писарю, учителю, но не лесорубам, не проклятым лодырям. Еще чего недоставало!

Каждый год арендовал Дмитро Клумак, как и его отец когда-то, бутин. Знал, что на его бук зарятся Австрия и Италия, на граб — Германия, а разве на сосну и ель нет охотников? Он и арендовал большие участки леса, чтобы удовлетворить всех и чтобы для себя получить барыш.

И теперь он поехал еще ранней весной в Ужгород, заключил контракт на лесоразработки. Сладилось, как всегда, хорошо — дал большого хабара чиновникам из лесного управления, сельскому начальству заплатил гроши.

Едва он возвратился в Клены, к нему явились неожиданные гости: двое военных и один штатский, а при них охрана.

— Мы из министерства, — отрекомендовался один из военных.

— Очень рад, очень... — тихо проговорил, остолбенев,

Клума́к и неожиданно крикнул тонким голосом, как петух: — Варвара! Скорее закуску!

— Мы к вам, пан Клума́к, по лесному делу. Да, да, не удивляйтесь. Даже в Будапеште известно, что в этих местах один из крупнейших лесопромышленников — Дмитро Клума́к. Знаток своего дела...

У Клума́ка даже щеки разгорелись, и он готов был расцеловать этих министерских, невзирая на то, что у них был малопривлекательный вид.

— Мы прибыли к вам с предложением, — продолжали гости. — До сих пор пан Клума́к работал на частные предприятия, которые вырабатывали разные там кровати, стулья да шкафы.

— Не говорите, — перебил их Клума́к, — у меня есть и военные подряды.

— Знаем, знаем, — сказали гости. — Но мы живем в такое время, когда все должно работать для укрепления могущества страны, то есть на военное министерство. Наша армия испытывает большую нужду в лесе, а потому военное министерство хочет заключить с паном Клума́ком контракт на всю продукцию, какую он получает на своих разработках.

Клума́ку показалось, что сердце его вот-вот выпрыгнет из груди.

— Я, конечно, с большой радостью... Для отчизны и родной армии готов все отдать...

Но сразу взяли верх клума́ковская хватка и тонкий коммерческий расчет.

— Но у меня есть контракты с частными фирмами, и перед ними я отвечаю карманом...

— Вы можете быть уверены, пан Клума́к, что военное министерство заплатит такие деньги, которые покроют ваши убытки по расторжению контрактов с частными фирмами.

— Тогда с моей стороны не может быть возражений, — согласился Клума́к. — Какое количество леса вас интересует?

Чиновники назвали цифры.

— А больше можно? — нагло спросил Клума́к.

— Можно.

— Договорились, — пошел дальше Дмитро. — План увеличим. А сколько вы можете платить за лес?

Чиновники переглянулись.

— Дорогие гости!—откровенно признался Клумак.— Чтобы жить, каждый человек должен есть и пить. Накиньте двадцать процентов на ту сумму, какую вы думаете мне дать, и считайте их своими. Больше мне, больше и вам. Правильно я рассудил? По-ученому это называется — пропорция; братуха мой Гаврило говорит, что это гармония; а по мне, так это обыкновенный хосен.

— Двадцать с контракта, а пять с вас,— потребовали, подымаясь со стульев, чиновники.

— Что не могу, то не могу,— уперся Клумак.— С меня будет два процента! Варвара, женушка, убери со стола, мы должны написать контракт. И позови Магарычку, моего писаря.

— Мы и сами! — сказали чиновники.

— Пускай будет так, как я хочу,— ответил Клумак.— Ведь я ему плачу деньги...

И они на месте написали контракт между военным министерством и лесопромышленником Дмитрием Клумаком на поставку армии огромного количества леса. Контракт подписали оба чиновника, Клумак, как умел, нацарапал на бумаге свою подпись, писарь Магарычка скрепил контракт печатью сельской управы и внес его в реестр.

Когда же чиновники, получив свои два процента, вышли из дома, сели в машину и уехали, Магарычка не выдержал и сказал:

— Ну и контракт! Про такие цены на лес я еще не слышал.

— Молчите! — пискнул Дмитро.— Вы получаете на этот раз не сто, а пятьсот пенге¹. Вот и все!

Как же было не радоваться Клумаку и не задирать нос!

Ночью Дмитро Клумак не мог заснуть. Еще с вечера, когда уехали чиновники из военного министерства и ушел Магарычка, он, чтобы успокоиться и, сохрани боже, не ошибиться, полез на чердак, принес оттуда ворох досечек с зарубками на них и долго сидел в кресле в своем кабинете, постукивал досочками, прикидывая, сколько пени он должен выплатить фирмам и какую прибыль даст ему новый контракт с военным министерством. Расчет получался подходящий: хосен от министерства перекрывал пени на большую сумму. Можно было совершенно

¹ Пенге — денежная единица в Венгрии.

успокоиться, улечься в постель, накрыться с головой теплым одеялом и спать.

Но не спалось, и он все вздыхал и вздыхал, даже Варвара забеспокоилась:

— Что с тобой? Может, у тебя желудок не варит?

— Нет,— ответил он и еще раз громко вздохнул.— Желудок ничего. Вот голова не может всего переварить.

Его несколько не беспокоило, что из лесу, который он заготовит, будут вырабатывать порох, строить военные объекты в Карпатах. Что ему было до этого?

Не думал он и о том, что для того, чтобы выполнить увеличенный им самим план, придется погнать на работу половину кленовчан и заставить их работать от зари до зари, в любую погоду, в снегу, в грязи и воде. Что ему было до этих людей — пойдут, голод погонит, сами попросят работы.

Но он упорно раздумывал над тем, как бы устроить так, чтобы выполнить план военного министерства и чтобы не разрывать уже заключенных контрактов с частными фирмами.

Хосен — вот о чем думал Клумак!

— Варвара,— сказал он среди ночи, толкнув жену в бок.— Ну-ка, помоги мне, а то тут этих цифр набралось, как желудей осенью. Запомни — тридцать четыре тысячи семьсот.

Она пожевала губами и сказала:

— Запомнила.

Клумак пожевал губами, делая какие-то сложные подсчеты, а потом кинул:

— Теперь запомни—пятьдесят четыре тысячи триста.

— Запомнила,— сказала жена.

Еще раз подсчитал Клумак и снова:

— Теперь одиннадцать тысяч.

— Помню.

— Называй все числа!

— Тридцать четыре тысячи семьсот... пятьдесят четыре тысячи триста... одиннадцать тысяч...

— Вышло! — довольно сказал Клумак.— Сто тысяч в кармане.

Она помолчала, ожидая дальнейших подсчетов, но так ничего и не дождалась.

— Митя! — окликнула Варвара.— А к чему все это?

Но муж ее крепко, легонько похрапывая, спал.

Утром Клумак проснулся в прекрасном настроении, умылся, причесался, позавтракал бараниной и направился к брату Гаврилу, куда был не очень вхож.

— Здоров, американец! — весело крикнул он на пороге Гаврилова дома.

— Здоров, предприниматель! — ответил Гаврило. — Давненько тебя не видал.

— Что поделаешь — преграда, — указал Дмитро на каменную стену, разделявшую их участки.

Гаврило поглядел на это сооружение.

— Да уж так, — кашлянул он. — Прошу, брат, ко мне в хату.

— Все это правильно, — сказал Дмитро, усевшись у Гаврила в кабинете, который окно в окно и дверь в дверь напоминал его кабинет, потому что оба дома строил один и тот же мастер из Рахова. — И то, что поехал ты в Америку, и то, что заработал там, — со всем согласен. А все же я за свое. Помнишь, говорил когда-то про колокола. Концерт бы нам вместе дать. Отче наш, берегись нас.. А то ты возвратился из Америки — и ни чичирк. Ну, побыл депутатом, но ведь теперь твой мандат ни к чему? Видишь, случилось все, как мы говорили. Венгрия, только Венгрия, а над нею Гитлер. Далеко твоя Америка.

— Америка не дура...

— Знаешь, что я скажу, — поглядел Дмитро на Гаврила, и глаза у него были как лакированные пуговицы. — Дай боже, конечно, здоровьичка и Америке. Но ты же не станешь сидеть и дожидаться, пока она придет?

— Ой, ошибаешься ты, Дмитро, — ответил скупко Гаврило. — Сидеть и ждать, пока люди истекут кровью, — это как раз и есть американская политика. Чего же ты хочешь, чтобы я сам на рожон лез?

— На рожон лезть не нужно, но и без дела сидеть нельзя, — твердил Дмитро.

— А на чем же я в такое время могу заработать? — полюбопытствовал Гаврило.

— О, наконец я услышал от тебя разумное слово, — захохотал Дмитро. — Вот теперь вижу, что ты американец.

— Будет уже про Америку... Говори, что надумал, — сердито буркнул Гаврило. — Ведь знаю, что ты зря ко мне не придешь.

— Подписал я контракт с военным министерством,— признался Дмитро.— На очень большую сумму.

— Так, выходит, пришел похвастать, что меня обскакал?

— Я тебя никогда не обскакивал,— нахмурился Дмитро.— И не обижай меня, я не жеребец, чтобы тебя обскакивать, а вроде бы человек. Подписал, говорю, контракт с военным министерством, но у меня имеются старые контракты с частными фирмами. Я, Гаврило, совесть имею. Сам всего поднять не могу и не хочу. По-христиански нужно, а как же? Подряд военного министерства я оставлю себе, контракты с фирмами переведу на тебя.

Гаврило долго глядел, прищурив глаза, на Дмитра, потом вдруг широко расставил руки, мотнул головой и сделал такое движение, какое делает собака, когда хочет что-то проглотить; при этом заскрипел зубами и громко рывкнул:

— Га-ав!

— Ты что это? — ничего не понимая, спросил Дмитро и даже отшатнулся.

— Говорю,— может, ты меня вот так проглотить хочешь? Гав — и все!

— Брат! — сложил руки на груди Дмитро.— Да неужто ты мне не веришь?

— Бог с тобой,— ответил Гаврило.— Еще разок поверю.

3

В Клены приехал новый управляющий школой, Василь Гербера.

Дело было ночью, и они с Короджием ни словом не обмолвились о школьных делах,— нужно было помочь управляющему выгрузить из машины вещи, показать ему и его жене комнату. Разговор у них состоялся только наутро.

— Пан Короджий,— сказал Гербера, усевшись с гордым видом за стол в своей комнате,— как же вам работается?

— Да что ж, пан управляющий,— ответил Короджий.— Вам, надо полагать, известно...

Он хотел рассказать, как трудно преподавать в верховинской школе. Рассказать было о чем! Ведь из учеб-

ников у них имеется лишь идиотская грамматика Гарайды, в книгах для чтения только и речи, что об оборотнях, ветряниках, упырях, о шарканях — двенадцатиголовых змеях...

А что делать с бедными детьми, которые всегда голодны и которым не в чем ходить в школу?

Но Гербера не дал ему договорить.

— Вот, прошу вас, — сказал управляющий, — получен приказ школьного отдела о преподавании в школах на венгерском языке.

Короджий стоял перед столом и молчал.

— Но, прошу вас, почему вы молчите? — даже побагровел Гербера. — Может, пан Короджий, вы считаете, что нам не следует обучать на венгерском языке?

— Нет, — ответил Короджий, — на венгерском языке написано много прекрасных произведений. Возьмите Яноша Вайда, Шандора Телеки! А бессмертный Шандор Петефи¹. Мы должны изучать венгерский язык, чтобы свободно говорить с народом Венгрии...

— Нам нужно говорить с властями, прошу вас, — перебил его Гербера.

— Конечно, я думал и об этом, — закончил Короджий. — С властями мы также должны говорить. Только трудно будет нам обучать детей на венгерском языке. Ведь живут здесь не венгерцы...

— А кто ж, по-вашему, живет здесь? Может, рутены?

— Здешних людей называл кое-кто и рутенами. А они, вы знаете, самые обыкновенные украинцы...

— Оставим этот разговор, — грубо оборвал Гербера. — Украинцев здесь не было и нет. И нет никакого, прошу вас, ни украинского, ни рутенского языка. У нас теперь будет только венгерский язык. А вы, прошу вас, должны немедленно выехать в Рахов, чтобы получить более подробные инструкции и взять учебники.

— Я могу выехать хоть и сегодня, — сказал Короджий. — Но следует подумать и о другом... Я подразумеваю одежду и обувь... для детей... Каждую зиму дети не ходят...

— Слушайте! — крикнул Гербера. — Как это не ходят? Должны идти, прошу вас. А не захотят — в лагерь

¹ Ш а н д о р П е т е ф и — выдающийся венгерский поэт-революционер (1823—1849).

и старых и малых. Вы, пан Короджий, не должны забывать, что учителя на Верховине должны сейчас быть и политиками. Мы, прошу вас, проводим политику национал-социалистической партии. Вы слышите?

Отец Василя Герберы, русин с дедов-прадедов, жил в долине у Берегового, владел большими виноградниками, где работало много окрестных бедняков, винные подвалы его глубоко врезались в гору за городом. Казалось, сам бог велел, чтобы дожил в винном угаре Кузьма Гербера свой век и чтобы сын его Василь пошел проторенной отцовской тропой.

Но Кузьме Гербере не давали покоя мысли о тех помещиках из долины, которые переехали в Ужгород и Мукачево, понастроили себе там дома в стиле модерн, вошли в правительство, покупали акции «Латорицы» и держали деньги в Подкарпатском банке.

Именно поэтому Кузьма Гербера надумал учить сына Василя в Дебрецене, в университете. Почему старик послал сына в Дебрецен, а не в Прагу или Братиславу — кто знает? Видно, потому, что с дедов-прадедов был связан с венгерскими помещиками. Иудой отменным был Кузьма Гербера.

У Василя Герберы не было ни малейшего желания ехать в какой-то там университет и корпеть над книгами. Его больше привлекали виноградники под Береговым, прекрасное вино, музыка цыган, праздник винобрания, который, если есть желание и деньги, можно растянуть хоть на целый год.

Но он должен был подчиниться отцу и поехал в Дебрецен, где несколько лет учился на восточно-европейском факультете. За эти годы он убедился, что неверно представлял себе университет, потому что и здесь можно было, имея деньги, отлично проводить время. Конечно, приходилось корпеть над книгами, посещать лекции, изучать славянские языки. Временами Василь Гербера сам себя спрашивал: «Зачем ему все это? Для чего в конце концов их обучают?»

Но постепенно он вошел в студенческую корпорацию, начал посещать собрания воинственно настроенных сынов венгерских магнатов, кулаков; тогда ему стало понятно, для чего нужен в Дебреценском университете

восточно-европейский факультет. Руководящие круги Венгрии, поддерживавшие самую тесную связь с гитлеровской Германией, мечтали об экспансии на восток и с этой целью готовили соответствующие кадры.

Университета Василь Гербера не закончил. Его неожиданно вызвал в Береговое отец. Он встретил сына на пороге дома и сказал только:

— Все пропало, сын. Наши виноградники принадлежат теперь «Латорице».

Так лопнуло все богатство отца.

— Но выход есть, — продолжал отец. — У нашего соседа, чеха Гланца, дочка Ружена на выданье. Чем тебе не пара, — сам Гланец профессор юридических наук, Ружена...

— А университет? — спросил Василь.

— Ты уже несколько лет проучился, и хватит. А тут знаешь, такая политическая ситуация, что нужно чехов держаться...

Свадьбу справили через месяц. Через два месяца умер отец Василя Герберы. А еще через полгода Василь Гербера проклял даже тень своего отца и его политическую ситуацию, потому что правительство Хорти конфисковало имение его тестя, а самого профессора Гланца выселило в Чехию.

И Василю Гербере не осталось ничего другого, как ехать учительствовать на Верховину. С ним поехала и Ружена — что с нею поделаешь? Когда Гербера выезжал, в полицейском управлении, где нужно было получать документы, вспомнили, что Гербера обучался в Дебреценском университете, и недвусмысленно дали понять, что там, на Верховине, он может кое в чем помочь правительству, а значит, и самому себе.

4

Высоко по склонам гор, на узких полосках, которые, казалось, можно было прикрыть ладонью, ползали лошади, ходили люди. Удивительно было, как они там держатся, не скатываются вниз, в долины.

Таково верховинское житье. Вся земля, что в долине, принадлежит богачам. Бедноте — только скалы в горах, где иногда найдется клочок земли. Что посеешь на этом клочке?

Ходишь над бездной, а соберешь ли, что посеял? Голод, и только голод.

У плетня стоял Короджий и печально глядел на улицу, на село, на склоны гор. Послышались шаги, с посошком в руке шел чабан Сегинь.

— День добрый, Иосиф!

— День добрый, вуйко! На полонины собираетесь?

— Да. Только Юрий в турий рог заиграет, у чабана одна думка — про полонину. Хожу вот собираю своих чабанов.

Он подошел ближе к плетню и сказал тихо:

— Тороплюсь, Иосиф. Юрия мы не будем ждать. Еще несколько дней, да и в горы, на пастбища. Какая-нибудь травка найдется, перебьемся. А то здесь, в долине, жандармы все заберут.

Еще ближе подошел Сегинь, окинул взглядом улицу и школьный двор, но ничего подозрительного не заметил.

— Не только потому торопимся,— перешел он на шепот.— Приехал человек из долины: Борканюк наказывает, чтоб чабаны скорее шли в горы. Будем принимать там людей из долин. Я сегодня же пойду проверить мосты в ущелье, разведать тропы. А Борканюк просил прислать кого-нибудь, чтоб условиться...

— Я еду в Рахов,— сказал Корсджий.— Только что говорил с управляющим. Нам теперь и речь родную запрещают. Венгерский будет язык. Должен ехать за учебниками.

— Со школой — это зарез,— вздохнул Сегинь.— Достается и нам и венграм. Всем тяжела фашистская неволя. А что ты едешь, это очень хорошо. Тебя-то я и думал просить...

— Что передать?

— Спрашивал Борканюк, готовы ли мы принять в горах беглецов. Скажи: Сегинь уходит в горы и ждет. Но сам Олекса пусть здесь не показывается — эти клумаки да репаши только и ждут, чтобы он появился. В десять тысяч пенге уже его голову оценили.

— Все передам, вуйко. Соберусь и сразу поеду.

— Счастливой дороги, Иосиф.

По улице прошли и поздоровались с учителем и чабаном две женщины. Глаза у них были заплаканы. Не только они плачут — все село.

А как не плакать? Забрали одиннадцать человек. Их мужей взяли, а теперь, говорят, начнет работать какая-то «испытательная комиссия», просмотрит списки всех селян, и если только кто-нибудь вымолвил когда слово против Репаша или о венгерских панах из долины, если кто был связан с Борканюком, — вышлют из села, а то и убьют.

Короджий и Сегинь стояли у плетня и говорили о своих делах.

5

«Хоть ты и в Америке побывал, а все же поймал я тебя, брат, — думал Дмитро Клумак, шагая по улице. — Взял на себя частные фирмы — готовь денежки. Ведь у частных одна цена, а в военном министерстве втрое выше. Да и попробуй удовлетворить частные фирмы, если министерство и щепки не выпустит. Лопнешь ты, брат, как пузырь, а я на тебе еще заработаю!»

Довольный таким оборотом дела, Дмитро Клумак решил заглянуть на лесопилку — теперь и тут работы будет больше, подтягиваться, подтягиваться всем нужно.

В воротах его встретил Ласло Потоки, поздоровался с хозяином, проводил во двор.

Не любил Клумак механика и, подвернись другой, давно прогнал бы Потоки. Но разве заманишь хорошего специалиста на Верховину? Не доверял почему-то механику Дмитро. И потому доброго слова ему никогда не сказал, а ругал сколько раз — и не сочтешь.

Но теперь Клумак завел другую песню.

— Как поживаете, Ласло? — поздоровался он с механиком. — Весна, воздух какой! А солнышко! Да вы садитесь!

— Спасибо на добром слове, глубокоуважаемый пан Клумак, — ответил Потоки, — но я уж лучше постою.

— Тогда сядем вместе, — тяжело опустился на скамью Дмитро. — Ну, садитесь же, садитесь, говорю! — приказал он.

Потоки сел и искоса поглядел на хозяина. Меняются времена, а вот подлецы никогда не меняются. Выгодно ему — лаской, нужно — таской. Что ж теперь надумал хозяин?

— Много у нас леса набралось,— сказал Клумак и вздохнул, указывая на высокие штабеля бревен.— А будет еще больше. Время такос, что нельзя сидеть сложа руки. Думаю еще несколько рам поставить. Как вы смотрите на это, Ласло?

— Помещение позволяет,— ответил Потоки.— Правда, понадобится добавочная рабочая сила.

— Слушайте, Ласло,— перебил его Клумак.— Что рабочая сила? Понадобится — добудем,— он кивнул на верховинские хаты.— Этого добра у нас хватает. Ведь мрут как мухи. Вчера трое похорон...

— Правда, мрут как мухи,— грустно сказал Потоки.

— Не горюйте! Одно мрет, а другое рождается, дорогой Ласло,— усмехнулся Клумак и так тяжело положил руку на плечо Потоки, что тот даже вздрогнул.— Все растет, и, как видите, растет наше дело. Вспоминаете, Ласло, с чего мы начали? Ха-ха-ха! Собачья конура, а в ней рама. Смех! А теперь вы только поглядите,— выбросил он вперед правую руку.— Фирма! Дмитро Клумак и компания! Это значит — укоренился Дмитро Клумак! Какие рамы! Какая подача!

Он замолчал: близко завизжала и покрыла все звуки пила.

— Слышите! — сказал гордо Клумак, когда пила замолкла.— Горы гудят! Сотни тысяч метров перепилили. Если б в одну нитку вытянуть да петлю сделать, всю бы землю обкрутили...

Он точно опьянел, огруз, водил перед собою руками, глаза у него стали влажными.

— И в этом деле, Ласло,— продолжал Клумак,— сделал, конечно, много я, но и вы помогали. Признаюсь, я был даже иногда несправедлив к вам. Характер у меня такой, вспылю иногда, но если бы кто видел мое сердце! И это сердце многое знает. Вот вы живете, Ласло, в хижине. А почему мне ничего не скажете? Я много лет ждал вашей просьбы. Но если вы молчите, скажу я. Вы заслужили, и я вам отпускаю леса — поставить дом. Ставьте хороший дом, хотя бы и в три окна.

— Благодарю, уважаемый пан,— сказал Потоки.— Дом мне, вправду, очень нужен. Только чем я заплачу за тот лес?

— Ничего платить мне не нужно,— оборвал его Клумак.— Ни одного пенге с вас не возьму. Это вам за честный и добросовестный труд. И я надеюсь, дело у нас дальше пойдет еще лучше. Вот вы, Ласло, венгерец, а я русин. Но разве у нас не одна цель?

Он помолчал и пожевал губами.

— Взял я заказ у военного министерства,— сказал Клумак.—хлопот будет теперь на несколько лет. Но и вам, Ласло, тоже придется понатужиться. Как вы думаете, ведь теперь тартак не может стоять ночью? Будем работать полные сутки. Я надеюсь на вас, Ласло.

Механик проводил Клумака до самых ворот и долго стоял, глядя, как хозяин, опираясь на палку, медленно шагает к своему высокому дому.

Многое вспомнилось в эти минуты Ласло Потоки. Он вспомнил своего отца Йовнаша, будапештского слесаря, от которого в детские годы слышал про Лайоша Кошута¹, со слов которого учил пламенные песни Шандора Петефи.

Был Йовнаш Потоки социалистом, работал много лет в комитете, и когда 21 марта 1919 года в Венгрии началась революция и провозглашена была советская власть, то в этом была частица работы и Йовнаша Потоки...

Полиция пришла и забрала отца в ночь на первое августа, в ту ночь, когда разгромлен был последний оплот революционных рабочих Будапешта. С ненавистью глядел отец на полицейских, которые перетряхивали вещи в квартире,— старик знал, что ему сюда уже не возвратиться. Но он хотел оставить после себя след, сказать свою заповедь.

Йовнаш Потоки подошел к Ласло, поцеловал на прощанье, сказал: «Будь таким, как Шандор, сынок! И помни, что погубил нас Иштван Бакони!»

Отец погиб в будапештской тюрьме в 1920 году на виселице, а еще раньше его сыну пришлось бежать из Будапешта. Ласло попал на Карпаты, долго бродил с женой, голодный, по селам Верховины, начал работать у Дмитра Клумака, бедствовал много лет, но хранил верность тому делу, за которое боролся и умер его отец.

«Одна, говоришь, у нас цель? — думал Ласло Потоки

¹ Л а й о ш К о ш у т (1802—1894) — вождь революционного национально-освободительного восстания в Венгрии в 1848 году.

про Клумака.— Нет, не одна! Ты меня и таких, как я, не купишь хатой в три окна. Ты годен только на то, чтобы делать людям гробы, но неизвестно, кто еще угодит в этот гроб!»

Подошел Короджий.

— Нынче от вас на Рахов не пойдет машина? — спросил он.

— Вот-вот жду с бутина. Пойдет дальше.

Потоки оглянулся, нет ли кого поблизости.

— Какое-нибудь важное дело?

— Зовут,— сказал Короджий.— Сегодня же должен его увидеть.

— Если встретишь, скажи, что Дмитро Клумак взял заказ у военного министерства на лес.

— Скажу,— ответил Короджий.

6

Тревожным сном забылись люди в бараках. Поблизости катила свои воды Тисса, в лугах зацветали весенние цветы, в вышине перекликались пьяные от весеннего тепла птицы.

Высокие заборы, оплетенные поверху колючей проволокой, отделяли заключенных от Тиссы и лугов, от людей и всего мира. На двух башнях у входа дежурили вооруженные до зубов часовые, следили, чтобы никто не вошел и не вышел из лагеря.

В лагере, в наскоро сколоченных бараках, прямо на земле вповалку лежали люди, которых фашистские отряды пригнали сюда со всей Верховины, из убогих, заброшенных в горах сел.

Здесь долго не задерживались. Близко была Тисса, и с берегов ее часто доносились по ночам выстрелы и крики; поутру, когда солнце заливало лучами долину, на желтом приречном песке видна была кровь; отсюда, из лагеря, везли на машинах и гнали пешком узников в мукачевский «Конер» и в Туря-Ремету, в Раковцы-Коштель, Перечин и Ужгород; часто узников гнали к ближней станции, грузили в вагоны, и поезда отправлялись на запад. Но прибывали новые и новые заключенные с гор, и никогда этот лагерь над Тиссой не пустовал.

Поздно ночью у ворот лагеря остановилась легковая машина, а следом за нею подъехал и стал рядом грузовик.

Из легковой машины вышел военный — еще не старый мужчина, темноволосый, с проседью, — на нем была форма полковника жандармерии, его сопровождали майор и старший лейтенант, а с грузовика соскочило несколько жандармов.

На проходной будке в ту ночь дежурил лейтенант Дезидерий Вои. Увидев перед собой высокое начальство, он вытянулся как столб и стоял неподвижно, пока с ним разговаривал полковник.

— Где дежурный по лагерю? — спросил полковник.

— Сию минуту! — ответил Вои и крикнул жандарму, стоявшему возле будки:

— Майора Лошона! Живо!

Майор Лошон в это время крепко спал, хватив добрую порцию румынки, и потому он не меньше, чем Вои, растерялся, представ перед глазами полковника.

Прибывший отрекомендовался как особоуполномоченный Кемельгарито из Будапешта, показал остолбеневшему майору свои документы, приказал подать списки заключенных в лагере, обошел все бараки, вернулся в канцелярию, снова взялся за списки и приказал отобрать заключенных.

• — Этого... и этого... и этого...

Жандармы подняли отобранных узников и отвели к грузовику. Полковник небрежно попрощался с дежурным по лагерю, прошел через будку, где все еще стоял, разинув рот, все тот же Вои. Легковая машина тронулась, за нею грузовик.

— Мы еще хорошо выскочили, — сказал Лошон, когда машины исчезли вдали, и неверными шагами направился в свое помещение, где в запасе у него была непочатая бутылка румынки.

А еще через каких-нибудь два часа Лошона разбудили, потому что жандармы привезли новую партию заключенных и думали забрать часть узников на кровавую расправу в Тиссе. Но оказалось, что именно тех заключенных, которых они думали взять, в бараках не было, и не было не только этих, а и еще многих: забор лагеря со стороны Тиссы был поломан, колючая прово-

лока перерезана, и в лагере произошел самый настоящий, хорошо организованный побег.

Зазвучали выстрелы на луговине, рычали выпущенные на волю псы, холодной, ледяной водой отливали Лошона. Дезидерий Вои не мог опомниться после пережитого и на все вопросы отвечал только:

— Полковник! О, полковник!

В разные стороны разошлись люди, бежавшие из лагеря над Тиссой, и трудно было фашистам их найти. Молчали леса, смыло росой след беглецов—ищи ветра в поле!

Восьмеро кленовчан, которых вел молодой лесник Семен, шли целый день, всходили на взгорья и спускались в долины, по мосткам, колыхавшимся под ногами, перебирались через горные потоки и к вечеру поднялись в горы, откуда уже виден был и Рахов.

О многом они переговаривали с лесником Семеном, пробираясь чащобой. Кленовчане рассказали, что взяли их одиннадцать, а осталось восьмеро. Еще когда вели из Кленов, Павло Рушак кинулся в Черную Тиссу, и его в волнах нагнала пуля. Ивана Пруса и Матвея Кулинича отвели на берег Тиссы. Осталось восьмеро!

Они остановились, вспомнив своих односельчан, и помолчали. Низко склонив свои тяжелые ветви, стояли задумчивые ели. Пахло прошлогодней листвой, мохом. Кое-где, под кучей ветвей, скрытый от лучей солнца, синел еще снег. Но где-то поблизости из-под камня журчал ключ, и кто-то из них зачерпнул ладонью, а потом все вволю пили из весеннего родника,— ведь даже воду в лагере над Тиссой им давали порциями.

Вместе со всеми шел и Антон Тиснянец. За день он и слова не сказал, шел задумчивый, сосредоточенный. Чего только не пережил юноша за короткую весну своей жизни! В хижине Тиснянцев каждый боялся проглотить лишний кусочек хлеба, отец упал у порога, сраженный пулей сечевика, в лагере над Тиссой Антон повидал смерть и только и ждал — а когда же его конец? Сейчас он идет по горам, но куда лежит его путь? Что обещает ему еще одна весна?

Возле Рахова их встретил другой лесник — Ярослав Гишка. Это был пожилой уже человек, всю свою жизнь

проведший в лесу. Седоватый, с чисто выбритым подбородком, но с длинными пушистыми усами, в выцветшей кожанке и ладно сшитых сапогах, с ружьем на плече и патронташем у пояса, он выглядел, как много других лесников из «Латорицы».

Но вел он себя не так, как лесники «Латорицы», придиравшиеся к бедняку за каждую веточку.

— Добрый вечер, люди! — сказал Ярослав Гишка. — Далеко забрались за день. Устали, верно. Вот я вам харчей принес. Садитесь, повечеряйте...

Они уселись в погасающем свете дня на сыроватой еще, покрытой молодой травкой земле.

— Далеко забрались, говорю, — продолжал Гишка. — Теперь рукой подать и до родных мест...

— Тут нас забрось в лес среди ночи, и то выберемся, — впервые за день засмеялись люди. — Верховина!

— Но Клены минуйте, — сказал Гишка. — На полонины идите, а там вас будет ждать Сегинь. Знаете его?

— Еще бы...

— Если же он еще не поднялся на полонины, вы его ждите. Придется вам пока что перебыть в горах, а там что-нибудь сделаем. Только в Клены вам показываться никак нельзя.

— Спасибо, пан лесник, — вырвалось у беглецов.

— Да какой я вам пан? — махнул рукой Гишка. — Товарищи мы, люди добрые.

— Спасибо, — поправились кленовчане. — Да скажите нам, кого мы должны благодарить? Кто нас выручил?

Ярослав Гишка ласково улыбнулся.

— Это сложное дело, — ответил он. — Много людей вас выручало. И солотвинские солекопы, и свалявские лесорубы руку приложили. Коммунисты о вас заботятся. Борканюка знаете?

— Наш земляк... Ясневский!

Старый лесник смотрел на горы, которые окутывал вечерний туман.

— Есть кому позаботиться о вас, говорю. Вот вас выручили, а скольких еще нужно спасти. Ничего! Если начали, так и закончим. Счастливого пути, товарищи!

Беглецы пошли в горы. Их взялся проводить до первых полонин Семен. Ярослав Гишка остался на взгорье один. В тусклом предвечернем свете его никто не мог бы

заметить. Но он видел далеко — и горные перевалы с вершинами, алевшие на горизонте, и синюю долину внизу, где в Рахове и Деловом зажигались первые огни. Ярослав Гишка глубоко вздохнул и начал спускаться в долину...

Поздно вечером Гишка остановился у Раховского лесничества. Из дверей конторы в эту минуту вылезал, как откормленный кабан, лесничий Шимонкай. Он, как обычно, был под хмельком.

— Ну, челяк,— насмешливо процедил лесничий, стараясь лишний раз обидеть лесника чеха.— Как там в лесу?

— Все вроде в порядке, мелтосагос¹.

— Смотри мне, Гишка,— погрозил кулаком Шимонкай, и глаза у него были злые, нахальные.— Чуть что случится, с тебя первый спрос.

— Знаю, мелтосагос.

— Скоро ко мне приедут гости из Будапешта,— засмеялся Шимонкай.— Охоту устроим. Предупреди всех лесников. Загонщиков подбери...

— Слушаю...

«Значит, снова надо беречься верховинской бедноте»,— подумал Гишка.

Глава восьмая

1

Краевой комитет Коммунистической партии Закарпатья работал в глубоком подполье. Никто не знал теперь, где он находится, кто входит в его состав, никто не знал, где находятся коммунистические организации в городах и селах Закарпатья, но они жили, действовали, разворачивали работу.

Давно разгромили фашисты помещение редакции «Карпатской правды», разгромили со всею жестокостью и старательностью — уничтожили шрифты, разбили формы, кинули в печи клише. В Мукачево и Ужгороде вылавливали и арестовывали каждого, кто хоть когда-нибудь

¹ Ваше превосходительство (венгерск.)

и чем-нибудь был причастен к работе редакции: наборщиков, метранпажей, курьеров, даже продавцов газет.

И все же «Карпатская правда» выходила, призывала людей к непримиримой борьбе с фашистами, и каждый новый ее номер свидетельствовал о том, что партийная организация живет, действует.

Внешне действительно газета, которую люди давно полюбили, как будто изменилась. Выходила теперь «Карпатская правда» на маленьких листах, размножалась на стеклографах, печаталась на обыкновенных канцелярских машинках, а иногда даже писалась от руки. И все же выходила — в Ужгороде, Мукачеве, Хусте, Сваляве. В тех местах, где нельзя было издать и такую газету, появлялись листовки. Так правда жизни пробивалась сквозь запреты и преграды, так коммунистическая организация по-прежнему говорила с тружениками Закарпатья.

Фашисты свирепствовали. Любой ценой стремились они обнаружить и разгромить краевой комитет, коммунистические организации в городах и селах. Коммунисты учитывали это. И члены краевого комитета, и руководители ячеек имели заранее подготовленную смену... Нужно было быть готовыми к неожиданностям — другой товарищ должен был заменить того, кто погибал в борьбе.

По решению Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии Олекса Борканюк должен был покинуть Закарпатье. О секретаре краевого комитета лично заботился Клемент Готвальд. Жизнь Олексы Борканюка все время была в опасности. Ему пришлось покинуть комнатку в доме на улице Швегли в Хусте, они с женой разъехались в разные стороны; Борканюк ночевал нынче в одном селе, завтра в другом, временами скрывался в лесах.

Товарищи, с которыми он в это время был связан, настаивали, чтобы Олекса скорее перебрался через перевал за Карпаты. Им казалось даже, что Борканюк умышленно оттягивает день своего отъезда, и они говорили ему: «Скорее в горы!»

Куда ему следовать — Борканюк знал. Это было записано в решении ЦК Компартии Чехословакии. В мире была лишь одна страна, где мог найти пристанище и свободно вздохнуть человек. У человека, для которого не

было места в захваченном фашистами краю, была надежная родина — Советский Союз.

И все же Борканюк не спешил.

Во-первых, он решил, что не пойдет через Карпаты. Чтобы попасть в Советский Союз через Карпаты, нужно было пройти белопанскую Польшу, где на всех дорогах и станциях сновали жандармы, а кроме них, хватало продажных шкур — украинских националистов, хорошо знавших Борканюка. Нет, в Польше лучше было не показываться.

Не мог Олекса Борканюк идти и на запад. В фашистской Венгрии его обнаружили бы на первом шагу, в порабощенной Чехословакии хозяйничал гитлеровский палач барон фон Нейрат, идти через одну из этих стран — значило идти на верную смерть, на гибель.

Оставался один путь — в Румынию, через Солотвин и Сигот, чтобы оттуда уже пробраться в Советский Союз.

И он направился по этому пути. Переходил по ночам от села к селу, встречался с родными людьми. Направляясь к Тиссе, ускользая от врагов из-под самого их носа, он останавливался то тут, то там и беседовал со своими друзьями. Ведь он так недавно слушал по радио Москву.

В вихре событий, пронесившихся над Карпатами, среди темной ночи, надвигавшейся на Верховину, он хотел, чтобы слова Сталина дошли до сердца каждого обездоленного верховинца, чтобы каждый из них знал, что и в этом мраке есть надежда на спасение.

Последняя остановка была в Солотвине, куда Борканюк прибыл на рассвете. Нужно было дожждаться ночи, чтобы встретиться еще с двумя товарищами и вместе с ними перейти Тиссу. Но в городке было беспокойно, и товарищи посоветовали Борканюку до ночи побыть в соляных коях.

Они спустились покинутым, забытым ходом глубоко под землю. Воздух там был солоноватый и свежий, как на берегу моря. Казалось, они ступают по снегу — соль толстым слоем лежала под ногами. Будто высеченные из мрамора, прошитые синими и золотистыми жилками, сверкали в свете фонарей стены копей. Раскачивались фонари, играл свет по стенам, точно волновалось подземное море.

Глубоко-глубоко под землей раскинулись соляные копи Солотвина, поблизости от Тиссы. На десятки и сотни

метров залегли здесь пласты соли — память о застывших волнах гигантского моря, которые катились когда-то над долинами, где теперь течет Тисса, и ударяли, как в берега, в скалы Карпат.

Сотни лет врубались люди в глубь земли, и вырос там целый подземный город с коридорами, залами.

В темных шахтах Солотвина, задыхаясь на каторге, заканчивали жизнь тысячи людей поработленного края.

В Солотвинских копах есть места, где сплошь красноватая, ржавая соль — это, говорят, запеклась кровь людская. В словах легенды — горькая правда. Много слез людских окропило и сделало еще горше соль под землей, много людской крови пролилось в соляных копах, есть под землей могилы и кладбища, а кто там погребен — никто не знает.

Столетиями гнали сюда людей из верховинского края, из долины Тиссы, из Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии. Сюда, на вечную каторгу, под землю опускали тех, кто не угоден был богачам на земле, гнали, заковав в цепи, крепостных, гнали тех, кого католическая церковь, за непослушание государству и магнатам, прозывала «еретиками»... Так было при короле Владиславе, который отдал приказ, чтобы в соляные копи до конца жизни бросали крепостных, «еретиков», и изобрел для них самые жестокие муки, так было при проклятой Марии-Терезии, так было при всех баронах и князьях.

Но не покорялись солекопы, не хотели умирать, потому что наверху жили родные им, обездоленные люди — родители их, жены, дети; не хотелось умирать, не расквитавшись с палачами, глубоко под землею, где никогда не видно лучей солнца.

И они боролись. Память народная сохранила предание о солекопе Демьяне, который будто бы в течение многих лет по ночам копал ход под землей, вышел на берег Тиссы, собрал там батраков и бедняков, возвратился уже вместе с ними к солекопам, вызволил своих братьев, повел в Карпаты.

Работники соляных копей всегда были грозой для венгерских магнатов и чешских богачей, для губернаторов и наместников края, для всех помещиков в долине и в горах, для графа Шенборна-Бухгейма, который владел лучшими землями и лесами в Закарпатье. Говорят, когда граф Шенборн проезжал по долине, он за десять кило-

метров объезжал Солотвин, чтобы только не встречать людей, у которых руки были изъедены солью, а глаза слезились при дневном свете.

Борканюк огляделся по сторонам и увидел эти глаза солекопов, редко видящие солнце. Но в этих глазах, казалось, светилось солнце, в них была нестигаемая воля к борьбе, решимость, неколебимая вера в победу.

Рабочие поставили свои фонари на голубой пласт соли, а сами уселись вокруг на обломках, положив руки на колени. О, на эти рабочие руки можно было положиться, на них можно было опереться в трудную годину.

Борканюк припомнил в эту минуту много рабочих рук и глаз — лесорубов Свалявы, рабочих Ужгорода, Мукачева, сплавщиков и чабанов. Теперь он обращался к солекопам, говорил он о событиях в Закарпатье, рассказывал о съезде Коммунистической партии в Москве.

Встал один рабочий, второй, все! Это было глубоко под землей, в тишине и мраке, где никогда не светит солнце. Но они не чувствовали глубины, словно буря шумела вокруг, словно солнце залило вдруг все подземелье. Солекопы Солотвина, так же как тысячи и сотни тысяч рабочих в поработанных гитлеровцами странах Европы, готовы были двинуться на штурм фашизма!

Была ветреная темная ночь. На правом берегу Тиссы, где-то возле Великого Бычкова, полыхал в лугах пожар. Пламя поднималось высоко к небу, и казалось, будто кто-то стал там во мраке и машет зажженным факелом, зовет на помощь.

У самых ног плескалась Тисса. Холодна вода в ней. Говорил когда-то батько маленькому Олексе: «Вода в Тиссе холодна от слез верховинцев». Много нужно слез, чтобы напоить реку, но она, должно быть, видела слезы верховинской бедноты и приняла их, ведь вчера только стремительно катилась с гор, текла мимо Ясеней, мимо родных хат

Тихо, так тихо, чтобы с берега не сорвался ни один камешек и чтобы не всплеснулась вода, сели трое людей в лодку, попрощались с друзьями, провожавшими их до самого берега, и поплыли по Тиссе к Сиготу. В лугах еще долго багровел пожар, а потом огонь на земле погас, потемнело небо, тучи, берега. В молчании, не говоря ни

слова, пересекали они реку, направляясь к левому берегу Тиссы...

И вот чужая сторона! Они вышли на берег и остановились. Три коммуниста долго вглядывались в заречье, туда, где лежали родные села и Карпаты. Теперь уже ничего, ничего не было видно там. Мрак, ночь!

— Прощайте, мы вернемся к вам! — вырвалось у Борканюка.

И двое его друзей были уверены в этом.

Но близился рассвет, и они быстрым шагом пошли прочь от Тиссы, в леса, потому что им нужно было скрываться и здесь, в этой чужой стороне.

2

Весна надвигалась буйно, дружно. Холодные горные потоки еще несли на волнах льдины, желтую пену, щепки, но в долинах повеяло уже теплом, и льдины таяли на глазах, а пена и щепки, точно нити янтарного мониста, оседали на камнях.

Солнце заглядывало в хаты сквозь лозы дикого винограда, а на лужайках, за селом, где солнце больше прогрело землю, зацвели голубые подснежники, потом коверцами раскинулись желтые одуванчики, а там запестрели и другие весенние цветы.

В эту пору стригли овец, и блеяние наполняло загоны. Шерсть расстилали во дворах тонким слоем, чтобы подсохла на солнце и проветрилась. А в домах торопились закончить зимнюю работу — пряли, на кроснах ткали запаски и пестрые скатерти.

Неугомонная детвора — ей до безумия опротивела зима — босиком носилась по кручам над потоками, пускала лодочки из сосновой коры, кричала, как галочья стая:

Я сирота, ти сирота
Пушу човна до Сигота,
Із Сигота до Ардяле,
Із Ардяле ще май далі...

И тогда все вместе хлопали в ладоши, выкрикивали:

Йой, йой, йой!..

А флотилия лодок, с берестяными парусами, гордо плыла по волнам, пока не исчезала где-то за крутым поворотом.

Йой, йой, йой!

На берегах появились и первые рыбаки: гуси летят над долинами, значит и рыба уже проснулась, должна клевать. А каждому не терпелось выловить какого-нибудь харнуса или розовую форель, пока не зацвели черешни, потому что тогда уже начинается нерест, и не жди от рыбы клёва.

Выше и выше в горы поднималась весна, жарче и жарче пригревало солнце, отцвели и черешни. И однажды вынырнули вдруг из туманов, окутывавших взгорья, и открылись глазам полонины. Обрадовались люди — вот теперь настоящая весна, скоро и «полонинский ход».

С давних пор велось, что «полонинский ход» должен приходиться на Юрия. Тогда, сказывали старые люди, подымается он на горы, подносит к губам турий рог и играет так, что гул летит, отдаваясь эхом по лесам, полонинам, даже тучи расступаются над горами и дают дорогу потокам солнечного света.

Но теперь было не до Юрия и его турьего рога. В Клены чуть ли не каждый день налетали фашистские отряды и забирали коров и овец. А ведь это последняя надежда бедняка: без молока в доме — совсем конец.

— В горы! Всю скотину в горы! — катилось от жилья к жилью.

Собирались, чуть рассвело Зажиточные хозяева гнали десятки коров и овец, бедняк вел на веревке одну-единственную скотинку. За селом останавливались. И тут зажиточные держались особо, а беднота стояла отдельной кучкой. На двух возах сложен был чабанский скарб: мерки, бочки, маслобойки. Еще на один воз клали мешочки с чабанскими харчами. Верховинские лошади, с блестящими, сердитыми глазами, тонконогие, широкогрудые, с высокой шеей, с буйной, густой гривой, лошади, не боящиеся горных троп, черной бездны, острых камней под копытом, жадно грызли молодую траву.

Возле скотины хлопотали чабаны. Все они ради праздника полонины оделись во все лучшее, у кого что было, — кто в новом киптаре, кто в старом, латаном-перелатанном, а все же прикрашенном хотя бы новым, закинутым далеко за спину, шиурком с медными бляшками. На них были «лойвки» — круглые промасленные войлочные шля-

пы, не промокающие под самым сильным дождем. А за шнурами лоивок — у одного весенний цветок, у другого зеленая веточка, а то и диковинное, найденное где-нибудь на скалах пестрое перо. Их день начинался, в их руки отдавалось достояние людей, и потому они были возбуждены, подвижны, крикливы.

Гордо стоял, наблюдая за всем этим, и Сегинь. Снова в горы! Который это уже год? И не сочтешь! Ему не терпелось скорее оставить село, двинуться в горы, на высокие полонины. Но нужно было исполнить еще один обычай — подоить «на меру».

На меру доили так, чтобы видел каждый хозяин скотины. Ведь осенью чабанам нужно рассчитаться: и люди не должны быть обижены, и чабан должен чем-то жить.

Подоив скотину, чабаны брали заранее приготовленные прутья, делали на каждом зарубку — сколько надоили, и каждый прут кололи надвое: одну половину прута давали хозяину, другую оставляли себе.

А первая мера, как всегда, полагалась только преподобному отцу: «чтобы молился за коровок и овец, чтобы были здоровы ввечеру и поутру, при росице, при водице и везде, где случится».

Федор Стрыпский уже спешил сюда — в сутане с белым воротничком, с крестом и кропилом в руке, с улыбкой на лице. Кого узнавал из зажиточных хозяев — кланялся, а в ту сторону, где стояла беднота, даже не поглядел: еще чего не хватало!

Он читал скороговоркой молитвы, то и дело высоко поднимая блестящий крест, пел, а несколько мужчин и женщин, знавших церковные песнопения, подтягивали ему. Потом пан-отец обошел скот, кропя его «святою водою». А потом остановился у застланного ковром воза, где завтракали хозяева, и сам поднял чарку.

— За счастливое лето!

Уже все собрались. Тогда вперед выступил Сегинь. По случаю праздника крисаня его была украшена цветами, на нем была вышитая сорочка, широкий кожаный пояс, из кошельков которого свешивалось несколько блестящих медных цепочек — для ножа, трубки, огнива. Старший чабан шел в тишине, опираясь на посох, вывел скотину на дорогу, снял крисаню, кланяясь обществу, и пошел.

Заржали навьюченные кони, чабаны отпустили собак, и те, обгоняя скотину, метнулись вперед, с места трону-

лись коровы и овцы, несколько человек поднесло к губам трембиты. И полилась песня о пышной весне, о зеленой полонине, о «полонинском ходе».

Стада поднимались в горы. Они миновали холмы за селом, вышли на крутую тропу в горы. Там стоял столб, на нем висела доска с надписью...

— Прочитайте мне, что там написано, — сказал Сегинь и остановился у столба, опершись на свой посошок.

Читала Юлина:

— «Окружная комендатура объявляет розыск политического преступника и коммуниста Олексы Борканиюка. Кто его выследит, или тайно укажет, или же приведет его в окружную комендатуру, или хотя бы укажет его местопребывание, тот получит денежную награду в сумме десяти тысяч пенге. Имя сообщившего останется в самой строгой тайне. Кто же будет знать, но не уведомит властей, тот будет привлечен к суду и покаран смертью».

Чабан выслушал объявление комендатуры от начала до конца, и легкая усмешка пробежала по его загорелому лицу.

— Эй вы, объявители! — ударив посошком о землю, сказал он. — Десять тысяч пенге? Больно дешево. цените вы голову коммуниста. Да хоть и миллион назначьте, все равно не поможет. Не такие здесь люди!

3

Шло лето. Невеселые думы принесло оно бедноте. Мало кто засеял какой-нибудь угр на склонах гор, а если кто и засеял, то безжалостное солнце сожгло, иссушило землю. Скот пасся на полонинах, но с травой было трудно. А в село, что ни день, налетали жандармы, все кого-то искали, сдирали последнюю рубашку с плеч, подымались иногда и на высокие полонины, разбивали там чабанский скарб и волокли за собой несколько овец.

Горя не знали только Клумаки и Репаша. На их полях, расположенных в самой долине, зеленели всходы, их стада в горах никто не трогал, мимо Кленов плыли плоты, и все они останавливались у лесопилки Дмитра Клумака, где день и ночь пронзительно завывали пилы.

Федор Стрыпский очень внимательно следил теперь за мировыми событиями. Гитлеровцы захватили Австрию, разрывали на куски Чехословакию, а Венгрия захватила Закарпатье...

«Так и должно было произойти,—думал Стрыпский,—произошло лишь то, о чем много раз говорили и покойный папа Пий XI, и его преемник, папа Пий XII. В поход против безбожных схизматиков, против Советского Союза собираются все большие и большие силы, а их возглавляет Гитлер»

Он слушал рез и свист европейских и американских радиостанций, которые, захлебываясь, доказывали, что гитлеровская Германия должна напасть на Советский Союз. Правда, станции скороговоркой сообщили как-то, что в Москве будто бы идут переговоры между Советским Союзом и Англией и Францией. Но те же самые станции, и особенно радио Ватикана, красноречиво убеждали, что из этих переговоров ничего не выйдет и что Англия, Франция и, конечно, Ватикан будут поддерживать самые лучшие отношения с Германией.

«Играют на два фронта»,—расшифровывал даже о. Федор все эти сообщения, хотя он в закулисной политике Англии и Франции разбирался слабо.

И вот радио сообщило, что в Москве между Советским Союзом и Германией заключен договор о ненападении...

— Матерь божья!— ужаснулся священник.— Да что ж это такое? Германия — и Советский Союз!

А еще через неделю, первого сентября 1939 года, Гитлер нападает на Польшу. Авиабомбы рвутся на улицах Варшавы, во многих других польских городах и селах. Гитлеровская армия ломает границы и выступает в поход на Польшу.

Стрыпский не отходил от радиоприемника. Как же это так? Вместо того чтобы всем сообща кинуться на Россию, как поучал и призывал папа, Германия и Советский Союз мирятся между собою, а те, кто вчера клялись в своей вражде к большевикам, начинают бить друг друга. Почему молчит его святейшество папа? Ведь он так недавно заверял, что всегда поможет и защитит поляков. И почему замолчал вдруг Черчилль? Англия должна же что-то сделать, чтоб защитить союзников?! Ведь бомбы падают не на города Советского Союза, а на

Польшу, в концентрационные лагеря уже брошены тысячи поляков.

Но вчерашний «друг» польского народа, папа Пий XII упорно молчал, и благословение, данное им ранее Гитлеру, видимо осталось в силе. Много обещал Чемберлен, однако Англия не спешила и пальцем шевельнуть, чтобы помочь Польше.

Лишь позднее о. Федор понял, почему молчал в эти дни папа и почему ему вторили английские тори. Какое им было дело до страданий польского народа? Что им было до того, что в Польше лилась кровь? Из городов Польши долетел крик: «Идите к нам на помощь!» О. Федор поймал однажды радио из Львова и услышал: «Спасите нас, братья!»

И вдруг о. Федор схватился за голову и даже подпрыгнул у своего радиоприемника.

— Таня! — завопил он. — Скорее сюда! Начался конец света.

— Что случилось? — выскочила она из спальни.

Спокойный и уверенный голос диктора из Москвы сообщал о том, что советский народ услышал голос своих братьев и советские войска перешли Збруч, идут на помощь трудящимся Западной Украины и Западной Белоруссии, которых в тяжелую годину оставили на произвол судьбы и на кровавую расправу гитлеровцам Бек и Рыдз-Смиглы.

— Да куда же это смотрит святейший папа? — вопил о. Федор. — Чего он ждет?

Но теперь папа действовал. Радио из Ватикана, которое вдруг онемело, когда Гитлер двигался на восток, теперь разразилось:

«Занятие Красною Армиею Западной Украины и Западной Белоруссии говорит о силе коммунизма... Советский Союз угрожает Англии, Америке, Франции и Скандинавии...»

У о. Федора началась бессонница. Погасив свет, он всю ночь слонялся по комнате — спотыкался, часто останавливался у окна и смотрел на горы и перевалы. Ни огонька! А что, если на перевалах зажгутся вдруг огни и там появятся войска Красной Армии?

Лихорадка трясла его, и хотя вокруг было необычайно тихо и горы лежали серые, как пережженный уголь, но ему все время казалось, что где-то вдали уже гремит

канонада, а на склонах гор мерещились таинственные огни.

Как-то на рассвете он присел в постели возле попадьи и вздохнул так глубоко, что она сразу проснулась.

— Ты не спишь, Федя?

— Не сплю.

— Что с тобой?

— Бессонница. Все кажется, будто гремит. Вот прислушайся, Таня,— неужели ты ничего не слышишь?

Оторвав голову от теплой подушки, она долго прислушивалась.

— Нет, ничего. Только сверчок на кухне.

— Сверчок? — поднялся он.— Погоди. Так вот оно что! Вот я его...

И он пошел на кухню, зажег ночник, разбудил служанку и с необычайно серьезным видом, накинув поверх белья сутану, широко расставляя руки, долго и упорно ловил сверчка.

— Лови его, лови! — зловеще шептал он, заметив сверчка.

Но сверчок был неуловим, и пока о. Федор нацеливался на него в одном углу, он, неизвестно как, оказывался в другом и громко, словно насмехаясь, трещал и трещал.

— Нечистая сила!—вырвалось у о. Федора.—Гадина!

Настали напряженные, тревожные дни.

— Никуда ты не поедешь,—сказал о. Федор Марии, когда та заговорила про Ужгород.

Попадья жаловалась прихожанам, что пан-отец захворал и что в желудке у него открывается, видно, какая-то болячка. Даже когда помер старый Парамон Жегейда — и то пан-отец не пошел на похороны, а сказал, что «припечатает» Парамона позднее. Правда, тут была еще и другая причина — Парамон не заплатил церковного сбора, и пан-отец хотел на этом примере проучить и других верующих. Какое ему дело до того, что чехи когда-то отменили этот налог? Веруешь — плати! Католический закон прост: плати, молчи, повинуйся!

А все же хотя о. Федор и не был болен, но пребывал в состоянии какого-то необычайного возбуждения и беспокойства, что, естественно, отражалось и на его желуд-

ке. Целыми днями он спал, а с двенадцати часов ночи до самой зари бродил, как лунатик, по комнатам, слушал радио, что-то шептал, глубоко вздыхал.

Радио приносило новые и новые вести. За Карпатскими горами совершались важные события. Там, подвергая города беспощадной бомбардировке, сжигая села, убивая людей, шли по Польше гитлеровские войска, и это радовало о. Федора. Он считал, что, когда гитлеровцы встретятся с советскими войсками, тут-то и начнется настоящая война.

— Так их, так их, поляков,— менял он ориентацию.

Однако радио приносило и другие вести. Через Збруч перешла и тоже быстро продвигалась вперед Красная Армия. Трудящийся люд встречал ее воинов хлебом-солью и цветами. Победная поступь армии и радостные возгласы людей, встречавших ее, долетали из Тернополя, Львова, Дрогобыча. Армия все ближе и ближе подходила к Карпатам.

Что там, за Карпатами, происходят очень важные, решающие события, свидетельствовало и то, что к перевалу тянулись и тянулись машины, туда везли и везли орудия, шли немецкие и венгерские солдаты, вся долина была забита войсками.

«Да идите же скорее за перевал! — молился пан-отец, прижавшись головой к окну.— Идите туда, на восток, против большевиков. Иначе они сюда придут. Не допустите, не допустите их сюда!»

— Матушка,— однажды ночью дрожащим голосом сказал он.— Иди сюда, смотри!

На фоне черного неба розовым светом светились горы. Над ними висели красноватые, словно раскаленные снизу, тучи. Было очень тихо, но и о. Федору, и попадье, и Марии, подошедшей к ним, казалось, что издали доносится гул, свист. Они долго стояли и, как крысы из норы, смотрели на восток.

— Пожар где-то, или они. Нет, я не могу выдержать. Должно быть, у меня тиф начался,— проговорил о. Федор.— Возьмите меня под руки и ведите в постель.

Он лег в постель и приготовился лежать, пока все не разъяснится.

И вдруг радио сообщило, что армии Советского Союза остановились, остановились и немецкие армии.

Отец Федор вскочил с постели.

Как раз в это время в поповский дом пожаловал капитан Чакши. Он теперь часто наезжал сюда. В долине было полно военных, после случая в лагере над Тиссой по Раховской дороге день и ночь ездили дозоры,—Чакши не боялся и частенько заезжал в Клены, надеясь что-нибудь услышать про Борканюка. Услышать, а там наскочить с жандармами и поймать... Деньги, повышение в чине, Будапешт, слава!

Не только это заставляло капитана Чакши то и дело останавливаться у поповского дома в Кленах. Его дразнила, привлекала, доводила до беспамятства холеная, красивая дочка священника. Он таки познакомился с поповной Марией. Познакомился — и прямо с ума сошел! Какие формы, а глаза, губы! И попадья Татьяна теплыми глазами поглядывала на капитана, шептала: «Я вижу, вы влюблены в нашу Марию. Она достойна высокой любви». Но сама Мария глядела на капитана надменно, свысока, не отвечала на его шутки, он не мог вызвать улыбку на ее губах.

«Проклятая семинаристка,— думал капитан.— Но ты забываешь, что я капитан венгерской армии».

Так Чакши снова приехал в Клены.

— Слыхали? — спросил он пан-отца, который вышел подышать свежим воздухом.

— А как же,— ответил тот.— Значит...

— Никаких «значит», духовный отец. Смотрите! Прекрасная иллюстрация к событиям, происходящим в мире. Как вам нравится такое ненападение?

На Раховском шоссе слышался грохот моторов, он все нарастал и нарастал, а потом в Клены начала вползать, как змея, колонна машин.

Колонна растянулась далеко. На передних машинах сидели немецкие и венгерские солдаты с автоматами в руках, с гранатами у пояса. В следующих машинах сидели в полной своей немецко-волошинской форме сечевики. О. Федору показалось даже, что в одной из машин он заметил бывшего председателя «Просвіты» в Рахове, Панасюка, который приезжал не так давно к ним в Клены и убил Михайла Тиснянца. На этот раз Панасюк почему-то счел нужным отвернуться.

Но был ли тут Панасюк, нет ли,— а вот Гаврило Клу-мак, который тоже торчал у ворот, доподлинно видел и узнал в машине Давыда Левицкого. Тот сидел в рыжем

пальто между венгерскими солдатами и, энергично указывая рукой на Карпаты, о чем-то рассказывал.

— Эфиопский царь! — окликнул Клумак.

Но кто мог расслышать его голос? Солдаты пели, машины ревели, дальше и дальше двигалась колонна.

Уже хвост колонны миновал двор пан-отца.

— Разная, вижу, масть, — проговорил о. Федор.

— Разная масть, да наша власть, — засмеялся капитан.

— Что ж, — вздохнул о. Федор, — мое дело их благословить. Помогай им бог.

И он только потому не поднял для благословения рук, что побоялся, как бы не увидели это из своих хат верховинцы. «Что ж, — подумал он, — благословляю вас мысленно».

А потом о. Федор посмотрел на горы, окружавшие долину, на леса и пастбища.

— Вот только здесь, — обратился он к Чакши, — не спокойно, пан капитан. Этот Борканюк и все опришки... Будто фронт какой-то.

— А вы думаете, для чего нам нужен договор о ненападении? — кивнув на Карпаты, поучительно сказал Чакши. — Войска идут на восток не зря. А мы позаботимся, чтобы у них был надежный тыл. Фронт в горах мы, конечно, уничтожим.

— Всех бы их уничтожить, — вырвалось у о. Федора.

— Да уж церемониться не будем. Нужно будет, всех уничтожим, — погрозил кулаком в сторону гор Чакши. — Вы думаете, для чего я приехал?!

4

Несколько ночей в горах не горели костры. Тот, кто глянул бы в эти ночи на полонины, ища приветных огоньков, которые светились там раньше, точно звезды, — не нашел бы их. Темны были горы, темны и полонины.

Но жизнь в горах шла, как и прежде. До зари просыпались пастухи, доили скотину, гнали на высокие луга, пасли целый день. Только держались они теперь поближе к лесу, а один или два чабана стояли все время у края полонины и готовы были каждую минуту кинуть тревожный клич: «Берегись! Враг!»

И ночи над полонинами проходили, казалось, так же, как и прежде. За огорожей блеяли овцы и жалобно звали

матерей ягнята, позвякивали колокольцы на шеях коров, фыркали и ржали лошади, у землянок слышен был звон ведер и однообразный перестук маслбоек. Пастухи сливали свежее молоко, перетирали с солью творог на брынзу, сбивали в темноте масло, спали в своих землянках.

Но и ночью теперь над тропами стояли караульные, они всматривались, прислушивались, и едва только слышался где-нибудь шорох или шаги, из темноты раздавался окрик: «Стой! Кто там?»

Охрана стояла не зря. Под покровом ночи на полонинах собиралось все больше и больше народу. Сюда пробирались издалека, с Татр и от реки Моравы, из растерзанной Праги, Брно, Братиславы, те, кому не было сейчас места в «протекторате Богемии и Моравии», и этих чехов и словаков, как родных, принимали и укрывали чабаны в Карпатах. Сюда направлялись со всех концов Венгрии те, кто не мог усидеть в родном доме. Сюда из долин Тиссы шли те, кто уже успел побывать в концентрационных лагерях, кто бежал из сел от карательных отрядов. Солетки, лесорубы, плотгоны, батраки, беднота, увидев смерть перед глазами, оставляли родные дома, прощались с женами и детьми и направлялись в горы.

Им были видны внизу родные села, в ночной тьме мерцали кое-где знакомые огни. Но чабаны, спускавшиеся в долины, приносили оттуда нерадостные вести: идут войска на перевалы, стоят в селе жандармы.

Они знали и больше—войска вскоре займут перевалы, забьют все села, а тогда двинутся в горы, начнут прочесывать леса и полонины, забросают бомбами ущелья и пропасти. Карпаты уже видели это и знали не раз, не два!

— Так что ж, смерть? — спрашивал кто-нибудь в шалаше.— Люди добрые, неужто же нам судьба теперь помирать?

— Нет, друзья,—слышался голос в ответ.— Смерть им, а не нам.

— Мы готовы бороться,—кричали люди.— Было бы оружие, а коли нет, то и камнями. В пропасть их...

— Будем бороться, друзья!

Поздно вечером на полонину пришло еще несколько человек. Караульные встретили их на склонах гор и сразу провели к назначенному месту на полонинах.

Охрана была предупреждена, что эти люди должны прийти,^е их все ждали.

Там, у скалы, возвышавшейся на краю полонины, собрались коммунисты. Они все время были на полонинах, поддерживали людей, вселяли веру в победу. И они действовали не сами по себе, а были связаны с долиной, с краевым комитетом.

Ночь была темная, облачная, на небе не было видно ни звездочки. Кое-где на полонине слышны были приглушенные людские голоса, звон чабанской посуды. Иногда псы громко давали о себе знать, лаяли то здесь, то там на горных тропинках.

Представитель краевого комитета сообщил, что на последнем заседании, на котором присутствовал член Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии, а также и венгерские коммунисты, намечен план действий на ближайшее время. Часть товарищей из руководства—те, кому угрожала непосредственная опасность, выехали в Советский Союз, но действуют и Центральный Комитет Чехословакии и краевой комитет Закарпатья, разворачивает работу и Коммунистическая партия Венгрии.

— Наша цель,— говорил представитель краевого комитета,— сберечь свои силы, сохранить и неустанно увеличивать наши организации, неустанно бороться с фашистами, идти к победе... Все, кому нет сейчас места в долинах и на горах, должны перейти перевалы и идти на восток, к своим братьям! Они пойдут как наши вестники, пойдут, чтобы собраться с силами и вернуться вместе с нашими братьями... А мы здесь будем бороться, не щадя жизни, чтобы победа пришла скорее, навсегда!

Чабана Сегиня позвали на собрание.

— Я здесь,— сказал он, и на скале очертилась фигура чабана с посохом в руке.

— Слушайте, Сегинь, вам известны здесь перевалы и тропы?

— Известны,— ответил он тихо, но так уверенно, что все поняли: старый чабан знает здесь каждую стежку, каждый камень и кустик.

— По пути на перевал стоят войска, их посты вон там, справа и слева,— продолжал кто-то из темноты.

— Я знаю, где они стоят,— так же твердо и уверенно произнес Сегинь.

— А вы могли бы миновать все эти посты? — спросили его.

— Могу...

— Но вы будете не один.

— Сколько будет людей?

— Все, что собрались здесь, на полонине...

Молчание продолжалось несколько долгих минут. На фоне неба видно было, как чабан повернул голову вправо и смотрит, опершись на посох, за перевал. Он будет отвечать не только за себя, в его руки передадут судьбу многих людей.

— Раз нужно провести, — сказал чабан, — проведу. Когда я должен это сделать?

— Нынче ночью, а час укажете вы, Сегинь! С зарей наши люди должны быть там...

— Хорошо! — сказал Сегинь. — Я скажу, когда можно будет выходить.

Чабан ждал до поздней ночи и, когда на небе сгустились облака, пошел. За ним двинулись все.

Темно было вокруг. Кто, казалось бы, осмелится идти в такую ночь по горам, через леса, взгорья, спускаясь в глубокие ущелья и выбираясь из них, по тропинкам над пропастями?

Но Сегинь знал горы, леса и тропы и уверенно, опираясь на посох, бесшумно шагал вперед. За ним двигалось много людей. Шли молча.

Один только раз Сегинь остановил их.

— Я пройду вперед, — сказал он так тихо, что его слова услышали только те, кто шел вплотную за ним.

— Позволь и нам! — отозвался кто-то из молодых.

— Нет, я уж один.

И чабан исчез в темноте.

Все думали, что чабан сразу возвратится. Но его не было очень долго, прошел целый час с той поры, как он ушел... Затаив дыхание все с нетерпением ждали.

Один раз показалось, что вдали раздался крик, куда-то в пропасть после этого долго осыпались камни. Несколько человек метнулось вперед. Но сразу снова наступила тишина, и сколько они ни вслушивались, ничего не слышали. Только легкий ветерок вздыхал в кустах...

Сегинь появился неожиданно. Он ходил так, как ходят чабаны в горах, и шагов его не услышали. Только фигура чабана вырисовалась на посветлевшем фоне неба.

— Пошли! — сказал чабан.

И снова двинулись в прохладную пустоту ночи, кружили в темноте, обходили скалы, по одному перешли по мосткам, переброшенным через расщелину... Слышен был только шорох шагов, то здесь, то там срывался камень, шелестели кусты, потрескивали ветки. Миновал час, и второй, иные уже выбились из сил, но чабан все вел и вел их.

Наконец он остановился.

— Эх, какой свежий дух! — громко сказал Сегинь.

И люди поняли, что опасные места остались позади и что жандармы их теперь не найдут. Переговариваясь, они подходили и подходили снизу, останавливались на скале рядом с Сегинем и, как и он, подставляли лицо ветру, который рвался через перевал с востока.

— Мы стоим на перевале, — продолжал Сегинь. — Вон там дальше — советская земля.

Все поглядели на восточные склоны Карпат, куда указывал чабан, и хотя там тоже высились темные горы, но им показалось, что там небо светлее, что где-то вдали горят огни.

Надо было спешить. Ночь проходила. Сегинь по-хозяйски говорил кому-то из проводников:

— Спускайтесь лощинкой, свернете вправо, а там уж прямая дорога на Коломыю.

Кто-то из товарищей, оставшихся в горах, напоминал:

— Скажите: организация живет, будет жить!

В темноте к Сегиню подходили люди, жали ему руки.

— Спасибо! До встречи!

И он крепко пожимал руки, — они тянулись и тянулись из темноты, — словно хотел этим пожатием передать привет родным людям.

— Увидимся, друзья! Желаю счастья, чтобы здоровы были!

Кто-то остановился возле Юлины. Она узнала Антона Тиснянца.

— Зайди к матери, — схватил руку девушки Антон, — скажи, пошел я с людьми. Пусть не плачет, я о ней всегда думать буду. И об отце не забуду никогда, вовек. Все помню, что он мне говорил, как научал... Уйду, а ворочусь сюда с ружьем. Тогда пусть жандармы берегутся.

И у него был совсем не мальчишеский голос, а уверенный, сильный, непоколебимый.

Что-то странное произошло и с девушкой: она почувствовала и торжественность этой ночи, и порыв юноши,— вдруг положила руки на плечи Антону, приникла к нему и горячо поцеловала!

— Все скажу! Будь счастлив, Антон! Возвращайся!

Будь сейчас день, видно было бы каждому и понятно, почему у людей такие приглушенные голоса. Они смотрели на темную долину внизу, где оставались их отцы, жены и дети, смотрели на горы, хоженные-перехоженные, по которым теперь нельзя было свободно ходить. Кулаки их сжимались от невыразимой муки и гнева, а из глаз у многих капали слезы, те жаркие слезы, которых человеку незачем стыдиться,— слезы раненых сердец.

Вот-вот должен был начаться рассвет. Расступились тучи, из-за них выглянули, но сразу же начали меркнуть звездные гроздья. Только одна звезда, кидая вокруг голубовато-зеленые лучи, пылала высоко в небе. И под этими лучами, в слабом свете зари, рождавшейся на востоке, очертились горы и долины.

Сорвался камешек, другой из-под ног. Некоторое время слышны были шаги и голоса:

— Прощайте! До свиданья! Не забывайте наших жен и детей!

И затихли шаги вдалеке. Налетел предрассветный ветер. Больше и больше разрывались тучи, словно связывала их только темнота ночи. Светлело тревожное небо.

Тогда Сегинь узнал человека, который ночью расспрашивал его о горных тропах и вел с ним людей. Между скал, под кустами, стояли Степан Шегута, Юлина и еще несколько незнакомых ему людей.

— Спасибо,— выступил вперед Шегута, взял руку чабана и крепко пожал ее.— Наши люди не забудут этой ночи. Но что с вами?— продолжал Шегута, заметив кровь на рубахе чабана.— Что случилось, Сегинь?

— Ничего,— ответил чабан.— Им не посчастливилось...

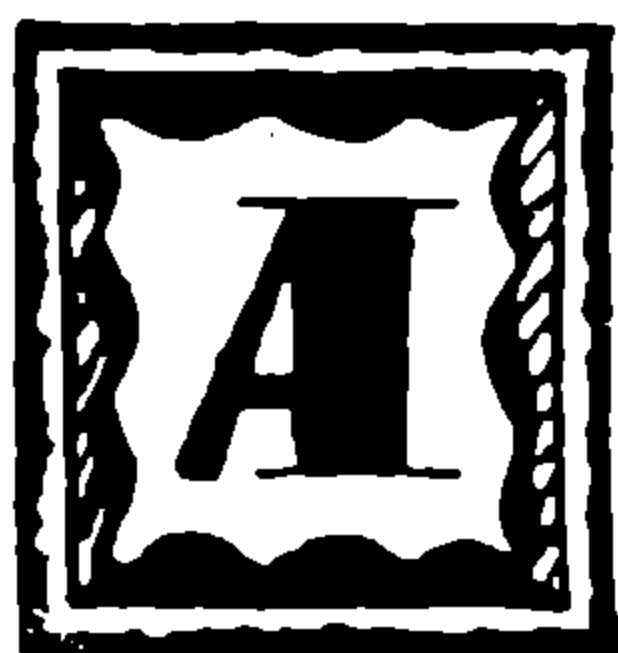
И Шегута понял, почему Сегинь оставил их ночью, а сам пошел вперед. Пошел и принял бой один на один. А может, и не один фашист стоял там, среди скал? Зорки глаза чабана, меткая у него рука. Нож у кожаного пояса Сегиня сказал в эту минуту о многом...

Светало. Торжественно-властно, неудержимо, победно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1



Армия католических попов готовилась к войне на востоке. Тон задавал Ватикан. Папа Пий XII обращался к своим епископам с лихорадочными энцикликами и посланиями. Епископы славили папу и изо всех сил «комментировали» его послания. А за епископами шло и все католическое воинство, все больше его охватывал подлинно воинственный пыл.

Еще в 1936 году в газете мукачевской епархии «Благовестник» писалось:

«Месть наша грозна, горе тем народам, которые не опираются на мощный католицизм».

И горе для этих народов готовилось. На перевале, сразу же за Кленами, в течение нескольких лет велись «оборонные работы». В горах полно было войск, в долине тоже стояли армии. Они объели, обокрали, из горла у бедноты вырвали последний кусок хлеба и последнюю картофелину. Но им и этого было мало. «Испытательная комиссия», во главе которой стоял о. Федор, давно уже закончила работу, и немало тружеников из Кленов, не желавших подчиняться оккупантам, навек ушло из родного села, другие были на очереди. Такие же комиссии, как чума, обрушились на всю Верховину. Фашисты и служители «наисвятейшего» папы Пия XII действовали сообща.

Позднее о. Федор получил «абсолютно секретный» циркуляр из епархии, в нем писалось:

«Перед нашими глазами новый социальный порядок, в основе которого лежит вера и расовая теория... Каждый священник обязан выполнить важную роль в установлении нового порядка».

С кем именно должны бороться носители «нового порядка», в циркуляре было сказано достаточно откровенно:

«Мукачевская епархия на протяжении 152 километров граничит с большевистским государством, поэтому мы всегда должны быть на страже».

Циркуляр подписал епископ мукачевский Александр Стойка, но за его подписью о. Федор увидел лицо папы Пия XII. И он неукоснительно выполнил то, что от него требовали папа и его мукачевский епископ. В кленовской церкви о. Федор обращался к своим прихожанам:

— Если бы вы знали, дети мои, что только творится за Карпатами. Эти большевики бешено готовят войну. Мы с вами должны быть настороже, дети мои!

И вот наконец война.

Только-только начинался день двадцать второго июня 1941 года. Отец Федор не спал всю ночь — болела печень — и слышал, как с запада на восток, через Карпаты, загудели и понеслись бесконечным потоком самолеты. Они направлялись за перевалы, возвращались назад, снова подымались над горами...

А позже заговорило радио: в три часа ноль пять минут Германия напала на Советский Союз.

«Так вот когда оно случилось,— подумал о. Федор.— А то — ненападение...»

— Помолимся! — крикнул он жене и дочери, преклонив колени на цветном половичке в кабинете.— Да воскреснет бог и да расточатся врази его!

Вся армия католических священников, разбросанных по свету, всегда действовала так же, как Стрыпский. Федор Стрыпский молился и благословлял оружие фашистов, как сотни греко-католических попов на Карпатах, как их побратимы-ксендзы, как члены организации «Боевые кресты» во Франции, или католики — члены «Ассоциации рыцарей Колумба» в Америке, или католики-синаркисты в Мексике, или так называемые «миссионеры»

в Китае, Японии или другой стране света. Не случайно первым знаменем, которое было поднято в штаб-квартире палача испанского народа Франко в Бургосе, было папское знамя, а знамя Франко было в то же время поднято в Ватикане.

«Ad maiorem Dei gloriam»¹ — какой гибкий, всепрощающий, все позволяющий в интересах католической церкви лозунг! Для славы этого бога они никакими средствами не брезговали...

В тот день когда фашистская Германия напала на Советский Союз, за перевалы пошли и венгерско-фашистские войска. Фашистская Венгрия воевала.

— Но официально, официально?..—беспокоился о. Федор.

И вот писарь Магарычка собственной персоной занес о. Федору газеты, в которых сообщалось, что Венгрия также выступила против Советского Союза. Они с Магарычкой посидели на крыльце, прикидывая, окончится ли война к Новому году. Решили, что окончится. И Магарычка ушел, выпросив у о. Федора одну розу с куста... на память о начале войны.

Среди почты, принесенной писарем, был еще один новый циркуляр из управления мукачевской епархии. В нем писалось:

«Венгрия вступила в войну с Советским Союзом... Война против него справедлива, она является Христовым делом и защитой церкви».

В циркуляре были указаны и мероприятия, какие должно было осуществить духовенство: по всем приходам предлагалось служить благодарственные молебны, в чин литургии вводилась новая молитва о гонимых, при епископате начинала работать комиссия по отбору священников для службы на востоке... Епископат действовал...

— Вот так бы и давно,— сказал о. Федор,— а то... «Мукачевская епархия» на сто пятьдесят два километра граничит с большевистским государством». Пустые слова! Вот теперь мы перешли к делу.

Высоко-высоко над долиною гудели самолеты. Они летели на восток, на фронт, поднимались над перевалом и исчезали в голубой дали.

¹ «К вящей славе бога» (лат.).

В долине было необычайно тихо. Над горами висело солнце, но оно не припекало, потому что с гор тянуло прохладным ветерком, а возле самой ограды церковного двора мчался между скал и рассыпался миллионами брызг шумный, бурливый и всегда холодный горный поток. Напоенные водой, на лужайках зеленели сочные травы, возле хат цвели желтые и белые «молодички», желтые «бабульки», красная, как кровь, гвоздика.

На крыльцо вышла Мария. Она была празднично одета — в новом лиловом платье, плотно облегавшем ее стан, в тонких ажурных чулках, лаковых туфлях.

— Итак, Мария,— сказал о. Федор,— и мы воюем. Я не хотел тебя будить... а война идет. Теперь и Германия, и Венгрия....

Она даже вздрогнула.

— Но отчего же тихо в селе, папа? — спросила она, остановившись на крыльце.

— Э, — ответил он,— лодыри! Спят до полудня. Разве их беспокоит, что в мире совершаются необычайные события?

Он посмотрел на усыпанный цветами сад, на поток и горы, прищурил глаза и продолжал:

— Вот, дочка, и настало то время, о котором я тебе постоянно твердил. Вслед за армиями двинутся наши священники, они возвратят схизматиков в лоно святой католической церкви. Сперва оружием, а далее и крестом. При епархиальном управлении — указано в циркуляре — уже создана комиссия, она отбирает священников, желающих выехать с армией на восток, там для них будут созданы самые лучшие условия.

— Ты поедешь, папа? — живо спросила Мария.

— Нет.

— Но почему? — грустно спросила дочь.

— Я бы с радостью туда поехал! — медленно проговорил и вздохнул о. Федор.— Самые лучшие условия! О, я понимаю, что это значит. Это тебе не кленовский приход, а Киев, Харьков, наконец Москва. Но, дочь моя, там живут очень беспокойные и жестокие люди. Пусть уж лучше армии пойдут туда, наведут порядок. А мы следом за ними! Восточное вице-папство! — раз мечтался он.— Новые епархии от Карпат до Тихого океана. Сколько нужно иметь священнослужителей, сколько им

предстоит работы! И для нас найдется место. Верь моему слову!

Она бросила на него презрительный и холодный взгляд.

— Труссы!..

— О нет, дочка,— возразил о. Федор.— Я не трус, а только осторожный католический священник, который действует так, как ему предписывают каноны святой церкви. Осторожность, осторожность...

Мария молчала.

— Пойдем лучше в церковь, Мария,— сказал о. Федор.— Вот уже и зазвонили. Видно, собрались верующие. Помолимся богу.

Только Клумаки, Магарычка, попадья да с десяток стариков и старух были в церкви. Словно вымерло село.

Но село не вымирало и не спало, как думал о. Федор. Уже покатилося от хижины к хижине: «Вы слышали, люди,— эти псы Гитлер и Хорти взбесились и начали войну?»

И думали обездоленные люди Верховины, что им делать дальше, как действовать. Война! От отцов своих и дедов они слышали о жестоких войнах, проходивших над Карпатами. И сами они уже были свидетелями войн. Вон там, у горы Черемхи, тянутся окопы, в них после дождей находят и патроны и каски... А вон там, на перевалах, когда-то пылали костры, зажженные конницей Буденного... Не раз и не два уже шли нам на помощь родные русские люди. Не дошли! А вот опять война...

И хоть эти простые люди знали еще мало про новую войну, хоть они не знали, что происходит за Карпатами, на фронте, но от жилья к жилью катилось:

— Вот увидите, люди, взбесившихся псов побьют теперь, клыки им повырывают...Русский народ такой, что его никогда и никому не покорить...

А о. Федор торжественно и вдохновенно служил молебен о даровании скорой победы фашистским войскам. Прочитав «Отче наш», он поднялся на амвон и говорил о том, что советский народ не пользуется покровительством господ бога, поэтому к нему не может быть жалости, а все верующие должны помогать войску исполнять свой долг и неуклонно подчиняться властям.

Отец Федор говорил горячо, подняв глаза к небу, прикладывая руки к сердцу.

Через село шли и шли венгерские фашистские войска. Правительственные газеты печатали крикливые сводки о боях на восточном фронте. Из окружного управления, от солга-бирова сыпались и сыпались приказы. Савва Шепа ходил по селу со своим барабаном, останавливался на перекрестках...

Честная громада! Пан биров приказал платить налог на армию... раз!

— Пан-отец напоминает, что нужно скорее вносить церковный сбор... два!..

— Пан управляющий школой велел гнать всех детей в школу... три!

Фашистский сапог давил сильнее и сильнее.

Вот теперь Золтан Репаша устроил проводы своему сыну...

Янош завернул домой ровно на четыре часа.

— В двадцать ноль-ноль я должен быть на раховском вокзале,— сказал он, щеголяя своими новыми никелевыми часами.— Таков приказ командира!

Вот тебе и Янош! Он выглядел совсем не таким, каким ушел из дому. На что был он годен раньше? Сын зажиточного хозяина, из хорошей семьи, а все-таки был неотесанный, грубый, одним словом — верховинец.

Теперь он приехал на мотоциклете. На нем был новый, зеленого сукна, костюм, сапожки с короткими голенищами, пистолет у пояса, портупея...

— Это такой у вас знак? — спросил его отец, указывая на грудь Яноша и рукав с нашитыми фашистскими галунами.

— Я не изменяю заветам своих отцов и остаюсь национал-социалистом.

Ого! Янош так не говорил прежде. Какая самоуверенность, какая гордость. Нет, недаром дед Яноша был на приеме у Франца-Иосифа, недаром отец его носит бронзовую медаль за восточный фронт...

— Ну, идем в дом, Янош,— сказал старый Репаша.— Юдит, скорее зови музыкантов. И, я прошу тебя, пригласи панов Клумаков, пан-отца и..., ну, еще можешь пригласить Ласло Потоки... Ведь он венгерец!

И пока Юдит бегала, приглашая гостей и нанимая музыкантов, Золтан с сыном сели в гостиной — поговорить.

— Видишь, Янош,— сказал Золтан, дергая свою рыжую бородку,— разве не правду я тебе говорил, посылая в Будапешт?

— Это верно,— ответил Янош и широко усмехнулся.— Но ведь я никогда прежде не видал Будапешта и не знал, чего там можно добиться.

— О! — восторженно проговорил Золтан. — Будапешт! А Дунай! А дворцы! Но ты, наверно, мало что видел. Вас, наверно, только обучали?

— Да, папа!

— Ты рядовой или уже младший командир?

— Я в части особого назначения,— уклончиво ответил Янош.

— О! Это очень хорошо. Особое назначение! — Золтан даже пощелкал языком.— Наверно, что-то очень важное... Ты мне можешь сказать, что это за особое назначение...

— Мы,— Янош отвечал гордо,— прошли специальный курс...

— О, так, так! — прищурился Золтан Репаша.

— Мы умеем закладывать мины на дорогах и в городах, умеем разрушать мосты, работаем с разными зажигательными штуками, а если нужно, умеем даже пустить газы. Ну и, кроме того, у нас имеются совсем секретные вещи, о которых я даже не знаю...

— О! — сказал довольно Золтан Репаша.— Я вижу, вы подготовились хорошо. И я хотел бы одного: чтобы вы скорее пустили в ход эти секретные вещи, о которых ты не знаешь. К чему вам жалеть людей за Карпатами?

А уже цыгане, Сабо и Маркел, заиграли под окном величальный марш в честь высокочтимого гостя. Юдит вела под руку Гаврила Клумака. За ними шли Дмитро с женой Варварой и священником. Пришел и Ласло Потоки — его, во-первых, пригласила от имени бирова Юдит, кроме того, и Дмитро Клумак приказал ему явиться на обед к Репаша, и он не мог отказаться, чтобы не вызвать подозрений.

Музыканты всё играли под окнами. Оба цыгана были голодны и не знали, даст ли им пообедать скупая Юдит. А попробуй не сыграть на проводах у бирова? И так уж

идут слухи, что скоро перебьют всех цыган. Отец — Сабовел первую скрипку, Маркел ему вторил.

— Чардаш! Чардаш! — неслось из раскрытых окон дома.

Цыгане играли так, что пот катился с них градом.

А в доме пировали. Юдит на этот раз ничего не пожалела, выставила на стол все свои запасы.

— Я надеюсь, Янош, — поднимал неизвестно какую по счету чарку старый Репаша, — что ты будешь сражаться на фронте, как твои дед и отец.

— Благословляю вас! — растроганно произнес о. Федор. — Вы должны быть счастливы, что на вашу долю выпала такая священная миссия.

— Ласло! — кричал Золтан Репаша. — Кому я говорю. Поднимайте выше чарку!

Ласло Потоки возвращался в свою хижину, когда солнце низко опустилось над Пиетросом. Затарактел мотоцикл на Раховском шоссе, и прогремели три выстрела. Это пьяному Золтану Репаша взбрело на ум проводить сына на фронт салютом, и он выстрелил трижды из своего заржавленного ружья... Еще некоторое время слышны были голоса — гости расходились по домам. Прижав к груди скрипки, по улице пробежали цыгане-музыканты. А потом настала тишина.

Ласло долго стоял на берегу потока и смотрел, как бушует, кипит вода. Низко над водой тучами роилась мошкара. Плывя против течения, играли на плесе серебристые форели и хариусы. Спокойно было на берегу горного потока.

Но беспокойно было на душе у Ласло. Перед глазами все стояли лица Золтана и Яноша, пан-отца и Клумаков. В ушах все еще слышались их слова: «Счастливого пути, Янош! На тебя смотрит вся Венгрия!»

Венгрия? Ласло Потоки вздрогнул, вспомнив их слова. Нет, не Венгрия! На тебя, Янош Репаша, смотрят палачи Венгрии, это они посылают тебя убивать людей... Ступай, проклятый наймит, только вернешься ли ты, выродок, домой?

Тихими шагами прошел Ласло Потоки к своему двору. У ворот его ждала жена.

— Ты был у Репаша, Ласло?

— Да, я был там, Коти.

Он внимательно поглядел на нее.

— Ты, кажется, плакала, Коти?

Жена вытерла глаза, убрала прядь седых волос под платок.

— Нет, Ласло! Я так просто — стояла и думала, думала... Как же это так? И что же теперь будет? Ты только подумай, Ласло!

— Идем домой,— проговорил Ласло.

Он уселся на постоянном своем месте — на скамье у окна — и оглядел горы, темневшие на фоне синего неба, леса и ущелья.

— Они продали Венгрию,— сказал Ласло.— О, этот палач Хорти! Он продавал Венгрию Англии, Америке, Франции, а теперь окончательно продал ее Гитлеру. Эти дивизии, армии, война — разве этого хочет венгерский народ? «Национальное единство»? ¹ Нет, это национальное порабощение, каторга для трудящихся венгерцев... Слушайте, Репаша, и знайте — коммунисты живы. Они должны жить... Есть, Катрина, на свете Москва!..

3

Летние вакации еще не кончились, и Мария могла бы еще погостить в Кленах. Но что в Кленах? Ходить в горы, как бывало, она теперь боялась. Дома ей так все опротивело...

Марии казалось, что отец слишком зарылся в своих Кленах и хотя хорошо разбирается в политике и понимает, что должно произойти, но не умеет занять свое место в жизни. Что такое сельский священник? Жизнь течет, кипит, бушует, а он произносит проповеди перед верховинцами. Что даст это ему и что может дать ей? Ее влекло иное — широкие просторы, какая-то необычайная власть над людьми, деньги, слава...

Этих мыслей Марии о. Федор, конечно, не знал, но он тоже спешил отвезти ее в Ужгород. Он думал, а что, если на Раховское шоссе из лесу выйдут опришки, скажут «тпру» лошадям, а потом и к нему: «Так это вы наших

¹ «Национальное единство» — фашистская партия Хорти.

людей продаете, пан-отец? Слезайте-ка с воза!» Нет, лучше уж скорее съездить в долину, в Ужгород, а после возвратиться в Клены и запереться на всю зиму в своем доме, ожидая победных сообщений с фронта.

Дорога на лошадях до Рахова прошла спокойно. В Рахове они сели на «малую машину», как прозывалась узкоколейка, а там на скорый поезд, и у преподобного отца совсем отлегло от сердца.

Правда, Мария как-то странно всла себя в дороге, молчала, о чем-то упорно думала, а когда отец спрашивал ее, то словно просыпалась и отвечала не всегда к месту.

— Может, ты нездорова, Мария?

— О нет, я здорова, папа.

— Ой, что-то не так. Говорил я тебе, не пей сырой воды из потока. От нее всегда если не удушье, то скулуреум¹ в костях...

У Марии не было ни удушья, ни «скулуреума». В первый же день по приезде в Ужгород она отправилась на кладбище и, поднявшись на верх горы, села на скамеечке перед могилой, если и не Стрыпы, то кого-нибудь подобного ему, и задумалась.

Тут в сумерках нашел ее о. Никодим.

— Все живое хвалит бога! — сказал он, указывая рукой на голубые, будто вылитые из стекла горы вдали, на охваченную темным багрянцем долину.

— Да, — ответила она. — Хвалит бога.

— Как вам отдыхалось в Кленах, дочь моя?

— Что можно там увидеть, отче?

— Но ведь там теперь, наверно, оживление, наехало много всенных...

Она опустила глаза.

— Вы, отец Никодим, знаете, что меня это мало интересует.

И вдруг она быстро подняла глаза и кинула взгляд на него.

— Знаете, — сказала Мария, — вам бы очень пошла военная форма.

— Вы думаете? — улыбнулся о. Никодим. — Да, мне шла военная форма.

¹ Ревматизм (местн.).

— Так вы были военным?

Он долго молчал, покусывая губы и нахмутив брови.

— Разве это интересно? Ну, был, дочь моя.

— Отец Никодим,— сказала поповна.— Я даже не думала. Но ведь это так эффектно. Вы в мундире, ваши ноги обтягивают сапоги, звенят шпоры...

— А разве эта сутана менее эффектна, чем мундир? — скупое и строго спросил о. Никодим.

Не мог же он сказать девушке, что был в свое время офицером жандармерии и одновременно служил в «Американском комитете гражданской информации», затем попал в Ватикан, где прошел специальный инструктаж и школу у Венделино Яворки — ректора «Руссикум коллегиум», после чего прибыл в Ужгород и стал профессором семинарии, а одновременно переправлял шпионов в Советский Союз и был одним из руководителей филиала «Американского союза католической молодежи». Зачем это знать девушке? Довольно того, что она, как член школьной дружины «Истинно Христовой веры», также входит в организацию, основанную о. Никодимом, и выполняет любой боевой приказ, не зная даже того, что этот приказ будет исходить от о. Никодима.

Из города, раскинувшегося внизу, в долине Ужа, долетал вечерний благовест. Отчаянно гудел, словно выговаривал: «Те деум... Те деум», — колокол в костеле над рекой. Звонко кидал: «Кто там... кто там...» — большой колокол в соборе на горе. Возле базара православные попы, которые также ходили исповедоваться к католическому наместнику, трезвонили: «И мы тут... бам-бам». А за рекой, в церкви, где гнездились петлюровцы и белоэмигранты, теньтенкала: «Тени белы, тени белы... там-там-там».

Отец Никодим стоял в черной своей сутане, высокий, строгий, сложив на груди руки.

— Нет, вы очень эффектны и в сутане,— сказала Мария.

Темнело. О. Никодим подошел ближе к Марии.

Федор Стрыпский пробыл в Ужгороде несколько дней, навестил начальницу семинарии и приложился к ее ручке, посидел в саду и душевно побеседовал с о. Никодимом, который пылко говорил о прошлом и о светлом будущем католической церкви. И сам о. Никодим был такой вдохновенный, такой, казалось, чистый в своих стрем-

лениях, чувствах и любви, такой далекий от всех мирских суетных дел, что о. Федору показалось, словно наставник его дочери даже светится и от него неиссякаемым потоком изливается благодать божия...

— Я очень благодарен вам, отец Никодим, за все ваши заботы о моей дочери.

— О, что вы, что вы,— перебил его о. Никодим.— Я делаю только то, что подсказывает мне сердце.

После этого о. Федор обошел все магазины в торговой части Ужгорода, чтобы выполнить поручения матушки, занес покупки в гостиницу Фиреди, где на этот раз остановился, а затем зашагал вверх по горе, к епископской резиденции.

Туда не так легко было добраться. В городе в это время происходил съезд «Левента»¹, по улицам, под флагами со свастикой, маршировали сынки ужгородских панков и кулачья из долины. Отцу Федору пришлось долго стоять, пока прошла эта пестрая, крикливая толпа.

В резиденции он зашел в канцелярию, забрал почту и последние газеты епархиального управления, брошюры «Канцелярии защиты веры» и новые номера «Оссерваторе романо». Затем он побывал в консисторской канцелярии, чтобы лично дать ответ на секретные циркуляры.

Там он встретил своего старого знакомого, о. Павла, который еще больше располнел, загорел на солнце.

— Что ж вы не заходите ко мне? — обратился он к кленовскому священнику.

Отец Федор поднял удивленные глаза.

— Отец Павел,— шепотом сказал он.— Но ведь сейчас Америка воюет с Германией и является союзницей Советского Союза.

— Ха-ха-ха! — засмеялся о. Павел, и даже брюхо его заколыхалось.— Заметно, что вы живете в Кленах и дальше своей колокольни ничего не видите. Америка — союзница России? Да неужели вы не знаете американцев? Ах, отец Федор, вы просто наивный человек... Вот поглядите,— вынул он из папки и показал о. Федору экземпляр газеты «Нью-Йорк Таймс».

— Получаете? — полюбопытствовал о. Федор.

— А что же? — ответил о. Павел.— Получаем и будем получать. Ведь туда дорога свободная... Смотрите,

¹ «Л е в е н т» — венгерская фашистская организация молодежи.

что они пишут: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше». Подписал Гарри Трумэн, сенатор. Это не малая особа!

Отец Павел подошел к двери, прислушался.

— Платой вы обеспечены на все годы войны,— закончил он,— сколько бы она ни продолжалась. Я вам дам кое-какие новые задания. Мы не прекращаем нашей информаторской работы.

4

Братьям Клумакам не приходилось жаловаться. Дела их шли неплохо, свой хосен и Дмитро и Гаврило получали. Правда, не все ладилось на лесоразработке — братья, то один, то другой, сидели в лесу, и все же в пропасть летели бревна, рвались желоба, разбивались плоты...

— Я уж и не знаю, до каких пор они будут бить дарабы,— пищал Дмитро Клумак, глядя на брата.— Ведь это не шутка,— как дараба, так и сто метров лесу. Наше добро ловят, кому только вздумается, до самого Рахова.

Гаврило молчал, но заметно было, что он напряженно думает.

— А почему бы нам не сделать по-американски,— решил он наконец.— Разбил дарабу — плати!

— Это ты правильно! — сказал Дмитро.— Испортил хозяйское добро, разбил дарабу — плати. Только как с них взыскать деньги?

— Народ голодает,— не моргнул глазом Гаврило,— и на работу идет. А что им делать? К тому же, не пойдет в лес — в армию заберут. А мы у каждого, кто на работу проситься будет,— расписочку. И в расписочке обозначить, что именно в залог дает бокораш — дом или там коровку....

— Это, правда, можно сделать,— согласился Дмитро Клумак.— Нужно будет только поговорить с Магарычкой, посоветоваться, как по этим записочкам деньги править? За что ж мы ему платим?

— Об этом самом я и думал с тобой посоветоваться,— блеснул глазами Гаврило.— Не думаешь ли ты,

Дмитро, что нам нужно иметь какую-то вооруженную силу?

— То есть как это? — поднял тяжелые, поросшие белесым пушком веки Дмитро.

— Нанять бы нескольких жандармов, — вздохнул Гаврило. — Спокойнее бы мы спали. Да и было бы кому наше добро охранять.

— Про сон это ты правильно, — не возражал Дмитро. — Признаюсь, паршиво я сплю. И с чего бы это — не знаю. Ведь где уж тот фронт? И тут вроде покойно. А вот не спится...

— Шкура нервная у нас стала, — как врач, заметил Гаврило. — Слушал я лекцию в Америке. Говорили там, что когда-то люди думали, будто самые чувствительные у них сердце и мозг. А американцы говорят, что чувствительнее всего у человека шкура... Человек все чувствует шкурой.

— Смотри, до чего дошла американская наука, — проговорил Дмитро и принялся чесать грудь, — а бабка Степанида говорит, что это короста, и заставила меня до восхода солнца голым по земле кататься...

— И катался? — спросил Гаврило.

— Катался, — признался Дмитро. — Вон там, на огородах. Как черт. Хорошо, что люди не видели, а то бы подумали — змей какой. Но, — задумался он, — отчего это чешется?

— От напряжения, — пояснил Гаврило. — Не выдерживает шкура, лопается... Ну, так как же, возьмем жандармов?

— Что ж, бери, — сказал Дмитро, — где наше не пропало.

На самом деле он, продолжая насекать свою бухгалтерию на дощечках — шел как раз кленовый год, — насек уже в свою пользу немало. Ведь все расчеты с лесорубами и сплавщиками в его руках. На сто пенге себе двадцать лишних — разве это не деньги?

— Ты на меня надейся, как на гору Говерлу, — говорил Дмитро Гаврилу.

А про себя он думал:

«Эх, американец, американец! Плохо тебя учили там, в Америке».

Но «американец» Гаврило Клумак имел такую же натуру, как и его брат.

«Кленовский ты дурень,— думал он,— дальше Говерлы не видишь. Да разве это гора?»

И он, будучи отроду подвижным и энергичным, ездил то в Ужгород, то в Будапешт и заключал там контракты, а потом рассчитывался по ним. Ну и, конечно, что ни тысяча, так ему триста пенге. Чистенькие, из банка в банк...

— Ты на меня надейся, как на гору Пиетрос¹,— говорил Гаврило Дмитру.— Мы ведь братья!

Вскоре Гаврило поехал в Рахов и возвратился уже не один. Когда машина остановилась у тартака, из кабины вылез Гаврило, а из кузова вышли, поглядывая то на горы, то на долину, шестеро откормленных, краснощеких жандармов. Другие шесть жандармов даже не сходили, а поехали дальше в горы.

— Это вот, пан Потоки,— сказал Клумак механику, войдя во двор лесопилки,— будет наша охрана.

Пока шестеро жандармов отряхивались и разминались, Клумак отвел Потоки в сторону, чтобы их никто не слышал, и добавил:

— Теперь всюду вводится военное положение. Нужно глядеть во все глаза. У нас пока что тихо, но, пан Потоки, береженого и бог бережет. Что-то много разговоров про Борканюка. Беднота шевелится... В горах, говорят, партизаны бродят. Да вы сами, наверно, слышали...

— Не без того,— согласился Потоки.

— Я не только о себе,— вел дальше Клумак,— а и обо всех забочусь. И вам,— он поглядел прямо в глаза механику,— следует об этом подумать. Что поделаешь — ведь вы венгерец. А партизаны, известно, всех венгерцев ненавидят.

— Слышал, слышал,— сказал Потоки,— только появится где-нибудь жандарм, так здешних людей не узнаешь.

— Я надеюсь, что вы,— продолжал Клумак,— как истинный венгерец, быстро познакомитесь с нашими защитниками, подружитесь. И вам веселее будет — землячки! Эх, землячки, землячки! — вырвалось у Клума-

¹ П и е т р о с — горная вершина.

ка.— Шестерых я отправил на бутин, а шестеро остаются здесь. Двоих думаю взять к себе — пускай дом стерегут и находятся при мне на всякий случай, а четверо тартак будут охранять. Там у вас комнатка есть, пан Потоки, так вы уж освободите ее для них. Люди будут сторожить, надо же им отдохнуть, поспать...

— Не беспокойтесь, пан,— сказал Потоки,— и комнатку освобожу, и столкуюсь с ними...

И он пошел к своим землякам-жандармам. А Гаврило Клумак отправился домой, взяв с собой двоих охранников.

— Так ты, значит, вернулся? — сразу явился к нему Дмитро.

— Вернулся.

— И жандармов, вижу, привез. Целую кучу.

— Ничего,— проговорил Гаврило.— Спокойнее будет. Шестерых послал на бутин, четверо будут на тартаке, а двоих думаю при себе держать.

— Как слюна, летят деньги,— вздохнул Дмитро Клумак.— И для чего только, спрашивается, живет человек? За все плати и плати. Эти жандармы нам голову отъедят.

— Ничего, Дмитро, лишь бы план по бутину выполнить да чтобы пины на тартаке не стояли.

— А эти двое,— поинтересовался Дмитро,— говоришь, тебя стеречь будут?

— Опротивело мне всего беречься. Хочу спокойно спать,— признался Гаврило.

— Так, так,— пожевал толстую, как подошва, губу Дмитро.— Это ты и вправду хорошо придумал.

— Может, тебе одного дать? — предложил Гаврило.

— Избави боже,— ответил Дмитро.— И место для него нужно найти, и кормить, пожалуй, придется. Как-нибудь уж я обойдусь. Я о другом с тобою хотел посоветоваться. Пока добежишь к тебе — упреешь. А если ночью что случится, так и тем более. Может, я провел бы к тебе звонок? «Дзень-дзень» за веревочку — жив Дмитро. «Дзень-дзень-дзень-дзень», — спасай Дмитра. Про сигналы мы с тобой условимся.

Гаврило долго смотрел на брата.

— Сигналы! До чего ты скупой,— сказал наконец он.— Лошадиная ты шкура!

В это время Ласло Потоки познакомился со своими «земляками». Он показал им лесопилку и двор, который с трех сторон обнесен был высоким забором. Поверх забора в несколько рядов заплетена была еще колючая проволока. С четвертой стороны вдоль всего двора мчался шумный горный поток.

— А это понорина, — указал Потоки на большую яму, зеленевшую ряской в конце двора у забора. — Вода сюда идет по норам, под землей. Холодная, свежая. И глубоко! Купались наши хлопцы, так дна не доставали. Советую и вам — для здоровья очень полезно.

Постояли над ямой. Жандармы, забавляясь, кинули туда несколько камней и смотрели, как расходится и смыкается вслед за камнями ряска и как спустя долгое время со дна ямы пошли пузыри. Потом осмотрели штабели сырого леса и готовых досок, побывали у машин, где свистели пилы.

— А здесь вы будете жить, — показал Потоки комнатку, рядом с машинным отделением. — Тесновато, конечно, но вам будет удобно, близко.

Это была его служебная комнатка, на тартаке ее так и называли «кабинетом механика». Тут Ласло Потоки, устав на работе, мог посидеть немного, иногда и прилечь ночью на жестком топчане. Теперь у Потоки на тартаке уже не было своего уголка.

— Извините, что тесно, — говорил он, — но больше нигде. Нынче же сделаем топчаны, обживетесь, привыкнете. Вы как думаете сторожить?

Жандармы оживились, встретив земляка. Они поставили в углу каморки свои винтовки, сели, закурили и разговорились.

Двое из них — Томаш и Балинт, оказалось, были изпод Секешфехервара — сыновья зажиточных крестьян, третий — Иштван, был сын торговца из Егера, четвертый — Габор, из Будапешта. Бывалые парни, они охотно рассказывали о своих городах, называли концентрационные лагеря, где уже им довелось служить, и без стеснения повествовали о ночах в лагере, о пытках и расстрелах.

— А как здесь? — спрашивали Томаш и Балинт у Потоки.

Он успокоил земляков — в этих местах бывали раньше коммунисты, отсюда родом и секретарь краевого комитета коммунистов Закарпатья Борканюк, но теперь о них не слышно, видно подействовал приказ о запрещении их партии.

— Куда уж этим коммунистам соваться, — говорил Иштван из Егера. — Их скоро всех перевешают...

— Да уж конечно, — согласился Балинт, — куда им?

А Потоки небрежно спросил Габора, который сидел все время молча:

— А вы, многоуважаемый, сказали, что из Будапешта?

— Вы знаете этот город? — загорелся Габор.

— Нет, я не знаю Будапешта, — ответил Потоки. — Сам я из Ньирбатора. Но мне, как механику, приходится иметь дело с будапештскими заводами.

— Тогда, может, вы слыхали про завод Кенде?

— Конечно, слыхал, — ответил Потоки. — У нас одна рама оттуда. Хорошая рама, недурной, видно, завод.

— Мой отец когда-то работал на этом заводе, — гордо сказал жандарм. — Иштван Бакони — не слыхали такого?

— Откуда я мог слыхать? — глубоко вздохнув, сказал Потоки. — Вот тут — всю жизнь! А теперь уже не работает на заводе ваш отец?

— О нет! — надменно кинул Габор Бакони. — Он сейчас работает в министерстве на высоком посту. Это я попал в жандармы. А что вы думаете, — разве лучше на фронт идти?

— Конечно, — согласился Потоки. — Лучше в жандармах побывать, чем рисковать на фронте.

И замолчал Ласло Потоки. Только дернулись, но сразу же замерли его плечи — так, словно пробежал по ним холодок. Он вспомнил в эту минуту Будапешт, завод Кенде, где работал его отец и где сам он учился в юные годы, вспомнил, как сказал отец в ту последнюю ночь, когда его забирала полиция:

«Эх, сынок, сынок. Всегда помни, что продал нас Иштван Бакони».

Сын убийцы его отца, сам убийца — Габор Бакони — сидел перед ним.

Верховина!

В долине наступил «праздник винобрания», горы напоминали богатую палитру художника. Каких только красок не было там!

Но в долину не ходили скорые поезда с туристами, не поднимались любители горных красот с проводниками о. Федора на Пиетрос и Говерлу, опустел дом туристов над Черной Тиссой в Ясенях...

Туристы избегали прогулок в долину и в горы. Но шли и шли новоявленные «туристы» с карабинами за плечом и с гранатами у пояса. Венгерские фашистские части ехали за перевал, на восточный фронт, поездами, двигались днем и ночью на грузовиках, шли пешком. Правительственные будапештские газеты кричали о победах на восточном фронте и о тишине и спокойствии в долине Тиссы и в горах, где оккупирован был, кажется, последний кустик...

На деле же творилось что-то непонятное. Как-то о. Федор проснулся среди ночи и пришел в ужас. Над Раховом висело большое темно-красное облако, оно переливалось и дрожало до самой зари... Через день-два в Клены донесся слух — где-то под Раховом сгорели огромные военные склады...

Еще неделя — и среди ночи в горах раздался такой взрыв, что о. Федора просто вырвало из-под одеяла, швырнуло на пол, где он и просидел несколько минут, спрашивая: «Таня! Ты слышишь? Светопреставление!» Оказалось — у перевала загорелся и взлетел на воздух склад горючего.

И еще! В воинском эшелоне, направлявшемся в Станислав, когда перевал был уже позади, начали рваться мины, — и сотни фашистов вместо восточного фронта остались навеки на восточных склонах Карпат.

В Клеки примчался тогда с карательным отрядом капитан Чакши.

— Что ж это делается, пан капитан? — встретил его Федор Стрыпский.

— А что ж? Перевешать их всех тут, перестрелять. Это не верховинцы, а какие-то индейцы... Погодите! Я им покажу... Вот увидите, батюшка, какого шума я наделаю в горах...

Он и наделал шума — сидел в поповском доме, а в горы гнал своих жандармов. Сказать, чтобы капитан полагался на них, нельзя было. Жандармы, казалось, добросовестно выполняли приказания капитана и каждое утро выступали в горы. Но доезжали они только до первого леска, там пили паленку и закусывали, стреляли для остротки, а потом кто-нибудь один караулил, а прочие спали. Возвратясь к вечеру из такого рейда, они нахально ввали, будто где-то кого-то видели, в кого-то стреляли, кто-то стрелял в них. И доказательство было — автоматы пахли дымом, стрельбу в горах все слышали.

«Вот черти!» — думал капитан, догадываясь, что жандармы врут. Сам капитан не полагался на свои силы и ехать в горы не имел охоты. Был он смел и просто беспощаден, когда видел перед собою безоружного, и уже много замучил, загубил людей в Рахове и лагерях, много невинных верховинцев угнал на каторгу. Это капитан делал с легким сердцем, смело, но боялся даже подумать о встрече с вооруженным партизаном.

— Вот черти, — говорил он о. Федору про своих жандармов. — Видали вы где-нибудь таких каторжников? Что ж, преподобный отец, сыграем еще партию в картишки?

Однако он должен был хотя бы раз поехать в горы. Нужно было заткнуть рот жандармам, которые могут черт знает что рассказывать о своих подвигах, а попутно наплести, что только им вздумается, о нем. Да и нужно же капитану доказать, что он не хуже их!

Они побывали в горах, собственно на одной Печенежской полонине, куда из села был хорошо проторенный путь. Странно вели себя в этом рейде жандармы капитана Чакши. Они ехали на своих лошадях молча, то и дело озираясь кругом.

— Вот здесь мы стреляли, вот здесь стреляли в нас, — говорили они, указывая на пеньки, возле которых валялись разбитые бутылки.

Капитан храбрился, но чувствовал себя скверно, по спине у него ползали мурашки, ноги сводила судорога.

На полонине они застали чабанов во главе с Сегинем. Жандармы молча, ничего не говоря, перерыли все до последней травинки в шалашах и даже повыливали сыворотку, докапываясь, нет ли на дне бочек оружия.

— Слушай меня! — замахал кулаками перед лицом Сегиня капитан Чакши, закончив обыск. — Только узнаю, что где-нибудь близко прошел партизан, — и тебя и твоих чабанов перестреляю на месте...

— Где уж нам знать партизан, пан начальник, — говорил Сегинь, глядя спокойными глазами на далекие горы и леса, тронутые уже багрянцем осени. — Наше дело — скотинка.

— А если увидишь сам или услышишь о них, извещай нас, — приказал Чакши. — Награда будет, алдомаш пить будешь.

Вздрыгнул Сегинь, тень пробежала по его лицу, шевельнулись руки, и пальцы медленно сложились в кулаки.

— Пан начальник, — глухо сказал он. — Не понимаю я того, что вы сказали.

— Как, — закричал Чакши. — Ты не понимаешь по-венгерски?

— Не понимаю того, что вы сказали.

— А! — завопил капитан. — Не понимаешь?

Он поднял револьвер и так ударил чабана по голове, что у того из виска брызнула кровь. Сегинь пошатнулся, но устоял на ногах. Кровь текла на его рубаху и кожушок, несколько тяжелых капель упало на траву.

— Я тебя обучу нашему языку, — задыхаясь, верещал капитан. — Ты у меня все поймешь.

Чабан стоял молча, глядя на дальние горы и леса, окрашенные яркими красками осени.

С тем и поехали жандармы с полонины. Им вслед долго смотрел Сегинь. Кровь текла и текла у него по виску.

— Он вас сильно побил, вуйко? — кинулись чабаны к старику, когда капитан со своими жандармами исчез за поворотом.

— Что эта рана? — с трудом выговорил Сегинь. — Приказываешь, чтобы мы выдавали своих людей? Алдомаш, говоришь, поставишь? погоди, будет тебе алдомаш! Отблагодарим мы тебя, фашист, за все, за все!

Спускаясь с гор, капитан не думал о том, что вот он со своими жандармами уничтожил на полонине многодневный труд чабанов, ни за что избил их старшего... Капитан в селах Верховины и всюду поступал одинаково. «Они должны бояться нас!» — думал он.

Вздрагивая на крутых тропках, ступали кони. Жандармы точно взбесились и принялись распевать похабные песни. Если бы капитан знал их мысли! О, теперь им было что рассказать в Рахове. Ведь они действительно ездили в горы. И этот их капитан не так уж робок, как они думали.

А в голове капитана, который решил больше не соваться в горы, роем кружились чудесные слова рапорта. Теперь его можно послать по инстанции: «С большим риском, преодолевая тяжелые препятствия, отряд прошел и прочесал все опасные места». Он был уверен, что, рано или поздно, после этого рапорта или после еще одного о нем узнают в министерстве внутренних дел, может быть узнает и сам министр Ярош. О, если бы там его вспомнили и забрали с этой Верховины!

А пока этого не произошло, капитан Чакши действовал. Он побывал в горах, действовал и в долине...

Лучшими своими союзниками в верховинских селах капитан считал католических ксендзов, а в Кленах — Федора Стрыпского. Никто не знал и не мог знать, как много эти священники делали для него. Тут они и вправду не жалели ни времени, ни сил. Председательствование в «испытательных комиссиях», списочки, записочки, различные тайные рапорты и просто «искренние» слова. Ведь каждый раз Стрыпский встречал Чакши какими-нибудь новыми «сенсационными» материалами: там кто-то обмолвился каким-нибудь словом, там кто-то сказал соседу, там исповедался преподобному отцу. В Кленах, как и в прочих селах, был представитель власти — староста, биров Золтан Репаша. Но что такое этот Репаша? Неотесанный, грубый хвостун! Он даже в сравнение не мог идти с Федором Стрыпским. Куда ему! Какие изысканные манеры, какой такт и какая выдержка в самых скользких вопросах, интеллект, высокоодаренный интеллект! — отзывался об о. Федоре капитан Чакши.

Но капитану Чакши нужен был еще кто-нибудь в Кленах, кроме представителя власти и духовного отца. Ему нужно было, попросту говоря, иметь такого человека, который присматривал бы и за бировом, и за Стрыпским, и сам был бы полезен при случае капитану Чакши.

Писарь Магарычка! Это и был тот человек, на ком остановился капитан Чакши. Ему незачем было справляться о родословной этого представителя власти. Уже

тогда, когда капитан Чакши первый раз ехал в Клены, он доподлинно знал, кто такой Магарычка... В окружной комендатуре было известно, что Иван Магарычка, родом из Кленов, сын певче-дьякона, закончил юридическое образование в Дебрецене, служил после того нотариусом в Ужгороде, а после событий 1918—1919 годов был заслан как «мрва»¹ к лесорубам и чабанам Верховины...

7

— Слушайте, Савва! — сказал писарь Магарычка Шепе. — Вы должны денно и ночью благодарить господ бога за то, что он удостоил вас быть бохтаром.

Савва, который в это время, побрызгав водой пол, подметал комнату сельской управы, сморщил от боли лицо, разгибая искалеченное тело, и спросил, качая головой:

— Прошу пана писаря, но какая уж моя доля?

— Не говорите, Савва, — перебил его писарь. — Это хорошая, сладкая доля. Судите сами — меняется власть, государства меняются, а вы все равно остаетесь бохтаром. Ваше дело — барабан. Бей в барабан, и все. И какое вам дело до того, почему людей собирают.

Магарычка помолчал, перелистывая страницы толстой книги, лежавшей перед ним на столе, а потом добавил:

— То, что объявляют на этих собраниях, вас вовсе не касается. Вы — человек темный, не можете всего понять. Но смотрите, что делается в селе: подати с людей берут, на работу их гонят... Признаюсь вам, Савва, как своему человеку: придет время — и никого тут в селе не останется. Всех выселят. Вот у меня уже списочки готовятся. — Он похлопал рукой по бумагам, лежавшим на столе. — А вас никто не трогает, вас никто не возьмет, Савва.

Магарычка минуту помолчал и, нацепив на кончик острого носа свои очки, одно стекло в которых треснуло, наблюдал, произвели ли на бохтара его слова должное впечатление. Но Савва ничем не выразил свои чувства.

— Что ж вы столбом стоите? Подойдите-ка ближе, — сказал Магарычка, — и сядьте.

¹ Агент охраны (чешск.).

— Да я и постою, паи писарь. Когда стою, не так хребет болит.

— Я вам должен сказать,— продолжал Магарычка,— что у вас словно бы небольшая и незаметная должность в управе. Но на ней вы можете приобрести большую славу.

— Какая уж там слава! — махнул веником Шепя.

— Конечно,— вел дальше Магарычка,— если вы будете знать только этот веник да барабан, так до славы далеко. Но, черт побери, ведь вы можете работать...

— Так я ж и работаю,— проговорил Шепя.

— Пхе! — сплюнул писарь.— Это не работа. Это веникомахание, Савва. Вы, запомните, чиновник...

Магарычка до того разволновался, что вскочил со стула, подошел к дверям, отворил их, выглянул на крыльцо и снова закрыл дверь.

— Вы же все время на людях,— тихо сказал он.— Вы же все слышите. Вас никто не боится, Савва. И кому же, как не вам, знать, кто там недоволен властью, кто поддерживает связь с партизанами, где те партизаны, где, наконец, Борканюк? Ведь вам известно, что за его голову назначена премия в десять тысяч пенге?..

— Слыхал, слыхал,— сказал Шепя.

— Так почему же кто-то должен заработать эти деньги, а не вы? — спросил Магарычка.— Такое маленькое дело — услышите и скажите. Мне на ухо, а я дальше и дальше. Ведь у вас ничего нет. Вы сами, как барабан.

— Это я? — вырвалось у Шепы.— Барабан...

Магарычка вдруг сообразил, что слишком разговаривался, схватил свою шляпу и зонтик. Спешил он не домой — там его никто не ждал. Бобылем жил Магарычка в своем доме, хотя ему давно уже минуло пятьдесят лет. Жениться? Пхе! Не хватало еще, чтобы он тратил деньги на жену. Сам бьется весь век, хочет собрать побольше денег, а когда будут деньги, он найдет им применение. Он никогда и никого не любил. Какая любовь, к кому? Каждый человек должен думать только о себе. Слава богу, пришло хорошее время, подати сыплются на верховинцев, как из торбы. А уж известно, из этих податей перепадает кое-что и писарю. Все больше и больше корон в сундуке. Хорошо идут дела; если бы не эти партизаны да Борканюк, которого уже столько лет ловят...

Савва Шепя поставил веник в уголок и присел на лавке. Вода капала и капала из дырявого ведра. Как капли, текли мысли Шепы.

«Так вот ты какой! — думал он. — Мало тебе, что сам крадешь, обманываешь, а еще хочешь, чтобы и Шепя тебе помог?»

У него болело все тело, был перебитый на бутине у Клумака хребет. Вставали в памяти долгие загубленные годы. Дробь барабана разрывала на части его сердце. Неужто ему суждено так и окончить жизнь? «Барабан»! Нет! Шутись, писарь! Савва Шепя — не барабан, а живой человек... Человек!!!

8

Голодная зима надвигалась на Верховину. Пришли гонимые и, у кого был какой-нибудь запас овса, — съели, а что осталось — забрали с собой. До поздней осени держался Сегинь на полонинах, а когда свел стада в долину — снова, как воронье, налетели жандармы, забивали скот на месте, гнали с собой...

Зима — холодная, голодная, «твердая», — как говорят на Верховине, — призраком вставала впереди.

Павло сказал матери, что его тревожит.

— Я все про Антона думаю. Эти фашисты — они идут и идут через перевалы, убивают там русских... А может, я пошел бы за перевал и дальше, дальше, на самый фронт, и, как батко, к родным людям? А там стал бы рядом с Антоном, винтовку взял в руки.

Мать поглядела на восток таким взглядом, который, казалось, мог перелететь за тысячи километров...

— Слушай, Павло! — сказала она. — Ты не вздумай туда идти, ведь погибнешь, ей-ей погибнешь. Это очень далеко, а тебя поймут еще на перевале. За Антона не беспокойся, и я о нем думаю. Кабы сила — ласточкой полетела бы. Да чем я помогу? Но знаю, сын, что там делается; вот послушай. Батко наш, да прощен будет, сказывал... Ведь он ходил туда в каком-то там году... Нет, не припомню уже, Павло... В плену он там был. Эге, это был сладкий плен! Ой-ой, сынок, какие хорошие русские люди! Это такие люди, что их никому не покорить. Батко так и говорил: русскую землю никому вовек не покорить,

и только они, родные люди, нас вызволят. Слышишь, сынок! Не ходи! Жди!

У-у-у, пусть воюют,— шептала она, глядя за перевал, где быстро темнело.— Пошли за горы, и пускай! Ляжет пес — его не трогают, а взбесится — сразу голову напроц. Это верно, сынок! Взбесились псы, пусть кидаются! А там родные наши люди как скала станут. И наш Антон будет с ними. Верю, ей-ей верю,— возвысив голос, сказала она,— что стоит он там и стреляет в недруга. И ни одна его пуля не промахнется, ведь он и за себя и за нас сражается. Так пусть ему будет счастье во всем! А мы тут, сынок! Ведь есть кому и у нас бороться... Счастье этим людям!

Мать протянула вперед, к темно-синему небу, черную свою руку. Там, куда указывала она, горела яркая зеленоватая звезда.

Глава вторая

1

Августин Волошин сидел в Праге. Того, что он нагребил и наворовал в Закарпатье, хватило бы ему, со всем его змеиным родом, на всю жизнь и даже на могильные плиты всем после смерти. Но такова уж природа предателей и преступников — совершив одно преступление, они мечтают о новом, и каждое новое преступление должно превзойти все то, что они до сих пор совершали.

Обиженный глава правительства Карпатской Украины отправился в Берлин и всеми силами добивался встречи с фюрером или хотя бы с Риббентропом. Всюду в канцеляриях он доказывал, что и сам фюрер и господин министр иностранных дел его хорошо знают, что ему необходимо обратиться к ним по чрезвычайно важному, серьезному делу. И, как водится по католическому обычаю, Волошин добавлял к просьбам еще и красноречивый «презент».

Но к фюреру какому-то там Волошину уже не подступиться, а все секретари Риббентропа отвечали, что у господина министра нет времени его принять, находили тысячи иных причин,— и Волошин, как заблудившийся пес, принужден был выехать из Берлина.

Тогда в Праге к нему явились старые его друзья — агенты и резиденты гестапо, туда приехал и доверенный митрополита Шептицкого из Львова — Кубийович.

Волошин с Кубийовичем долго вспоминали давно миновавшие дни, когда в августе 1928 года митрополит граф Андрей Шептицкий приезжал в Закарпатье, три дня в присутствии закарпатских епископов и священников исповедовал греко-католиков в мукачевском монастыре, разъезжал затем со всем клиром по Верховине, а наедине с Волошиным и другими высшими чинами епархии говорил о единстве действий греко-католических священников Закарпатья и Польши.

— Мы наладили тогда с митрополитом самые тесные связи,— вспоминал Августин Волошин,— и в течение многих лет их поддерживали.

— Митрополит послал меня,— передавал Кубийович,— чтобы мы эти отношения теперь еще больше укрепили.

— А как себя чувствует митрополит? — интересовался Волошин.

— Митрополит тяжело болен, хотя принимает самое живое участие в общественной и политической жизни.

— Сахар у него или белок? — шамкал Волошин.

— И сахар и белок,— ответил Кубийович.— Беспокойно у нас там, вокруг Львова. Что за люди?!

Но не сахар и белок были причиной болезни Шептицкого. У него разливалась желчь от того, что трудящиеся люди поработанных оккупантами западных областей Украины не покоряются гитлеровцам. Крови, смерти этих людей хотел митрополит Андрей Шептицкий и из Свято-Юрского монастыря во Львове, через высокие Карпаты подавал костлявую свою руку католическим попам Закарпатья и клялся в любви шпиону и душепродавцу Августину Волошину.

— Но что делать? — спрашивал Августин Волошин.

И Кубийович охотно делился замыслами львовского митрополита.

В совещании участвовали Волошин, Кубийович и профессор Гринюк — приятель Волошина, связной гестапо.

Они сидели за завешенными окнами и говорили вполголоса: даже в Праге, далеко от Львова и Карпат, они боялись, чтобы местные люди не услышали, о чем у них идет речь и о чем они мечтают.

— Теперь, когда войска фюрера победоносно идут на восток,— бормотал Волошин,— мы должны подумать о том, чтобы найти форму для установления власти на территории Украины.

— Как мы условились,— подсказывал Кубийович.

— Да, да,— шелестел губами Волошин.

И профессор провокации и предательства Гринюк выводил:

«Мы считаем, что для пользы дела на Украине должна быть установлена монархия, и просим вас объявить монархом Украины одного из кронпринцев великой Германской империи. Этот кронпринц вступает на престол князя Владимира и князя Ярослава Мудрого, он принимает украинское имя и греко-католическое исповедание».

— Мы предлагаем, и вы запишите,— цедил Волошин со своего места,— что нужно упразднить старые православные церкви и объявить государственной церковью греко-католическую, которая на основе союзнических традиций связует нас со святою римскою церковью.

— О да, да,— согласились разом и Кубийович и Гринюк.

— Но, пан Волошин,— обратился к нему Кубийович,— нам нужно написать, что мы просим для достижения желанной цели в помощь монарху назначить президента Украины и фюрера украинского народа.

— Конечно,— нисколько не смутился Волошин,— однако где же то лицо, которое могло бы выполнить это ответственное задание?

— Все упования возлагаем на вас,— взглянули на Волошина Кубийович и Гринюк.

— Благодарю за доверие. Ваши надежды я оправдаю,— напыжась, произнес Волошин.

Письмо Гитлеру, написанное в Праге, должен был передать Эрнст, один давний знакомый Волошина еще по сотрудничеству в гестапо. Сам Эрнст был заинтересован в том, чтобы письмо попало по назначению, поскольку Волошин обещал, что если их дело выгорит, то у Эрнста будут немалые шансы стать протектором Закарпатья. А разве много нужно таким, как Эрнст? Протектором, так протектором, фюрером или подфюрером, хоть к черту в зубы,— лишь бы власть и деньги.

Но вручить письмо по назначению Эрнсту не удалось. К кому он обращался в Берлине и что делал, — кто знает, только оттуда в Прагу одна за другой шли телеграммы, что дело откладывается, что дело не дает желательных результатов и, наконец, что он просит кого-нибудь приехать на помощь.

Тогда в Берлин выехал сам Августин Волошин. Два дня он укладывал чемодан, опасаясь, как бы чего не забыть, со страхом ехал в поезде, поселился в Берлине в гостинице на окраине. Ему казалось, что он является некоей значительной особой, а следовательно — могут быть разные неожиданности.

Но какие неожиданности могли встретить душепродавца? Он сделал свое черное дело, убил тысячи людей, а дальше был не нужен своим хозяевам.

— Они не принимают наше ходатайство, — докладывал Волошину Эрнст.

— Как это не принимают? Ведь Риббентроп — мой старый друг, мы с ним встречались когда-то еще в имении графа Шенборна, да и здесь, в Берлине. Может быть, вы забыли сказать, что это письмо от Волошина, от того самого, что был в Закарпатье?.. Ведь они помнят...

— Это правда, помнят. Но сейчас это не помогает. И слушать не хотят...

— Гм... гм... Ну, тогда я сам пойду.

Был Волошин старикашка ловкий и пронырливый, но, хотя изо всех сил доказывал секретарям, что у него к Риббентропу дело исключительного, можно сказать мирового значения, однако и сам получил тот же ответ: «Господин Риббентроп занят... не может... слышите, его нет». Так было день, второй, третий.

Однажды, возвращаясь после очередного неудачного визита, он встретил в коридоре человека, который когда-то, может, был ловким и энергичным, но теперь сгорбился, двигался вяло, опираясь на палку.

— Вы меня не узнаете? — спросила эта развалина, повернувшись лицом к Волошину.

— Простите... Но не помню.

— Гетман... Павло Скоропадский.

— О ваша светлость! Как же! Слышал, знаю. Будем знакомы. Августин Волошин, председатель Закарпатского сейма.

— Слышал... слышал... и я знаю,— протянул руку Скоропадский.

— На прием ходили? — спросил Волошин.

— Да,— ответил Скоропадский и безнадежно махнул рукой. Они вышли на улицу и дальше пошли вместе. Оба они были уже старики, на ходу им трудно было говорить, поэтому они очень обрадовались, когда увидели скверик, и, завернув туда, уселись на скамейке в конце аллеи.

— Трудно к нему теперь попасть на прием,— вздохнул Скоропадский.— Раньше принимали, а теперь хожу и хожу, и все без толку. А тут в голове такой чудесный проект.

Волошин хотел было рассказать Скоропадскому про свой проект, который они разработали в Праге, но решил пока помолчать.

— Ведь вы знаете, что мне пришлось пережить,— сказал Скоропадский, опустив свой синий нос.— Ведь я уж был на Украине в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Кайзеровская армия... этот Киев... все шло так хорошо... Но какой неблагодарный народ! Мне пришлось бежать из Киева ночью, меня, поймите, вынесли на носилках, будто я ранен. Иначе, пожалуй, и не убежал бы. Большевики, Щорс там,— вы знаете, до сих пор снится. Вот проснусь и весь дрожу... Нет, с этим народом нужно говорить оружием и кнутом. Я считаю, что единственная форма правления, какую сейчас самое время ввести на Украине,— это монархия, но и то монархом нужно назначить не украинца, а кого-нибудь из кронпринцев Германской империи.

Волошин легонько охнул или икнул, но молчал.

— А в помощь этому монарху,— продолжал Скоропадский,— нужно назначить президента — фюрера украинского народа.

— Что-то я плохо слышу,— вытаращил глаза Волошин.

— А я, знаете, плохо вижу,— поддержал его Скоропадский.— Фюрера, говорю, фю-ре-ра,— крикнул он ему в самое ухо.

— Да, да,— процедил Волошин.— Фюрера! Что ж! Это вы неплохо придумали. И что ж, предлагали? — кивнул он в ту сторону, откуда они пришли.

— Так вы же видели? — ответил Скоропадский.— Не принимают, не с кем поговорить. Платят пенсию, и все.

А тут, говорят, какой-то Бандера объявился. Ну, что он понимает? И прозвище никудышное — бандура, это еще так-сяк, а то бандера. Нет, не понимают они, какие перед ними люди, какие кадры! Да ведь мы для них все, все бы сделали.

— Это правда, — поддакнул Волошин. — Мы такие люди, что все можем сделать...

Дальнейший разговор у них не клеился. Волошин попрощался со Скоропадским, глянул на него полными ненависти и отвращения глазами и пошел не торопясь по аллее. Такими же глазами поглядел вслед ему и Скоропадский, сплюнул на опалую листву.

Была осень в Берлине... Два претендента на должность, отмененную историей, встретились осенним утром в сквере — и разошлись, как... старые голодные волки.

2

Ласло Потоки и думать не мог, что Золтан Репаша будет его гостем. Репаша загордился, растолстел, почти как и его жена. Жалованье от правительства, государственное пособие, как отцу военнослужащего. Немалые деньги получали они с Магарычкой и от податей на верховинцев, а тут еще посылки Яноша с фронта... Что Золтану до какого-то там механика, будь он хоть трижды венгерец? Ведь Потоки бедняк, Клумаков батрак...

И вдруг Золтан Репаша собственной персоной появился во дворе Потоки, постоял, покрутив носом, перед окном дома, словно раздумывал — идти ему или не идти, потом нырнул в низенькие сенцы и вынырнул в комнате.

— Привет, — поздоровался он.

— Очень рад вас видеть, глубокоуважаемый пан Репаша, — ответил Потоки. — Чему обязан, что вижу вас в своей убогой хижине?

— Шел мимо, — кинул Репаша, чтобы подчеркнуть еще раз, что попал он сюда не из какого-нибудь там уважения к Потоки, а так себе, между прочим. — Дай, думаю, загляну. А почему бы и нет? — Он вдруг переменил тон. — Мы ведь земляки, Ласло!

— Это так, — согласился Потоки, упорно стараясь понять, каким ветром занесло в его дом Репаша. — Может

быть, пан биров,— предложил он,— не откажется закусить?

— Нет,— ответил, сморщась, Репаша.— Я уж позавтракал...

Разве могла его интересовать какая-то закуска у Потоки после вкусного завтрака Юдит? Он обвел глазами голые стены хаты, стол, две скамьи, жалкую кровать в углу, даже печь, возле которой хлопотала жена Потоки.

— Сапожник, вижу, ходит без сапог,— засмеялся Репаша.— Механик тартака доски пилит, а сам живет в халупе. Деньги собираете, Ласло? Видно, думаете после войны в Будапеште дом купить?

— Нет, мы с Коти здесь собираемся век доживать,— сказал Потоки.— Сколько уж лет... Привыкли.

— Я вас понимаю, Ласло,— согласился Репаша, взглянув в окно.— Тут, конечно, неплохо — горы, леса, реки... Но, знаете, иногда приходится оставлять насиженные места. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше... Я вот письмо от Яноша получил...

— Что пишет Янош? — любопытствовал Потоки.

— Что ж, у них бои да бои... Далеко уже зашли... Он воюет сейчас над Днепром. Но пишет про все фронты. Можно считать, что наша армия скоро будет и в Москве. Если она прошла тысячу, то что значат каких-нибудь там сто — двести километров?

— Пан биров,— заметил со вздохом Ласло,— вот что я знаю: когда мы пилим доски, то пила проходит сотни метров, а на каком-то там сантиметре сучок или крохотный гвоздик — и сразу перегорит...

— Пфе! — сплюнул Репаша.— Вы, вижу, только механик, но совсем не политик. С пилой это может случиться, но армию сучок не остановит. Я вот получил письмо от Яноша. Они не только продвигаются вперед, но и осваивают занятое... Пишет Янош, что приобрел чудесный домик с усадьбой над Днепром...

— Там приобрел? — удивился Потоки.

— А что вы думаете, Ласло? Надо же раздать людям то, что завоевано. Вы не забудьте, мой Янош в армии уже больше двух лет. Он пошел в армию в очень трудное время. Это надо учитывать, Ласло! А теперь его к тому же еще и ранили. Витязь! Кому же раздать эти завоеванные земли, если не таким, как он...

— Так вы думаете ехать туда?

— Нет, пока еще рано. Пускай они завоюют побольше разной земли, пускай усмирят население. Мы с Юдит поедем тогда, когда закончится война. Но я думаю, она долго не протянется, скоро конец.

— Вы, безусловно, правы,— повернулся к Репаше Потоки.— Если ваш сын — витязь, то там, где будет он, найдется место и для вас. Жить вам дальше здесь, в горах...

— Будь прокляты эти горы,— перебил его Репаша.— От Борканюка и бунтовщиков я готов куда угодно бежать...

— Да где тот Борканюк? — махнул рукой Потоки.

— Не говорите,— даже вздрогнул Репаша.— Нет Борканюка, так будет другой... Здесь даже воздух располагает к бунту...

— Может, и ваша правда,— согласился Потоки.

— Моя, моя, моя! — сказал Репаша.— Только на восток!

Он помолчал, похлопал себя по карманам, ища трубку.

— Вот потому я и пришел к вам,— снова заговорил биров.— Не подумайте, что я только о себе забочусь. Разве вы не свой человек? Ведь мы — венгерцы, земляки. И вот смотрю я на вашу хижину, и душа у меня болит! Нет, нельзя так жить, Ласло! Вы должны иметь уютную, приятную во всех отношениях старость. Как вам нравится, кстати, мой дом?

— Дом неплохой...

— Нет, Ласло, говорите правду — очень хороший дом. У кого еще есть такой в Кленах? У Дмитра Клумака — раз, у Гаврила — два, а мой — третий. Даже у священника дом ниже моего на двадцать пять сантиметров. А вы говорите — неплохой. Очень, очень хороший! Так как же вы смотрите, Ласло, на то, чтоб купить мой дом? Я решил — если продавать, то только вам...

— Понимаете...— начал Ласло Потоки.

— Мне нечего понимать,— перебил его Репаша.— Я сам знаю, что делаю. Не хочу, чтобы доставался он какому-нибудь Клумаку. Молчите, молчите! Я вам ничего не говорю о цене, сейчас я еще и не еду. Но вы должны помнить об этом — и готовиться. Зачем вам обязательно ехать в Будапешт?..

— Да никуда я не собираюсь,— еще раз попытался убедить его Ласло.— Откуда у меня такие деньги?

— Не верю,— сказал Репаша,— что же, вы проработали столько лет у Клумака и ничего не заработали? Лучше не будем об этом говорить... Покончим! Но я считаю, что мы договорились. Все останется, конечно, между нами! Ну, я пошел!

Когда он вышел, Потоки настужеь распахнул дверь в сени и сказал жене:

— Человек богатый, пес косматый,— берегись обоих одинаково. Проветри хату, Коти!

3

Поздней, темной ночью в начале января 1942 года над Карпатами появился самолет. Фронт тогда проходил далеко на востоке — жестокие бои шли на Дону и в предгорьях Кавказа, под Калинином и под Ленинградом,— туда фашисты бросили основные силы... Они, правда, чувствовали себя не очень уверенно в тех местах и тем быстрее сооружали в Карпатах линию Арпада,— но здесь не было достаточного количества прожекторов, чтобы прорезать темноту ночи и установить, чей это был самолет. Блеснул в горах один прожектор, блеснул второй... Но выяснить, что это был за самолет, так и не удалось. А он гудел и гудел за тучами, на большой высоте прошел над Торунским перевалом, слегка снизившись, достиг Яблунецкого перевала и сделал широкий круг над долиною, где вьется Черная Тисса.

Никто не мог видеть, как в эти минуты от самолета отделились один за другим пять человек — спрыгнули в темноту ночи, на Карпаты.

Самолет замкнул круг, развернулся и направился назад, к Торунскому перевалу, прошел над горами и взял курс на юго-восток. Еще некоторое время слышен был гул моторов, а потом в горах наступила тишина...

Ночь была морозная. В воздухе ярко голубовато-зелеными огнями пылали звезды. В призрачном этом свете пять человек, оторвавшись от самолета, распустили парашюты и, раскачиваясь, спускались ниже и ниже, неподалеку друг от друга...

Но внизу, над перевалами, рождались и рвались к теп-

лым долинам ветры. Трудно было разобраться, откуда и куда они дуют. Один поток воздуха летел с севера, дороге ему преграждал ветер с юга. Это была пора, когда, как говорят люди, сходятся на поединок «Поляк» с «Балканом»¹. И эти ветры в бешеном поединке рвали парашюты, разметали тех, кто спускался, в разные стороны...

Данило Ковач отстал от товарищей, чтобы найти себе какой-нибудь сухой дубчак на топорище. Он шел быстрыми шагами, потому что в «зеленой тюрьме» не полагалось отставать от других, присматривался к кучам валежника, которые тут и там попадались в лесной чаще, поднял один сук, другой...

Вдруг он опустил руки. На ровном, нехоженном снегу, возле векового бука, начинался след... Данило протер глаза. След был свежий, кто-то проходил здесь не позже, как ночью. Но почему-то след шел не от землянок или тропы, а начинался внезапно возле бука и тянулся дальше и дальше в лес. Похоже было, что человек в этом месте вырос из снегов и направился в чащу.

Данило покачал головой, оглянулся и пошел по следу... Через какую-нибудь сотню шагов человек, как видно, упал. Рядом со следами ног появились следы рук. Человек не шел, а полз. Следы ног исчезли, в снегу прорезались две канавки — человек волочил ноги. Он изо всех сил опирался на руки. Следы рук были глубокие-глубокие. Но человек боролся, полз в чащу... Задыхаясь, Ковач шел все дальше и дальше по следу...

Прошло как будто бы немного времени, Ковач догнал лесорубов, присоединился к ним.

— Такой лес... А вот доброго дубчака на топорище не найдешь, — небрежно проговорил он.

— Там, возле землянок, видал я хороший сучище, — отозвался Шегута и посмотрел на него.

— Не иначе как придется тот и взять.

Работа в лесу началась. Все шло, как обычно. Лесорубы пилили буки и ели, валили их, обрубали ветви, тащили к желобам.

¹ «Поляк» — северный ветер. «Балкан» — ветер южный, с Балкан.

— Вардьяй! Вардьяй! — раздавалось в лесу.

Возле партии лесорубов, в которой работали Ковач и Шегута, все время вертелись два жандарма. Ну, просто въелись! Они не отходили, пока лесорубы не свалили дерево, уселись на свежих пеньках, когда два бука вытянулись на снегу. Жандармы переговаривались между собою, курили трубки.

Данило не мог дождаться, пока они отойдут. Когда пришлось распиливать с Шегутой комель дерева, сказал:

— Беда, Степан, там, в чаще, лежит труп...

Пила тонко звенела, въедаясь в сердцевину, и на миг замерла.

— Кто-нибудь из наших? — спросил Шегута.

— Нет, — Данило с силой потянул пилу. — Я вот отстал, пошел вырубить топорище... Смотрю — появился след. Я и пошел поглядеть. Человек шел, упал, полз... Лежит там мертвый...

— Наляг на пилу! Сейчас конец, — прикрикнул Степан Шегута.

Разговор оборвался. На тропе к перевалу в эту минуту появился отряд солдат с «линии Арпада». Они обычно не останавливались, когда проходили здесь. Но на этот раз солдаты шли, внимательно оглядываясь по сторонам, порою тот или другой из них сходил с тропы и заглядывал в кусты. Солдаты подошли и к жандармам, о чем-то переговорили с ними. Степан Шегута, сделав вид, будто ему нужно было поточить пилу, подошел поближе к жандармам, прислушался.

— Да, — сказал он Ковачу, когда солдаты пошли дальше и когда они с Данилом начали пилить новый бук. — Ищут! Спрашивают, не проходил ли тут кто...

— Может, ищут того, что там лежит?

— Его — это наверно... А может, и еще кого-нибудь...

Данило взглянул на Шегуту.

— Еще кого-нибудь? погоди, Степан, ты о чем думаешь?

— Пили, Данило. Скажи лучше, придет нынче Юлина?

— Должна прийти... Воскресенье ведь завтра. Обещала наведаться.

Шегута о чем-то упорно думал.

— Придется снова что-нибудь выдумать... В то воскресенье мы на сватанье ходили?

— Да...

— Теперь придется пойти на обручение. А ну-ка, Данило, нажми на пилку. Кажись, десятник идет!

Вечером Данило Ковач привел Степана Шегуту и Юлину к тому месту, где лежал труп. Сумрачно было в лесу, синим казался снег, серебристый иней покрыл строгое лицо мертвого, шапку, кожушок. Мертвец, казалось, глубоко задумался, темные тени лежали у него под глазами, под скулами...

Долго смотрел Степан Шегута на лицо мертвого, и глубокий вздох вырвался у него из груди.

— Вот как встретились, — тихо проговорил он.

Потом Степан бережно вынул из заколотого шпилькой кармана покойника какие-то бумаги и спрятал у себя на груди.

— Похороним! — произнес он.

Шегута и Ковач, сложив накрест руки, несли мертвого. Казалось, несут они раненого своего друга, который только на короткий срок выбыл из шеренги бойцов...

Там, в лесу, где Черная Тисса прорывается между высокими скалами, где, как стражи, величаво стоят огромные буки и ели, похоронили они своего друга.

— А теперь в Клены, — сказал Шегута, когда над могилой выросла груда валежника. — Нужно поднять всех чабанов, обойти горы.

— Так он был не один? — спросил Ковач.

— Кто знает, — поглядел на снежные сугробы, на леса и горы Шегута. — Где есть один коммунист, там должны быть и его друзья.

4

Ночью Борканюк вышел на дорогу, ведущую с гор в Ясени. Всю прошлую ночь он, ни минуты не отдыхая, искал товарищей, вместе с ним спрыгнувших с самолета. Скрываясь за деревьями, всходя на скалы и спускаясь в ущелья, он искал их и весь день. Чтобы не выдать себя, Борканюк не мог громко звать товарищей и должен был полагаться только на свое зрение. Глаза у него болели от напряжения. Он видел, что вдалеке на скалах, в лесу, работали люди, но не мог к ним подойти. Всюду был

ровный, нетронутый снег, нигде на склонах не заметно было и малейшего следа друзей... Проклятый ветер, как он раскидал их!

Надвигалась ночь. Ветер с перевалов подымал поземку. Теперь, если где-нибудь и был след, — его заметет. Борканюк вышел на дорогу выше Ясений, прислонился к стволу сосны, что росла на пригорке, и долго смотрел на родное село...

Родное село! Это звучало так странно в эту минуту, что он даже усмехнулся. Прошлой ночью — побережье моря, где шумели и шумели волны, где на берегу шелестела зеленая листва. А вот — вокруг Карпаты, покрытые снегами горы и перевалы, заснеженные долины, вековые леса, огни родного села!

Но он не жалел, что очутился здесь. У каждого солдата свое место в строю, и он должен стоять там, где приказывает партия и велит сердце...

На востоке грохочет фронт. Олекса Борканюк видел фашистские самолеты, сбрасывающие бомбы на линии обороны, на города и села. Там героически сражается один на один с фашистским зверем Красная Армия...

В эту минуту Борканюк вспомнил Юлиуса Фучика и последнюю встречу с ним в Праге. Прошло уже три года с того вечера. Где теперь Юлиус? Жив ли он? Жив, должен жить! Скоро, скоро Борканюк встретится с ним. А сейчас так ярко вспомнилась встреча в Праге, отблески огней на асфальте, горячий голос Фучика. Как он говорил тогда? «Война! Идет война, ширится и ширится линия фронта. Этот фронт не только там, где светлые силы человечества сталкиваются с ордами фашистов. Непрерывная цепь окопов тянется через все капиталистические и покоренные ими страны, вокруг всего земного шара».

«Да, — подумал Борканюк, — и там и здесь — везде мы на фронте. Здравствуйте, Карпаты, здравствуйте, Ясени!»

Над его головою шумела ветвями сосна, на которую он взбирался когда-то в детские годы. Взбирался? Да, хотел увидеть страну счастья за далекими перевалами. Теперь он эту страну видел! А перед ним в долину круто спускалась дорога, — когда-то он часто ходил по ней. Там, внизу, горели огни, — вои и в хате Явдохи мерцает огонек... Борканюк оторвался от ствола сосны и двинулся вниз...

Но на огоньки села он не пошел. Три года — это очень много. Что случилось там за эти годы? Сколько долетало до него вестей из родного края — горячих, как костер на полонине, горьких, как полынь... Как живется на лесных разработках, кто уцелел из его знакомых и друзей — лесорубов, сплавщиков, чабанов? Живы ли его родичи, все так же ли перебивается с детьми Явдоха? А вон там, за горами, Клены — Сегинь, Короджий, Юлина... Он, казалось, видел их всех перед собой, слышал их голоса. Но должен был и сам беречься, и о людях думать — ведь если у кого-нибудь найдут Борканюка, тому непоздоровится...

Пошел берегом Черной Тиссы, от скалы к скале, меж кустами, деревьями. Свернул на левады, где река протекала через Ясени.

Донеслась песня. Где-то пели парни и дивчата. Грустно заводил молодой голос:

Гей! на високій полонині...

И катилось грустное, печальное:

Гей! вітри повівають...

Полонины! Они лежали, холодные и пустынные, вверху. Ни огонька, ни голоса! И мертвое, холодное село лежало внизу... Только стонало над ним и плыло:

Гей, сидить чабан молоденький
Та й думу думає...

Была поздняя ночь, когда Борканюк, обойдя стороной родное село, добрался до Кленов. В селе было тихо. Спали бедняки в своих покосившихся хижинах, только два огонька мерцали еще: один в сельской управе, другой — в поповской усадьбе.

Борканюк вышел к дому Ласло Потоки со стороны реки. Остановился в кустах, долго прислушивался, приглядывался к неясным очертаниям дома.

Постучал в окно осторожно, тихо... Никто не отозвался, а он не хотел стучать вторично.

В это время на улице слышались голоса. Шли, видно, двое. У калитки они остановились, перебросились

несколькими словами, и один из них пошел дальше по улице, а второй вошел во двор. Борканюк прижался в темноте к стене дома...

Только тогда, когда Потоки начал отпирать железным ключом дверь в сени, Борканюк шагнул вперед и проговорил:

— Ласло!

Потоки спросил тревожно, но тихим голосом:

— Кто там?

— Это я, Ласло,— сказал Борканюк и сделал шаг вперед.

— Олекса!.. Товарищ Борканюк...— вырвалось у старика.

Но он тотчас понял, что, пожалуй, поступил нехорошо, назвав это имя. Он почувствовал, что нужно немедленно проверить, не принесут ли беды слова, которые вырвались у него.

— Я молчу... Обождите! — сказал Потоки.

Механик вернулся назад, постоял у плетня, прислушался и только тогда возвратился к Борканюку.

— Писарь со мною шел,— сказал он.— Но он не мог ничего услышать. Да что же вы стоите? Прошу вас, дорогой гость, в хату.

На следующую же ночь Борканюк встретился с Шегутой. Встречу им устроил Ласло Потоки. Он сам поехал на бутин, будто бы для того, чтобы отобрать нужные материалы для лесопилки, сам нашел случай перебраться словом с Шегутой.

Волнующей была минута встречи двух коммунистов после нескольких лет разлуки. И каких лет! Сколько событий произошло в мире за это время. Эти необычайные события не шли мимо них,— и Борканюк и Шегута были теми людьми, которые считали своим священным долгом включаться в события, влиять на них, бороться за победу трудящихся. Так они действовали и на этот раз.

— Сколько вас было? — спросил Шегута.

— Пятеро... Ты слыхал про кого-нибудь?

— Вчера мы похоронили Декана.

Борканюк молчал. Значит, Декана не стало. А какой был товарищ! Сам из Словакии родом, сын рабочего, доброволец в рядах испанских революционеров. Счастье родного народа он видел в освобождении от фашизма всех народов. И вот — погиб на Карпатах.

— Нужно искать остальных,— сказал Борканюк.— Где-то должны быть еще трое.— Он назвал их имена.

— Я предвидел это и оповестил коммунистов в Рахове,— ответил Шегута.— В лесничествах есть наши люди. Они будут искать на делянках, чабаны обойдут горы.

— Да, Степан. Нужно найти этих троих. Я задержусь в горах, пока мы их не найдем. А теперь расскажи, что у вас тут делается?

Шегута рассказал о событиях последних лет на Верховине. Он начал с тех дней, когда многие вынуждены были уйти за перевал, а те, что остались, продолжали непримиримую, упорную борьбу с захватчиками.

— Когда началась война, у нас были крепкие, надежные, проверенные в боях люди.

— Где существуют наши организации?

— Центры существуют в Ужгороде, Мукачеве, Хусте. Условия работы подсказали, что нужно сосредоточивать силы и действовать там, где этого требует сегодня обстановка. Поэтому у нас в центре внимания Хуст и Мукачево, так как эти города лежат на магистралях, ведущих к фронту.

— Хуст...— задумался Борканюк.

— Да, Олекса. Ты помнишь Логойду и Сирка?

— Еще бы! Хорошие люди.

— Там наша надежная база. А в Мукачеве — Жупан. Организации существуют повсюду — в горах и в долине. Я назову тебе, Олекса: Теково, Чернотиссов, Хижи — в Севлюшском округе, Боронява, Нанковое, Золотарево — в Хустском...

— Очень хорошо,— радостно проговорил Борканюк.— Я и надеялся на это. О, я хорошо знаю здешних людей — рабочих, чабанов, плотовщиков. Так и должно было произойти. Они себя еще покажут.

— Фашистам не так легко было продвигаться на восток, когда началась война,— продолжал Шегута.— В первые же дни войны на аэродромах Закарпатья сгорело двадцать семь немецких и венгерских самолетов, под откос летели поезда, сгорело девять бензохранилищ...

— В сводках Советского Информбюро сообщалось об этом,— сказал Борканюк.

— По всему Закарпатыю мы собирали трудящихся,

давали клятву бороться с оккупантами, писали письма Сталину,— говорил Шегута.

— Мы читали в Москве эти письма.

— Значит, доходили?

— Да, Степан. Письма рабочих и бедноты Закарпатья доходили до Москвы. Сейчас такое время, когда никакие заслоны, даже фронт, не могут отрезать трудящихся от Москвы. Там все известно: и когда где-нибудь в мире трудящимся людям очень тяжело и когда эти люди борются, одерживают победу.

Тихо, темно было в домике Ласло Потоки. Белели только два квадрата окон. У одного окна сидели Борканюк и Шегута. Дышала теплом печка у дверей. На полке однозвучно стучали часы.

Самого Ласло в доме не было. Старый механик сторожил на улице. И у Коти, оказалось, нашлось множество всякой работы во дворе. А на самом деле она сторожила на берегу реки, гордая тем, что и ей выпала честь послужить хоть чем-нибудь для народного дела.

— То, что ты мне сказал, Степан,— начал Борканюк, сделав несколько шагов по комнате,— очень хорошо. Только такие слова я и надеялся услышать. Труженики Закарпатья, столетиями оторванные от родного народа, люди, которые вписали уже в историю борьбы с захватчиками немало светлых страниц,— они должны были проснуться, проснулись. Путь к борьбе и победе им указали и указывают коммунисты.

— Но все это ставит перед нами новые, чрезвычайно важные задачи,— продолжал Борканюк, остановившись в темноте возле Шегуты.— Первая задача стоит перед всей нашей организацией в целом. Я не знаю, смогу ли так скоро, как хотел бы, повидаться со всеми членами краевого комитета, побывать в Хусте и Мукачеве. Ты видишь, не все мои друзья собрались, да и здесь много дела. Хорошо, что мы можем переговорить и посоветоваться вдвоем: это уже совещание членов комитета. Я думаю, в ближайшее время мы соберем больше людей. В эти напряженные дни нужно заботиться о росте нашей организации. Это так. Но нужно следить, чтобы эта организация была чиста: чтобы в наши ряды не проник ни один враг и чтобы каждый член организации был готов отдать за наше дело всего себя, свою жизнь...

— Это правда...— подтвердил Шегута.— Были отдельные случаи...

— Так,— не стал подробнее расспрашивать его Борканюк.— Кто отступил хоть на шаг от нашего дела — тот наш враг, и с ним нужно считаться только как с врагом. Не дремлют и фашисты. А их пособники, ксендзы и униатские попы? Все они засылали и будут засылать в нашу организацию своих агентов. Бдительными нужно быть, Степан.

Борканюк замолчал, сел на лавку рядом с Шегутой, положил руку ему на плечо.

— Теперь второе,— продолжал он.— Трудящиеся люди здесь, как и повсюду, должны знать правду о положении на восточном фронте. Я видел сегодня у Ласло газеты «Оз орсаг» и «Уй Модьоршаг»¹. Ведь это ложь от первой до последней строки. Трудящиеся люди должны знать, что народы Советского Союза, как бы ни тяжела была борьба и сколько бы она ни стоила, уже теперь побеждают и неизбежно победят немецких фашистов...

— Ты сказал, Степан,— вплотную возле себя Шегута увидел лицо Борканюка,— что люди в Закарпатье немало сделали, чтобы помешать продвижению фашистских армий на восток. Но разве этого достаточно? Нет, еще мало! Советские люди бьют фашистских захватчиков на востоке, но нужно, чтобы всюду, где ступает нога фашиста, земля горела у него под ногами, чтобы от нашей борьбы сотрясались Карпаты. Каждая самая маленькая наша ячейка в эти дни должна стать боевым штабом, а каждый коммунист — дисциплинированным и мужественным солдатом.

5

Среди ночи кто-то постучал в окно комнаты, где жил Короджий. Он подумал даже, что, может быть, это ветка черешни ударилась в стекло. Но стук повторился, и когда Короджий вскочил с постели и босиком подошел к окну, то успел заметить на затянутом морозными узорами стекле тень от пальцев. Тогда он накинул на себя, что попало под руку, и выбежал на крыльцо.

¹ «Оз орсаг» и «Уй Модьоршаг» — венгерские фашистские газеты «Государство» и «Новая Венгрия».

В сумраке виднелась тень.

— Кто там? — спросил Короджий.

— Это я, — слышался голос Юлины.

— Что случилось? — встревожился он.

— Тихо! — прошептала девушка, схватив его за руку. — Впустите в хату.

Короджий огляделся, но ничего необычного не заметил. С гор в долину со свистом летел резкий ветер, мелкие колющие снежинки секли лицо, все затягивала серая мгла. Он притворил, как мог тише, дверь, запер ее на замок.

Вошли в комнату, где от печи веяло приятным теплом, и остановились тут же, у порога.

— Что случилось, Юлина? — снова спросил Короджий.

Она ответила откуда-то из темноты:

— Борканюк возвратился.

— Олекса! — У него учащенно забилось сердце и захватило дыхание. — Где он? Вы его видели?

— Нет, я его не видела...

И, подойдя ближе, Юлина объяснила, что ей об этом рассказал чабан Сегинь. Борканюк хочет видеть Короджия. Но это можно сделать только в субботу. Ночью, в десять часов, учитель должен быть на дороге к полонине, у столба, на котором висит объявление.

— Но, — говорила Юлина, — к этому столбу надо идти не по дороге, чтобы кто-нибудь не приметил, а лошинкой, что начинается у мельницы. Там на дне есть тропочка, по ней можно выйти на дорогу.

— А вы сами как добрались сюда в такую ночь? — спросил Короджий.

— Что мне? — ответила она спокойно. — Ведь я тут каждый камешек и кустик знаю, от сосенки к сосенке, от плетня к плетню. Только в селе боялась — и собаки тут, и жандармы...

— Так, может, отдохнете до утра? Я уже не лягу, скоро, наверно, рассветет...

— Ой, нет! У меня еще столько работы... И сохрани бог, если кто-нибудь увидит, что я была тут. Нужно идти, а то погибнет все наше дело.

«Наше дело» — эти слова совсем не по-девичьи прозвучали в ее устах. Было темно, но он представил себе,

как она стоит посреди комнаты — напряженная, смелая девушка с гор.

— Так вы будете? — спросила она.

— Да, да, Юлина. Спасибо, что зашли. Я непременно буду.

— Ну, я пошла, — шепотом сказала она, и Короджий только теперь заметил, что весь их разговор велся шепотом, как у очень родных, близких людей.

Он проводил ее во двор, стал у крыльца и долго слушал, не будет ли шума на улице. Но не только шума, он не услышал даже ее шагов. Юлина сразу исчезла где-то в сугробах. Он постоял у замеченного снегом крыльца, тихо вошел в комнату, где было так покойно и уютно. Все происшедшее напоминало какой-то удивительный сон.

Но это не был сон. Здесь, в его комнате, была Юлина, он с нею говорил...

«Славная девушка, — думал он. — Ночь, метель, мороз, на каждом шагу опасность. А она не испугалась, пошла, рискуя жизнью».

А где-то близко, совсем близко был Олекса Борканюк. Откуда он прибыл? Какими путями пробрался? Что скажет в час желанной встречи? Зачем нужно ждать до субботы, когда так хочется увидеть его сию минуту? Короджий даже подошел к окну, оперся руками о холодный, влажный подоконник и долго стоял, будто что-то мог увидеть на дворе. Но ничего не было видно: стекла окна затянуло снизу морозными узорами, крепчал ветер и волнами гнал по улице снег, ветка черешни в самом деле ударялась о стекло, — тонко, словно ему было больно, звенело и звенело стекло.

Василь Гербера прислушался. Как будто скрипнула дверь на крыльце у Короджия, как будто кто-то вошел к нему в комнату, слышались шаги за стеной, снова скрипнула дверь.

Гербера даже выскочил в сени и надолго прильнул к оконцу, — нет, темно в комнате Короджия, тихо в селе.

Сколько раз вот так Василь Гербера прислушивался по ночам, что происходит в комнате учителя. Сколько раз выходил он во двор и, притаившись в темноте под ветвями черешни, видел перед собою, всего в каких-ни-

будь двух шагах, лицо учителя Короджия — его русые, буйные, откинутые назад волосы, высокий лоб, прорезанный несколькими глубокими морщинами, светлые глаза, продолговатый нос, тонкие губы...

Управляющий школой принадлежал к тем людям, которые жаждут в жизни одного — богатства и славы. Но виноградники и все деньги отец его потерял в неравной борьбе с «Латорицей», сын служил учителем только из-за безвыходного положения, и эта работа не обещала ему славы.

Оставалось одно, что, казалось, могло помочь ему сделать карьеру. Подлость! Он не боялся произносить это слово. А разве не делают подлостей аристократы из «Латорицы», которые съели его отца и поедают друг друга. Волки! Почему же Гербера должен поступать иначе?

Учитель Короджий с первого дня привлек внимание управляющего школой. Еще перед выездом в Клены Гербера получил подробную информацию про Короджия в школьной управе. Да и сам учитель при первой же встрече: «...На венгерском языке написано много прекрасных творений. Возьмите Яноша Вайда, Шандора Телеки, бессмертного Петефи. Мы должны изучать венгерский язык, чтобы говорить с народом Венгрии». В этих словах Короджия управляющий почувствовал зерно крамолы, вызов ему как представителю власти. Тогда он смолчал, но терпеливо, день за днем и месяц за месяцем следил за учителем, искал нужные ему зернышки.

Эти зернышки трудно было найти. Короджий преподавал в школе точно по программе и инструкциям. Правда, преподавать почти не приходилось. Дети в школу не ходили. Не помогали ни угрозы, ни штрафы. Короджий был вежлив и сдержан в обращении с управляющим, чувствовалось, что он предпочитает недосказать что-нибудь в разговоре, чем сказать лишнее слово.

— Прошу вас, прошу вас! — встречал управляющий Короджия каждое утро во дворе. — Не слыхал ли пан учитель каких-нибудь новостей?

— Да какие же у меня новости? — разводил руками Короджий. — Говорят, в лесу медведь в западню угодил...

— Меня не интересуют медвежьи новости, — обрывал, явно нервничая, Гербера. — Я говорю о новостях политических.

— Эх, пан управляющий,— вздыхал Короджий,— какая уж там политика, когда башмаки каши просят.

На этом большею частью и заканчивалось, хотя и слова: «Какая уж там политика, когда башмаки каши просят»,— Гербера старательно заносил в свои заметки.

Заметок этих у Герберы собралось немало. Он следил за всеми, стараясь выслужиться, и, например, побывав раз-другой у о. Федора, обнаружил элементы политического легкомыслия, если не больше, даже у о. Федора. Ведь на другой день, после того как в Кленах забрали одиннадцать человек, о. Федор утром говорил селянам: «Если люди делают бóльшую ошибку, просить надо за них, если меньшую — защищать надо их».

«Позвольте,— заметил, услыхав об этом, Гербера,— то есть как это просить за них? О ком говорит пан-отец? О бунтовщиках? Это их защищать?»

Наведавшись при случае в Рахов, Гербера зашел в полицейское управление и сообщил об этих фактах. Оттуда его послали к священнику Александру Демьяновичу, что он и не замедлил исполнить.

Демьянович принял управляющего школой в своем кабинете и внимательно его выслушал. Конечно, священник доподлинно знал, когда и какие слова произносил Федор Стрыпский. Сколько раз произносил и он сам такие слова!

Но Александр Демьянович не мог высказать управляющему-блюдолизу свои соображения, как не мог признаться, что о. Федор Стрыпский приглашал изредка Василя Герберу к себе, потому что не кто иной, как Демьянович, дал указание Стрыпскому проверить управляющего школой. Оказывается, Гербера следит за о. Федором. Хорошо, хорошо! Нужно сказать о. Федору, чтобы лучше проследил за ним. Ведь сам Гербера из русинов, а жена этого управляющего — дочь высланного чеха...

— Любопытно,— сказал Демьянович Гербере, пронизывая его глазами.— Вы, пожалуйста, напишите мне про Стрыпского на записочке и поставьте в конце свои инициалы. Для памятки, чтобы я не забыл. Это очень интересно. А в другой раз напишите мне про Магарычку и про братьев Клумаков. Интересно, что там поделывает и художник Короджий.

— Сколько угодно,— сказал управляющий школой и приложился к руке священника.

Теперь Гербера был очень недоволен, что снова ничего не заметил за Короджием. Нет, очень подозрителен этот учитель из русинов. Почему так радушно принимают Короджия в бедняцких хатах? Почему, чуть что-нибудь случится, все идут к учителю? Почему, наконец, он художник? С этими мыслями Гербера и заснул.

Ружена не спала. Снова она, закрыв глаза, лежала в душевой постели, снова слышала, как не спит Гербера, стоит под стеной у Короджия, подслушивает. Слышала она и то, как Гербера выскочил в сени. Подслушивает и подслушивает!

Она долго лежала, уже раскрыв глаза и глядя на окно, когда Гербера заснул. Тускло светилось окно, тусклый, заснеженный простор расстилался за ним — все тусклое, серое, как и ее жизнь.

Третье письмо от отца. Он пишет, что посылает письма из Праги, но это не так, не так. Из той спокойной Праги, какую прежде знала Ружена, такого письма не напишешь.

«Я понимаю, дочка, что был прежде близорук, более того — даже слеп. Из нашего дома в долине было так мало видно. Теперь я увидел много такого, о чем раньше не имел представления, и увидел борьбу, в стороне от которой стоять нельзя. Хотелось бы мне, чтобы и ты увидела мир больше, шире. Там, на Верховине, при желании многое можно увидеть. Но не ошибся ли я, отдавая тебя замуж, дочка!»

По письму трудно было понять, на что именно намекает отец. Ее удивило и то, что письмо пришло не по почте, его передал Ружене лесник, наедине. К тому же лесник, передавая письмо, добавил: «Запомните, я ничего об этом письме не знаю, пани Ружена».

Тускло светилось окно в комнате. Тусклая, серая жизнь у Ружены.

6

Уже с утра тучи клубились над Говерлой, предвещая бурю и снегопад в горах. Временами они окутывали всю вершину, начинали опускаться вниз. Из долины вырывались ветры, разгоняли тучи по небу. Но они все ползли и ползли из-за перевалов — синие, грозные.

К вечеру завьюжило. Тучи добрались до долины, начал сыпаться снежок. Все сильнее и сильнее свистел ветер,

летел снег, такое началось, что не видно было ни неба, ни земли.

А все же Иосиф Короджий пошел на свидание с Борканюком. Никакая сила не удержала бы его в школе. Правда, он остерегался: заглянул вечером в сельскую управу, посидел там с людьми, а потом свернул на околицу, спустился в лощинку, крадучись прошел по ней и очутился в поле.

На ровном месте ветер свистел и швырялся снегом больше, чем в селе. Короджий направился к столбу при дороге. Из сугроба вынырнула фигура.

— Кто там? — спросил Короджий.

— Свои, свои.— Ему навстречу шел какой-то человек, остановился неподалеку, и учитель узнал чабана Сегиня.

— Так это вы? — сказал Короджий.

— Я, Иосиф! Смотри, как черти на Говерле разыгрались. А нам и лучше. Гей, гей! — погрозил он кому-то вдали кулаком.— Идем! Ждет нас Олекса!

И Короджий понял: в том, что его встретил здесь Сегинь, нет ничего удивительного, а есть необходимость оберегать друг друга. На пути, по которому они идут, могут случиться всякие неожиданности, поэтому следует заботиться друг о друге и всем вместе — об общем деле. И теперь Короджию очень хотелось расспросить Сегиня про Борканюка, ему хотелось узнать, где и когда они его встретят.

Но Сегинь, опираясь на свой посошок, шагал по крутой тропинке и молчал. Когда они останавливались передохнуть, чабан прислушивался к свисту ветра. Поднимались все выше в горы.

В зимовье терпко пахло горными травами. Вдоль стен сложен был чабанский скарб. За плетеной перегородкой жевали жвачку коровы. Посреди зимовья на земле горел костер, и дымок синими струйками поднимался под самую крышу. Вокруг костра стояло несколько деревянных чурбанов.

Зимовье! Богачи держали свой скот в усадьбах, в теплых хлевах, на луговом сене. А бедняк радехонек был, если чабан соглашался держать его скотину в зимовье в горах, где с лета запасено было сено с полонин.

В детские годы Олекса Борканюк часто просил отца взять его на зимовье. Старик не раз брал его с собой. Это была большая радость для ребенка — путь в горах под заснеженными соснами, долгий вечер в зимовье, когда вспыхивал золотыми змейками костер, унылая песня чабанов:

Не за тото я співаю,
Що гаразд ся маю,
За піснею-співанкою
Біду забуваю.

И вот снова встреча с родными людьми в зимовье. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, родные люди!

Их было немного. Несколько лесорубов с делянок Климпушей и Клумаков, а среди них Степан Шегута и Данило Ковач, механик тартака Ласло Потоки, несколько товарищей из долины, Короджий.

— Вы пришли, Иосиф? — сказал, встав от огня, Борканюк, когда в дверях зимовья появились Сегинь и учитель. — Вот и хорошо, я вас хотел видеть.

Борканюк изменился за эти годы. Те же пытливые, чуть прищуренные серые глаза, чуть приметная легкая усмешка на губах. Но седина уже тронула его виски, несколько глубоких, резких морщин пересекали лоб. Усы и борода делали Олексу старше своих лет. Меняла его отчасти и одежда — шапка, короткий кожушок, сапоги. Он стал теперь похож на военного.

— Как будто все собрались, — оглядел зимовье Борканюк. — Не много, но при такой непогоде и то хорошо...

— Непогода, Олекса, большая, — сказал кто-то из долинян. — Скольких уже наших людей не стало. Фашистские отряды рыщут по Верховине и в долине.

И заговорили, зашумели люди. Начались рассказы о том, что творится в Закарпатье, о кровавых злодеяниях фашистов. За стенами зимовья и над крышей свистел, гудел ветер, и казалось, что это не ветер гудит, а подступили к самым стенам сотни тысяч людей, спрашивают: «Что ж делать?»

Борканюк смотрел на людей, сидевших вокруг костра в простой верховинской одежде, в домотканых гунях. Он смотрел на их обвеянные суровыми ветрами лица, на темные от мороза и работы руки.

— Знаю, люди, — сказал Борканюк, — страдают труженики на Верховине и в долине. Сколько погибло людей,

сколько добра пропало! А там, за горами, как борются родные нам советские люди!

Казалось, затихло в эту минуту за стенами, и напряженная тишина настала в зимовье.

— Я только что прибыл оттуда, с востока,— говорил Борканюк.— Фашисты собрали все свои силы и как бешеные рвутся вперед. Но на каждом их шагу, на каждой пяди земли и возле каждого дома советские люди, как богатыри, борются с врагом. Венгерские и германские фашистские газеты уже несколько раз писали, будто бы гитлеровские войска стоят в предместьях Москвы, взяли Ленинград, победно идут по Кавказу. Ложь! Красная Армия разгромила и далеко отогнала от Москвы фашистские орды, не были и вовек не бывать фашистам в Ленинграде. Уже остановили их и на Кавказе.

Он вынул из кармана газету, на первой странице которой стояло огненное слово «Правда».

— Я видел Сталина в Москве,— сказал Борканюк, вставая.— Я видел его так близко, как вижу сейчас вас. Мы стояли на Красной площади и слушали его слова. Слушайте и вы, что сказал товарищ Сталин советским людям и трудящимся всего мира.

Борканюк читал:

— «Вполне вероятно, что любое другое государство, имея такие потери территории, какие мы имеем теперь, не выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. Если советский строй так легко выдержал испытание и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, что советский строй является теперь наиболее прочным строем».

Борканюк читал, и казалось — теплее, покойнее становилось в зимовье.

— «Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой».

В тишине зимовья торжественно звучало:

— «Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик,— и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».

И людям, собравшимся здесь, показалось, что сразу как бы повеяло свежим ветром. Они увидели, ощутили грядущую победу.

— Победа идет,— говорил Олекса Борканюк.— Ее приближает Красная Армия, советские люди. Но фронт проходит не только там, на востоке, где идут бои. Фронт проходит везде, где трудящиеся люди борются с фашизмом. Он проходит и в Карпатах. Пришло для нас время подняться на решительную борьбу, не на жизнь, а на смерть, с врагом. Мы, друзья мои, в тылу врага и должны действовать так, как повсюду действуют непокоренные люди в тылу. По всему Закарпатыю должны быть созданы партизанские отряды, каждый, кто в силах, должен взять в руки оружие. Трудящиеся люди должны громить фашистские банды, уничтожать железные и шоссейные дороги, транспорты с оружием и продовольствием. Нужно уничтожать все, что может пойти для снабжения фашистского фронта.

Он продолжал, как бы давая боевой приказ:

— Мы должны помнить, что так собраться нам еще раз — не скоро удастся. Красная Армия борется с фашистами на фронте, мы будем бороться с ними здесь. Каждую, даже самую малую, победой мы приближаем разгром фашистов на фронте, облегчаем боевой путь нашим братьям, которые защищают от врага родную землю и где-то там, на Волге и на Дону, думают сегодня и о нашем освобождении. Может, кого-нибудь из нас в этой борьбе не станет, но это не должно останавливать нашего великого дела, и завтра, уже завтра, наша численность должна вырасти вдвое, сила наша должна расти с каждым днем.

Олекса Борканюк стоял у костра — сильный, решительный, страстный, каким его и прежде видели здесь, на Верховине. Он смотрел на своих друзей, пришедших сюда, в горное зимовье. И знал Борканюк — эти люди не подведут, им суждено осуществить великое дело.

Прощались коротко, без лишних слов, как люди, привыкшие часто встречаться. Выходили по очереди. Наконец вышел Сегинь. Следом за ним двинулись Борканюк и Короджий.

Было поздно. Стих ветер. Разсались тучи. Луна всходила перед самым рассветом, но ярко, как алмазы, горели в небе звезды, и в их сиянии голубели снега, отчетливо очерчивались горы, виднелись долины.

В пейзаже не было ярких красок, а все же он поражал — торжественно, величаво, как бы глубоко задумавшись, лежали Карпаты.

На горизонте едва угадывался шпиль Говерлы, ближе, как гигантская голова, виднелся Пиетрос.

— Чудесно, — сказал Борканюк. — Какой чистый воздух! Как пахнет сосной! Но где они?

Он смотрел на горы и все, должно быть, думал о своих друзьях, которых хотел найти.

— Ты, верно, устал?

— О нет! До усталости ли здесь?

— Я слушал тебя, — Короджий не заметил даже, как у него вырвалось дружеское «ты», — и так завидовал...

— Чему, Иосиф?

— Ты был в Москве.

— Да, — сказал Борканюк. — Был. Но когда-нибудь и ты побываешь в Москве.

— Мы тогда поедем вместе, — сказал Короджий.

— Ну конечно, — ответил Борканюк, — если мы сделаем свое дело здесь, тогда с радостью и гордостью поедем в Москву.

— Помнишь, Олекса, — напомнил Корсджий, — как мы когда-то встретились на полонине?

— Конечно. Такие ночи не забываются. Я твои этюды будто сейчас вижу, — задумался Борканюк. — А все же ты решительный человек, Иосиф. Поэтому я верю, что нам с тобою многое еще посчастливится увидеть в жизни.

И, как когда-то тихим вечером, в хате у жены Дмитра, Явдохи, Борканюк заговорил:

— Война будет тяжелая и затяжная, вырвет немало людских жертв и принесет немало опустошения. Но мы должны знать, какие трудности стоят перед нами, и глубоко верить в то, что наше дело правое и мы победим. Побеждают только сильные духом. Ты готов, Иосиф?

— Да, Олекса! Готов! — произнес, как клятву, Короджий. — Вон там, вдали, — указал он рукой за горы, — я вижу столько радости, столько счастья. А если это видишь, ничто не страшно.

Залитые кровью Карпаты тянулись перед ними. И Борканюк и Короджий знали, как тяжело страдает вокруг обездоленный люд, ибо там, где фашизм,— там смерть, и только смерть. Но вот пришли этой ночью люди в горное зимовье, пришли, зная, что, если кого-нибудь из них поймают или же если фашисты узнают об их собрании,— убьют на месте. Значит, они не боятся смерти, идут к победе. И победа близится. Вот они ночью собрались, послушали, как гудит карпатская земля и как горит она под ногами у фашистов. И не только слушали, а совещались о великом деле, условились, как им бороться дальше, как идти к победе. Сильные духом, готовые на жертвы.

— Где ты был это время и как сюда прибыл? — спросил Короджий.

— Вон там, у Сигота,— ответил Борканюк,— три года назад я перешел Тиссу и попал в Румынию, а оттуда — в Советский Союз. Я встречался там с нашими людьми, которые когда-то перешли Карпаты. Мы вспоминали всех вас, рвались сюда. И вот я вернулся...

— А твоя семья? — спросил Короджий.

— Вслед за мною отсюда выехала моя жена. Там, на советской земле, год назад, у нас родилась дочь Олечка. Последнее время они были в Сталинграде. Там они среди родных советских людей, и потому я спокоен за них.

— Как удивительна жизнь, Олекса! — сказал Короджий.— Ты здесь, твои родные в Сталинграде, на востоке идут бои, а мы собираемся в зимовье.

— Нет, Иосиф, в этом ничего удивительного нет,— ответил Борканюк.— Идет великая битва против фашизма. Война разбрасывает людей во все стороны. Недавно я был далеко отсюда, сегодня очутился здесь, завтра, может быть, буду в другом месте. И так не только я, а много людей. Мы — в походе! Фашисты заставляют нас покидать родные места, разлучаться надолго с детьми... Что ж, если поход, так поход! Но никогда еще эти разбросанные по всем краям света люди не чувствовали между собою такой тесной, неразрывной связи, как сейчас. Эти люди знают, что у них есть за что бороться, они знают теперь, как бороться, есть сила, которая объединяет их, сплачивает, ведет вперед. Эта сила — партия коммунистов!

Никто не заметил бы в эту ночь фигурки, которая припнула к серым скалам и, не сходя с места, провела там несколько часов, не отводя глаз от дороги, чутко прислушиваясь к малейшему звуку, рождавшемуся окрест.

Но ничто не нарушало тишины ночи, только порою где-то далеко в чаще кричал зверь, в воздухе, тяжело взмахивая крыльями, пролетел несколько раз и тоскливо прокричал филин — пугало ночи. Никого не было видно, и не слышно было шагов на дороге.

Юлина знала — там, в горах, в покинутой сторожке лесника или в каком-нибудь зимовье идет собрание, на которое еще с вечера пришло несколько человек, а позже — Сегинь и Короджий.

Как хотелось Юлине быть там, где они собрались и решают важные вопросы. Она слушала бы затаив дыхание, в жизни никому не призналась бы, что услышала. А может, чуточку и сама помогла бы им. Ведь она так хотела сделать что-нибудь значительное — для Борканиюка, Сегиня, Короджия, для всех родных людей.

Но понимала: они должны посоветоваться, ведь сколько дела у них! А кто-то должен и стеречь их в это время. Нужно стоять.

Сурова и трудна жизнь в горах, молчаливы, с виду хмуры там люди, как тучи над ними. Так уж повелось: скуп на слова бедняк верховинец, а женщина тем более молча сносила тяжкую свою долю. Молчалива была мать Юлины, молчаливою росла и дочь. Чего стоили годы, которые она прожила после смерти отца и братьев одна-одинешенька в своей хижине? Она принуждена была молчать!

Но как оживлялась, как пела Юлина, когда выпадала счастливая минута. Она была как цветок чолока, расцветающий высоко в горах среди серых скал, под темными грозowymi тучами. Известно ведь, что цветок этот, если его сорвать и поставить в хижине, не осыпается и сохраняет богатство красок много-много лет...

Она сторожила теперь людей, собравшихся в горах, и думала о событиях последних дней и о том большом поручении, какое недавно было ей дано.

— Приходится тебе, Юлина, в долину идти, выполнить важное поручение... Не боишься? — спрашивал ее Сегинь.

— Нет, вуйко, я ничего не боюсь.

— Ну, так слушай!

Девушка в постолах и старой гуне, в темном платке, из-под которого выбилась прядь волос, шла от города к городу. Она на память знала адреса домов и имена людей, названные ей Сегинем, находила их в Солотвине и Хусте. Когда ей отпирали, девушка начинала с того, что она, мол, с Верховины, родители ее померли и, может, у пана есть какая-нибудь работа. Это никого не удивляло, — всегда эта беднота с Верховины ходит по городам над Тиссой, просит работы, просто куска хлеба. Но только Юлина удостоверилась, что перед нею именно тот человек, о котором ей было сказано, она шептала:

— Я к вам от Борканюка.

И хозяин сразу оглядывался, нет ли кого чужого поблизости, вводил ее в дом, принимал, как самого дорогого гостя, спрашивал:

— Где же Олекса, расскажите скорей!

— Я не знаю, — отвечала Юлина, — меня послали сказать, что он здесь и посылает вам подарок...

Она распахивала гуню, вынимала из глубокого рукава экземпляр газеты «Правда», и хозяин брал эту газету, как драгоценное сокровище.

— Борканюк просил передать, чтобы вы были в субботу, после захода солнца, в Кленах... Первый дом при въезде справа, там живет механик Ласло Потоки. Спросите: «Нет ли у вас на тартаке работы?» Он ответит: «Обратитесь к самому хозяину». Это и будет знак.

Когда Юлина возвратилась из долины в Клены, в своей хижине над горным потоком с нею говорил Сегинь.

— Ну, дочка, рассказывай, как ходилось?

— Всех видела и сделала, как было сказано.

Она рассказала, как добралась с лесорубами до Рахова, как впервые в жизни ехала по железной дороге в Мукачево, как разыскивала нужных людей, и разговор с каждым — слово в слово.

— Боялся я за тебя, дочка, — сказал Сегинь, когда Юлина закончила.

Она даже не поняла.

— Да почему, вуйко? Ведь я все сделала, как поручил Борканюк.

— Делала, как поручил, да мало ли что могло случиться.

Он поглядел на Юлину с тем беспокойством, а вместе и с гордостью, с какими обычно отец смотрит на родное свое дитя, возвратившееся из далекого и опасного пути.

— Запомни, Юлина. Ты хорошо сделала, что ничего не боялась и не думала об опасности. А ведь опасность была. И будет еще подстерегать. Но ты не бойся и, когда рождается страх, гони его. А сейчас — спасибо тебе, дочка.

— Мне нужно будет самой рассказать обо всем Борканюку? — спросила Юлина.

— Нет, — ответил Сегинь. — Его сейчас здесь нет. Но я ему все передам.

— Так мне идти, вуйко?

— Иди... А вот в субботу утром приходи в зимовье. Возьми какую-нибудь посуду под молоко и сыр. Для людского глаза, знаешь...

— Хорошо, вуйко.

Она пришла в субботу утром в зимовье, помогла чабанам все прибрать, потому что терпеть не могла беспорядка, который всегда бывает там, где хозяйничают одни мужчины.

Вечером Сегинь указал ей место у дороги и наказал следить, чтобы никто не прошел, а если кто покажется, чтобы дала знак чабанам, тем, что будут стоять выше.

Так и сторожили — она у дороги, откуда видно долину и стежки, ведущие в горы, чабаны — выше, над дорогой. Но было тихо, ночь проходила спокойно.

Юлина встрепенулась. Послышались шаги. Прошло несколько человек, она узнала среди них Ласло Потюки. Позже появились Сегинь, Борканюк и Короджий.

— Где ты, Юлина? — позвал ее Сегинь.

Она вышла на дорогу.

— Ничего не слышать?

— Всюду тихо.

— Вот кто нас стерег, — проговорил с улыбкой Бор-

канюк.— Так вот ты какая, Юлина. Мне много говорили о тебе. Спасибо! И за то, что ходила в долину, и за нынешнюю ночь.

— Ой, да стоит ли?

У столба постояли. Борканюк подошел к объявлению, в мерцающем свете прочитал все, что там было написано.

— Десять тысяч пениге,— сказал он.— Ошибаются фашисты — не все можно купить за деньги.

— Не купят, Олекса! — заверил его Сегинь.— Не такой у нас народ!

И разошлись. Сегинь с Борканюком свернули по тропе влево, Короджий направился к ложине. Только Юлина еще некоторое время стояла на дороге, а потом пошла к своей хижине.

Глава третья

1

Гаврило Клумак заходил изредка в корчму, которая когда-то принадлежала их отцу. Заходил он туда не для поминок — ни он, ни брат Дмитро никогда не поминали добрым словом своего отца. Если и приходилось, то одной только фразой: «Такого хосена старик не пропустил бы».

Другую цель имел Гаврило Клумак, когда заходил в корчму. Он садился, с любезного согласия корчмаря Павла Репижки, в маленькой комнатке, рядом с большой комнатой, отделенной пестрой занавеской. Из окна комнатки ему было видно как на ладони все село, а кроме того, слышно было каждое слово, сказанное в корчме. Клумак пил тут береговское вино, изредка приглашал кого-нибудь на стаканчик, разузнавал все новости села и округа, так как без этого невозможна никакая коммерция. Если ничего интересного не попадалось, он доканчивал свою бутылку вина, выходил прямо во двор и отправлялся дальше с таким видом, словно и не заглядывал в корчму.

И в этот день Гаврило Клумак зашел в свою комнатку, позвал Репижку, заказал бутылку вина, смакуя

выпил стаканчик и прислушался к тому, что происходит в соседней комнате.

Там цыган Сабо играл на скрипке какую-то печальную песню, сын его Маркел вторил отцу. На столах звенела посуда. В корчме былолюдно, голоса людей разрознялись, соединялись, переплетались, как нити в клубке.

Но Клумак в этом клубке умел находить нужную ему ниточку и, поймав конец, вытягивал ее, развязывая узелок за узелком.

«Вот побываю в Сваляве, узнаю, сколько там зарабатывают лесорубы...» — Кто это сказал? Ага, Гнат Прищеп! Надо будет прищипнуть его...

«Слез в глазах, известно, нет, а в сердце полно». — Это кто? Ага, сплавщик Пилипко Бут. Интересно, очень интересно.

«Спать будет довольно времени, когда бог позовет...» — Правильно! Кто бы там ни говорил.

«Все одно: хоть головой об камень, хоть камнем об голову». — Ого, этот висельник Яков Козуб своего дождется. Только головой его об камень!

И вдруг Клумак вздрогнул.

«Олекса выручит», — долетело до него.

Он, согнувшись всем телом, застыл у занавески.

«Да где ж там выручит? Нет его, погиб».

«А вот и нет!»

Несколько молодых сидели, курили трубки, пили паленку, а про Олексу говорила какая-то черноволосая женщина. Клумак отступил на шаг, чтобы его, часом, не заметили, но теперь уж он не упустил бы и слова из беседы, которая шла там, за столом.

«Да где ему — либо погиб, либо убежал за горы», — говорила одна из молодых.

«Ой, нет! Близко он! Здесь!» — твердила женщина.

«Бросьте, кума! Еще беду накличете. Пустое говорите!»

«Не пустое! И не боюсь я. Знаю! Доподлинно знаю!»

Через какую-нибудь минуту Гаврило Клумак юркнул из комнаты во двор. Туда, следом за ним, выскочил и корчмарь Репижка.

— Что так скоро, пан Клумак?

— Дела много.

И словно бы между прочим:

— Там молодницы какие-то сидят... Не наши, видно...

— Из Ясеней... А чернявая между ними — Явдошка... Непутевая! С кем-то из Борканюков живет... Может, интересуетесь, пан Клумак?

— Да нет... К слову только...

И пошел Гаврило Клумак. Поскрипывал снег под ногами, над долиной с криком летало воронье, дух захватывало от мороза.

Не только от мороза. «Наш Олекса» — ведь так называют и в Кленах и во всей округе только Олексу Борканюка. Это о нем шел разговор в корчме.

Гаврило Клумак остановился, поглядел на горы, на верховинские хаты. Было утро, и там всюду струились дымки. А может, где-то в одной из хат сидит и Олекса Борканюк? И наверное сидит — это была не пьяная болтовня в корчме.

Клумак шагал по улице, миновал сельскую управу, продолжая раздумывать, и вдруг, заметив, что преподобный отец идет править службу, решительно повернул, подошел к нему.

— Давненько я не видал вас, пан Клумак, — сказал о. Федор. — Что-то не заходите.

— Все хлопоты на бутине. Фирма Клумак и компания! Сами знаете...

— Фирма фирмой, но бога забывать тоже не следует. Без него, сами знаете...

— Вот потому-то и шел я к вам, духовный отец, — проговорил печальным голосом Клумак. — Исповедаться бы мне.

— Идем, сын мой, идем!

И перед алтарем, в левом притворе церкви, где никого еще не было, а только сторож Кузьма протираал киоты и паникадила, Гаврило Клумак оперся руками на аналой, блеснул глазами и сказал:

— Борканюк близко ходит.

— Что? — вскрикнул о. Федор. — Как вы сказали?

— Да тише, — сурово процедил Клумак.

Но громкий возглас о. Федора уже услышал сторож Кузьма.

— Звали, преподобный отец? — проворно подошел он к священнику.

— Положите голову, сын мой, на аналой. — О. Федор

замахал на Кузьму руками и обратился ласково к Клумаку: — В чем грешны, сын мой?

— Грешен, отец духовный... — положил голову на аналой Клумак.

Кузьма заковылял по церкви, и Клумак с о. Федором, наклонясь над аналоем, продолжали беседу.

— Боже мой! — сказал о. Федор. — Где же он?

— Думаю, что в Ясенях.

— Думаю! Этого мало! Нужно скорее действовать... В Рахов — там капитан Чакши...

— Вот я и хотел... Может, вы бы поехали, батюшка?

— По духовному моему сану неудобно. А может, Репаша?

— Не годится, отче.

— А вы, пан Клумак? — зашептал о. Федор. — Это великое дело. Слышите? Сам бог благословил...

— Нет! — проговорил Клумак. — Не могу...

— Тогда Магарычка...

— Магарычка?

В церковь в эту минуту вошло несколько человек, и о. Федор и Клумак поняли, что им уже не удастся поговорить.

— Так и сделаем... Благословите меня, отче.

— Властью, мне от бога данною, — сказал о. Федор, — прощаю и разрешаю ты...

Клумак шел дальше по улице и остановился у дома Ивана Магарычки.

— Пан писарь! — стукнул он в стекло. — Вы дома?

— Кто там? — крикнул Магарычка и через минуту вышел на улицу.

— О, это вы, пан Клумак, — подобострастно согнулся он. — Входите, прошу вас, входите. Простите, у меня беспорядок...

Хата Магарычки состояла из одной-единственной комнаты. Клумак обвел глазами голые стены, незастланную постель, стол, на котором стояла пустая бутылка и два стакана.

— Плоховато живете, пан писарь. Жениться бы вам...

— Не хватало еще жинку кормить. Черт с ней! С этих верховинцев заработки никудышные, из горла приходится вырывать.

— Садитесь же, — сказал коротко Клумак, словно он был здесь хозяином.

— Спасибо,— ответил Магарычка.— И верно, сядем, пан Клумак.

И они уселись за стол друг против друга.

— Живете вы, признаюсь, бедно,— начал Клумак.— Писарь, образованный человек и... такая грязь. А как бы вы поступили,— вдруг спросил он,— если бы кто-нибудь вломился в ваш дом и забрал то, что вам принадлежит, забрал, к примеру, десять тысяч пенге?

Писарь тревожно взглянул на сундук, стоявший в углу, и заохал:

— Откуда у меня десять тысяч? Да я кричал бы на все село...

— Пан писарь,— подмигнул Клумак,— я знаю, что у вас не один раз по десять тысяч найдется. Но криком делу не поможешь. Вы бы кричали, а злодей тем временем руку в сундук — и десять тысяч пенге как не бывало...

— Да я бы ему в горло впился. Я бы...

— О, это мне нравится,— подстрекнул его Клумак.— В горло... это вы правильно. Что мое — то мое, и никто на него не имеет права... Ведь так?

— Конечно, так,— живо откликнулся Магарычка.— Но к чему это вы, пан Клумак?

— А к тому,— сказал Гаврило,— что десять тысяч пенге у нас почти в кармане, но они могут и уйти.

— Я слушаю,— наострил уши Магарычка.

— Никому ни слова. И этому вашему Золтану Репашу.

— Да ведь это дурень, а не председатель. Он у меня вот тут, под ногтем.

— Понимаю... Гармония!

Некоторое время в комнате стояла тишина. Магарычка ждал.

— Борканюк здесь,— проговорил Клумак.

— Ой! — вскрикнул Магарычка.

— Чего вы испугались? — усмехнулся Клумак.— Ведь это я перед вами.

— Но как же это? Где он?

— Слушайте, Иван,— сердито крикнул Клумак.— Я жалею даже, что зашел к вам.

— Да нет же, я слушаю...

— Нужно собираться в дорогу. Я вам дам машину и в придачу двух жандармов. Немедля в Рахов.

Послышались шаги возле хаты. Кто-то, прислушиваясь видно, остановился у стены, постоял минуту, а тогда сделал еще шаг и тихо постучал в дверь.

Явдоха опрометью выскочила в сени, прижалась к двери, в щели которой свистел холодный ветер, и, хотя узнала позднего гостя, спросила:

— Кто там?

— Я, Явдоха!

— Зараз, зараз.

Она хотела скорее открыть, но засов примерз к щелчке, да и руки дрожали.

— Входи, Олекса.

Вошли в темную хату.

— Спят дети?

— Спят. Что им?

— Ну и хорошо. А я пришел еще раз,— проговорил он и, подойдя в темноте к столу, сел.

— Далеко ходил, Олекса?

— Случалось, и далеко. Всюду хочется побывать. Но ничего, все благополучно, поеду дальше...

— Теперь надолго?

Борканюк обернулся к окну, из которого лился тусклый свет, и поглядел на заснеженную долину.

— Нет,— ответил он,— ненадолго. В горах мне больше нельзя быть. Поеду в города — на фабрики, заводы. А к весне снова в горы. Лишь бы только до тепла.

— Ой, Олекса, берегись.

— Берегусь, Явдоха,— сказал он.— Разве впервой?

Она спросила ласково:

— Может, ты хочешь есть, Олекса?

— И правда,— ответил он.— Давно не ел. Только найдется ли что у тебя?

— Найдется. Купила кой-чего в лавке на те деньги, что ты дал. Спасибо.

Она в темноте поставила на стол еду. И он поел с охотой, потому что издалека шел, устал. Сладок был этот кусок хлеба в родном доме, среди своих людей.

— Спасибо,— сказал он, поев, и спросил: — Василь был?

— Дважды заходил. Хотел тебя видеть...

— А кроме Василя, больше никого?

— Забегала Явдошка, любка Василева. Видно, его искала...

— Не правится она мне,— сердито сказал Олекса.— Знает кума — знает полсела. Все в корчме она, все со своими кумушками. И Василя губит, отрывает от семьи.

— Это правда,— согласилась Явдоха.— Да тут она ничего не видала. Что ей лясы точить?

— Все же надо скорее уходить с гор,— заметил Борканюк.— Зовет меня долина. А весной сюда... Эх, Верховина, край милый наш...

— Когда б весна,— вздохнула Явдоха.

— А теперь,— сказал Олекса,— я на часок опять в угол. За печь. Радио послушаю, кое-что напишу. Может, я, Явдоха, посплю малость, так ты меня разбуди... После полуночи... Не проспишь?

— О нет, Олекса!

Борканюк полез в угол за печью, где устроил ему приют брат Василь. Там стоял радиоприемник. Блеснул огонек, послышалась музыка, потом и голос...

Явдоха задернула за ним занавеску, подмела пол, вышла во двор и долго, прислушиваясь, стояла у хаты, с той стороны, откуда задувал холодный северный ветер «Поляк».

Всего на час заснул Борканюк... Позади были дни напряженной работы, трудная дорога в горах, ночлеги в зимовьях, на полонинах, в заметенных снегом горных хижинах, в заброшенных сторожках лесников.

Но он, казалось, не замечал усталости, гнал от себя мысль об отдыхе. Это все придет после, после!

Борканюк видел много людей, встречался с ними, беседовал. Перед ним вставала страшная и тяжкая повесть. Да, фашисты натворили много зла в Закарпатье. Сколько схвачено и уничтожено трудящихся людей! И каких — молодых, смелых, передовых! Они их ловили и гнали в концлагери, фашистские карательные отряды окружали села, мобилизовали население, чтобы послать на строительство военных линий в Карпатах и на восточный фронт. Карательные отряды рыскали по всему Закарпатыю и грабили население, отбирали у него все до последнего зерна и питки. Страшную и тяжкую повесть слышал Олекса Борканюк...

Но он слышал и другое, то, что наполняло его радостным волнением, заставляло сильнее биться сердце, вливало новые силы.

Несмотря на весь гнет, преследования, кровавые расправы, живет, существует, действует Коммунистическая партия. Глубоко в подполье живет их организация, но коммунисты неутомимо подтачивают, разрушают, уничтожают холод и мертвечину фашистской зимы.

Коммунистов ловят, гонят в лагеря — на муки, на смерть! Но на место одного сразу становится другой, и этот другой действует с двойною, тройною силой — за себя, за того, кого он заменил, за всех родных людей.

Враги хватают и гонят бедноту Закарпатья на строительство военных линий в Карпатах и на подступах к ним. Борканюк видел этих людей. Да, горько и больно чувствовать, что ты кладешь камень в крепость, которую фашисты строят для того, чтобы воевать с тобой, с твоими братьями...

Но один из людей, бежавших с линии Арпада, сказал Борканюку:

— Слушайте, Олекса! Если они похваляются победами над Красной Армией и так далеко зашли на восток, то, спрашиваю я вас, зачем им строить эту линию Гарпада? Это, извините, напоминает мне другое... когда пятки салом мажут.

И все вокруг засмеялись.

— Так и есть! Верно! Зачем?

Нет, неспроста строят фашисты на Карпатах линию Арпада, а Борканюку рассказали, что и в предгорьях построено еще много складов, аэродромов, подземных укрытий... Где-то далеко на востоке протянулся фронт, но фашисты чувствуют, знают, что им придется катиться назад...

Людская сила! И здесь фашисты испытывают недостаток. Восточный фронт оказался не таким податливым, как думалось. Каждый шаг по захваченной территории полит их черной кровью. Они пробовали в оккупированных районах мобилизовать в свою армию чехов, словаков, украинцев. Но трудовой народ бежал от мобилизаций, скрывался в горах и лесах...

И то, что увидел в Закарпатье Олекса Борканюк, заставляло сильно биться его сердце, заставляло трудиться, не жалея сил.

Еще раз проверены и приведены в боевую готовность коммунистические ячейки в горах. Берегитесь, фашисты,—они скоро себя покажут.

Борканюк наладил связь и с краевым комитетом. Он действует в долине, действует в нескольких местах. Условия работы в подполье, необходимость сохранять самую строгую конспирацию потребовали, чтобы члены комитета действовали в разных местах — в Ужгороде, Мукачеве, Хусте... Они работают, действуют, ждут Борканюка...

Борканюк проснулся, разбуженный шумом, звоном разбитого стекла, криком племянницы Анки. Он понял: случилось что-то непоправимое, вскочил на ноги, рука потянулась к револьверу...

Темноту в хате рассекали лучи множества фонарей. Зияло выбитое окно. Дверь в сени была настежь распахнута. В углу стояла Явдохá, Анка и Иван. А у порога с поднятыми автоматами толпились жандармы, и позади них в сенях визжал офицер:

— Да берите его, берите! Стреляйте!

Миг, один только миг! А сколько мыслей промелькнуло! Защищаться? Но жандармы нацелились и в него, и в детей, стоящих в углу... В чем виноваты эти дети? И Явдохá с ними — она мать, ей еще растить и растить деток. А самому как быть — умереть в эту минуту?.. Страшно, очень страшно попасть в руки жандармов, но ведь и заключенный он сможет бороться...

«Только бороться!» — решил он.

— Ну, что же вы смотрите? — громко спросил он. — Да, я — Борканюк.

Жандармы накинулись на него, как голодные псы, люто били, связали руки.

— Крепче его вяжите, — визжал офицер в сенях.

— Да я уже связан! Подойди ближе, погляди! — не выдержав, крикнул ему Борканюк.

Сжалось от боли сердце, когда увидел, как жандармы толкали Явдоху в спину, а кто-то из них плетью ударил Анку. Девочка глянула широко раскрытыми глазами на дядю и... не закричала, только прижалась к матери. Обои их вывели во двор.

— Обыщите все! Ломайте стены, печь! — шипел офицер.

Разбили радиоприемник, забрали газеты. На полу валялись обломки кирпича, осколки стекла, ложки.

— Ведите его! — офицер первым выскочил из хаты.

Было еще далеко до рассвета. Луна сияла где-то в вышине, но все небо затянули тучи, только призрачный зеленоватый свет разливался кругом, и все вокруг — горы, покрытые снегом деревья, поломанный плетень, куча хвороста у порога, — все было такое колдовское, серое. А тут еще и мороз... Не стихал северный ветер.

«Но где же он — предатель? — упорно думал Борканюк. — Неужели обычная облава?»

Нет, это непохоже было на облаву. Капитан и трое жандармов бежали впереди. Далее шагал Борканюк. Позади топотало еще несколько жандармов. Куда девались Явдоха и дети — Борканюк не видел.

Спустились с горы. Дошли до первых хат. Темно было повсюду, пустынно, тихо. Капитан и жандармы в селе сбавили шаг.

Борканюк зорко разглядывал улицу, черные окна хат. Ясени! Родное село... Черная Тисса шумит в берегах. Лениво вертятся колеса мельниц на горном потоке. Стоит над рекой двухэтажный дом туристов. Вон там, вдали над рекой, моргает желтыми окнами здание сельской управы. А дальше, через дорогу, — шатровая церковь с несколькими куполами.

Спят люди! Нет, не все спят! Может, и заснули местные богачи. Но не спит, думает тяжкую думу о завтрашнем дне убогий верховинец. Наверно, сидит кто-нибудь из них в эту минуту у окна, думает, что делать дальше, как быть? Ведь пост на пороге, первая неделя великого поста в постоянно нищем, голодном житье... Если и заснул бедняга, то и во сне проходит перед ним его тяжелая доля, и во сне тяжело ворочается он, сжимает кулаки, — знает, понимает, что не может быть так, как хотят климпуши, клочуряки, клумаки, репаши, попы и жандармы, а должно, непременно должно быть так, как говорят коммунисты... Нет, не спит труженик.

Но и враги не спали, видно не брал их сон. Когда

дошли до сельской управы, Борканюк увидел, что у ограды стояло еще несколько жандармов, ясеновские богачи, даже Клумак и Магарычка из Кленов...

«Вот кто!.. Они! — подумал Борканюк. — Псы делают свое дело».

3

Ласло Потоки пришел на тартак еще до полуночи. В этом ничего не было удивительного, — Клумаков тартак работал в две смены: по двенадцать часов каждая смена волокла с берега бревна, подавала их к пилам, складывала в штабеля готовую продукцию. А механик должен был следить за работой и первой и второй смены, должен был добиваться, чтобы работали все рамы.

Правда, достичь бесперебойной работы на тартаке не удавалось. Еще тогда, когда работа шла в одну смену, случались аварии — то под пилу попадало бревно, в котором был железный крюк, то рвался пас, то никак нельзя было запустить машину.

Злился Дмитро Клумак, приходил в бешенство Гаврило.

— Что такое? — кричали они. — До каких это пор? План военного министерства! Зачем мы брали охрану? Куда смотрите вы, Потоки?

— Что мне делать, пан Клумак? — говорил каждому из братьев Потоки. — И что делать нашим жандармам? Попалось бревно с крюком, но когда и кто вбил этот крюк? Он весь заржавел в дереве. Может, на бутине, может, на сплаве — все может статься. А разве я вам не говорил, что давно пора сменить пасы? Ведь это гнилая ветошь, а не пасы. Опять-таки учтите: тартак будет хорошо работать только тогда, когда у нас будет не румынская болтушка, а настоящее горючее.

Механик был прав — машины на тартаке изнашивались, пасы погнили, горючее — третьего сорта.

Но разве могли Клумаки уступить? Они старались всюду украсть, хотя бы и у самих себя.

— Знаем эти выдумки! — кричали они. — Лодыри, опришки! И вы, вы смотрите, Ласло!

Когда же пыл Клумаков иссякал и они уходили с

тартака, механик молча провозжал их до ворот, долго, с ненавистью глядел им вслед.

«А пасы будут рваться, рамы — простаивать, крючья в бревнах все равно будут,— думал он, осматривая двор тартака.— Найдется крюк и для вашего волчьего сердца».

И теперь Потоки пришел на тартак еще до полуночи, побывал у реки, где от длинных штабелей над водой сельская беднота на полозьях возила к тартаку бревна; постоял возле рам, где из темноты к пилам, точно большие белые пальцы, тянулись и тянулись очищенные от коры сосны; потом заглянул в гараж, где стояли грузовики, полученные Клумаками в военном министерстве.

— Готовы? — спросил Потоки у шофера, молодого еще хлопца Хомы.

— Хоть и сейчас.

— В два часа... Как условились.

— Слушаю, пан Потоки.

— А из Рахова машина вернулась?

— Недавно проехала по селу какая-то машина. Но, видно, не наша.

— Странно,— сказал Потоки.— Магарычка обещал сейчас же возвратиться...

Его беспокоило и удивляло то, что, по распоряжению Клумака, Магарычка так неожиданно выехал в Рахов... Но в коммерческих делах Клумаков такие случаи бывали уж не раз. Наверно, новая тяжба с «Латорией»: может, надумали Клумаки перекупить новые лесные деланки... Крутят богачи и крутят... Жулье!

Он думал о другом. Скоро полночь. В два часа ночи Ласло выедет на шоссе, ведущее из Ясеней в Рахов, и там будет ожидать. Если кто-нибудь встретит машину, у них есть ответ — доски на Рахов. Ведь они их возят без конца. И машина уже загружена ими.

За ночь машина уйдет далеко, минует Рахов... Днем им также есть где переждать — по дороге ждут Борканиюка. А там — Мукачево, Ужгород!

Во втором часу машина выехала со двора лесопилки. Дежурный жандарм сам запер за нею ворота.

— Снова в Рахов, пан Потоки?

- Да... В Рахов...
- Так лучше бы днем.
- Днем будет другая работа.

Ласло Потоки ждал вплоть до рассвета. Он прислушивался к каждому звуку. Он ждал, так нетерпеливо ждал знакомого, родного голоса.

Но тихо было окрест. Доносился только проклятый, отчаянный, острый свист пил с места его каторги — лесопилки Клумака. В горах зажигалась заря, и лучи ее тонкой паутиной стлались по долине. За ночь деревья покрыл иней, и они стояли кругом — звонкие, блестящие, будто стеклянные.

И тогда загудела машина — из Ясений. Это была их, Клумакова, машина. Когда она подъехала ближе, Ласло увидел: в кабине, рядом с шофером, сидел Гаврило Клумак, а в кузове дрожали от холода писарь Магарычка и два жандарма.

Клумак вылез из кабины.

— Что это вы здесь остановились, Ласло?

У Потоки был готов ответ:

— Есть дело в Рахове... Новый пас обещали дать. А по пути досок взял...

— Так чего стали?

— Мотор застыл... Не заводится...

— А ну, дайте я... Погреюсь, а то что-то замерз.

Он крутнул раз и другой ручку... Заработал мотор.

— Видите,— сказал Гаврило Клумак,— вот и заработал... Эх, вы!

— Спасибо, пан Клумак,— поблагодарил шофер.— Ну, и сила у вас...

— Есть-таки! Э-эх!

Подошел и Магарычка. От холода у него сводило челюсти.

— А вы где были? — спросил Потоки.

— На бу-ти-не! — застучал зубами Магарычка.

— Да-да, на бутине,— подтвердил и Клумак.— Беспорядок... Подтягивать, подтягивать надо. А сейчас вот,— продолжал он,— ехали через Ясени, так нагледелись... Борканюка там поймали.

— Борканюка?

— Да, пан Потоки! Поймали... В подвале под управой сидит. А жандармов наехало! Сила...

— Что ж,— сказал, на первый взгляд совсем спокойно, Ласло Потоки.— У каждого человека своя история, как говорил мой отец. Видите, как случилось...

— Теперь уж ему досталось,— кинул Клумак.— А вы, пан Потоки...

Он помолчал.

— Вы, пан Потоки, поезжайте на Рахов. Доски мне дороже Борканюка.

— Что же! — сказал механик.— Еду, пан Клумак. К обеду вернусь.

Машины разъехались.

— А теперь поехали,— приказал Потоки шоферу.— Скорее в Рахов. Там должны знать!

4

Капитан Чакши чувствовал себя героем. Произошло то, о чем он мог только мечтать. Да и мечтать об этом он не смел. Чакши хотел, чрезвычайно хотел, чтобы Борканюка поймали. Теперь начнут писать все газеты, будут писать, конечно, не так, как было, а как выгодно — будто бы произошел бой, будто бы кто-то из них еще и бежал (нельзя же ослаблять борьбы с коммунистами!), газеты напечатают и фотографию капитана Чакши. А дальше его ждет повышение по службе, можно считать, что у него уже висит на груди крест Народной обороны, пройдет немного времени, и в его карман попадет десять тысяч пенге...

Что эти десять тысяч пенге попадут только к нему, капитан нисколько не сомневался. Кто ездил то и дело на Верховину? Кто гнал отсюда в концлагери бунтовщиков? Кто больше всех давал себя знать верховинской бедноте? Известно — капитан Чакши. А что сделали Клумак и Магарычка? Только донесли! Подумаешь, какое геройство! Будучи сам негодяем и зная цену своей подлости, капитан Чакши дешево расценивал подлость ему подобных. И даже чем дешевле стоила клевета, донос других, тем, казалось, дороже была его собственная подлость. «Не донесли бы Клумак и Магарычка,— думал капитан,— донес бы кто-нибудь другой». Представить себе, что мир может существовать без подлости, он

никак не мог. Главное было — взять Борканюка. А это сделал капитан Чакши.

Когда Борканюка бросили в подвал, Чакши поставил часовых, приказал жандармам караулить в селе, а сам отправился в сельскую управу. Он сильно замерз: ночь была холодная. Но дело было не только в морозе. Капитана трясло от страха.

В комнате было тепло. Капитан выкурил несколько папирос. Насвистывая новую песенку: «В России слабо ходит почта, уж год, как нет от милого письма», — которую он слышал в ужгородском ресторане «Корона», капитан вышел на крыльцо к жандармам.

— Сидит? — засмеялся он.

— Да, пан капитан.

— Молчит?

— Да, пан капитан.

— А те, кого взяли вместе с ним?

— Заперты в сарае.

— Зажгите свет и идем!

Жандармы долго отпирали тяжелую дверь подвала, сами вошли первыми, за ними вошел и капитан.

Несколько голубоватых лучей от фонариков вспыхнули один за другим, прорезали темноту подвала, метнулись по выложенным кирпичом стенам и скрестились в углу. Там стоял Борканюк.

Руки его были связаны за спиной, глаза слепили лучи фонарей, он не видел, кто это вошел и остановился на пороге. Но все же он стоял ровно, спокойно смотрел вперед, словно спрашивал: «Ну, что вам теперь нужно?»

Никто из жандармов не шевелился, несколько долгих минут в подвале продолжалось молчание. И Борканюк ждал, все смотрел вперед.

Только тогда из темноты выступил, с револьвером в руке, и пошел вперед короткими, какими-то прерывистыми шажками, точно подпрыгивая, капитан Чакши. В полосу света от фонариков оказались Борканюк и капитан.

Презрительная улыбка пробежала по лицу Борканюка — так вот каков тот командир, который испуганно кричал из сеней: «Эй, жандармы, берите его скорее! Стреляйте!» — «Ничтожный, трусливый жандарм», — сказала улыбка Борканюка.

И это, должно быть, без слов понял Чакши, — он вдруг сделал еще один прыжок, размахнулся и, сколько

у него было сил, ударил Борканюка. Но тот даже не дрогнул и не пошатнулся от удара. И Чакши принялся бить Борканюка обеими руками, приговаривая: «Раз... два... три...»

— У меня связаны руки,— раздался вдруг голос,— и я не могу тебе ответить. Но за меня отплатят другие. Берегись, мерзавец!

— Бейте его, бейте! — кричал Чакши, повернувшись к жандармам.— Да бейте же, бейте!

Только один фонарик не погас. Жандармы, как стая бешеных псов, накинулись на Борканюка...

Когда капитан через полчаса поднимался по лестнице из подвала, он не чувствовал желанного удовлетворения. Ему казалось, что не он только что бил Борканюка, а его самого избили.

«Берегись, мерзавец!» — казалось, слышался голос из подвала.

— Ну, что? — поднялся навстречу капитану писарь Магарычка,— он дожидался в сельской управе.— Я, знаете, одну опрокинул, а все что-то сон меня не берет. Я все слышал,— добавил он, указывая на пол.— Тут устроено так, что снизу все слышно. Что же, он даже не кричал?

— Что вам надо? — сердито сказал Чакши.— Чего вы сидите тут? Убирайтесь, писарь, в свои Клены, слышите? Убирайтесь, говорю...

— В Клены ночью? О нет, не пойду! И пан Клумак ночует в Ясенях... Ночь, горы! — сморщился Магарычка.— А кроме того, я хотел договориться с паном капитаном насчет награды за свою работу. Сколько я старался, пан капитан!

— Вы напились и городите черт знает что. Какая награда? Нужно еще разобраться, кто и сколько сделал. Ступайте! — крикнул капитан, но вспомнил, что там, внизу, может быть, все слышно, и тихо закончил: — Ступайте же, ступайте, я вам говорю.

— Ай-яй-яй, какой скупой пан капитан,— проговорил писарь.

Пятясь, как побитый пес, он выскользнул из комнаты, но до самого утра вертелся возле управы, боялся сделать дальше хотя бы шаг.

А капитан между тем сел за стол и заметил, что весь, точно в лихорадке, дрожит. Дрожали руки, сводило ноги, дергалась даже голова.

Это было не что иное, как животный страх. Страшно, очень страшно было капитану Чакши. На крыльце управы стояли жандармы, они окружали двор, сторожили у дверей погреба, где сидел Борканюк, у сарая, шныряли по улицам. А все же капитану Чакши было страшно.

— «В России слабо ходит почта, уж год, как нет от многого письма», — пробовал насвистывать он.

Но свиста тоже не получилось — несколько странных звуков. «И не будет этого письма, — подумал капитан. — Тот, в России, уже получил свою пулю... Что сказал этот коммунист? «Берегись, мерзавец!» Чакши поднял голову, посмотрел на окна. Ставни закрыты. Подошел к дверям — в соседней комнате разговаривали жандармы. Да, и ставни закрыты, и жандармы сторожат, а все же может быть, что «они» в эту минуту спускаются с гор, может быть, крадутся к управе, идут во мраке, готовы накинуться на жандармов, и тогда...

Еще было далеко до рассвета, когда Чакши распахнул дверь в соседнюю комнату и крикнул:

— Жандармы!

Несколько человек вскочили.

— Где Ирш?

— Я — Ирш, пан капитан.

— Иди сюда, — приказал Чакши. — Отвези машиной этот пакет начальнику жандармерии в Рахове и немедленно возвращайся назад.

Заревела под окном и помчалась по улице машина. Капитан Чакши вышел на крыльцо, нервно курил папиросу за папирсой.

«Так-то лучше, — подумал он. — В селе «они» ничего сделать не посмеют, но на Раховской дороге можно ожидать засады. Зачем мне рисковать? Пусть посылают подмогу».

Занялся уже день, из-за гор вырывались солнечные лучи, и у Чакши совсем отлегло от сердца. Ему даже захотелось есть, и, проверив часовых у подвала и взяв с собой нескольких жандармов, он устремился в Клены, в поповский дом.

— Слышал, слышал... — встретил его еще в прихожей о. Федор. — В селе только об этом и говорят. И откуда они обо всем знают? Что же, поздравляю от всего сердца.

В столовой вместе с попадьею завтракала Мария. Она очень тепло поздоровалась с капитаном и подарила его многозначительным взглядом.

— Вот теперь вы мне начинаете нравиться,— сказала она.— Это настоящее геройство. А знаете, я никогда еще не видала этого Борканюка. Расскажите мне, каков он из себя и как все это произошло.

И капитан подробно рассказал о событиях прошедшей ночи, конечно не так, как было на самом деле, а как рисовали его воображение и честолюбие. Он выдумал множество рискованных, невероятных моментов, каких не было в действительности, врал бесстыдно, нахально. Про Клумака и Магарычку он ничего не сказал, а ограничился пренебрежительным: «моя агентура»...

— Понимаю,— заметил на это и почему-то улыбнулся о. Федор.

У Чакши наконец перестали трястись ноги, движения его, как это заметила поповна, приобрели упругость и даже элегантность, он изрядно выпил, с аппетитом поел...

— О сильваш гомбоц! О панна Мария! — мечтательно говорил капитан.

— Мы приготовим вам не только сильваш гомбоц,— пообещала поповна.— На днях именины матушки, ведь она у нас Татьяна. Вы должны дать слово, что приедете на семейное празднество.

— Обещаю, уважаемая панна Мария, все, что вы пожелаете,— ответил бравый капитан.— Но дайте мне раньше закончить с этим Борканюком.

Попадья вышла на кухню, чтобы заняться своими домашними делами и не мешать беседе капитана с Марией.

— Вы посидите, поговорите,— поддержал попадью и о. Федор.— А я пойду помолюсь. Пастырь я, что поделаешь!

5

Еще задолго до полудня из Рахова в Ясени прибыло несколько грузовиков, а на них полсотни жандармов. «Так-то лучше,— подумал Чакши,— теперь нам нечего бояться».

Ирш привез капитану и пакет с приказом из округа.

«Вывозить Борканюка прилюдно, при полном сборе всего населения Ясеней и соседних сел...»

«Вот как! — подумал Чакши. — Забрать и привезти прилюдно... Что ж, это имеет смысл! Пусть голодранцы поглядят на своего коммуниста!»

Он приказал ясеновскому бирову собрать людей.

И в Кленах довелось Савве Шепе ходить по всем концам села, выкрикивая:

— Эгей, люди! Пан биров приказал всем собраться к сельской управе...

Был невыразимо печален в этот день бой барабана, и очень грустный голос был у сельского бохтара. Да и сам он, казалось, на десять лет постарел за одну ночь.

— Скажите, дядя Савва, — чего это кличут?

— В Ясенях Борканюка арестовали. — И в этих словах была такая тоска...

Он мог бы рассказать, как ночью его разбудил писарь Магарычка.

— Вставайте же, Савва. Тут к нам люди приехали. Да живее, живее, вам говорят.

Савва вскочил и взглянул на прибывших. За столом сидел капитан Чакши, у стены стояло несколько жандармов.

— Проводите панов к Гаврилу Клумаку, — приказал Магарычка. — Да живо, не ковыряйтесь, Савва.

Была холодная ветреная ночь. С обеих сторон рядом с Шепой шагали жандармы. Как бы он хотел не идти с ними, не вести их к Клумаку! Ведь к чему все это идет? Днем Магарычка выехал вдруг в Рахов, возвратился с жандармами, теперь зовут и Клумака. Что они надумали?

Будь у него сила, водил бы этих жандармов всю ночь, вывел бы их к пропасти, сказал бы: «Теперь хоть убейте, а дальше шагу не ступлю».

Но не было у него такой силы, довел жандармов до Клумака, постучал в калитку. Клумак словно ждал их, сразу вышел, чуть не побежал с жандармами в управу. А потом Клумак и Магарычка поехали с жандармами за село.

«К кому податься? — думал Шепя, стоя на крыльце и глядя в темноту. — Ведь идут они, чтобы кого-то взять, убить!»

Теперь Савва знал, куда водили ночью Клумак и Магарычка жандармов, знал, кто выдал Борканюка.

Бил, бил барабан во всех концах села.

Люди знали — сидит Борканюк в Ясенях, приехали жандармы, будут казнить Олексу. Они ни за что не пошли бы на эту кровавую расправу, но по всем Кленам рассыпались жандармы и то здесь, то там для остротки начинали стрелять. Приходилось идти — страшная видимая смерть.

Так в Ясенях собрались люди из разных сел, стали вдоль ограды сельской управы. Холодная вражда, злоба к жандармам, окружавшим их, светились в глазах людей. Они молчали, но один другого понимали и без слов — вот несчастье, вот горе-горькое!

В это время тучи поползли за перевал и заголубело небо, на горизонте вырисовались покрытые снегами горы. Солнце заглянуло и в долину, с крыш посыпались на снежок и пробили черные следы капли талой воды. Но люди не видели солнца, не чувствовали тепла — вокруг них, казалось, расстилалась черная, безрадостная, холодная ночь.

На солнышке у стены сельской управы грелись важные особы: ясневские Климпуши, Ключуряки, кленовчане — о. Федор Стрыпский, Репаша, оба Клумака, писарь Магарычка. Подле о. Федора стояла и Мария: она не могла пропустить такого случая — увидеть живого коммуниста. И Гаврило Клумак и Магарычка не подавали виду, что и они причастны к аресту Борканюка, — были, казалось, растерянны, озабоченны.

На крыльцо то и дело выбегал капитан Чакши. После завтрака у о. Федора капитан был сильно под хмельком, весел и оживлен. Стоя на крыльце, он перебрасывался словом-другим со священником, Клумаками, улыбался Марии, а затем оборачивался к ограде и холодно, равнодушно наблюдал, как жандармы гонят людей.

Наконец он решил, что уже пора, и вышел на крыльцо, одетый, как в дорогу, в шинели, при оружии. Капитан что-то приказал жандармам, и во дворе сельской управы затарахтели машины.

Борканюка вывели из подвала. За ним и вокруг него шагали несколько жандармов. Капитан Чакши быстро сбежал с крыльца.

Недалеко от управы Борканюк остановился и спокойным взглядом обвел людей. Голова Борканюка была открыта, руки связаны за спиной, лицо бледно, глубокая рана зияла на виске. Но это был тот же Олекса Борканюк, которого они так хорошо знали.

— Чего стал! — крикнул Чакши.

Борканюк обернулся, легкая усмешка пробежала по его лицу.

— Спешешь? — спросил он. — Разве некогда?

— Живо! — завопил Чакши.

Борканюк пошел дальше, так, словно не было вокруг него стражи, словно и мысли у него не было о том, что, может быть, там, в конце площади, где к земле склонилась верба, ждет его смерть. Он шел твердо, уверенно, чтобы люди знали, что все те муки, какие ему довелось испытать, все те муки, какими ему угрожают, и даже неизбежный конец — не сломят его духа, не поколеблют волю. Это шел гордый, решительный, непоколебимый сын Карпат.

Он шел медленно, как бы в раздумье, но в то же время внимательно смотрел кругом, увидел Климпушей, Клумаков, о. Федора, Репаша, писаря и так посмотрел на них, что те сразу утратили бодрый вид и потупились; встретился затем со взглядами верховинцев, — они тревожно, с глубоким беспокойством следили за каждым его движением.

Борканюк взглянул в глаза художнику Короджию, увидел Сегиня. Печально было лицо чабана, он покачал головой, словно спрашивал:

«Что делать теперь, Олекса?»

Олекса выше поднял голову.

«Еще не все кончено, вуйко».

Дальше и дальше вели его жандармы. А он видел все больше и больше родных людей. Капитан кричал: «Шоферы, скорее!»

Борканюк остановился — на этот раз недалеко от Тиснянчихи — и встретил ее скорбные материнские глаза.

Капитан также остановился, остановились жандармы. Еще раз крикнул Чакши: «Да где же шоферы, о чем они думают?»

И тогда засмеялся Борканюк. Так вот для чего за-
тесал весь этот спектакль капитан! Он хотел напугать его,
Борканюка, он хотел нагнать страху на верховинскую
бедноту. Но все идет не так, как думал капитан, не на-
пугать ему Борканюка, и в глазах у лесорубов, боко-
рашей, бедняков, батраков — не страх, а что-то другое —
неумолимое, грозное.

Обрадовался Борканюк. Есть у него одна минута, так
нужно воспользоваться ею. Он поднял голову и крикнул
так, чтобы его слышали все:

— Прощайте! Боритесь, люди! Я еще вернусь к вам!

В ответ зашумело, вихрем понеслось по площади:

— Слышите, люди? Олекса говорит, Олекса! Олек-
са!

Яростно завопил капитан Чакши, жандармы встали
перед Борканюком, подняли винтовки.

— Ну, стреляйте! — крикнул Олекса. — Бойтесь? Что ж,
капитан, не даешь команды? Берегись, эй, берегись,
мерзавец!

Несколько жандармов бросились к Борканюку. Уже
подъехали машины. Его повалили в кузов. Туда же
прыгнули жандармы. Капитан Чакши вскочил в кабину.
Вдоль горного потока, по дороге в Рахов, помчались ма-
шины.

Глава четвертая

1

Ржавый дымок от машин долго еще клубился вдали.
Некоторое время доносился рев моторов, а потом ста-
ло тихо. Пыхтел только над речкой тартак ясеневского
богача Климпуша и отчаянно кричало воронье.

Гаврило Клумак говорил, глядя на опустевшую до-
рогу:

— Ну, теперь ему не видать гор. Закончилась комму-
нистическая лесенка. Что ж, едем домой.

А о. Федор спрашивал Марию, садившуюся в сани:

— Ты не замерзла? Вот я тебе ножки прикрою. Пан
Гербера, — звал он управляющего школой, — подсажи-
вайтесь к нам!

Скрипели сани, разъезжались в разные стороны. Расходились ясеновские богатеи, попы и ксендзы.

Молча, кутаясь в свитки и гуни, уходила с площади верховинская беднота. Оторвал холодную руку от жерди плетня и пошел в Клены учитель Короджий. Его никто не пригласил в сани. Да и лучше, что не пригласили,— пошел низом горы, задумчивый, молчаливый...

Какой долгий, а вместе с тем какой короткий был минувший день! Как много событий произошло за несколько часов! Ведь так недавно, нынче утром, Короджий, выйдя набрать ведерко воды, встретил у колодца управляющего Герберу.

— Пан учитель слышал новость? — спросил, улыбаясь, управляющий школой.— Ночью в Ясенях Борканюка забрали. Хочу пойти поглядеть. Может, и вы за компанию?

— Борканюка?! — начал... и сдержал себя Короджий.— Не слышал... Если так, пойду позже.

Когда Гербера одетый, как на праздник, направился в Клены, забежала Юлина.

— Ждала, пока управитель уйдет. Борканюка...

— Я уже слышал... Где и когда его взяли?

— Ночью... У жены его брата, Явдохи... Всех родичей забрали...

Одна, другая слезинка скатилась с глаз Юлины.

— Степан Шегута,— смахнула она слезы,— послал меня передать... Ночью, когда стемнеет, все соберутся у Сегиня.

— Это верно! Собирайте людей, Юлина, собирайте.

Тогда еще шевельнулась мысль — а может, удастся им вырвать Борканюка из рук жандармов?

Не удалось! Дымок от машин растаял вдали, и где-то далеко замолк их шум.

В школе было так пусто, холодно, глухо. Короджий остановился растерянно посреди комнаты. Вернулся от попа, прошел мимо окна Гербера. Вот заговорил с Руженой. Смеется! А Ружена молчит, смотрит вдаль. Гербера смеется все громче. Что ему? Сегодня он может смеяться.

И вспомнилась Короджию давняя ночь, когда сидели они с Борканюком в хате Явдохи у окна.

«Вы должны работать,— издалека, казалось, долетел задушевный голос Олексы.— Я уверен, что в вашей жизни, хотели бы вы этого или не хотели, будут минуты, когда вы не сможете не взять в руки свою кисть. И берите, берите!»

Слова Борканюка как будто не имели никакого отношения к этой тяжелой минуте. А все же это была та минута, о которой говорил Борканюк.

Короджий торопился. Он вспомнил, что в сенях настежь распахнута дверь, пошел и закрыл ее. Потом возвратился в комнату, достал ящик, вынул оттуда картон, палитру, кисти, раскрыл мольберт.

У окна, в которое еще потоком лился свет, он быстро набросал карандашом на картоне линию гор, очертания туч над ними, улицу, островерхие хаты на склонах, контуры людей на переднем плане.

Перед его глазами встало в мельчайших подробностях то, что только что ему довелось увидеть и пережить на площади, в Ясенях. Олекса Борканюк стоял перед ним...

О, как близко он видел его в эту минуту! Как точно, с какими мельчайшими подробностями представлял себе его. Это и была минута, когда художник отдавал все свои силы и душу, чтобы люди когда-нибудь увидели и знали, свидетелем каких событий он был. Подлинный мастер не может молчать в такие минуты, пережитое било в грудь, стучалось в сердце.

Олекса Борканюк — бледный, измученный, с запекшейся кровью на виске, с волосами, разметанными ветром, нестигаемый, гордый, с легкой улыбкой на губах,— он как живой смотрел с картины, говорил:

«Боритесь, люди! Я еще возвращусь к вам!»

Вечером Короджий собрался к Сегиню. Заметив, что управляющий вышел из сеней и смотрит ему вслед, Короджий завернул в сельскую управу. Там корпел над своими книгами Магарычка, что-то писал, что-то переписывал.

— Вы подумайте,— говорил писарь учителю, приглядываясь, будто изучая его сквозь свои очки.— Та-а-а-кое событие! Ах, ах, ах! Но теперь, я уверен, они пристреют. Это же не шутки — самого главного забрали.

Короджий просидел у писаря почти с час. Хотелось ответить канцелярской крысе резким словом правды. Но нужно было молчать. Да и что дало бы резкое слово?

Выйдя наконец из управы, Короджий снова огляделся по сторонам. То тут, то там, на фоне опущенных ине-ем деревьев темнели хаты верховинцев. Нигде не слышно было ни звука, нигде не светился ни один огонек, только поповский дом желтыми окнами, как коршун, жадно следил за селом.

На берегу горного потока, под деревьями, Короджий остановился. Вспомнилась ночь, когда они спускались с Борканюком с гор.

«Чудесно! — сказал тогда Олекса. — Какой чистый воздух! Как пахнет сосной!»

И теперь была такая же чудесная ночь. В вышине ярко горели звезды. На темно-синем небе вырисовывались хребты Карпат, угадывался шпиль Говерлы, ближе чернел Пиетрос, в сумраке виднелись склоны гор, долина...

И хотя Олекса Борканюк в это время был где-то далеко, но Короджию показалось, что он стоит рядом с ним, смотрит на эту горную красу.

«Может, кого-нибудь из нас в этой борьбе не станет, но это не должно останавливать нашего великого дела», — прозвучали, казалось, рядом с ним слова.

Тихий ветер повеял над долиной, ветви верб зашумели.

«Мы должны знать, какие трудности стоят перед нами, и глубоко верить в то, что наше дело правое и мы победим. Побеждают только сильные духом и готовые на жертвы...»

— Нет, — сказал Данило Ковач, — по-ихнему не будет. Я долго молчал, ничего не говорил, но сколько, сколько можно молчать? Товарищ Шегута, Степан, вот послушай!

Он перевел дыхание — без привычки трудно было ему говорить на людях. А тут хотя и темно в хате, но на скамьях сидят Шегута, Сегинь, чабаны, Короджий, Потки. Трудно было Ковачу говорить, да еще в такую минуту, но, волнуясь и подыскивая нужные слова, он все же продолжал, потому что разрывалась грудь, билось неудержимо сердце, душа его, казалось, кричала.

— Повидал я свет... Да, да! Все Карпаты знаю, ходил к чехам, венграм, в Америке был. А батко мой сколько мучился? Вы все знаете, так скажите, за что загинули братья мои, Гриць и Петро? Все из моего роду погибали, один за одним, как все трудящиеся люди на Карпатах. И никто из этих богатеев и пальцем не шевельнул, чтобы дать нам хоть что-нибудь — хоть кусок хлеба. И ведь не милостыню просили, не нищенствовали, — дайте, говорили, нам только то, что мы заработали. А Клумаки, Репаша, пан-отец последнее изо рта вырывали, обдирали до нитки и продолжают обдирать...

Сегинь вдруг поднялся со скамьи, подошел к оконцу, долго смотрел на заснеженный луг, возвратился на свое место. Все спокойно!

— Нет, не могу молчать, — сказал Ковач. — Враги наши воют там и воют тут. Рубят леса, разоряют горы, нас убивают. Эти подати, что сыплются на нас, как листья, голод в селе... А они — давай и давай. И никто не заступится. Только Борканюк заступился, прилетел за тысячи километров, чтобы помочь нам, чтобы стежку найти среди черных дорог.

Короджий слушал Ковача и вспоминал, как три года назад, осенним вечером, пришел Данило к нему в школу и рассказывал, что видел в Америке, спросил — как жить дальше? Он говорил тогда несмело, с тревогой глядел в завтрашний день, не знал, где та дорога, по которой дальше идти.

— Я знаю и вижу, — говорил теперь Ковач, — что если человек стоит перед фашистами и, может, погибнет от их пули через минуту, но говорит мне: «Ты, Данило, не падай духом, я возвращусь к тебе», — значит, это мой настоящий друг. Коммунисты нам помогут. Так я прошу тебя, Степан, прошу вас, люди, и присягаю — считайте меня коммунистом!

Теплая рука протянулась в темноте к Данилу Ковачу, еще одна, и еще чья-то рука... Какая минута! Да ведь это же все, все, что тут собрались,жимают ему руку, поздравляют...

— Я тоже скажу несколько слов, — слышался из угла тихий голос Ласло Потоки. — Должен! Ведь забрали Борканюка венгерцы, его где-то пытаются они же...

— Друг Ласло,— проговорил Сегинь,— ты о каких венгерцах говоришь?

— Я говорю о том,— ответил из темноты Потоки, и голос его стал гневным,— что венгерцы, которые когда-то кинули в будапештскую тюрьму и убили моего отца, венгерцы, которые сегодня забрали Борканюка, которые грабят, мучают, убивают трудящихся венгров, и украинцев, и чехов, и словаков,— я ненавижу этих венгерцев-фашистов и буду бороться вместе с вами против них.

— Ты это напрасно, Ласло,— сказал кто-то.— Мы давно тебя знаем и верим!

— Нет,— заметил Шегута.— Ласло сделал хорошо, высказав то, что велит ему сердце. Мы знаем тебя и верили тебе, Ласло, но теперь будем требовать от тебя еще большей, более напряженной работы.

Шегута стоял посреди хижины. На стене прочертился светлый квадрат оконца. Глаза, привыкшие к скупому свету, узнавали знакомые фигуры, угадывали лица.

— Товарищи! — тихо начал Шегута и почувствовал все необычайное значение этого их немногочисленного собрания в хижине Сегиня и значение каждого слова, которое тут было и будет сказано. Это — не обычные слова, а присяга, клятва.

— Они схватили Борканюка,— продолжал он.— Из наших рядов вырвали еще одного борца. Но все вы слышали, как говорил Данило Ковач, как высказывался Потоки. И так не только здесь, в Кленах. Когда-то товарищ Борканюк призывал нас, чтобы коммунисты множили и множили свои ряды, чтобы разъясняли трудовому народу на Верховине и в долине суровую правду жизни, чтобы и звали и вели его к победе... И все эти годы мы делали это, товарищи. «Никогда и никому не закрыть Коммунистической партии приказом»,— говорил Борканюк. Жизнь доказала, что это так... Арестовали одного, а на его место становятся новые.

Тихо было в хате, и никто из присутствующих не пропускал ни одного слова, они доходили до самого сердца.

— Вот и есть у нас здесь маленькая семья,— говорил Шегута.— Здесь, и еще во многих селах, по всей Верховине. Никогда и ни за что фашистам не убить тех слов, какие принес с востока Олекса.

И в эту минуту все они почувствовали, что и леса, и полонины, все Карпаты принадлежат им, они тут

подлинные хозяева, в их руках есть оружие, выкованное партией коммунистов, перед ними открывается тяжелый, но верный путь — путь борьбы и победы.

2

Первый раз машина остановилась в Рахове. Уже вечерело. В домах зажигались огни. Борканюка привели в помещение управы, находившейся неподалеку от костела.

Пришел солга-биров, раховский лесничий Шимонкай, одновременно состоявший правительственным советником. Пришел раховский священник Демьянович... Спектакль для них! Шимонкай засмеялся в лицо Олексе Борканюку, Демьянович, упитанный, краснощекий, стал перед Борканюком и дерзко кинул:

— Так вот ты какой, Борканюк! Узнаешь нас?

Борканюк узнавал и очень хорошо знал их. Разве не писали коммунисты когда-то в своей газете, что этот «витязь», «его превосходительство» (как он официально именовался) из «Латорицы», Шимонкай,—лютый враг рабочих, что всем им как огня нужно остерегаться этого иуды! А Демьянович! Кто как не коммунисты разъясняли трудящимся, что преподобный отец, который всюду кричит о русинах,—на самом деле шпион и предатель украинского народа, что крест на его груди висит только для того, чтобы удобнее держать нож в кармане... Выкормыш папы римского! Ишь как усердно служит фашистам! Уже и орден Народной обороны на груди...

— Так как же ты себя чувствуешь, Борканюк? — хищно спросил Шимонкай.

— Неплохо, пан лесничий. А вот по вас самая высокая сосна скучает...

— Ты смеешь?

— Да вы же сами это знаете, пан лесничий. Неужели до сих пор не слыхали?

Не выдержал и Демьянович:

— погоди, Борканюк, собьют с тебя спесь, кровью заплачешь...

— Эх, отче,—кинул ему Борканюк.—От ваших молитв бедные люди уже десятки лет кровью плачут...

Сколько вам заплатил за службу севлюшский помещик Айтлер? А сколько дал Хорти?.. За людскую кровь придется вам заплатить своею черною кровью...

Внезапно вошел растерянный капитан Чакши, что-то шепнул Шимонкаю и Демьяновичу, и те сразу исчезли.

— Ведите! — приказал Чакши жандармам.

Несколько десятков жандармов окружили во дворе Борканюка, бросили в кузов, машины тронулись...

Будь это днем, Борканюк мог бы видеть, что в это время произошло на улице перед зданием управы, и понять, почему немного позднее там раздалось несколько выстрелов.

Перед управой на улице собралось много лесорубов и сплавщиков, бедных жителей маленького горного местечка Рахова. Кто-то крикнул: «Где наш Борканюк?» Люди подошли к управе, начали трясти забор. Тогда и раздалось несколько выстрелов.

Машины ехали без остановки. Это была какая-то странная езда. Они проехали через село Великий Бычков, но далеко обогнули Солотвин, промчались через Буштино, но свернули в горы перед Хустом... В долине было ровное, асфальтированное шоссе на Севлюш, Береговое, но машины пробирались по занесенным снегом, непроезжим дорогам через Иршаву, где и летней порою трудно проехать...

Борканюк понял, почему его так везут. Не ради прогулки объезжают фашистские вояки рабочие поселки и города, где живет трудящийся люд Закарпатья... Они хвастают своими победами и бряцают оружием, но на деле боятся коммунистов, боятся трудового народа!

И вот — Мукачево!

Машина петляла по улицам и бешено подскакивала на выбоинах. Вокруг стояли и все заслоняли охранники с автоматами. Но по временам из-за борта машины виден был то один, то другой дом, и Борканюк узнавал их.

Какая знакомая улица! Светится окно в одном из этажей. Они с женой жили в этой комнате несколько лет.

Кто там стоял теперь у окна, глядел на ночную улицу? Враг или друг? А впрочем, все равно: новому обитателю старого их жилища и в голову не придет, что это за машина с ревом пронеслась по улице и исчезла за углом.

Еще один знакомый дом... Здесь помещалась редакция их газеты. Пробежала теплая волна воспоминаний: сколько долгих ночей провел он здесь, склонясь над столом, читая письма рабочих, бедноты, батраков, готовя их в набор. А утром выходил на улицу и шел под шатром лип и каштанов, в розовом свете нового дня. Прошла еще одна ночь, и есть еще один номер газеты. Как далеко, далеко это время!

А машина все кружилась и кружилась в кварталах и наконец выехала на ровную безлюдную улицу и покатила вдоль реки,— она, скованная льдом, синеватая и тихая, лежала в берегах. И тогда Борканюк понял: его везут в мукачевскую тюрьму «Конер», о которой он так много слышал.

Тюрьма «Конер» в Мукачеве! Снаружи здесь ничто не говорило, что это тюрьма. Невысокая, обсаженная кустами ограда отделяла усадьбу от Береговской улицы, за решетчатыми воротами тянулся густой парк, а в гуще деревьев стоял большой дворец с подвалами, крыльями, надстройками и верандами, принадлежавший когда-то австрийскому графу Конеру.

Так уютно выглядел «Конер» снаружи. Но несчастен был тот человек, который попадал сюда. Те, кто проходил в ворота этой тюрьмы, должны были распрощаться со свободой и жизнью. Немыми свидетелями нечеловеческих мучений и пыток были здесь только стены камер и своды подвалов, а каждая песчинка и каждый кирпич — политы людской кровью.

К «Конеру» ночью подъезжали машины, и вооруженные салашисты приводили сюда десятки и сотни людей. Здесь были мужчины и женщины, и даже дети, сюда пригоняли рабочих с фабрик, соляных копей, бедноту из долин, чабанов, лесорубов и бокорашей из горных районов.

Всех их поглощал «Конер».

За Мукачевым тянутся пустыри — сколько людей зарыто там в беззвездные темные ночи? От «Конера» идет

дорога на запад,— сколько по той дороге прошло закарпатской бедноты,— в огненные печи Дахау, в концлагери Нацвейлера, в подземные форты Комарно, в военные казематы Шаторальяйгеля...

Было уже поздно, когда машина остановилась перед «Конером». Чакши выскочил из кабины, побежал в караульное помещение. Задребезжал звонок. Долетело: «Борканьюк... Борканьюк...» Чакши возвратился, что-то сказал, и борт машины открылся с таким треском, что по улице покатилося эхо. А в это время загремест засов и со скрипом открылись решетчатые ворота.

В глубину парка тянулась широкая аллея. Вдоль нее стояли запорошенные снегом деревья и скамейки с гнутыми спинками. Тихо, необычайно тихо было в парке. Долетал только приглушенный, ровный шум города, лежавшего за оградой. В этой тишине, окруженный жандармами, шел Олекса Борканюк.

В тюрьме его передали с рук на руки. Отвратительная, мерзкая процедура. Тюремщики, казалось, залезали в самую его душу; грубо обшаривали, кто-то вывернул ему карманы.

— До вас забрали все,— сказал Борканюк.

Здоровенный, откормленный жандарм поглядел на узника и ударил его в лицо.

— Молчи, коммунист!

Борканюка привели к камере. Охранники изо всей силы толкнули его в черную яму дверей, и он тяжело упал на цементный пол.

Несколько минут лежал без сознания, а когда пришел в себя, прислушался, поднялся и, осторожно вытягивая руки, прошел вперед, назад.

Камера имела три шага в длину, два в ширину. Окна не было. Свет пробивался только из коридора, через глазок в дверях.

Ни стола, ни топчана, только кучка прелой, слежавшейся соломы в углу — на ней, видно, не один горемыка бедовал до него.

Борканюк сел на эту солому и задумался. Мукачево! Жандармы не останавливались по дороге ни в Тячеве, ни в Хусте, а грелись и закусывали в одиноких хижинах при дороге. Значит, они спешили в Мукачево. А дальше, что будет дальше?

Он не знал, что в это время капитан немецких войск СС Золтан Мартон сидит в кабинете начальника «Кемельгарито» Сейкеля Дьюло и между ними происходит такой разговор:

— Борканюка уже привезли,— говорил Мартон.— Что прикажете с ним делать, господин Дьюло?

— Делайте все, что полагается по правилам «Конера». Вы должны вымотать из него все жилы, но допытаться, где помещается краевой комитет, кто входит в его состав, с кем они связаны. Да что мне, учить вас?— засмеялся Дьюло.

Он с минуту помолчал и сделал вид, будто прислушивается к своему сердцу...

— Перебои! — сказал, вздохнув, и продолжал: — У меня есть дополнительные указания из Будапешта. Нам нужно использовать Борканюка для того, чтобы все увидели и убедились, что коммунизм у нас уничтожен. Представьте себе,— задумался он,— мы проводим Борканюка раз и другой по улицам Мукачева, а потом — Свалявы, Перечина, Унгвара. Днем, при людях, да, да, пусть все его видят...

Капитан Мартон поднял руку.

— Я вас понимаю, господин Мартон,— не дал ему слова сказать Дьюло.— Вы боитесь, что это связано с риском. Никакого риска! Это уже не Рахов! Мы его будем вести под усиленной охраной, в наручниках, всюду поставим наших людей. Никакого риска!

— Это правда,— согласился Мартон.

— А представьте себе, какой будет эффект! — загорелся Дьюло.— Одно дело, когда его видели в Мукачеве и обращались к нему, как к депутату парламента и редактору коммунистической газеты. А тут — по улицам ведут уголовного преступника, бандита. А на спине его,— увлекся Дьюло,— нацепить надпись: «Я был коммунистом — я буду трупом». Ха-ха-ха! Неплохо придумано?

— О да, роскошная идея,— загорелись глаза у Мартона.— Они там не зря сидят в Будапеште. Позвольте

мне несколько дней поработать над ним, чтобы соответственно подготовить. А тогда и за дело.

— Идите,— махнул рукой Дыоло.— Ах, перебои, перебои! — вздохнул он и снова взялся за сердце.

Идя по коридору тюрьмы, Борканюк видел много камер. Там сидят люди, вместе с которыми он когда-то боролся, вместе работал. Как найти с ними связь?

По длинному коридору ходил часовой. Пока он доходил до одного конца и возвращался назад, проходило несколько минут. Часовой прошел раз и другой.

Когда он прошел еще раз, рука Борканюка протянулась к стене и выстукала:

— Кто тут? Кто тут?

В соседней камере помолчали, потом ответили:

— Кто спрашивает?

Борканюк задумался. А что, если в соседней камере сидит шпион? А впрочем,— зачем ему скрываться?

— Я — Борканюк,— выстукал он.

Наступило долгое молчание. Там тоже, видно, думали. А затем с той стороны постучали:

— Как зовут девушку из Рахова?

Борканюк вздрогнул. Девушка из Рахова? О нет, враги жестоки, но до этого не додумаются. «Девушка из Рахова» — так называли друзья жену Борканюка. Из-за стены не случайно спрашивают, как зовут девушку из Рахова. Там — свои!

— Сирена! — выстукал он.

И тогда начался короткий разговор. Они не видели друг друга, их отгораживала толстая стена, но ничто не могло остановить беседы друзей.

— Ты давно отсюда? — спрашивали из-за стены.

— Месяц.

— Новости... скорее...

— Под Москвой немцы разбиты... Сталин выступил на Красной площади седьмого ноября.

В коротких словах Борканюк рассказывал о последних, главнейших событиях.

— Кто ты? — спросил он.

За стеной послышалось несколько ударов.

— Я... — успел разобрать Борканюк.

Беседа оборвалась. В коридоре зазвучали тяжелые

шаги. Заскрипела дверь в соседней камере. Короткий окрик:

— Выходи!

И снова шаги. Их было теперь еще больше. Часовой в коридоре запер дверь на засов. Во дворе тюрьмы шумела машина, стало тихо. Борканюк постучал в стену. Никто ему не ответил.

На рассвете охранники остановились у дверей камеры Борканюка.

— Выходи!

Его повели знакомыми уже коридорами на первый этаж.

Большая комната с двумя широкими окнами и застекленной дверью выходила на повитую виноградом террасу. На окнах и дверях не было решеток, и близко чувствовалась свобода, за окнами колыхались виноградные лозы.

В комнате не было лишней мебели, и она напоминала кабинет врача. Белые, чистые стены, стол в углу, несколько стульев возле него. Посреди комнаты стояла покрытая клеенкой кушетка, какие бывают в кабинетах врачей...

Когда Борканюка ввели, за столом сидел капитан Золтан Мартон, подле него стоял Александр Котон — главный палач «Конера»; еще один человек, одетый в докторский халат, заложив руки за спину, смотрел в сад.

— Входите, Борканюк! — сказал Мартон, едва узник переступил порог. — Смелее, смелее идите, Борканюк.

Олекса сделал несколько шагов и остановился.

— Так вот вы какой, — с усмешкой сказал Мартон. — До сих пор я только читал о ваших приметах. И вот, вижу, сходится: продолговатое лицо, тонкий нос, ямочка на подбородке, высокий лоб и пробор слева. Сошлось. Как же вам ехалось из Ясений?

— Я ехал с почетным караулом, — ответил Борканюк.

— Вы шутите? — процедил Мартон. — Это неплохо. Ей-ей, в вашем положении наилучший выход — шутить.

А затем Мартон обратился к человеку в халате.

— Господин Надь, — сказал он, — нас интересует состояние здоровья Борканюка. Прошу вас, осмотрите его.

В комнате наступила тишина. Доктор Надь подошел к Борканюку.

— Разденьтесь,— сказал он.

Борканюк не понял сперва, что это значит, но ни одним движением не показал, что это его хоть в какой-то мере обеспокоило, сбросил гимнастерку и рубаху, положил их на кушетку. Врач вынул из кармана халата стетоскоп и очень внимательно выслушал его легкие и сердце, приговаривая, как это делают все врачи: «Дышите глубже... не дышите... дышите еще».

Закончив осмотр, доктор назвал два числа:

— Восемьдесят — восемьдесят пять.

И, как бы закончив дело, отвернулся к окну и уставился на покрытые инеем ветви деревьев в саду, словно уже ничто более его в комнате не интересовало.

Борканюк хотел надеть рубаху.

— Подождите,— мягким голосом проговорил Мартон.— Подождите. Подойдите ближе. Вот так.

Борканюк подошел вплотную к столу. Мартон пристально смотрел на него. Борканюк выдержал этот взгляд.

— Что ж,— начал Мартон.— Разговор у нас, я надеюсь, будет недолгий. Насколько мне известно, вы были коммунистом?

— Насколько мне известно,— ответил Борканюк,— коммунист всегда остается коммунистом.

— Та-ак,— процедил Мартон.— Шутите? Может, скажете, что, кроме вас, в Закарпатье есть еще коммунисты?

— Насколько я знаю, вы многих уничтожили. Но уверен, никогда и ни за что их всех уничтожить вы не сможете.

— Вы правы,— засмеялся Мартон.— Мы уничтожили очень многих, но они живучи. Вот мы и хотим, чтобы вы нам немного помогли.

Теперь улыбнулся Борканюк.

— Не смейтесь! — сказал Мартон.— Я вас позвал на серьезный разговор. Тут не до шуток, и вы в этом скоро убедитесь...

— Но ведь вы шутите,— вырвалось у Борканюка.— Чтобы я уничтожал коммунистов?

— Вы меня неправильно поняли,— пояснил Мартон.— Вы, конечно, не можете уничтожать коммунистов. Это право принадлежит нам. Но подтвердить то, что нам известно...

С минуту в комнате длилось молчание.

— Мы уже арестовали членов комитета. Я хотел бы проверить, не ошиблись ли мы случайно. Назовите мне теперешний состав краевого комитета, Борканюк.

Борканюк молчал.

— Нас интересует и местопребывание комитета,— продолжал Мартон.— Еще — способы связи и основные базы в долине и в горах. Что же вы молчите, Борканюк? Как видите, вопросов совсем немного. Я обещаю, что, если вы будете откровенны, разговор у нас будет недолгий.

Борканюк презрительно взглянул на Мартона. Он ждал, что этот салашист будет хитрее, начнет тонко плести паутину, попробует подойти к делу издалека. Нет, Мартон очень неумело вел этот допрос. Где руководство, кто входит сегодня в его состав, где их базы? Неужели он думает, что у коммуниста так легко и так просто вырвать признание?

— Вы принимаете меня, должно быть, не за того, кто я на самом деле,— сказал Борканюк.

— Как? Может, еще скажете, что вы не Борканюк?— засмеялся Мартон.

— Нет, я Борканюк, и на моем месте бессмысленно было бы отказываться от этого, ведь и у вас также есть имя, и вряд ли вы сможете когда-нибудь от него отказаться...

— Вы смеете иронизировать! — воскликнул Мартон.

— Нет,— ответил Борканюк,— это не ирония, а откровенный разговор, какого вы и хотели...

— Значит, вы хотите сказать?..

— Я хочу сказать, что вы ошиблись, думая, что Борканюк скажет хотя бы одно слово о составе комитета, о его местопребывании, о каких-то там способах связи и основных базах... Я ничего этого не скажу! Вы, может быть, надеетесь, что я так говорю для начала. Ваш план, вероятно, предусматривает еще один ход: вы пообещаете, что если я что-нибудь скажу, то получу снисхождение, свободу. И этот ход вам ничего не даст. Остается последний ход — пытки,— может, тогда что-нибудь скажу, может, что-нибудь вырвете. Так слышите, мучений не боюсь, и до самой смерти — ни одного слова!

— Я вижу, вы стараетесь упростить дело,— процедил со злобной усмешкой Мартон.— Смерть — это было бы недурно на вашем месте. Но не думайте, Борканюк, что

в «Конере» так легко умереть. Тут имеются десятки бывших людей, которые умоляют, чтобы их убили... Но я их не убиваю, а день за днем, час за часом допрашиваю, пока в них есть хоть крупинка жизни... Обещаю вам, Борканюк, что и вы еще поживете на свете, но сами проклянете такую жизнь и будете просить смерти... Слышите?

Врач все стоял у окна, смотрел на заснеженный ночной сад.

Котон сделал шаг вперед. Несколько жандармов вошли в комнату. Борканюка бросили на покрытую клеенкой кушетку.

Мало кто вышел живым из мукачевского «Конера». Но те, кто уцелел, помнят и вовек не забудут те нечеловеческие муки, те страшные издевательства, те дьявольские пытки, какие совершали здесь Котон, Золтан Мартон и их подручные. Олекса Борканюк узнал эти муки.

И, теряя сознание, а потом приходя в себя, Борканюк понял, для чего его перед пыткой осматривал врач и почему этот врач неотлучно дежурил при допросе.

— Можно еще! Выдержит! — говорил врач, подбадривая палачей. — Минутку... А теперь можно и дальше.

Борканюка на рассвете вытащили из застенка и бросили в камеру. Он не видел и не ощущал приближения дня. Долго лежал в каком-то тумане, не в силах пошевелинуться.

Но вот пошевелился, протянул руку... Камень, сыроватый пол тюрьмы... Открыл глаза и долго смотрел на оконце в дверях камеры, сквозь которое чуть пробивался желтоватый, слабый свет...

Жив еще! Светает!

3

Степан Шегута пробирался тою же дорогой, по которой везли Борканюка, через Рахов, Буштино, Иршаву. С шоферами, вывозившими лес с гор, добрался он и до Мукачева. А там ему легко было найти своих друзей.

Заседание краевого комитета состоялось ночью, на квартире рабочего мукачевской табачной фабрики, старого члена партии. Собралось немного — всего четыре человека. Но эти люди, через других подпольщиков, были связаны с тысячами людей Закарпатья.

Степан Шегута сообщил, что произошло в горах. Он рассказал о своих встречах с Борканюком, о собрании в зимовье Сегиня на Верховине, сообщил о вопросах, какие думал поставить на заседании краевого комитета в Мукачеве Олекса Борканюк. Степан Шегута говорил то, что собирался сказать на заседании краевого комитета Коммунистической партии Олекса Борканюк. Это свидетельствовало о силе Коммунистической партии, в которой, если выбывает из рядов один, на его место сразу становится другой, и которой никогда не подавить фашистам.

— Фронт проходит не только там, на востоке, где идут бои. Фронт проходит везде, где идет борьба с фашизмом... В то время когда Красная Армия борется с фашистами на фронте, мы должны бороться с ними здесь. Каждую, даже самую малую победу мы приближаем победу на фронте, облегчаем боевой путь нашим братьям, которые защищают от врага родную землю и где-то на Волге и на Дону думают сегодня и о нашем освобождении.

В подвале «Конера» был заточен Борканюк. Нет, он выступал на заседании краевого комитета, это он передавал желанные вести с востока, говорил о задачах, стоящих перед коммунистами Закарпатья...

Члены краевого комитета совещались.

— Нужно, чтобы все трудящиеся Закарпатья знали, что фашисты схватили Олексу Борканюка! Никогда и нигде коммунисты не скрывали правды от народа, как бы эта правда ни была горька. И теперь народ должен знать: Олекса Борканюк в «Конере»! Но организация коммунистов жива и действует. Она приложит все силы, чтобы слова, которые Борканюк привез с востока, дошли до сердца каждого труженика в Закарпатье и чтобы они стали программой их действий.

Ночью печаталась газета коммунистической организации. Ее набирали тайком в типографиях Мукачева, эти строки при свете крохотной лампочки выстукивала машинистка в покосившемся домишке на улице Другета в Ужгороде, эти строки писались от руки в хижинах рабочих Свалявы и Солотвина, эти слова передавались из уст в уста:

«Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще

полгода, может быть годик, и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».

Раздался хриплый гудок на табачной фабрике в Мукачеве, и отозвался гудок где-то в Подгорянах... Гремел под тяжелыми сапогами железный мост через Латорицу — фашисты гнали заключенных на работу... Над Мукачевым и «Конером» с криком кружилось воронье. Вдали, точно куски ваты, лежали серые горы. Но за ними, выше, светилось утреннее голубое небо.

4

Данило Ковач остановился и прислушался. Ничего подозрительного не было слышно, лишь иногда срывался с какой-нибудь ветки и мягко осыпался на землю снег; качая верхушки деревьев, пролетал и, казалось, вздыхал ветерок; где-то между камнями звенел теплый ключ, — знакомые звуки леса!

Ничего подозрительного не мог приметить и глаз — на заснеженной прогалине, как стайка испуганных зайцев, темнели пеньки; дальше виднелись стволы сосен, а там стволы сливались с ветвями, ветви с небом, и уже нельзя было различить, где кончается земля и где начинается небо.

А все же Ковач долго стоял, прислушивался, всматривался, и когда двинулся дальше, то на прогалину не вышел, а углубился в чащу леса, прячась и пригибаясь там, где низко свисали ветви. За ним пошло еще несколько человек — до этого они стояли, притаившись, между деревьями. Прозвучали их тихие шаги, еще некоторое время колыхались и шелестели ветви, словно одна ветка что-то шептала другой. А потом снова стало тихо в лесу, только звенел ключ да порою вздыхал ветер в вышине.

Лесорубы сделали большой полукруг, вышли на опушку. В грудь им ударил и пронизал насквозь сильный, свежий ветер.

— Нам на руку! — проговорил Ковач. — Ишь как задувает!

Лес в этом месте обрывался на большой высоте, и дальше склоны горы сбегали вниз несколькими уступами, точно когда-то здесь разбежались, вскинув свои гребни, но окаменели и повисли над долиной гигантские

волны. Повсюду, особенно по краям уступов, рассыпаны были камни и темнели кусты. А глубоко внизу, вправо от запруды, тускло белело скованное льдом озеро, откуда весною, когда открывали запруду, вырывался могучий поток. Сейчас запруда была закрыта, озеро лежало холодное и мертвое, его сковали льды, только на берегу мерцал крохотный желтоватый огонек.

И Данило Ковач, и лесорубы, стоявшие на круче, знали здесь все тропы, каждый куст и камешек. По берегу озера, почти на километр, тянулись штабели леса, заготовленного за долгую осень и половину зимы. Сколько времени, сил, здоровья потратили лесорубы, чтобы выросли штабели... И не все выдержали — немало лесорубов кровью кашляет в хибарках долины. Холодно в этих бедняцких хибарках — и щепки не дадут Клумаки... Росли штабели на берегу, глядели на них, любовались оба Клумака, но не торопились вывозить... Всегда они одинаковы — надеются на дешевую силу, на горный поток, который вскоре проснется, подыметя и понесет в долину плоты...

Данило Ковач зорко оглядел серый, безрадостный пейзаж, открывавшийся его глазам.

— Ждите меня здесь, — сказал он и начал спускаться по тропе.

Там, в условленном месте, ждала его Юлина.

— Сестра, здравствуй! — сказал Данило.

— Здравствуй!

— Прошла благополучно?

— Еще бы! Береглась...

— А что принесла?

— Как и говорила... Именины у них нынче. Еще за-светло к попу пошли Клумаки, Репаша, Гербера...

— Где жандармы?

— Сторожат у поповского дома.

— Никого по дороге не встречала?

— Нет, Данило, везде тихо.

В этот год, как и всегда, в доме пан-отца справлялись именины его жены Татьяны. Днем о. Федор отслужил в церкви службу, несколько стариков и старух, которым подавала голос Мария, затянули песню:

О Маріє, мати божа,
Молися за нас...

А к вечеру в поповский дом начали собираться гости. Семья пан-отца была в сборе — он, попадья и Мария, которая ради этого семейного праздника опаздывала в семинарию. Из Рахова приехал, в сопровождении нескольких жандармов, капитан Чакши. Он чувствовал себя теперь увереннее — Борканюк был далеко, в селе тихо. Побывать же в этот день у о. Федора ему очень хотелось — поповна Мария все больше и больше пленяла его сердце.

Важно, с чувством собственного достоинства, пришли братья Клумаки — Дмитро с женой и Гаврило. Нацепив на грудь бронзовую медаль, пожаловал в поповский дом Золтан Репаша. Вместе с ним пришел и писарь Магарычка. Управляющий школой Василь Гербера с супругой торжественно поднесли попадье подарок — собственноручно вышитую Руженою подушку к плюшевому дивану в столовой. Подарок вызвал искреннее восхищение попадьи и Марии.

— Какие чудесные цвета, и как они идут к нашему дивану, — в один голос говорили они.

Пока попадья с дочерью и служанкой хлопотали на кухне и накрывали к ужину в столовой, гости вели беседу в кабинете хозяина. Там, на почетном месте, за письменным столом, сидел сам о. Федор. Братья Клумаки и Репаша теснились на диване, куда никак не вмещались, отчего все трое молча толкались, сопели и сердито косились друг на друга. Пани Ружена сидела на стуле в углу комнаты, под фикусом. Учитель Гербера, прислушиваясь к каждому слову, стоял в уголке. Неловко чувствуя себя в этой комнате, с ноги на ногу переступал у порога писарь Магарычка. Что же касается капитана Чакши, он то и дело выскакивал в прихожую и выглядывал во двор, стоят ли там его жандармы. Кроме того, у него было еще одно желание, и он таки осуществил его — поймал в коридоре панночку Марию и поцеловал ее в шейку.

— О Мария! Так мы едем вместе в Ужгород?

— Вы должны еще заслужить эту поездку.

Беседа в кабинете, конечно, шла про Борканюка.

— Он теперь в «Конере», — сказал Чакши, возвращаясь в кабинет. Но сидеть там ему долго не придется. Вытянут из него нужные сведения, а тогда...

Он сделал недвусмысленный жест, коснувшись рукою шеи.

— Это, конечно, очень хорошо,— проговорил о. Федор,— но в Ясенях не все было в порядке. Это собрание селян, его слова на площади... Ах, ах, ах!

— Это сущее нахальство! — крикнул Чакши.— Ну, поймали тебя, признайся перед людьми, склони голову, чтобы знали все,— виновен. Это могло, кстати, повлиять и на его участь. Ведь я писал рапорт. А он — нет! Задирает голову, кричит: «Я еще вернусь к вам!» Вы подумайте!

— Вы сами виноваты,— по-пастырски заметил о. Федор.— Зачем делали этот парад? Собрали людей, смотрите, мол, на своего Борканюка. А его, если на то пошло и если созвали народ, надо было не вывести, а выволочь на улицу. А там, у вербочки, и прикончить. Что у вас, жандармов не хватает?

— Они ему по дороге показали,— признался Чакши.— Ох, и били!

— Что по дороге! — развивал свою мысль о. Федор.— Надо было в Ясенях, прилюдно, чтобы и у него самого жилы лопнули и чтобы у каждого, кто про какой-то там коммунизм рассуждает, волосы на голове поднялись.

— Раздеть бы догола и бить резиновыми палками, пока не задохнется,— поддакнул Гаврило Клумак, удобнее усаживаясь на диване и упорно вытесняя бирова.— Я видел, как в Америке одного негра били. Под бока, по голове, по спине. Аккуратно, культурно, гармония!

— А что вы думаете,— соображал о. Федор.— Такие расправы надлежит всячески приветствовать. Нежничать нечего. Это очень благотворно влияет на народ и показывает, что ему нечего бунтовать, а нужно покоряться тому, что предназначено богом.

— Если бы это зависело от меня,— вздохнул Чакши,— я бы его из Кленов не выпустил. По дороге мне пришлось делать над собой прямо нечеловеческие усилия. Еду, а что-то подсказывает: «Убей его, убей». Думаете, легко мне было удержаться? Но эта телеграмма...

— Какая телеграмма, если не секрет? — спросил о. Федор.

— Никаких секретов,— ответил Чакши.— Отправить Борканюка под усиленной охраной и непременно при народе. Думаете, я его выводил для собственного раз-

влечения? Я с ним поразвлекся в подвале управы. Он до смерти меня помнить будет.

— Понимаю вас, это подлинная мука,— сказал о. Федор и усмехнулся.— Дали петуха в руки, как поет — слушай, а есть — не смей.

— Да что мы все про Борканюка,— махнул рукой Чакши.— Главное сейчас — фронт. Там все решается. И решается в нашу пользу. Последние сводки с фронта говорят о блестящих победах...

— Москва! — сложил крестом руки на груди о. Федор.

— Преподобный отец,— заметил Чакши,— и в жизни и на войне одинаково: стучат и колотят, если хотят добиться, в парадную дверь, а тем временем тайком подкрадываются с черного хода...

— Так вы думаете?..

— А что тут думать? — нагло ответил Чакши.— Взгляните на карту. Мы пока что остановились у Москвы, но наши армии стоят под Ленинградом, продвигаются вперед на Дону, рвутся к Кавказу.

— Охо-хо-хо! — заерзал на диване Репаша.— Если б пошире.

— Всему свое время,— успокоил Чакши.— Фронт продвигается вперед. Очень хорошо, что здесь поймали Борканюка, станет спокойнее и в горах. Вы не думайте, за ним немало людей шло. Теперь все те, кто хоть немного сочувствовал коммунистам, станут тише воды, ниже травы...

— Верно! Верно! — сказали вместе Дмитро и Гаврило, вытесняя с дивана бирова.

— Папочка! — появилась в это время и стала в дверях Мария.— Мама просит гостей в столовую.

Она была очень эффектна, празднична и красива в этот вечер. На ней было новое, темно-синего цвета платье, сшитое в мастерской Ратца в Ужгороде, волосы завиты, нитка жемчуга тускло мерцала на точеной шее. Запах духов сразу разлился по комнате.

— Да, да, дочка,— поднялся с кресла о. Федор.— Прошу вас, господа.

— О панна Мария! — с восхищением воскликнул капитан Чакши и подхватил ее под руку.— Какая вы сегодня! Идемте, идемте скорее. Я так голоден, так голоден!

В столовой на большом круглом столе, стоявшем среди комнаты, горело тридцать восемь свечек — по числу лет именинницы. Она сама стояла у входа в кухню, все подходили к ней и, низко наклонясь, целовали руку. Попадья была утомлена — до этого всю неделю она каждое утро и каждый вечер, вместо молитвенника, читала свою «Домашнюю хозяйку» и очень плохо спала. На столе были и рыбные блюда, и мясные, и дичь, и вина — рейнское, венгерский токай, середнянские и береговские, а для любителей — паленка, сливянка, терновка. В углу комнаты радио из Лондона передавало какой-то джаз.

За стенами поповского дома лежало, укрытое пологом ночи, верховинское село. Как замки с высокими кровлями, вырезывались в небе дома Клумаков, Репаша. А дальше по улице и выше, на горных склонах, чуть угадывались жилища верховинцев. Не трудно было представить себе, что делается в этих убогих хижинах. Приближалась голодная пора верховинского края — федоровица, первая неделя великого поста, и, как всегда, в иных хижинах люди, может быть, еще делили ложками жидкую похлебку и раз в день глотали по кусочку овсяного хлеба, а в большинстве хат уже нечем было заправить и похлебку, там и мечтать не могли о каком-то хлебе. Голод шел по горам, нес с собою болезни и смерть.

А в поповском доме поднимали бокалы за здоровье попадьи, пан-отца, их дочери. Не забыли выпить за Хорти, регента Козму и епископа мукачевского Стойку. Они пили и ели вволю, даже через силу.

Попадья сидела, приветливая, разомлевшая, и беседовала с управляющим школой и его женой. О. Федор рассказывал, как это всегда делал под хмельком, про Рим и про папу Пия XII, — его весьма внимательно слушали Клумаки и Репаша. Капитан Чакши осторожно нащупывал под столом носком сапога кончик туфли Марии. Магарычка напился и наелся на три дня, да еще несколько пирожков сунул в карман.

Языки развязались, все заговорили откровенно:

— Позвольте поинтересоваться, — обратился побагровевший, с лоснящимся лицом, Гаврило Клумак к Чакши. — А как теперь будет с наградой?

— С какой? — поднял голову Чакши.

— А как же? — продолжал Клумак. — Ведь прави-

тельство обещало десять тысяч пенге тому, кто укажет Борканюка. Повсюду об этом было объявлено.

— И что ж? — спросил Чакши.

— Как это что? Его поймали и доставили в округ. Выходит, награда полагается.

— Так вы претендуете?

— Ну, а как же? Честь честью, а брынза — за деньги. Кто за ним следил, кто вам его след указал? — хладнокровно спросил Гаврило Клумак. — Доподлинно известно, — я и пан писарь.

— С помощью сельских властей, — добавил Репаша.

— Что ваши власти? — вспыхнул Клумак. — Вы способны только спать. И Борканюка вы, Золтан, проспали.

— Пан Клумак, — даже побагровел Репаша, — вы забываетесь. У меня сын на фронте, и я тут, сколько у меня сил...

— Панове! — крикнул Чакши. — Что вы грызетесь, из-за чего? Ведь известно, кто из вас и за что борется. А послушать, так будто все вы — враги правительства.

— Избави бог! — выкрикнул Клумак.

— Никогда и ни за что, — поддержал Репаша.

— Я уверен, что это так, — процедил снисходительно Чакши. — Иначе все мы не сидели бы за этим столом.

— Гордость и сребролюбие, — кинул укоризненно о. Федор.

— И я не понимаю, — продолжал Чакши, — как вы можете говорить о какой-то там награде? Ведь, устанавливая награду, правительство думало о ваших интересах, о защите вас от коммуниста. Не вам, а вы еще должны заплатить за то, что его нет.

— Пан капитан, — заявил Клумак, — мы хорошо знаем, чем мы обязаны правительству, и что Борканюка забрали — очень хорошо. Но я никогда и никому не отдам того, что принадлежит мне. Как же я могу натуру переменить? Я на риск шел, пан капитан, — он по меньшей мере мог меня подстрелить. Мой хосен — мне. Гармония должна быть, по-американски. Если на то пошло, то нужно часть мне, часть пану Магарычке...

Капитан Чакши собирался что-то ответить и, наверно, очень резко, потому что у него даже затряслись руки, но в это время под окном послышались шаги и отчаянный крик:

— Пожар! Пожар!

— Каштер-пуштер! — перепутав латинское «Отче наш», охнул о. Федор.

Он обеими руками подхватил свою сутану, покрутился по комнате и опрометью метнулся в коридор. За ним кинулись и гости. Капитан кричал:

— Жандармы! Жандармы, ко мне!

Жандармы явились, и он вышел с ними в прихожую. Там было светло, как днем. Все вокруг озарилось призрачным, тревожным багряным светом.

Пожар бушевал в горах, за селом. Горело в лесах. Над деревьями видны были даже языки огня, в вышине, над местом пожара, висела шафранная, с синими прожилками, туча.

— Награда? — неистовствовал пьяный капитан. — Кому дать награду? Ну! Говорите! Что ж вы все молчите?

— Да будь она проклята, та награда, — отозвался Гаврило Клумак. — Сливянка в голову ударила, вот и сказал. Сейчас все выскочило.

В опустевшей столовой догорали на столе тридцать восемь свечек. Во всех концах села выли собаки.

— Пан капитан, — взмолился Гаврило Клумак. — Вы забудьте, что я говорил. Я вам сам награду дам. Ведь это наш бутин горит. Едем туда, пан капитан! Пять тысяч, если найдем виновных.

В другое время капитан Чакши ни за какие деньги не поехал бы ночью в горы. Но в голову ударяла паленка, вокруг стояли жандармы, он поймал на себе взгляд Марии и понял, что она ждет — решится он поехать или нет?

— Запрягайте лошадей! — крикнул капитан. — Едем! Ну, чего же вы стоите?

5

Пара вороных так била копытами о кремнистый грунт, что даже искры сыпались во все стороны. В передке сидел и, намотав вожжи на левую руку, что есть мочи хлестал кнутом лошадей Гаврило Клумак. Позади него, в дощатом ящике, подсакивали капитан и Репаши. По сторонам мчались верхами жандармы.

Дмитро Клумак со всеми не поехал. Увидав пожар в лесу, он сразу ослабел, взял с собою двух жандармов, и они доставили его с Варварой домой...

...Кони мчались. Дорога шла ущельем, справа и слева громоздились скалы, выше темнели леса. Казалось, что они едут по узкому, темному коридору, и только вверху над ними светилось раскаленное небо.

— Ух, ух, ух! — вырывалось у Гаврила Клумака. Он злобно поглядывал то на черные крупы лошадей, то на огненную полосу неба вверху.

— Опришки! — шептал Чакши, сжимая в руке револьвер.

Когда лошади вырвались из ущелья и взбежали на взгорье, сразу стала видна и желтая пена на их лоснящихся спинах, и перекошенное лицо Гаврила Клумака, и капитан Чакши с револьвером в руке.

— Пропадает! Все пропадает! — соскочил с повозки и стоял, не разматывая вожжей с руки, Гаврило Клумак.

Видно было озеро. Там еще вечером лежали штабели отборных сосен, елей и буков, срубленных на склонах гор, в лесу, и желобами или просто волоком спущенных сюда. День за днем росли эти штабели на берегу озера, и Дмитро с Гаврилом только руки потирали, мечтая, как на озере растает лед, полетят вниз плоты.

Теперь на берегу озера бушевал пожар. Пламя багровыми волнами перекатывалось от штабеля к штабелю. Огонь, искры, черный дым рвались к небу. Лед на озере, отражая пламя пожара, алел, как кровь. В вышине висело такое сверкающее облако, что даже глаза слепило.

— Ой, — завопил Гаврило. — Наше добро горит!

Из долины долетал шум. Слышны были тревожные людские голоса, кто-то неистово ударял в рельсу, в воздухе с криком носились испуганные птицы.

Клумак вскочил на повозку, ударил коней кнутом; снова колеса запрыгали на выбоинах; впереди помчались жандармы. Это была рискованная езда, — они могли и вывалиться из повозки и разбиться. Но все забылось...

— Пропадает! Какое добро пропадает! — вопил Клумак.

В лицо им ударило жарким воздухом, острым запахом растопленной смолы, словно они стояли перед какою-то гигантской печью.

Клумак сдержал лошадей. Навстречу ему бежали десятичники, подходил народ.

— Сре́дь почи занялось... Сразу в нескольких местах... И, как факел, к небу,— торопливо докладывал десятичник.

Клумак изо всей силы ударил десятичника по лицу.

— Проспали все на свете!

— Я все время на берегу возле сторожей был... Я старался! А тут сразу во многих местах... И как охапка соломы... Поджог! Их, видно, много было... Персвешать бы...

Капитан Чакши вышел из повозки, стоял на льду. Хмель сразу выскочил из головы. Среди пылающего моря, в вихре тревожных голосов капитана, как обычно, охватил страх. И зачем он поехал на пожар? Можно было послать жандармов — да и конец... О поповне в эту минуту капитан забыл.

— Заберите этого! — указал Чакши жандармам на десятичника.— И этого, этого,— ткнул он пальцем еще в нескольких лесорубов...

Нечего было и думать спасти штабели. Их все охватил огонь... Люди, сбившиеся на берегу озера, думали о другом. Пламя могло перекинуться на лес, углом примыкавший к озеру. Случится так — вспыхнут, как свечи, буки и ели... Чтобы этого не случилось, чтобы спасти родные леса, люди начали насыпать снежный вал между штабелями и лесом.

— Зачем? — набросился на них Клумак.

— Чтоб на лес не перекинулось,— сказал ему кто-то из лесорубов.

— К чертям с вашим лесом,— крикнул Гаврило.— Спасайте мое добро, штабели раскидывайте!

Ему жалко было бревен, лежавших штабелями, потому, что это были давно подсчитанные им короны и пенге. Но ему ни капли не жаль было тех лесов, что простирались от озера вверх по склонам,— пускай горят, пускай погибают хоть и все Карпаты.

Около Клумака прошел лесоруб. Он тащил сосну, которая дымилась и тлела с одного конца. Гаврило увидел испачканное сажей лицо лесоруба — перед ним стоял Данило Ковач.

Но это был не тот Данило Ковач, которого когда-то

видел он на берегу залива в Нью-Йорке. Что-то дерзкое было теперь в глазах Данила.

— А что, хозяин! — сказал Ковач. — Ведь горит! Все горит!

6

Гаврило и Дмитро Клумаки до этой поры похожи были на резвых лошадей, которых запрягли в одну телегу, и они, закусив удила, несутся вперед. Иногда, правда, лошади грызли одна другой холки, и телегу подбрасывало, как на ухабах. Такая уж натура была у братьев, каждому из них хотелось получить побольше хосена, они до белой пены грызлись за каждое пенге. Однако кнута для этих лошадок не требовалось, они прямо ржали, выполняя контракты с военным министерством и частными фирмами, которые уже из вторых рук работали на то же министерство.

И вдруг пожар на лесоразработках. Какой лес погиб, сколько денег за одну ночь вылетело в воздух! Гаврило до самого утра пробыл на бутине, пытаясь вытащить из огня еще хоть одно бревно. А Дмитро всю ночь слонялся по дому, что-то бормотал, брал в руки и швырял на пол «деревянную» свою бухгалтерию и все чесался, чесался...

Утром Дмитро взял железный ломик, который на всякий случай всегда лежал у него под кроватью, пошел на леваду и остановился перед стеной, отгораживавшей его усадьбу от усадьбы брата Гаврила. Там, оглядевшись кругом, Дмитро перекрестился и ударил ломиком по стене. Вывалился кирпич, второй, третий, через каких-нибудь десять минут открылась широкая дыра.

Сквозь эту дыру Дмитро увидел Гаврила, — тот стоял у стены с топором в руках...

— Здравствуй, брат, — сказал Дмитро.

— Здравствуй, — хмуро ответил Гаврило.

— Топор, вижу, приготовил? — укоризненно процедил Дмитро.

— А ты как же думал? — качнул головой Гаврило. — Кто-то стену разбивает, а я глазами хлопать буду?

— Эта стена мне покою не дает, — сказал Дмитро. — Такое несчастье, погорели, а тут еще стена между нами.

— Так вот ты к чему, — выпустил из рук топор и огляделся по сторонам Гаврило. — Это правда, брат.

В такое время нам нельзя быть врозь. Это ты хорошо надумал, что ломаешь стену. А ну, дай ломок, и я руку приложу.

Варвара очень удивилась, увидев, что братья вместе идут с левады. Кажется, не слыхала, чтобы калитка скрипела. Перепрыгнул Гаврило через стену, что ли? А впрочем, она хорошо знала, что Дмитру и Гаврилу теперь не до разговоров, и тепло поздоровалась с гостем.

— Погорельцы! — только и сказала она про себя.

А погорельцы в это время уселись в кабинете Дмитра и начали совещаться.

— И что это такое, — начал Дмитро. — На фронте как будто хорошо, вперед и вперед идут армии, а мне все страшнее и страшнее. Сон я совсем потерял, ем сырое мясо и то не в том количестве, как раньше, а хлеба хоть и не показывай...

— Я говорил, что у тебя шкура повредилась, — уверенно заявил Гаврило. — Вот оно и отдает на мозг и сердце. Называется это — рикошет.

— Так как же можно терпеть стену, если такой рикошет?

— Я тебе ответил, — сказал Гаврило, — пока мы будем, как те волки.

— А хоть и волки, — дернулся Дмитро, — так не для себя, а для кого-то. Знай наших!

— Правильно, — поддакнул Гаврило. — Гармония! Только ты, сдается, триста метров мне летом недописал, — сверкнул он глазом.

— Неужто ты не веришь моей бухгалтерии, брат?

— Бог с тобой, — отмахнулся Гаврило. — Пускай пропадают мои триста метров. Весь вопрос в том, что делать дальше?

— Гаврюша! — впервые за всю жизнь обратился с ласковым словом к брату Дмитро. — Стену мы разбили, теперь уж нам совсем легко прийти к согласию. Вот слушай. Погорели мы сейчас, а разве не горели раньше на адском огне? Рубят, бывало, лес с утра до ночи, а подсчитаешь — руками разведешь. Опять-таки что ни день — где-нибудь дараба разбилась. По всему берегу бревна лежат. На тартаке что-то не так, вот не пойму, что именно, но не так. Ну, а теперь пожар. До каких пор мы можем это терпеть?

— Ты что хочешь? — заинтересовался Гаврило.

— Что я хочу, Гаврило? Мы,— пискнул тонким тенорком Дмитро,— теперь как бы военные люди. Да, да, правду говорю. Мы не носим мундиров, но чем мы не генералы? Да мы же, как украинские национал-социалисты или как нас там прозывают, с печенками продались фашистам. А если так, то чего церемониться? До каких пор я, как ошалелый, не буду спать по ночам? Вот этим самым министерским так и скажем: мы отдаем все силы, но помогите и нам. Сколько убытков и у меня и у тебя! Так разве мы можем такое допустить и простить? Был вот у меня капитан Чакши — пообещал я ему пять тысяч, если найдет виновников пожара.

— И я пообещал пять тысяч,— вздохнул Гаврило.— Мало того, что за Борканюка заграбастает, а еще и мы ему должны доплачивать. Дожили! Эх, далеко до Америки. Мне бы десяток гармонизаторов, так я бы горы перевернул.

— Гаврюша,— сказал Дмитро.— А я думаю, что мы и сами хорошие гармонизаторы. И свои убытки покроем, и для капитана найдется. Пускай эти голодранцы за все отвечают. Власть нам должна помочь... Пускай жандармы гонят теперь все село на бутин, колючими проволоками пускай огорожат леса, пускай выставляют стражу и приведут собак, чтобы работа в лесу кипела день и ночь, чтоб был наш план!

Глава пятая

1

После пожара на бутине о. Федору снились такие страшные сны, что он даже боялся выехать в долину. А тут капитан Чакши сам предложил отвезти Марию в Ужгород. Нет, лучше уж пусть преподобный отец побудет у себя дома, у него в самом деле начинается какая-то хворь!

В пьяном угаре капитан Чакши спускался в долину. Еще с утра жандармы погнали по шоссе арестованных на бутине. Капитан в своей машине нагнал их в каком-то селе.

Арестованные стояли у плетня. Два старичка сторожа, десятник, два подростка. Чакши даже не помнил, за что именно приказал их арестовать.

— Пан офицер! — сказал десятник, — это ошибка. Я же десятник, всю жизнь ловлю коммунистов...

— Молчать! Бандиты! Поджигатели! — раздраженно крикнул капитан.

Что ему было до этих людей — и до того, который говорил о своих заслугах, и до тех, которые молча стояли у плетня. Виновны они или нет — ему все равно. Должны быть виновники этого пожара, а он должен кричать на них.

В окошко машины с улыбкой на губах смотрела поповна Мария.

— Живее в Рахов! — сказал капитан шоферу, садясь рядом с нею.

Навстречу летели опушенные инеем деревья. Увидев машину, от колодцев к хатам убегали мужчины, девушки. Машина ехала быстро, и дорога казалась крутой, скользкой, опасной.

Капитан, чтобы скоротать время, напевал Марии новые песенки из будапештских баров, и она быстро схватывала мелодии, подтягивала ему. Одну песенку «О, я жду этой голубой ночи» они пропели втроем, потому что у шофера, оказалось, был довольно приятный тенор.

Нет, это была действительно недурная поездка, совсем не то, что черепашня езда с отцом в разбитой бричке. Мария бросала изредка взгляды на капитана Чакши и находила его даже привлекательным.

— Осторожно, — он нежно поддерживал ее под руку, — берегите, Мария, голову, здесь везде ухабы.

В Рахове капитан приказал шоферу остановиться в центре местечка, соскочил с машины и побежал в гостиницу. Его долго не было.

Мария тоже вышла из машины. По улице ехали подводы, запряженные лошадьми и круторогими волами, шли молчаливые верховинцы, озабоченные женщины, дивчата в цветастых киптарях и пестрых запасках.

Дребезжал колокол на костеле, и звуки его отдавались в ущелье Тиссы, точно по ступеням поднимались все выше в горы.

Прошел мимо священник Демьянович, бывавший у них в доме в Кленах, но он, должно быть, не узнал Ма-

рию, почему-то подмигнул ей, отойдя, еще раз оглянувшись, словно заслонялся от ветра. Она отвернулась в сторону.

Вечерело. Три золотистых облачка, будто три больших костра, висели над горами, а от них в зеленоватосинее небо, как стрелы, взвивались серебристые лучи.

Сзади подошел капитан Чакши.

— Я взял самый лучший номер. Вот этот, с балконом на улице...

Утром Мария проснулась поздно. Во всем теле ее была усталость, точно ее избили, только сердце неистово колотилось в груди.

Спустив ноги с постели, она оделась. Потом встала, подошла к столу.

Там лежала записка:

«Высокопочтимая панна Мария! У меня сжимается сердце от боли, но, к сожалению, меня вызвали ночью, и я должен немедленно выехать в Будапешт. Вы поезжайте в Ужгород. Шофер ждет вас внизу. А я остаюсь в ожидании новой голубой ночи и еще многих голубых ночей. Целую руку — Чакши».

Мария в мелкие клочки порвала записку, протянула руку, налила вина в бокал, выпила, налила второй.

«Так,— подумала она,— именно так и должно было случиться».

И почему-то думала она в это время не о капитане Чакши, а о своем отце и об о. Никодиме, которые так усердно и так много говорили о силе католической церкви.

— Ступайте вниз,— приказала она горничной,— и скажите, чтобы шофер взял мои вещи.

Точно в дымке, летели за окном скалы и леса, внезапно из-за Тиссы вынырнул Сигот, а на горизонте появились розовые снега Трансильванских гор; у самого моста через Тиссу шофер повернул направо и промчался мимо соляных копей. А там пошли Тячев, Хуст, Береговое!

К вечеру приехали в Мукачево.

— На вокзал! — приказала Мария.— Сдайте мои вещи на хранение, а сами возвращайтесь назад.

На вокзале она прошла в ресторан, заказала вино и гуляш. Ела жадно.

Когда подняла глаза, за столиком напротив нее сидел полковник венгерской армии.

— Я не помешаю уважаемой панне?

— О нет!

— Панна куда-то едет?

Она пристально посмотрела на него. Лицо полковника показалось ей знакомым. Он напоминал немного и капитана и о. Никодима. Но был лучше их обоих, сидел надменно, откинувшись на спинку стула, из-под расстегнутой шинели видны были ордена на его груди.

— Я ехала на свидание с моим другом,— сказала Мария.

— Но...

— Вы догадались — он выехал раньше, чем я прибыла сюда.

— Но его можно догнать.

— Он уехал очень далеко. За Карпаты.

— Я как раз еду туда и был бы рад взять с собою панну...

— Марию,— подсказала она.

— Да, панну Марию... Покорно прошу!

— Но что я буду делать? Я ведь не могу ехать, как обыкновенная пассажирка.

— Панна Мария! В моем распоряжении целый госпиталь. Он стоит здесь, на станции. После полуночи мы отправляемся. Вы можете считаться сестрой милосердия этого госпиталя.

Она утвердительно кивнула головой. Да! Она поедет в авангарде священников. «Дело распространения веры, «Мариинская община». Ха-ха-ха!..»

2

Дьюло был в ярости. Каждую минуту он прикладывал руку к сердцу, хотя, по правде говоря, сердце у него было здоровое, как у кабана. Но такая уж манера была у Дьюло,— он все сваливал на сердце.

— Кто у вас вышел из «Конера» за последние дни?— спросил он.— После того как привезли этого Борканюка?

— За эти дни вышло,— подсчитывая, Мартон беззвучно пошевелил губами,— да, за эти дни вышло двадцать восемь человек. Но,— он заморгал глазами и

добавил: — Я, конечно, говорю о тех, пан Дьюло, которых закопали во рвах.

— На что мне мертвецы? — вскипел Дьюло. — Они меня никак не интересуют. Я спрашиваю — вышел ли у вас кто-нибудь живой?

— Нет, — коротко ответил Мартон. — Ведь вам известно...

— Ничего не понимаю, — сердито мотнул головою Дьюло. — Может быть, вы его куда-нибудь выводили? Может быть, его кто-нибудь видел?

— Маршрут — камера и мой кабинет. Свидетелей, кроме охранников, — никого...

— Тогда откуда? Откуда? — крикнул Дьюло. — Вот, полюбуйте! Он вынул из папки и кинул на стол листовку, в которой извещалось об аресте Борканюка и был призыв к усилению борьбы с врагами.

— Ну? Что вы на это скажете? — заорал Дьюло. — Вы понимаете? Мы только еще собираемся что-то делать с ним. А они, — он указал за окно, — уже делают. Прокламации, листовки, вот телеграмма о пожаре в горах, вот еще телеграммы — авария, взрыв, налет... Вы подумайте — из Драгова телеграфируют: «Вчера отряд партизан во главе с Борканюком...» Из Хуста: «Партизаны...», из Тячева: «Борканюк...»

— Пан Дьюло, — пытался успокоить его Мартон, — я так же, как и вы, ничего не понимаю. Верьте моему слову. Если так, то мы должны действовать быстрее, немедленно. Помните, вы сами говорили — заковать в кандалы, провести по улице, уголовный преступник, бандит. Пускай все видят...

— Да вы понимаете, что говорите? — схватился обеими руками за сердце Дьюло. — Провести его по городу? Показать им? Нет, вы ничего не понимаете. Мы проморгали какую-то одну минуту, и вот теперь...

Дьюло быстро зашагал из угла в угол по своему кабинету.

Еще не рассвело, когда жандармы оцепили несколько кварталов Мукачева. Туда и сюда мчались машины, прогрохотала пожарная команда, ехали конные жандармы.

Встревоженные обитатели города выглядывали в окна, осторожно спускались во двор, чтобы узнать, что случилось, кто посмелее — поднимался даже на чердак.

Никто ничего определенного сказать не мог. Высказывали предположение, что кто-то бежал из «Конера», другие говорили, что в город прибыло или должно прибыть какое-то высокопоставленное лицо. Только через час оцепление кварталов сняли, возвратились пожарные, проехали назад конные жандармы.

А все же обитатели города вскоре узнали, что произошло ночью. Как ни осматривали жандармы стены домов и подъезды, но во многих местах висели листовки, в которых извещалось об аресте Борканюка.

Слухи носились по городу. Говорили не только про Олексу Борканюка. Трудящиеся передавали друг другу, что немецкие армии давно разбиты под Москвой, что Сталин выступал в день годовщины Октябрьской революции и сказал, что фашистских захватчиков ждет неминуемая гибель. И то, о чем хотел бы, но не мог в эту минуту рассказать людям Борканюк, это было уже у них на устах. До тихого города Мукачева над Латорицей, где на улицах стояли огромные щиты — карты восточного фронта, где радио и газеты сообщали о победах фашистских армий на фронте, через высокие Карпатские горы и линию Арпада докатился слух, что фашисты уже понесли жестокое поражение на восточном фронте, где советский народ, его Красная Армия все с большей и большей силой громят фашистские полчища.

И как бы в доказательство того, что эта весть услышана, а сердца честных тружеников ее приветствуют, долетело до Мукачева эхо взрыва из Страбичева — это взлетел на воздух эшелон с боеприпасами... Еще час — и несколько бомб взорвалось в Мукачеве — на военных складах...

— Арестовать, всех арестовать! — бесновался Дьюло.

Из его кабинета не выходил бургомистр Энгельрехт, командир карательных отрядов Молнар ждал только приказа.

Днем у «Конера» стояла усиленная охрана, по временам проезжали и конные патрули; на всех улицах города было больше, чем обычно, жандармов. И едва последний луч солнца погас за городом — улицы опустели. Но

тишина и пустота говорили о том, что здесь и всюду нарастает сопротивление фашистам, что живы и все энергичнее действуют коммунисты...

Борканюк пришел в себя. От побоев у него опухло лицо, болела, ныла каждая частица тела, трудно было дышать, сердце то делало несколько напряженных ударов, то почти останавливалось.

Но он был жив. Протянул руку и коснулся холодного каменного пола. Вот свет в дверном глазке. Он жив, все в том же «Конере».

Напрягши все силы, Борканюк поднялся, долго сидел, а потом встал, сделал несколько шагов, чтобы доказать самому себе — жив, могу бороться.

Постучал в стену соседней камеры. Передал друзьям: «Жив... жив!» И оттуда, из-за стены, долетел тихий стук, там тоже жили, говорили: «Слышим».

Шумел ночными голосами «Конер». Шаги часовых, лязг оружия, чей-то стон, шаги заключенных. Олекса Борканюк знал, что делается в эти часы, как допрашивают и пытаются узников, как их, избитых, тащат в казематы. Если бы не стены его камеры, он бы встал и сказал: «Будьте непреклонны и непоколебимы, друзья! Все это — допросы, пытки, издевательства — свидетельствует не о бессилии нашем, а о могучей, непобедимой силе коммунизма. Они беснуются, потому что не могут вырвать из наших уст признания, но когда мы им говорим правду, они приходят в бешенство, ибо наша правда — это смерть для них, неминуемая гибель фашизма. Так говорите им в глаза эту непобедимую правду, пускай они сходят с ума, издыхают!»

И все эти дни он был не один. Сквозь стены «Конера» он ощущал мужественные плечи, крепкие руки своих друзей. Он вспоминал Москву, где так недавно был, затемненные окна домов на улице Горького, на Арбате, ночи Замоскворечья, четкий шаг красноармейских колонн, грохот танков, гул самолетов, которые летят и летят на запад. Он все время был с ними — с родными людьми.

А незабываемый день Седьмого ноября на Красной площади! Мороз. Снежок. С юга рвался колючий, резкий ветер, он доносил гул канонады. Но советские воины уверенно, гордо стояли на Красной площади.

Весь мир слышал слова товарища Сталина: «На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят поработанные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая».

— Слышу! — сказал Борканюк.

3

Отец Федор предчувствовал, что у них случится неприятность. Еще с той поры, как привиделся ему страшный сон.

Правда, что бы это могло означать? Приснилось о. Федору, будто за фисгармонией у них в столовой сидит что-то большое, зеленое и уродливое, двумя лапами раздувает мехи, а двумя нажимает на клавиши и поет тонким голосом «*Miserege mei, Domine*»¹. Пан-отец кинулся к фисгармонии, а эта жаба сидит, смотрит, выпучив глаза. «Ты чего тут?» — крикнул о. Федор, чувствуя, что у него пересохло в горле. А жаба на это: «Ква... ква... ква!..» Громко, с хрипотцой...

— Матушка, — испуганно сказал о. Федор, проснувшись среди ночи. — Ты не знаешь, что означает жаба?

— Какая жаба? — спросила сна.

— Большая, зеленая, сидит за фисгармонией и поет: «*Miserege...*»

Они долго лежали и обсуждали, что может означать зеленая жаба. Какая-нибудь кляуза из епархиального управления? А может, отец Демьянович подставил ногу?

— Знаешь что, — сказал о. Федор, и голос у него дрожал, как соломинка. — Может, ты посоветовалась бы с бабкой Степанидой? Ты ж подумай, такая большая жаба, да еще поет. Тьфу!

Матушка утром позвала бабу Степаниду, уселась с нею на кухне и долго, долго беседовала.

Люди на Верховине считали эту бабу и лекаркой,

¹ «Помилуй мя, боже» (лат.).

и знахаркой, и ворожеей. Она приходила к больному, у которого на ногах сделались нарывы, к женщинам при корчах, брала три иголки, уголек, головку чеснока или луковичку, вынимала пузырьки с «освященной» водой и, притопывая ногами, сплевывая на все стороны, начинала бормотать непонятные слова:

Болячка болюча,
болячка колюча,
болячка з урбальцем,
болячка з гусьцем,
ублагни, утихни,
од цього разу,
од цього часу,
од цієї днини,
од цієї години...
Тьфу... тьфу... тьфу!

Вот так она ворожила, заговаривала, принимала новорожденных, была при последнем вздохе верховинца, который задыхался от зоба или умирал от чахотки.

Отец Федор смеялся, когда видел на кухне эту старуху. Но тут же добавлял жене:

— А ты, Татьяна, молчи, поддерживай бабу. Пускай лечит, пускай ворожит, заговаривает. Кто там знает? Ведь в булле папы Иннокентия VIII утверждается, к примеру, что есть женщины-ведьмы, а некоторые из них впадают в плотский грех с демонами и могут своей ворожбой вызывать преждевременные роды, накликать порчу скоту, хлебу, винограду... Эта булла и до сих пор не отменена. А есть еще и другие, подобные. Что ж мне, спорить с папами? А с другой стороны, после такого профессора, как эта бабушка, — одна дорога, на кладбище. И пускай! Эти нищие плодятся как мухи.

Так и вершили свои дела — поп в церкви, бабушка-знахарка — в селе. И теперь Степанида явилась сразу же, едва за ней пришла попова служанка, уселась с попадьей на кухне.

— Ну что? — спросил о. Федор, когда бабушка ушла, и облизал сухие губы.

Матушка покраснелась и ответила:

— Говорит бабушка, что дитя в дом. Говорит, что если музыка играла, то запищит что-нибудь и у нас.

Отец Федор похлопал себя по животу.

— Ишь ты! — проговорил он с усмешечкой. — Может, и правда, Татьяна? Ох, эти бабы! Ведьмы же...

Но когда через несколько дней писарь Магарычка принес пан-отцу письмо, написанное рукой Марии, но не с ужгородским штемпелем на марках, он сразу понял, что проклятая бабка Степанида с ее зеленой жабой явилась неспроста.

Он долго, сидя в своем кабинете, читал это письмо, и краска медленно сползала с его лица, он побледнел и затрясся.

— Это не от Марии письмо? — вошла в кабинет и спросила попадья.

— Нет, Таня, вызывают в консисторию, — не признался он ей.

В Ужгороде о. Федор побывал у начальницы семинарии и долго с нею беседовал. Начальница известила Стрыпского о том, что Мария уехала самаритянкой на фронт...

— Это очень обычное и закономерное явление, отец Федор, и доказывает, что мы воспитывали наших детей, как учит католическая церковь. Дочери наших священников достойны своих родителей.

«Значит, — сделал из этого вывод о. Федор, — вся католическая церковь приведена в действие. Мария услышала голос папы из Рима раньше, чем ее отец».

Во дворе семинарии о. Федор встретил о. Никодима. Сам подошел к нему.

— Вы слышали, отец Никодим, про Марию?

— Слышал, слышал, — ответил преподаватель, и у него почему-то забегали глаза.

— Я уже получил и письмо от Марии, — сказал о. Федор. — Она вспоминает о вас.

Отец Никодим глубоко вздохнул, а глаза его все бегали.

— Что пишет Мария? — спросил он.

— Вот, — вынул письмо о. Федор. — «Вы воспитали меня, папа, как настоящую католичку, и жить иначе, иначе поступать я не могу. Так учили меня и в Ужгороде. Наш чудесный отец Никодим, я вовек его не забуду. Вы нерешительны, отец. Я буду вашим мечом. Не ищите меня. Взгляните на карту. Я уже в восточном вице-папстве...»

— Я счастлив, что дочь Мария усвоила мою науку и достойно оценила наши труды, — глубоко вздохнул о. Никодим, и в глазах его появилась нежность. — Когда будете писать Марии, передайте, что я молюсь за нее.

Отец Федор долго стоял во дворе и любовался фигурой о. Никодима, который ушел гордый и величественный.

«Вот такие мы все,— думал он.— Крестом и мечом! О боже, боже!»

В епископской канцелярии о. Федор встретил о. Павла.

— Вы привезли информацию? — спросил о. Павел.

— Пожалуйста! Я нашел там человечка, который работает в жандармерии. Очень интересные материалы.

— Я знаю вашу руку, отец Федор.

— Дочь у меня уехала,— скромно кинул о. Федор.

— Мне известно об этом. Наш брат из Мукачева...

— Она уехала отсюда.

— Может быть, она уехала и отсюда, но вступила самаритянкой в один из госпиталей, которые проезжали через Мукачево,— уверенно проинформировал Стрыпского о. Павел.

— Так, так,— сказал удивленный о. Федор.

— И вы знаете, отец Федор,— продолжал священник консистории,— именно об этом я и хотел с вами поговорить.

— Я слушаю вас, отец Павел.

— Мы должны иметь глаза здесь, но нам дороги глаза и там. Вы ведь будете писать Марии. Несколько простых, обычных вопросов информационного порядка.

— С радостью,— проговорил о. Федор.

До Солотвина о. Федор ехал поездом два дня: была повреждена колея. Партизаны, говорили все. Куда ни поедешь, одно и то же. Летят мосты, рвутся эшелоны. Что это так, о. Федор удостоверился еще раз в Солотвине — и по дороге на Рахов был взорван мост.

«Ох, грехи! — вздыхал о. Федор.— Придется нанять подводу!»

В поисках возчика в Солотвине о. Федор встретил на улице священника соседнего прихода, о. Марка Михневича. Они поздоровались холодно. Михневич был сам из бедняков, начал с певче-диакона. Стрыпский давно его недолюбливал. Но делать было нечего — вместе нашли возчика, договорились с ним и, пока он подкармливал лошадей, позавтракали в корчме, возле соляных копей.

Погода была никудышная. Моросил дождик. От Тиссы порывами налетал ветер. Даль скрывалась во мгле.

Возчик сел впереди, священники примостились в задке воза и накрылись вытертым ковриком.

И в этом своеобразном шалаше, касаясь друг друга головами и всякий раз извиняясь, они говорили о своих церковных делах. Им было о чем говорить: о прибавке к жалованью по случаю военного времени, о сборах на церковь, о последних новостях из Рима.

А далее о. Федор перешел и к собственным делам, чего он обычно не любил в беседах с такими же, как он, священниками.

— Дочь у меня уехала самаритянкой на фронт,— признался он.

— Мне рассказывала моя дочка Вероника,— ответил Михневич.

— Что же вы думаете об этом, отец Марк?

Михневич захохотал так, что даже коврик подпрыгнул.

— Почему вы смеетесь? — спросил о. Федор.

— Удивляет это меня и возмущает,— сказал о. Марк.— Священникам и их детям, я полагаю, не следует брать оружие в руки...

— Оружие брать не следует,— возразил Стрыпский,— и святая католическая церковь строго разграничивает обязанности воина и священника, но ведь церковь учит быть милосердным к ближнему. Моя Мария поехала на фронт сестрой милосердия, сиречь перевязывать раны ближних.

Отец Марк долго молчал, глядя сквозь дыру в коврике, как моросит мелкий дождь.

— В этой военной сумятице трудно уяснить, кто перевязывает раны, а кто их наносит,— тихо произнес он.— Но если даже и так и если Мария будет только перевязывать раны, то поведайте мне, кто суть наши ближние, отец Федор?

Прежде чем ответить, помолчал и Стрыпский. Вопрос был неслучайный, хотя Михневич задал его спокойным и внешне холодным голосом.

— Власть не может быть далекою для священника,— неопределенно ответил о. Федор.

— Но,— продолжал о. Марк,— каждая ли власть такова для священника?

— Если вам угодно знать,— сердито огрызнулся о. Федор,— то скажу, что каждая, которая существует и держит народ в покорности.

— Но власть здесь, в горах, весьма текуча, и мы на нашей памяти уже видели австрияков, мадьяр, чехов, а теперь... оккупантов.

— Позвольте, отец Марк, но откуда вы взяли это слово «оккупанты», когда есть только мадьяры, сиречь венгры?..

— Да ежели ведут себя оные венгры, как в колониях.

— Отец Марк, опомнитесь, колонии — это в Азии, Африке, где живут черные, краснокожие и желтокожие. Это иной мир, иные люди...

— Мир, отец Федор, везде одинаков, — ответил Михневич. — Вы хвалите свою власть, миссионеры восхваляют власть в Африке и Азии, а православные хвалят свою власть.

— Несть православных, отец Марк, есть отступники от истинной веры, схизматики...

— Я не знаю, они ли отступники, ибо как раз они никогда от веры не отступались.

— Так, может, вы, отец Марк, заодно уже и за коммунистов?

— Вот уже и за коммунистов... Нет, — просто ответил Михневич, — но сердце мое мятется и в сей тревожный час вопрошает: с кем мне быть?

— Так вы ищете для себя такой власти, какая отвечает стремлениям вашего мятущегося сердца?

— Нет, отец Федор, я не ищу власти, а спрашиваю себя, с кем мне надлежит быть, — с народом или с оккупантами?

— Праздный вопрос, отец Марк. Этот народ все равно кто-то должен держать в повиновении.

— Да неужели эти люди никогда не будут сами руководить собою? — спросил Михневич, глядя сквозь дырку в коврике.

— Вы, отец Марк, я вижу, симпатизируете коммунистам. Но ведь коммунисты на следующий день после захвата власти скажут вам, что вы им не нужны...

— Знаете, отец Федор, — ответил на это Михневич, — я думаю, что коммунисты мне просто ничего не скажут. Что им я и что они мне? Они могут жить без религии, я без нее жить не могу. Меня беспокоит другое — как наш прихожанин...

— Дайте ему волю, завтра же побьет иконы.

— Вот, вот,— живо подхватил о. Марк.— Значит, вы бонтесь не власти, а народа.

— Несть власти аще не от бога,— произнес о. Федор.

— Я эти церковные тексты наизусть знаю,— сказал о. Марк,— но что прихожане скажут, ей-ей, не знаю...

— Прогонят вас...

— Если бы только прогнали! Ведь, отец Федор, помните, что тут творилось и какую роль играл каждый из нас...

— Оставьте! — крикнул о. Федор.— У вас нервы не в порядке, вам в Карлсбад нужно.

— Нет, не нервы, а душа,— сказал Михневич.

В Рахове о. Федор попрощался с Михневичем около базара и, словно ничего между ними не было, обнял его, поцеловал.

— Как же вы теперь к себе? Я бы вас с дорогою душой подвез, да не по дороге.

— Не беспокойтесь, отец Федор, я поищу односельчан на базаре. А то и пешком. Тут недалеко. Как-нибудь дойду...

— Очень прошу вас, отец Марк, не забывайте мои слова. Вам нужно полечиться. Нервы.

— Спасибо за сочувствие. Полечусь когда-нибудь, отец Федор, у хороших врачей. Будьте и вы здоровы.

— Передайте привет матушке.

— Покорно благодарю. Передайте от меня поклон матушке Татьяне.

Отец Федор зашел на постоялый двор, приказал батраку, ожидавшему его здесь, готовить лошадей, а сам — беспокойный почему-то, озабоченный — пошел прогуляться по Рахову.

Так он очутился около уютного домика священника Демьяновича, неподалеку от Тиссы, и позвонил.

Дверь отворила знакомая работница.

— Отец Александр дома?

— Сейчас узнаю, отец Федор.

Демьянович принял кленовского духовника в своем кабинете, из окон которого видна была главная улица.

— Рад, очень рад видеть вас в добром здравии,— сказал приветливо о. Александр.

Отец Федор прекрасно знал и хорошо был знаком с о. Александром. Имени этого священника боялись и ду-

ховенство и верующие. Он приехал в Рахов еще в начале столетия и в течение нескольких десятков лет только и твердил что о несчастных русинах, об обездоленной Верховине, выезжал в села и, вздымая руки к небу, благословлял верховинцев.

Только в 1938 году Демьянович показал, для чего он все это делал и чью руку держал. Он организовал в Рахове «Угро-русскую народную раду», а из венгерских панков и их прихвостней и блюдолизов создал вооруженную фашистскую организацию «Сабад-чапатош». С амвона раховской церкви он благословил оккупантов и открыто заявил:

— Не русины мы, а рутены... Русин тот, кто коммунист или сочувствует им, а мы, рутены, стремимся к наибольшему единению с венгерской державой и полностью желаем слиться с венгерством...

Вот каков был Александр Демьянович. Никто не знал, что он все эти годы был шпионом венгерской разведки, но все поняли, что он был и останется лютым врагом русинской и венгерской бедноты. Но было поздно, отряды сабад-чапатошцев рыскали в горах, самого Демьяновича назначили членом венгерской «Верхней палаты», а на сутане его появился крест Народной обороны.

И сейчас он сидел в удобном кресле в своем кабинете, с крестом священника на груди и фашистским «крестом обороны» возле сердца, — довольно пожилой уже человек, лысый, морщинистый, но коренастый, крепкий, упитанный.

— Так, говорите, дочь пошла в армию? Что ж — это неплохо. У меня вот сын в армии... Ранен, кровь уже пролил. Все на алтарь отчизны, — торжественно воздел он руки. — А как там у вас в горах после Борканюка?

— Как будто стало тихо. Но этот пожар на бутине после его ареста...

— Думаете, они?

— А кому ж, кроме них, отче.

— Так, так, — прищурил глаза Демьянович. — Ничего, теперь мы с ними быстро покончим. Я по этому вопросу выезжаю в Будапешт. А вы в горах тоже не спите. На днях там побывает наш отряд...

— Все, что в моих силах, отец Александр. С этими опришками церемониться, конечно, нечего. Жаль, правда, что они суть не только в горах, но и в наших рядах...

— На что вы намекаете, отец Федор?

— Да вот ехал я из Солотвина с Михневичем.
— Знаю его... И что же?
— Ненадежный это человек, отец Александр. Мятется, говорит, у него сердце. А дальше — не знает, мол, какая в конце концов власть должна быть в Закарпатье...
— Да ведь это прямо агитация за большевиков, — даже побагровел Александр Демьянович.
— И что православными в разумении религии, — спешил о. Федор, — может называться духовенство по ту сторону Карпат, но не мы, ибо мы отступили, мол, от веры.
— Вы мне об этом напишите, — процедил Демьянович. — Вот так коротенько, без лишних слов, как вы умеете делать. Но чтобы были такие пункты: антигосударственная агитация, сочувствие коммунистам, политика против Ватикана. В конце поставьте свой номерок, чтобы я не забыл.
И тут же, в кабинете Демьяновича, Федор Стрыпский написал очередной «рапорт о священнике Марке Михневиче», в котором сообщал не только то, что он услышал от него, но главным образом то, что думал о нем.
— Так, — сказал Демьянович, прочитав рапорт. — И этот будет нем, как труп. Счастливого вам пути, отец Федор. Не забывайте, заходите и пишете.
Когда о. Федор вышел на улицу, он почувствовал огромное облегчение и твердыми шагами направился на постоянный двор, чтобы ехать в Клены.

4

Сколько прошло времени? Сколько раз его водили на допрос? К каким только изощренным пыткам они не прибегали? Но Борканюк молчал, как пообещал в первую ночь. Палач Мартон, сатанея от злобы, наклонял над ним свое хищное лицо и кричал:

— Ну что, Борканюк, может быть ты уже хочешь смерти?

— Нет, смерти я не прошу, — отвечал Борканюк, — но встречу ее, пожалуй, смелее, чем ты, Мартон. Тебе, Мартон, очень страшно будет умирать.

— Проклятый коммунист! Ты еще смеешь угрожать? Так я из тебя вымотаю все жилы до последней. Слышишь? Ты у меня попросишь смерти.

— Нет, Мартон, я сказал и говорю — не по-про-шу!

Он не боялся смерти. Где-то в недалеком будущем будет победа, мирная жизнь — он в это неоспоримо, решительно верил. Фашизм не может победить, победят светлые силы человечества. Он верил в это так же, как и в то, что после ночи приходит день.

Но анализ, трезвый анализ того, что произошло, вел к одному: ему, видно, не суждено дожить до победного конца войны, до мирной жизни... Его местопребывание — камера, его маршрут — пятьдесят метров до застенка, пятьдесят волоком назад. И если даже перевезут в другое место — всюду усиленная охрана: на одного — пять, десять жандармов. Трудно теперь вырваться из их лап.

— А все же, — говорил сам себе Борканюк, — я живу, буду жить!

Жить нужно было для того, чтобы доказать палачам, что коммунист нигде и никогда не сдается, что коммунисты не отступают, а борются до конца!

Безумные палачи из «Конера»! Впрочем, это касается не одних только палачей из «Конера», потому что такие же палачи действовали в то время уже в Майданеке, в Освенциме, а на них с завистью посматривал кое-кто из-за океана. Тупые мясники, они считали и считают, что есть муки, перед которыми должен поникнуть и пасть свободолюбивый человек, они думали и думают, что оружие всегда побеждает, они верили и верят, будто бы миллионы людей можно и в наше время подчинить оружием, подчинить и властвовать над ними.

Олекса Борканюк был одним из миллионов простых людей, которые увидели фашизм во всей его мерзости — с истязанием людей, со зверским издевательством над ними, со всем тем, перед чем меркнут ужасы инквизиции, — увидели и не пали духом, не покорились, а сказали: «То, что мы видели, страшнее того, что может представить себе человек, но мы не сдаемся, слышите? Не сдаемся!»

Не выдержал наконец Мартон:

— Довольно! — крикнул он. — Уберите этот труп, который смеет говорить, дышать! Уберите.

Борканюк презрительно посмотрел на палача. «Теперь ты, — подумал он, — боишься, что я умру и унесу с собой какую-то тайну. Нет, нашей великой тайны тебе не знать, не понять!»

Ночью у дверей камеры остановилось несколько жандармов.

— Выходи!

Борканюк вышел. Ему связали руки. Повели по коридору. Это могло означать конец...

Прошли длинным, гулким коридором, поднялись по лестнице, вышли во двор. Этой же дорогой его когда-то вели в «Конер».

Когда-то! Это было давно, среди зимы, в лютый мороз, в темную ночь...

Сейчас была светлая, звездная ночь. Большая, круглая луна висела в зеленоватом небе под Мукачевым, озаряла дома, башни города, заливала светом стены бывшего графского дворца, парк.

Борканюк жадно глядел на небо, город, парк. Он увидел на ветвях деревьев большие капли, они переливались самоцветами, мерцали, обрывались и падали, падали на снег. Он слышал, как звенят капли, мелодично, нежно...

Перезвон капель, теплый ветер из долины, чудесный, свежий, ароматный воздух, мягкие, разбросанные облачка, которые, точно эскадра по морю, плыли в небе,— все это напоминало ему, что близко, так близко желанная, радостная, победная весна. Жить бы и жить, встретить ее!

А руки связаны, кругом вооруженные жандармы, спит город, поблизости стоит грузовик, уже шофер взялся за ключ, дернул раз, другой... Затарахтел на весь двор мотор, капли обильнее посыпались на землю...

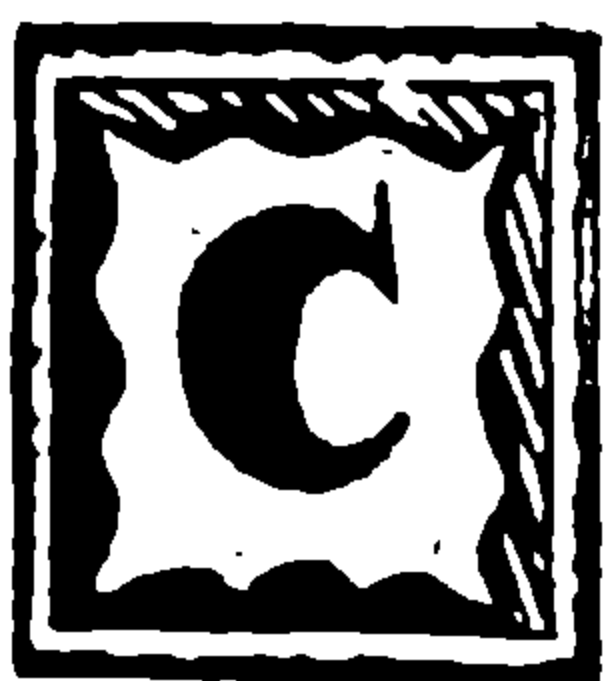
Его подтолкнули на машину, с лязгом закрылись борта, в кузов прыгали жандармы. Это был, может быть, последний час Олексы Борканюка, но он сразу вскочил, сел, прислонившись спиной к кабине, чтобы взглянуть еще раз на мир, чтобы еще раз увидеть город.

Машина тронулась. Впереди загремели ворота, «Конер» остался позади. Навстречу летели залитые лунным сиянием улицы Мукачева, дома с темными окнами. Машина быстро проехала по городу, выскочила на окраину, устремилась по шоссе — выше и выше в горы!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

1



Снова в Карпатах рождалась весна. В горах еще лежал глубокий снег, но над ним голубело небо, солнце с каждым днем все ближе подбиралось к полонинам, пробудились, зашумели в долине ручьи...

Но что весна для людей, у которых похитили свободу? Для них всегда зима, солнце светит, да не греет, — серо, тоскливо, холодно на душе.

Только просохли дороги, в поповском доме объявился капитан Чакши.

— Приветствую вас, — встретил его о. Федор. — Давно что-то не показывались. А тут — новости, новости... Наша Мария уехала.

Капитан часто заморгал.

— Куда? Зимой я довез ее только до Рахова, — сам должен был выехать в Будапешт. Но мой шофер отвез панночку в Ужгород.

— Я знаю, что вы позаботились о нашей Марии, — сказал Стрыпский. — И все же она сразу после этого уехала на фронт. Уже и письмо от нее пришло.

— Тогда я все понимаю, — процедил капитан. — У нее только и речи было, что о фронте. Подумайте!

— Я сначала это болезненно переживал, — продолжал Стрыпский. — Что ни говорите, а единственная дочь. Но теперь я успокоился — для победы нашего дела...

— Да,— торжественно закончил капитан Чакши,— для победы нашего дела ничего не жаль.

— Да что ж это мы стоим? — всплеснул руками о. Федор.— Идемте в дом!

Матушка тепло встретила гостя. Она осталась верна себе. Давно уже капитан Чакши не ел такого вкусного, сытного, «деликатного», по его собственному выражению, обеда, как в тот день у священника. Мастерца была по-падья Татьяна.

— Может, вы отдохнете в моем кабинете, пан капитан? — предложил после обеда о. Федор.— А то я должен идти выполнять свой долг. Скоро и пасха, надо помолиться...

— Спасибо,— поблагодарил капитан.— Позднее я отдохну, но сейчас хотел бы поговорить с вами...

Они прошли в кабинет. Преподобный отец уселся в кресле за письменным столом. Чакши ходил из конца в конец комнаты.

— Так как там на фронте, пан капитан?

— Положение на фронте очень хорошее,— ответил Чакши.— Но, чтобы обеспечить успех там, нужно мобилизовать все силы и тут...

— Умгу,— промычал о. Федор.

— Мы уже с вами много говорили про линию Арпада,— продолжал капитан.— Да вы и сами знаете, какая большая работа идет на перевалах. Мы должны сделать Карпаты неприступными, и они такими будут. Но это дело не одной только армии, а всего населения нашей страны. И вот видите. Эти верховинцы...

— Вы про голодранцев? — вздохнул о. Федор.— Они у меня в печенках сидят.

— Вот-вот-вот! — поддакнул капитан.— На линии Арпада не хватает рабочей силы, и нам нужно любой ценой погнать на строительство этих ваших голодранцев...

— Они такие же мои, как и ваши,— заморгал глазами о. Федор.— Конечно, нужно гнать! Благословляю!

— Вместе со мною прибыл отряд,— тише проговорил Чакши.— Мы будем их ловить и всех — в горы.

Стрыпский равнодушно смотрел в окно.

— Но вы знаете, духовный отец, как их трудно ловить,— волновался капитан.— В один двор зайдешь, а из других уже бегут. Как зайцы. И ничем их не запугаешь—

вот и Борканюка взяли, и всех коммунистов вроде бы выловили...

Федор Стрыпский, казалось, чуть побледнел даже.

— А где сейчас Борканюк? — тихим голосом спросил он.

— Сидит, батюшка.

— Сидит?! Пора бы уже кончать с ним. А то что-то страшно, капитан. Вы уж постарайтесь, а я для вас все сделаю. Говорите скорее. Что именно требуется?

2

Трудная и голодная была жизнь в Кленах, а все же каждый, по старому обычаю, готовился к пасхе. Кому праздник да куличи, а беднота хоть соберется да поговорит. Может, хоть в такие дни жандармы не тронут?! В пятницу, после плащаницы, едва землю покрывала вечерняя мгла, парни поспешили на кладбище с вязанками дров, зажечь костры. На эти костры собирались и старый и малый. Кто заводил сказку, кто — бывальщину, а больше люди толковали об одном — о войне...

— Слыхали, кум, — то здесь, то там слышался шепот, — сказывают, бьют мадьяр-гонимых.

— Тихо! Ведь в селе и нынче жандармы.

— А Борканюк, сказывают, жив, — говорил кто-то. — Вырвался из их застенков, в горах ходит. Шли наши люди Раховским шляхом, а на скале у Берлебаша, где похоронен Довбуш, стоит человек. Узнали его наши люди — Борканюк это был, доподлинно он! Кинулись к нему... Да исчез Олекса.

Так рождалась в Карпатских горах новая легенда — люди не хотели, чтобы погиб их Олекса Борканюк.

— Скорее бы он воротился! — глядели все на темные горы и леса.

И в субботу собрались, надели, у кого что было лучшего — вышитые кожанки, новые постолы, женщины нарядились в вышитые сорочки, запаски, головы повязали цветными платками... Запылали костры, стали возле них люди, ждали полуночи, когда с колокольной прозвучит и покатится над селом и в горы торжественное: «бам... бам... бам...»

Душно было в церкви. Горели «райские цветы», как называл о. Федор свечи. Впереди всех с важным видом стояли Дмитро Клумак с женой, Гаврило, Репаша, Магарычка, а на почетном месте — попадя Татьяна. В притворах молча кутались в гуни верховинцы — старые чабаны, согбенные бокораши, те хозяева, у кого дома не было чем разговестись.

Под сводами церкви разносился голос о. Федора, ему откликались дивчата и несколько стариков, которыми дирижировал учитель Гербера. Церковный сторож Кузьма ударил в колокола...

— Христос воскрес из мертвых, — стал перед прихожанами о. Федор, поздравляя с праздником. — Каждый добрый католик знает, что войну начал не бог и что в звоне оружия и грохоте танков не его голос слышен...

Это было хорошее начало для пасхальной проповеди, и даже сам о. Федор в мыслях сказал: «Добро! Добро!»

— Но если война началась, — вдруг повернул он, — мы должны позаботиться о скорейшей победе нашей державы, нашего дела. Ведь эта война не обычная, а Христова, ибо во имя господа бога наши армии выступили в поход против еретиков за Карпатами, против тех, кто уничтожает благословенное богом право собственности.

Сверкали глаза у о. Федора, и это уже стоял перед прихожанами не добрый пастырь, не отец духовный, а верный и покорный сын папы Пия XII, подручный гитлеровцев.

— Припадем же к престолу царя небесного, — закончил он, — и помолимся, чтобы господь хранил нашу католическую церковь, нашу державу, всех нас, но прежде всего славных наших гонимых, и чтобы он как можно скорее одарил нас желанною победою над еретиками. Христос воскрес, дети мои.

Люди молча выходили из церкви, чтобы взять дома кулич или горбушку овсяного хлеба и принести для освящения.

Они останавливались на паперти. Вверху на колокольне все громче и громче звонил в колокола Кузьма. Из окон церкви на двор лился свет.

И тогда от изгороди, ограждавшей церковный двор от улицы, отделились жандармы. Видно было, что они держат наперевес винтовки.

— Стой! — раздался голос капитана Чакши. — Выходить со двора по одному.

И когда вышли первые, жандармы схватили их, повели в сельскую управу. А за ними еще многих.

Кто-то быстро вернулся в церковь, крикнул:

— Преподобный отец! Хватают нас! Что ж это такое, отец духовный? Кому праздник, а нам тюрьма!

Федор Стрыпский стоял перед алтарем. Услыхав крик, он поднял руки с крестом.

— Кто смеет хватать?

— Жандармы, духовный отец...

— Ничего не понимаю, люди,— сделав вид, будто он растерялся, сказал о. Федор.— Моя держава — церковь, и, кроме нее, что могу знать? Помолимся, люди, чтобы беда миновала нас... Христос воскрес из мертвых!

У церкви жандармы хватали бедняков, не хотевших идти в горы, на смерть.

3

— Дьоршаббан! Дьоршаббан! Скорее! Скорее! — приказывали жандармы.

Один из них стоял в воротах сарая, высоко подняв фонарь. В свет фонаря попадали испуганные, печальные лица взрослых мужчин, юношей.

— Дьоршаббан! Дьоршаббан!

Когда в сарае никого не осталось, жандарм с фонарем все-таки вошел туда и постоял там, посветил. Мусор, битый кирпич, пустота...

— Все! — сказал он.

На дворе холодно, неуютно. В долине было тихо, но выше гулял ветер, быстро гнал тучи. В сумрачном небе сквозь разрывы туч кое-где видны были яркие звезды. На востоке чуть прорезывалась розовая полоска рассвета. Горы и перевал лежали черные. Падала роса.

— Дьоршаббан!

Впереди зацокали копыта лошадей, жандармы сомкнулись кольцом.

— Эх, Карпаты, Карпаты! — раздался чей-то голос...

Двинулись. Чаше зацокали копыта лошадей, начали подгонять людей жандармы. Было понятно: они хотят скорее миновать село, где в домах не светится ни огонька, но где, прячась у плетней или прикинувшись к окнам,

смотрят и ломают руки отцы, матери, жены, дети арестованных.

— Дьоршаббан! Дьоршаббан!

Жандармы почти бежали, наставив винтовки, подгоняли тех, кто хотел отстать и спрятаться в кустах или в канаве.

Когда миновали село и вышли на дорогу в горы, снизу, из долины, долетел праздничный перезвон на колокольне, — это о. Федор сзывал народ святить куличи...

Уже рассвело, солнце вставало из-за перевала, розовым светом наливалось, а потом заголубело небо, утренний ветер гнал на запад тучи.

— На линию Арпада! — говорили между собой люди. Шли отцы, рядом с ними шагали сыновья.

Вместе со всеми шел Павло Тиснянец.

Глотая горькую слезу, Павло думал, что скажет мать в это утро сестричкам? В доме пусто, и на столе пусто, хозяина не стало.

«Бежать бы, бежать отсюда, стремглав с горы, свернуть с дороги, в кусты. А там — ловите меня!» — думал юноша.

Но как бежать? Впереди на сером в яблоках коне ехал старший жандарм. На груди его болтались шнуры, фуражка была украшена перьями. Держа наперевес винтовки, беспокойно поглядывая на кусты, не спуская глаз с узников, вприпрыжку бежали пешие жандармы. Один шаг — и смерть, глупая смерть на месте.

Чем выше поднимались в горы, тем больше встречалось военных. Военные останавливались, равнодушно глядели на арестованных, переговаривались с жандармами.

— Новая партия?

— Новая, да не последняя, — отвечали жандармы.

Кругом высились скалы, шаткие мостики связывали обрывы ущелий, чем дальше, тем гуще были леса. И всюду между кустами, под деревьями, под скалами лежали штабели досок, кучи кирпича, бочки цемента, круги колючей проволоки. Стояли грузовики, тягачи. Это строилась линия Арпада, здесь работали уже тысячи людей, сюда гнали и людей из Кленов.

Павло шел, внимательно осматриваясь по сторонам, и глаза его горели сухим огнем. Это был уже не малень-

кий Павло, мечтавший о ружье и охоте в лесах. Слишком много изведаль юноша горя и понимал, что среди зверей слезами горю не поможешь. Он старался ничего не забыть из того, что выпало ему увидеть в этот злосчастный день.

4

— Дети! — сказала Гафия Тиснянчиха. — Садитесь же за стол да будем разговляться.

Маленькие София и Настя сели за стол. Мать разбудила их, едва только пришла на рассвете из церкви. Девочки оделись по-праздничному — новые рубашонки, в косах — узенькие ленточки.

— Садитесь за стол! — повторила мать.

И сели...

На столе стояла кринка с молоком, взятым в долг у соседей, лежал ломоть темного, точно из глины слепленного, овсяного хлеба.

— Мама! А где ж Павло?

— Скоро придет... А вы молчите... Разговляйтесь же, говорю.

И сама разговелась. Отломил темными, скрюченными от работы пальцами крохотный кусочек хлеба, положила его в сухой рот. Нет, не может проглотить, не в силах...

Молчала. Вот и праздник! Пасха! Великдень! Подлинно — великий день, горем наполненный, слезами омытый.

Хозяина нет! Последнего хозяина! Одна она теперь хозяйка над нуждой и горем, одна распорядчица в тоске и печали.

На заре еле приплелась из церкви. Не одна она так шла. Остановилась раз и другой, держась за колья тына, Гафия, прислушалась — тенькали колокола звонницы, а повсюду на улицах и дальше, на левадах, слышался горестный женский плач.

Вот и побывала она в церкви — освятилась, насмотрелась. Нет, не ходить уж никогда больше туда вдове! Слушайте, преподобный отец, Гафия Тиснянчиха больше не рабыня ваша, хотя нет ее беднее на свете, не верит она и не может верить попам, которые набивают себе брюхо и продают неимущих людей.

Держась за колья тына, она глянула тогда на перевал, где брезжил рассвет. Повели Павла на Гарпадову линию — убийцы, вешальщики, каты! Будь они прокляты — когда уж им конец, когда придут из-за перевалов русские люди, когда вместе с ними спустится горной тропой и Антон?

Грозная и суровая, стояла Тиснянчиха на улице Кленов в пасхальную ночь. Ничего, что с виду она неказиста, высохла, точно сложена из одних костей. Ведь меж костями пылает огнем сердце.

— Терпи, Гафия, терпи! — шептала она.

— Вставайте, дети! Праздник нынче, — сказала, войдя в дом, наклонилась над постелью и сняла рядно.

Дети — не виноваты. Кто о них позаботится, если не мать?

Трудно было проглотить кусок хлеба. Проглотила.

— Вот и праздник! Ступайте играйте на дворе, дети!

5

Шли поезда на восток. Один за другим тянулись эшелоны на фронт. Между воинскими эшелонами в пассажирских поездах к перевалам Карпат, из Будапешта, Дебрецена и Вены спешили не на фронт, а поближе, на оккупированные советские земли, где можно было пожить, разные акционеры, промышленники, аграрии, католические священники-миссионеры, проститутки, которые надели белые косынки с красными крестами и стали называться сестрами-самаритянками. Поезда шли на восток, разрывали гудками тишину лугов у Тиссы, тревожили спокойствие ущелий и перевалов. Люди в селах на долине и в горных хижинах ужасались: «Да когда же этому конец, когда?!»

Шли поезда и с востока. Много было поездов, на вагонах которых виднелись красные кресты. Это везли тех, кто рвался к чужим богатствам, а получил пулю. Следом и попеременно с этими поездами тянулись эшелоны с награбленным добром — захватчики везли машины и скот, зерно и уголь. А были еще эшелоны, где все двери и даже окна в вагонах были забиты, но откуда сквозь стены доносились стоны, временами слышался женский

плач. Это палачи везли невольников — на каторжную работу, на муки и смерть.

Среди этих поездов шел один, вышедший на запад из Мукачева. Он шел очень медленно, останавливался на больших и малых станциях, подолгу стоял на перегонах посреди венгерской равнины.

Это был поезд с гефтлингами¹ — людьми, которые недавно имели свои имена и фамилии, но потеряли их, когда попали в руки фашистских палачей, и обозначались, как вещи, только номерами. Это везли сынов верховинского края, бедноту из долин и с Карпат, людей, которые не хотели покориться оккупантам. Их заперли в вагоны — по восемьдесят в каждый, по сто, забили двери, выставили стражу и повезли на запад.

В одном из вагонов, под усиленной охраной, сидел Олекса Борканюк.

Его не убили в ту ночь, когда везли из «Конера». Какая-то иная цель была у палачей. Его бросили в другой подвал, в «Раковцы-Коштель», в Чинадиеве.

Там он провел несколько дней. Видно было — палачи чего-то ожидают. Чего? Борканюк не знал. Он не мог знать, что из Будапешта в Закарпатье пришел приказ «использовать арест Борканюка как одну из мер борьбы с коммунистами, возить его, как арестанта, на позор по всему Закарпатыю».

На позор? Нет, этого не достигли фашисты. Был родной Олекса Борканюк рабочим и бедноте Закарпатья, когда выбирали они его своим депутатом и давали наказ — бороться за свободу и счастье, эти люди полагались на него, как на секретаря коммунистической организации. Арестованный Борканюк напоминал и подтверждал, что никакими средствами нельзя убить коммунизм.

И куда фашисты привозили его, чтобы опозорить, там трудящиеся выше поднимали головы, собирались и горячо протестовали, поддерживая Олексу Борканюка.

«Раковцы-Коштель», Туря-Ремета, Ужгород... Все напрасно!

¹ Заключенными (нем.).

Тогда пришла телеграмма:

«Вы не умеете взять от Борканюка того, что нужно, и не умеете показать его как следует. Отправить в Будапешт...»

...Поезд шел на запад. Борканюк не знал, куда их везут. Этого не знал никто из гефтлингов. Они были заперты, отрезаны от всего света.

Ночью их выгрузили на какой-то станции и дальше погнали пешком. В другое время отсюда они могли бы видеть зарево большого города, лежавшего неподалеку. Но было военное время, фашисты боялись советских самолетов, боялись населения самой страны, — большой город был затемнен.

Когда начало светать, узники увидели вдалеке горы, мосты через реку, высокие дома на набережных. Перед ними открывался Будапешт.

«Маргит-керут» — тут Борканюку суждено было провести еще много дней, много месяцев. В эту центральную будапештскую тюрьму кидали узников, привезенных из многих стран. Мало кто в то время вырывался живым из многоэтажных серых корпусов. Одна дорога открывалась отсюда — на кладбище.

Борканюка заперли сначала в отдельной камере. Снова, как на каждом этапе, начались бесконечные допросы, пытки и мучения.

Как и прежде, он отвечал, что был секретарем краевого комитета Коммунистической партии, но ничего не скажет ни об организации, ни об ее руководстве, ни о каких-либо планах.

Бессонные ночи. Новые палачи и новые пытки.

— Вы хотите правды? — говорил Борканюк. — Слушайте — я говорю правду. Никогда никому не победить коммунистов, никому и никогда не запретить Коммунистическую партию приказом. Вы хотите знать, где коммунисты? Выйдите на улицу, поезжайте на Карпаты — они повсюду. Они действуют, ибо не могут не действовать, они знают о всех ваших преступлениях и оплатят за них. Почему же теперь вы молчите? Не верите? Нет, это не недоверие, а страх перед коммунизмом.

Его перевели в общую камеру. Это было для него большим облегчением. Слова среди людей, снова возможность слышать их голоса и говорить самому.

Холодок седины все больше покрывал его виски, на лбу углублялись морщины. Но мысль по-прежнему работала молниеносно — она проникала так далеко!

Глава вторая

1

В последние дни сентября 1942 года в Будапеште военный суд на закрытом заседании должен был рассмотреть дело Олексы Борканюка. В сущности, все было предусмотрено и решено заранее. И, конечно, дело решали не три куклы из военного суда. Имя Борканюка вызывало приступы безумной ярости и Хорти и Миклоша Каллаи, это имя произносилось с проклятиями в «Кемельгарито», папский нунций в Венгрии, кардинал Миндсенти, предал анафеме сына лесоруба из Карпат, показав этим, что католическая церковь стоит не только за физическое уничтожение Борканюка, но хотела бы уничтожить и душу коммуниста.

Но они не могли допустить, чтобы этот человек ушел из жизни, не сказав того, что им очень хотелось знать. Этот коммунист с Карпат невозможно держал себя на следствии. Он возмутительно вел себя во время допросов. Все, что только могли придумать палачи из «Кемельгарито», было применено к Борканюку, но вырвать слово признания у коммуниста так и не смогли.

Тогда пошли на последнее. Будучи сами трусами, они считали, что мелкий страх за жизнь свойствен всем людям. Поэтому решено было провести суд; пусть в холодке зала, на скамье подсудимых Борканюк почувствует, что рядом — жизнь или смерть, и пусть задумается над тем, как признанием облегчить свою вину и сохранить жизнь.

Председателем суда был назначен палач и взяточник Доминич, который до того уже хладнокровно подписал тысячи смертных приговоров. В правительственных кругах его называли «автоматическим счетчиком смертей». В ночь накануне суда Доминича вызвали в здание правительства, где с ним долго говорили министр внутренних дел Ярош и генерал Винце — организатор «Народ-

ной гвардии»¹. Ярош, поблескивая золотом очков, то и дело прополаскивая рот содовой водой, шипел:

— Добейтесь, чтобы этот Борканюк признался, кто входит теперь в краевой комитет Коммунистической партии Закарпатья и где находятся их комитет и подпольные группы...

— И пункты, где существуют партизанские отряды,— добавлял генерал Винце.

— Я приму все меры,— обещал Доминич.

Борканюка под стражей ввели в зал, где должен был состояться суд, за час, а то и больше до начала заседания и посадили за барьером.

Часовые не обращали никакого внимания на узника. Они переговаривались о разных мелочах, вспоминали какие-то встречи и свидания, спектакли, кинокартины. Это также входило в программу суда: у них — свобода, развлечения, а место узника — за барьером.

Олекса Борканюк не прислушивался к болтовне часовых. Его не интересовали их дела. Даже лучше, что на него не обращают внимания,— он может остаться наедине с собою.

Здесь прежде помещался театр, об этом свидетельствовали декорации замка на сцене, паддуги, на которых были намалеваны зелень и цветы. Под паддугами стоял застланный зеленым сукном стол, еще два маленьких стола справа и слева — для прокурора, видимо, и для секретаря суда.

Что суд будет только комедией, Борканюк очень хорошо понимал. Нет, они ничего не добьются от него и на этот раз. Он молчал прежде и будет молчать также в этом зале, а если что-нибудь и скажет, то это будут совсем не те слова, какие им нужны.

Жандарм крикнул: «Суд идет!» Голос его гулко прокатился в холодном, пустом зале.

Их было трое — председатель и два члена суда. За ними вошли прокурор и секретарь. Ровно подстриженные, выбритые, в одинаковой военной форме, точно подогнанные под один ранжир, они были одинаково хмуры, и казалось, ничто на свете их не интересовало.

¹ «Народная гвардия» — венгерско-фашистская армия, созданная для борьбы с партизанами.

Председатель суда объявил заседание военного суда открытым.

— Ваша фамилия, подсудимый?

— Борканюк.

— Имя?

— Олекса.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот первый.

— Национальность?

— Украинец,— ответил Борканюк.

— Что значит украинец? — сразу вспыхнул Доминич.— В составе венгерского королевства не было и нет никаких украинцев. Есть только венгерцы греко-католического вероисповедания.

— Я уважаю трудящихся венгерцев, но сам не венгерец,— сказал Борканюк.— Я и родные мне люди — украинцы, славяне... Они жили на Карпатах испокон веку, а семьсот лет назад их поработили венгерские князья.

— Довольно! — крикнул Доминич.— Суд не интересуют ваши выдумки. Скажите, подсудимый, вы коммунист?

— Да, я принадлежу к Коммунистической партии.

— Может, принадлежали?

— Нет, принадлежал и принадлежу...

— Гм...— процедил судья.— Тогда, может, вы знаете, кто является автором вот этой писанины?

Он взял со стола и развернул тоненькую брошюру. Борканюк издали узнал книжечку, на первой странице которой было напечатано: «Все в бой за социальное и национальное освобождение трудового народа Закарпатья!» Он знал в ней каждую строчку, каждое слово. С каким трудом они с товарищами печатали эту брошюру! Он помнил, что в книжечке сорок восемь страниц — они трижды спускали по шестнадцать страниц на машину.

— Кто это писал? — продолжал яростно Доминич и начал цитировать: — «Из нищих верховинских хат слышны стоны детей и взрослых, умирающих с голода. Кучка банкиров, крупных землевладельцев, кулачья захватила в свои руки земли, фабрики, все средства существования, а у нас нет ничего, кроме наших рабочих рук.

Нас ведут к голодной смерти, рабству и новой империалистической войне». Ну, помните, подсудимый, кто это писал?

Борканюк молчал.

— Или вот...— зловеще цедил судья.— Вы только подумайте, какое нахальство, какая самоуверенность! «Трудящиеся Закарпатья! Наступает час решительных боев! С большевистской решимостью подымайтесь в бой, под водительством коммунистов, против всякого национализма, против фашизма, против империалистической войны...» Вы знаете, кто писал эту крамолу?

Доминич сердито швырнул брошюру на стол.

— Да,— ответил Борканюк.— Я узнаю эти строки и считаю за великую честь для себя, что я их написал.

— Подсудимый откровенен,— криво усмехнулся Доминич.— Может, тогда вы согласны и с тем, что не только писали эти преступные слова, но и действовали?

— Коммунисты всегда пишут только то, что думают,— сказал Борканюк,— а то, что пишут, неуклонно осуществляют.

— Любопытно,— все силился усмехнуться Доминич.— Итак, вы не отрицаете, что ваш краевой комитет Закарпатья, в состав которого вы входили и якобы являлись секретарем, после правительственного постановления о закрытии Коммунистической партии не только не подчинился этому постановлению... а продолжал свою деятельность... направленную против государства?

Судья помолчал и в упор взглянул на подсудимого, наблюдая, какое впечатление производят на него эти слова.

— Комитет не распустил также,— цедил судья,— и низовых своих организаций... Он получал секретные директивы... он давал секретные директивы своим низовым организациям...

Борканюк молчал.

— Ну, что ж вы молчите, Борканюк? Говорите. Мы ждем вашего ответа.

Борканюк вздохнул и ответил на все пункты обвинения:

— Если речь идет о коммунистической организации и ее краевом комитете, то они в Закарпатье существовали и существуют.

— Они разгромлены! — крикнул судья.

— Я сижу в тюрьме восемь месяцев,— сказал Борканюк,— и не знаю, что за это время произошло. Но я думаю, что господин судья ошибается, потому что Коммунистическую партию нельзя ликвидировать по приказу, и организация наша существует...

— Ее нет, она не существует,— завопил судья.

— Да вот я же существую, господин судья. Я представляю партию коммунистов в этом зале.

— А кто представляет партию там, в Закарпатье? Вы скажете нам имена руководителей организации?

— Господин судья,— ответил Борканюк.— Я давно сижу в венгерских тюрьмах и не знаю, что за это время произошло. Мертвых вы знаете лучше меня, кто из живых стал на их место.— мне неизвестно...

— А низовые организации? Краевой комитет их не распускал?

— Краевой комитет не мог их распустить по той же причине... Во главе трудящихся, борющихся за освобождение, стояли и стоят коммунисты.

— Но ведь вы получали директивы от московских большевиков и сами их давали?

— Что касается директив московских большевиков,— сказал Борканюк,— то это правильно. Только можно ли называть их таким казенным словом, как директива...

— Называйте их как хотите, но ведь они были? — спешил Доминич.

— Такую директиву большевики Закарпатья имели,— продолжал Борканюк, и от дремоты проснулись и наострили уши даже равнодушные ко всему члены суда.

— Конкретно,— задыхался судья.— Когда и где получали вы эти директивы?

— Все время, насколько я помню,— ответил Борканюк,— Коммунистическая партия Советского Союза учила и учит нас бороться с капиталистами, бороться с фашизмом, бороться за мир и демократию.

— Подсудимый сказал про директивы,— сжал кулаки судья.— Я спрашиваю конкретно, где эти директивы?

— Эти директивы — в программе Коммунистической партии, в произведениях Маркса, Энгельса, Ленина...

— Я говорю про директивы, которые получены были краевым комитетом, вами лично? — крикнул судья.

— Напрасно думает господин судья,— ответил Борканюк,— что коммунист каждый раз должен получать какую-то директиву. Для него есть единственный и простой закон жизни: он всегда должен поступать так, как ему подсказывает совесть коммуниста.

— Значит, вы отрицаете, что имели конкретную директиву?

— Отрицаю.

— А вещественные доказательства?

— Я не знаю, о чем идет речь.

— При аресте у вас найдено несколько номеров газеты «Правда».

— Да, эти газеты были при мне. Но разве это какая-то тайная директива? Я уже сказал, что здесь не годится казенное слово «директива». Речи Сталина и статьи «Правды» передаются по радио, их слышит весь мир.

— Их слушают,— крикнул судья,— но ведь не все действуют. А в Закарпатье...

Председатель суда был в ярости, но старался сдерживаться. Он приказал привести свидетелей. Их вводили по одному — Василь Борканюк, вдова покойного брата Дмитра Явдоха, дети ее — Иван и Анка.

Что мог сказать Василь? Возврата не было. Неосторожным словом он навеки опозорил себя.

— Я виновен,— сказал Василь.— Погубила меня любовница... Но за Олексой вины не знаю.

Когда допрашивали вдову покойного брата Дмитра Явдоху, судья крикнул ей:

— Вы укрывали преступника! Говорите правду, иначе угодите на каторгу!

Явдоха кинула взгляд на Олексу, посмотрела на судью и сказала:

— Лучше уж смерть, только вместе с ним.

Судья принялся допрашивать Анку. Она громко, на весь зал, зарыдала. Председатель суда приказал всех их вывести.

Тогда в зале появился новый свидетель, вызванный по требованию прокурора,— Гаврило Клумак. Председатель суда предупредил свидетеля, чтобы говорил правду, спросил, готов ли свидетель подтвердить свои показания под присягой.

— Хоть сейчас,— ответил Клумак.

— Что вы можете показать по обвинению Борканюка

в государственной измене, в преступных действиях против правительства и организации подпольных коммунистических групп? — спросил судья.

— Я, господа судьи, — начал Клумак, — имею неопровержимые доказательства, что этот самый Борканюк причинил большой вред нашей венгерской державе. Я, господа судьи, прежде всего должен сказать, что это он, и только он, убил моего покойного отца Тимофея Клумака. Ножом зарезал, на полонине...

— Опомнитесь! — кинул Борканюк. — Вы ведь сами знаете, что в то время, когда убили вашего отца, меня не было не только в Ясенях, а и на Карпатах...

— Я, господа судьи, — продолжал Гаврило, — прошу вас принять меры, чтобы он тут не имел права говорить и угрожать. А если и не было тебя близко, — обозлился он, — то все равно это только твоих рук работа. Коммунисты все такие, что вот они тут, а их оружие стреляет где-то за сто километров...

Борканюк улыбнулся. Председатель суда позвонил и мягко сказал свидетелю:

— Прошу ближе к делу... Какие проступки совершил подсудимый, и что вы скажете о подпольной коммунистической организации?

— Я только об этом и хотел сказать, — продолжал Клумак. — Я говорю, Борканюк — это очень опасный и вредный человек. Не успели его забрать, а на бутине у нас вспыхнул пожар. Вы ж только подумайте — контракт с военным министерством — и все до щепки сгорело...

Борканюк не пропускал ни одного слова Клумака. Судья что-то шепнул поочередно одному и другому члену суда... Прокурор схватился за стул, словно тот горел под ним.

— Господин свидетель! — крикнул судья.

— Господин судья! — еще громче выкрикнул Гаврило. — Его, проклятого, нету, а в селе полно слухов и даже есть прокламации про Москву и про Сталинград... Опять же, почему на тартаке перебои и пилы рвутся, как паутина?.. Я проезжал через Рахов, Хуст, Мукачево — и там только и разговору, что об этом Борканюке. Он сидит здесь, а там говорят, что гуляет в горах. Где что ни случись — все Борканюк...

— Господин свидетель, — вскочил из-за стола судья. — Все эти факты суду известны, и я прошу их не повторять...

Я прошу вас, господин свидетель, ответить только на один вопрос и только одним словом: виновен ли подсудимый?

— Господин судья,— ответил Клумак,— я считаю, что он больше чем виновен, и не только он, а я бы всей бедноте головы свернул, все они — его единомышленники и бунтовщики...

— Вы свободны, свидетель,— не сказал, а приказал председатель.— Садитесь! Молчите!

И Клумак горделиво, считая, что безупречно и даже лучше, чем его учил прокурор, исполнил свою роль, уселся в первом ряду кресел.

— Пригласите свидетеля Магарычку,— приказал судья.

— Я, милостивые судьи,— нацепив на нос свои очки и вынимая из кармана какие-то бумажки, говорил Магарычка,— под присягою могу показать, что подсудимый Борканюк в смысле юриспруденции является абсолютно нежелательным элементом. Еще во время выборов в парламент в тысяча девятьсот тридцать пятом году он собрал — вот и документы — семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто четыре голоса на Верховине. Виданное ли это дело? А вот его книжка, она и до сего времени гуляет по Верховине: «Все в бой за социальное и национальное...»

— Свидетель,— поморщился судья,— отвечайте конкретно, что вы можете показать о его вредной деятельности теперь, в годы войны?

— В смысле юриспруденции,— снова заторопился Магарычка,— он является агитатором, шпионом и диверсантом.

— Это так,— поддакнул судья.— Но факты?

— Он вредил в горах и на железной дороге, и когда произошел взрыв в Перечине, это, конечно, только его работа. А вот прокламации,— выхватил он пачку бумаг,— они раскиданы по всей Верховине. Да дети даже...

— Свидетель,— крикнул судья,— нас это совсем не интересует.

— Но я имею сотни доказательств того, как действуют коммунисты.

— Свидетель,— отчаянно завопил судья.— Ваши слова не вяжутся ни с какой юриспруденцией.

— Извините, господин судья, — перебил его Магарычка, — но я имею специальное образование по юридической линии.

— Сядьте, свидетели! — приказал судья. Он злился и на организаторов суда, и на свидетелей, и на себя. Как можно, чтобы Борканюк унес с собой в могилу радостные для него и такие неприятные для властей известия о поджогах, взрывах, о всей деятельности коммунистов?

— Слово имеет прокурор, — поспешил объявить судья.

Прокурор говорил долго. Он доказывал, что Олекса Борканюк всю жизнь боролся с существующим государственным строем, выступал против правительства и его мероприятий, после запрещения Коммунистической партии ушел в подполье...

Борканюк не прислушивался к словам прокурора. Он сидел усталый, только глаза его выдавали глубокую внутреннюю сосредоточенность, подъем. Не речь прокурора и неумолимое приближение часа приговора волновали его. Весь процесс напоминал ему старую, затасканную комедию, которую он, вопреки своей воле, должен был смотреть. Но за запыленными декорациями этого фашистского балагана Борканюк увидел то, что так тщательно старались скрыть от него судьи. Клумак и Магарычка говорили о большом пожаре на бутине в Кленах, упомянули о толках людей о Москве и Сталинграде, о листовках, аварии на лесопилке, взрывах. Значит, люди борются с оккупантами, живет, действует, руководит их борьбой коммунистическая организация.

Прокурор перешел к последней части своей речи, перечислил статьи закона, по которым подсудимый должен понести самую суровую кару — смерть, а Борканюку казалось, что перед ним уже не пустой зал, а вошли, стоят, слушают, что скажет Олекса Борканюк, все его товарищи — коммунисты, вошли даже те, которых, быть может, и нет, но которые все равно живы.

— Подсудимый, — объявил судья, — вам предоставляется последнее слово. Учтите, что чистосердечное признание в преступлениях облегчит вашу участь.

Борканюк встал. Рядом с собою он ощущал далеких своих друзей. Он будет говорить не членам суда, прокурору, Клумаку и Магарычке, которых даже не вывели из зала. С ними ему не о чем говорить. Он обращался

к друзьям и был уверен, что если не теперь, то когда-нибудь они услышат его голос.

— Председатель суда,— начал Борканюк,— обещал, что если я скажу правду, то получу снисхождение. Я снисхождения не прошу и не хочу его у вас зарабатывать, но правду сказать хочу и должен.

Больше, больше воздуха в груди! Он глубоко вздохнул.

— Я родился на Карпатах,— сказал Борканюк,— и в горах провел свои детские годы. Там от чабанов и лесорубов я услышал легенду об опришке Олексе Довбуше. Вы тоже, наверно, слышали ее, ибо у легенды, говорят, крылья широкие, а в той легенде говорится, что Довбуш был верным сыном своего народа, боролся с богачами, что у богатого отнимал — бедному отдавал, и за это сложил голову.

— Бросьте сказки про какого-то там Довбуша,— крикнул председатель суда.— Говорите по существу!

— О Довбуше я уже закончил,— продолжал Борканюк,— но в этой легенде говорится, как, умирая, Довбуш зарыл где-то в Карпатских горах свой пистоль и завещал, что с каждым годом этот пистоль будет на маковое зерно подниматься выше и выше из земли, а когда выйдет совсем, то исполнится все то, о чем мечтал и за что боролся Олекса Довбуш.

— Я говорю вам последний раз,— предупредил председатель суда,— перестаньте вспоминать Довбуша. Если я услышу еще раз это имя, я лишу вас слова. Говорите только о себе.

— Хорошо, я больше не буду называть это имя, а скажу о себе,— разносился в пустом зале голос Борканюка.— Я верил всю жизнь и верю и теперь, что, слагая эту легенду, народ говорил о себе. Семьсот лет трудовой народ Закарпатья терпел горе и муку, копил свой гнев. Умирали одни, но на их могилах все так же расцветали цветы народного гнева. И среди этих цветов поднимался все выше из земли тот освященный людской кровью пистоль, о котором я говорил. Народ долго ковал, а теперь взял в свои руки оружие. Взял, говорю я, потому что есть на свете Коммунистическая партия, потому что существует Советский Союз.

Председатель суда ударил кулаком по столу.

— Здесь не место для агитации. Я вас лишаю слова.

— А я уже все сказал,— закончил Борканюк.— Вот моя правда. Слушайте, господа судьи. Суд идет! Пройдет немного времени, и вы с вашими хозяевами сядете на эту скамью, где сейчас сижу я, а там, где сидите сейчас вы, сядут настоящие судьи. Торопитесь же, подписывайте приговор!

Суд заседал ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы внести в готовый протокол одну короткую фразу.

— «Именем правительства — к смертной казни через повешение»,— объявил судья и посмотрел на Борканюка.

Борканюк стоял и, казалось, был выше, чем прежде,— непобедимый и грозный коммунист с Карпат.

2

Фашисты остались верны себе и даже осужденного на смерть хотели еще пытаться, мучить. Борканюка бросили в одну из тех камер, где человек, как в могиле, остается наедине с собой. Его держали в этой камере много дней, ожидая, когда коммунист с Карпат сойдет с ума или сам попросит смерти.

Жалкие трусы! Они не могли даже представить себе, что такое чувство, как страх, не свойственно человеку сильной воли, каким был Олекса Борканюк.

В маленькой, узкой камере были только стол, стул и деревянный топчан вместо кровати,— все прикованное железными прутьями к полу. Высоко вверху, затененное от солнца козырьком, проступало оконце с решеткой.

Если бы не это оконце, он потерял бы счет дням. Оно было холодно, темно и пусто ночью, но утром из-под козырька и между решетками пробивался, как самый близкий друг, голубой свет, потом появлялся розовый луч, он отражался на стене, касался вещей. И всегда Борканюк, стоя посреди камеры, протягивал к нему руки.

— Здравствуй, свет!

Он был здесь не первый. Сколько людей прошло через эту камеру — смелых, отважных. Слабых здесь не могло быть! Кто ослабевал в последнюю минуту, протягивал палачам руки, тот, может быть, получал отсрочку от смерти, но зарабатывал только проклятия и позорную, трижды позорную смерть. Сюда попадали те, кто неук-

лонно, непоколебимо боролся за правду, свободу, счастье трудового народа. На стенах камеры оставались после них написанные углем, мелом, просто выцарапанные камнем волнующие, горячие, как их последний вздох, слова: «Прощайте... Помните... Боритесь!..» Эти три слова, написанные на разных стенах, разными руками, на разных языках,— были заветом всех их. На одной стене, в углу, было написано по-венгерски: «Газам, мит чинал-нак ек велед!»¹

Ночью над дверью камеры, зарешетченная, словно и она была в заключении, горела тусклая лампочка. В двери был пробит, как и в других камерах, волчок, и часовые, которые все ходили и ходили, стуча тяжелыми солдатскими сапогами по коридору, проходя мимо двери, заглядывали в волчок, но сами оставались в тени. Падали в небытие секунды, из них складывались минуты, проходили часы и дни.

Часы и дни! Попав в эту камеру, Борканюк думал, что ему суждено оставаться в одиночестве до последней минуты. Он этого не боялся, ему было о чем подумать и было что припомнить, шагая взад и вперед по короткой камере...

И вот в одну из ночей, когда затихла тюрьма, он услышал стук — откуда-то очень издалека, очень неясно. Минуту и другую он прислушивался, ловил эти звуки, разгадывал их...

— Борканюк! Где Борканюк? — разгадал он эти звуки.

Легкий вздох вырвался из его груди, он вскочил с топчана, принялся ходить по камере, чтобы дозорный видел и радовался, что их жертва не может спать, а в минуты, когда часовой отходил, сам начинал выстукивать:

— Борканюк здесь... Был суд...

Так было и позднее: несколько раз среди ночи долетал стук, и сам он отвечал. Он слышал далекие голоса друзей, откликался на них, говорил с ними. Слово, два, три слова — какая это была радость! Может быть, и там, в камере, где он сидел последнее время, узнали о его участи. Дорогие, милые друзья! Живите, живите на счастье!

А там наступила еще одна ночь — в коридоре слышались шаги часового и еще другие, очень тихие шаги.

¹ «Моя родина, что они делают с тобой!»

Лязгнул засов, в камеру вошел жандарм, а за ним проскользнул священник.

Священник этот точь-в-точь напоминал о. Федора Стрыпского из Кленов, только был гораздо выше кленовского попа, ему даже пришлось пригнуться в дверях камеры. А так словно брат его — черная сутана, и крест и евангелие в руках.

Войдя, священник обшарил глазами камеру, увидел Борканюка, стоявшего в углу, и обратился к часовому.

— Вы выйдите, воин! — сказал он и сам закрыл за ним дверь.

— Нам никто не должен мешать, — сказал тихо священник Борканюку. — Сядьте, сын мой.

Борканюк понял, что это и есть та ночь, которая неминуемо приближалась, а священник — вестник конца.

— Спасибо, я могу постоять, — поблагодарил Борканюк.

Тогда сел священник, положил крест и евангелие на стол, рядом с кружкой для воды и коркой хлеба, и глубоко вздохнул, словно желал показать, что и ему свойственны необычайные, глубокие и сложные душевные переживания.

— Сын мой, — начал он. — Я... греко-католический священник и пришел сюда, в тюремную камеру, чтобы облегчить тебе последние тяжкие часы бренного жития на земле.

— Напрасно вы думаете, — ответил Борканюк, — что ваше присутствие облегчит эти часы. Чем вы можете помочь? Отменить приговор суда? Вывести меня за стены тюрьмы, сказать: «Ступай, Борканюк, ты свободен!»

— Святая католическая церковь стоит в стороне от политики, — проговорил священник, — и ей не дозволено вмешиваться в действия властей и отменять приговоры суда. Наши силы и милосердие ограничены законами.

— Я не знаю, действительно ли вы так бессильны, — заметил с улыбкой Борканюк, — но если это так, то для чего же вы пришли сюда и чем можете облегчить мне последние минуты жизни?

— Я пришел сюда, — говорил священник, — напомнить тебе, что все то, что мы называем счастьем на земле, ничто в сравнении с тем, чего нам надлежит ожидать в неведомом грядущем.

— Почему вы называете грядущее неведомым? —

улыбнулся Борканюк.— Я знаю, что несет мне будущее, а если так, то и живу в будущем, в вечности.

— О нет,— гневно возразил священник.— Душу твою захватил в плен дух гордыни. Человек не может знать будущего, и слабые природные силы не дают ему возможности постичь вечное.

— Нет,— сказал Борканюк.— В будущее не хочет заглядывать тот, кому оно ничего хорошего принести не может. Вы, должно быть, боитесь, что от вас в недалеком будущем не останется и следа, и потому делаете будущее неведомым. А я знаю это будущее и стремлюсь к тому, чтобы оно настало скорее.

— Перед тобою смерть! Неужели ты хочешь, чтобы она скорее настала?

— Не пугайте меня смертью,— спокойно сказал Борканюк.— Я говорю о будущем трудящегося человечества и знаю, что каждый день и даже час приближает для него победу, радость, счастье...

— Будущее человечества и каждого человека зависит только от бога,— вел свое священник.— Вот почему, в ожидании его праведного суда, нужно обращать внимание и на земные наши дела. Остались последние часы, тебе нужно предстать с ясным лицом перед престолом всевышнего, нужно очистить душу, покаяться, сказать всю правду, и это все останется только между нами и богом. А я, властью, данною мне от бога, обещаю тебе прощение.

— Вижу и понимаю,— вздохнул Борканюк.— Мне уже обещали снисхождение и прощение на суде, если я скажу правду. А когда я эту правду сказал, приговорили к смертной казни. Теперь вы предлагаете сказать всю правду, но даже уже не обещаете никакого снисхождения, так как ваши силы, мол, ограничены людскими законами, а обещаете только прощение в будущем. Что мне приговор суда и ваше прощение в будущем? Я не согласен с приговором суда, не хочу и вашего прощения. Но что мне делать? Здесь, в Будапеште, сегодня сила в ваших руках. Но пройдет немного времени, и я уверен, придет другой, подлинно народный суд. Он осудит моих судей, и думаю, что он осудит и вас, как их единомышленника и помощника...

— Я говорю о суде всевышнего,— повторил священник, но голос его дрогнул.

— А вы верите во всевышнего? — спросил Борканюк.

— Ты... богохульник. Ты... — у священника глаза налились кровью, но все же он овладел собою и закончил: — Как я могу не верить в него, если вся моя жизнь направлена к тому, чтобы со спокойным сердцем предстать перед его судом.

— Тогда вам, — засмеялся Борканюк, — нужно взять меня за руку, и мы вместе пойдем на казнь.

— За что? — ужаснулся священник. — За то, что я, как раб рабов божиих, пришел к тебе в последний час?

— Пришли в последний час? А где же вы были раньше, батюшка?.. Что-то я не заметил, чтобы вы были с рабами. Да и я, как бы вам ни хотелось этого, я не был и не буду рабом. Я — коммунист, а мой учитель — партия коммунистов.

— Гордыня, — забормотал священник. — В слове «раб» нет ничего обидного. Я тоже именую себя рабом рабов божиих...

— А служите не рабам, а фашистам... — перебил его Борканюк.

— Всевышнему, — поправил пан-отец и поднял палец правой руки. — И мой учитель меня не оставит. Ваши же учителя, — сказал он зловеще, — побиты на берегу Волги, на Кавказе, за Москвой, за Ленинградом.

— Нет, — сказал Борканюк, — мои учителя устояли и устоят, а ваши союзники и побратимы свернули себе шею под Москвой, под Ленинградом, и вовек не перейти им Волги.

— Последние сводки с фронта... — начал и сразу оборвал священник.

— Ну, что ж вы замолчали? — спросил Борканюк. — Я был бы рад услышать даже от вас последние сводки с фронта. Вы молчите. Я понимаю! Вас недаром учили, духовный отец. Вы умеете молчать, когда нужно. Тогда слушайте — я не верю в ваши сводки, хоть бы вы мне их и сообщили. Одно меня занимало — чем вы себя еще и сегодня утешаете? Хотите, я вам скажу правду о фронте?..

— Правду о фронте? Откуда, Борканюк? Ведь вы восемь месяцев сидели в тюрьме...

— Вы хорошо информированы, пан-отец, а все же я знаю правду о фронте. Слушайте! Фашисты не были и вовек не будут в Москве, им никогда не бывать в Ленин-

граде, им не пить воды из Волги, коммунисты побеждали и победят в борьбе с ними — на фронте, и здесь — в Закарпатье, в Венгрии...

— В Венгрии? — живо переспросил священник. — Что они могут сделать? Кто они суть, сын мой?

Борканюк долго смотрел на священника.

— Об этом меня спрашивал суд. Я отказался что-нибудь сказать ему. Вижу, что это интересует также и вас. Но почему, пан-отец? Вы что же, агент фашистской власти?

— Сын мой, ты ошибаешься. Я не являлся и не являюсь агентом государственной власти. Я пришел сюда как католический священник, не с оружием, а с крестом и евангелием. Меня ведет в каждый дом и сюда, в тюрьму, христианская мораль, любовь к ближнему...

— Пустые слова! — перебил его Борканюк. — Я знаю вашу христианскую мораль и вашу любовь к ближнему. Если бы вы любили ближнего, вы скинули бы черную сутану и не продавали бы своего ближнего, а вы прикрываетесь сутаной, маскируетесь евангелием и крестом. Вы говорите, что политика не ваше дело и что вам безразлично, какая государственная власть у нас существует. Но почему же вы благословляете власть Хорти и Гитлера, а содрогаетесь, когда я говорю о власти трудящихся? Вы, багюшка, агент Гитлера и Хорти. И потому вам в этой камере нечего делать. Сегодня в Будапеште, в этой камере, власть Хорти не существует. Слышите? Уходите отсюда.

Проплыли по коридору башмаки священника, и затих где-то на лестнице звук его шагов. Охватив руками голову, пылавшую от жара, в углу камеры стоял Олекса Борканюк. Подлость, коварство, ложь — да до каких пор!

И снова открылась дверь. На пороге стоял часовой. Он вел себя как-то странно, выглянул в коридор, возвратился.

— Молчите! — тихо проговорил он. — Мы готовились, товарищ Борканюк, но не смогли. Прислали много жандармов, усилили охрану. Я хочу помочь тем, что передам ваше письмо на волю.

Он подал листок бумаги, карандаш и, видимо, услышав шум в коридоре, быстро вышел из камеры, закрыв за собою дверь.

Борканюк стоял ошеломленный. Кто был только что в его камере? Он встречал этого часового, когда вели на допрос. Часовой не сказал тогда ни слова... Да и не мог сказать... А теперь он дал бумагу, карандаш, сказал: «Готовились, но не смогли. Прислали много жандармов... Усилили охрану». Значит, кто-то хотел ему помочь, старался спасти, но в последнюю минуту не может ничего поделать... Какая радость — узнать о друзьях, хотя бы и в последнюю минуту. События совершаются где-то далеко, но они пробиваются и к нему, сюда, в тюрьму.

«А может быть, — мелькнула мысль, — они подослали еще кого-нибудь из своей шайки, чтобы вырвать признание на бумаге? Ведь они идут на все, на все. Этот священник, потрясавший здесь евангелием и крестом... Как мерзко, подло!»

Но нет, говорить так сердечно и просто, говорить с такой печалью, смотреть такими ясными глазами мог только друг. Этот часовой — венгерец. А разве в Венгрии нет его друзей, которые также борются с Гитлером и Хорти? Нет, если коммунисты и в Венгрии, за стенами «Маргит-керут», в Будапеште и дальше, дальше на больших заводах, в серых рабочих поселках, в городах на Дунае и Тиссе, в деревнях — всюду есть у него друзья.

А если это даже и не друг, то что он может сделать и как может ему повредить? Передать письмо тюремной администрации? Это ничего им не даст. Олекса Борканюк не напишет ни одного слова, которое могло бы повредить партии и их великому делу. Правда и только правда! Родные люди его услышат и поймут, враг пусть ужаснется еще раз.

Он сам чувствовал в эти минуты нестерпимую жажду попрощаться с людьми, рассказать им, с какими мыслями шел на смерть, — пусть знают, что Борканюк не был трусом, не отступил в часы мучений, пыток и суда, а говорил врагам правду, смотрел смело вперед и видел победу.

Он сел к столу и подождал, пока часовой еще и еще раз прошел мимо дверей. Нет, часовой не глядел в волчок, не хотел мешать. Спасибо, друг!

Кому же написать письмо? Он вспомнил многих своих друзей, с которыми хотел бы поговорить. Потом перед

его глазами возник залитый августовским солнцем вокзальный перрон в Москве, длинный поезд, готовый тронуться в далекий путь на Сталинград, глаза жены, — она держала на руках младенца.

Он обращался к ним, но через них — ко всем родным людям. Олекса Борканюк писал:

«Моя любимая, дорогая жена, моя дорогая дочка Олечка!

Не было ни дня, ни часа, когда бы я о вас не думал. Мне бесконечно хотелось возвратиться к вам. Не судьба... Военный суд приговорил меня к смерти. Эти строки пишу за несколько минут до смерти.

Чувствую себя сильным, полным энергии, так хочется жить. И нет спасения. Должен умереть. Зато иду на смерть смело, мужественно, так, как надлежит людям нашего склада.

Прожил я сорок один год, из них посвятил двадцать лет борьбе за дело бедного люда. Всю жизнь честно, неустанно боролся, и не ради собственной выгоды. Никогда я не кривил душою. И таким умираю, ибо знаю, что наше дело правое и победа будет за нами. Народ меня не забудет; когда настанут другие времена, история расскажет правду и обо мне. Я умираю и буду жить.

Не оплакивайте меня, мои дорогие, и не горюйте по мне. Война — это величайшее бедствие для человечества. Теперь тысячи и сотни тысяч лучших сынов народа погибают за лучшее будущее человечества. Верьте — после этой войны настанет мир, который надолго, а может быть и навсегда, сделает это бедствие невозможным. Прощаясь с вами, желаю вам дождаться мира и счастливой жизни...

Милая моя дочка Олечка! Ровно год было тебе тогда, когда безжалостная война разлучила нас. Ты была моею радостью, моею жизнью. В этот час, когда я иду на смерть, кровь каплет из моего сердца, так как знаю, что не увижу больше тебя. Желаю, чтобы ты росла счастливо, была доброй и справедливой, училась и стала человеком. Никогда не забывай, что твой отец умер на виселице за дело народа.

Прощайте, дорогие!

Олекса Борканюк».

Письмо окончено. Он сложил листок вчетверо, стал у дверей и, когда часовой проходил по коридору и на миг остановился, подал ему письмо. Он вернул тут же и карандаш — этот карандаш был ему не нужен.

Говорят, что перед смертью человек окидывает взглядом всю свою жизнь. Так и было: Олекса Борканюк в эти минуты вспомнил и детство на Верховине, и школьные годы в Ужгороде, годы учения в Харькове, комнату на Интернатской в Мукачеве, карпатские полонины, соляные копи Солотвина, леса под Свалявою.

Вспомнились беседы, мелочи, на которые тогда не обращал внимания. Он вспомнил, например, сломанную ветку на каштане под окном общежития в Харькове, цветок с полонины, не увядавший несколько лет, прищуренные глаза художника Короджия, чабана Сегиня, лепестки роз на быстрых волнах Ужа...

Юлиуса Фучика вспомнил, теплый вечер в Праге... Где теперь Юлиус? Жив ли? Посидеть бы вместе еще хоть минутку, помечтать, вспомнить Москву!

Москва! Родные, сердечные, простые люди, сколько теплых слов услышал он от них, как много видел добра.

Красная площадь! Он проходил по ней в солнечные дни, когда там даже камень дышал теплом, он стоял там в морозный день, но все так же чувствовал, как тепло обнимает его сердце...

Он сел за стол, перед кружкой воды и куском недоеденного хлеба, охватил руками голову и долго так сидел, глядя на серую, влажную стену перед собой. Он напрягал всю свою волю и чувства, чтобы забыть об этой стене, не слышать шагов часового.

И вот исчез где-то шум тюрьмы и шаги, зеленый лучезарный свет разлился перед ним, и очень отчетливо, словно на расстоянии руки, он увидел то, за что боролся, о чем мечтал.

На высоких перевалах Карпат из туч порохового дыма, из пламени пожарищ вышли советские воины. Позади были жестокие бои, позади были трудные, далекие переходы, но сильные и непоколебимые стояли солдаты, несокрушимая сила чувствовалась в их руках.

Сбылось то, о чем мечтали они на берегах Волги, Дона и Днепра, — они освободили от врага родную зем-

лю, несут освобождение братьям за Карпатами, несут освобождение всем тем народам, которые были поработаны фашизмом. Словно лавина с Говерлы, ринулись они по склонам вниз, и ничто в мире не могло бы остановить их победный шаг.

«Здравствуйте, друзья мои! — сказал Борканюк. — Мы долго вас ждали и дождались, примите мой сердечный привет!»

И это говорил не только он. Он представил себе, как внизу в карпатских долинах встанут рабочие и батраки, лесорубы и сплавщики, солекопы, плотники и чабаны. Встанут украинцы, чехи, венгры и румыны, матери поднимут над головами детей. И сорвется с их уст:

— Слава освободительнице, Советской Армии! Слава братьям нашим, советским людям!

Борканюк увидел море света, заливавшее Карпаты, села вдоль Тиссы, леса и реки, склоны гор, покрытые виноградниками, тракторы на равнине Тиссы, заводы, счастливые лица людей и их радостные глаза.

— Как прекрасен будет мир! — вырвалось у Борканюка.

Он стоял посреди камеры и слышал, как за окном, на квадратном дворе тюрьмы, началось движение. Ему показалось, что кто-то там сыграл несколько нот на каком-то духовом инструменте. В камерах наверху слышались шаги.

Борканюк не знал, который может быть час. Остановясь перед оконцем, он всматривался, не видно ли кусочка голубого неба, как это бывало каждое утро. Нет, неба не видно...

По коридору все ходил и ходил часовой. Должно быть, охрана сменилась: ночью дозорный ходил медленно, тихими шагами, этот, новый, ступал неуклюже, тяжело.

А вот и засинело в окне. Борканюк закрылся руками от света лампочки и увидел кусочек синего неба. Четыре палочки — железная решетка — вырисовывались на этом синем фоне. А сколько таких решеток поставили фашисты во всем мире! Но что эти решетки? Пробудится мир, размечет, разобьет, раскидает решетки. Будет так, мир — не тюрьма, как ни стараются фашисты сделать его тюрьмой. Не выйдет! Свет победит ночь!

И руки его сами собою потянулись к оконцу, как бы приветствуя свет.

— Люди! — прошептал он. — Какая великая радость встретить рассвет здоровым, бодрым, готовым к борьбе! Я встретил еще один рассвет, последний! Но все равно, я был рад встретить его... Так и вы, встречая новые и новые рассветы, не забывайте никогда о врагах человечества, о фашистах, которые стремятся отнять у человека радость рассвета, и боритесь, боритесь против них!

В оконце синело, вот уже заголубело небо, скоро оно станет розовым, а там луч заглянет и в камеру.

Послышались шаги в коридоре. Шаги фашистских палачей. Остановились у двери. Лязгнул засов. Вошли трое. У них были серые лица, они остановились на пороге.

— Что? Хотите руки связать? Бойтесь?

Он повернулся к ним спиной и почувствовал, как железо охватило его руки.

Вышли в коридор. Вдоль стен стояли жандармы. Коридор был длинный. Скупое горели желтоватые лампы. Борканюк шел ровным шагом. Он знал — много дверей в этом коридоре, может быть сквозь волчки в дверях смотрят его товарищи, друзья.

— Раз... два... раз... два...

Вышли во двор. Свежий воздух. Двор тюрьмы был широкий. С четырех сторон высились стены. В вышине видно было небо, на нем дотлевали звезды. Светились во всех этажах оконца камер. Много в тюрьме часовых, но ведь они не смогут поставить часового у двери каждой камеры. Кто-то из друзей смотрит в эти оконца.

Подтолкнули. Зачем? Он и сам видит, куда нужно идти. В конце двора у стены стоит на помосте виселица. Ее полукругом окружили жандармы, дальше стоят музыканты с поблескивающими трубами. Значит, их поставили, чтобы не слышно было его слов.

В молчании он переступил две ступеньки на виселицу, поднялся на табурет. Офицер в тишине торопливо читал приговор. Борканюк не слушал, он слышал приговор на суде. Слушать еще раз? Нет, не нужно! Холодная петля легла на шею. Дирижер поднял руку.

Это и есть та минута. Он должен крикнуть прежде, чем заиграет оркестр. И крикнул:

— Меня вы убьете, но народ вам не покорить. Да здравствует Красная Армия, несущая нам свободу!

И ему показалось, что долетел ответ — из окон камер, из-за стен тюрьмы, из задунайских степей, с Карпат:

— ...Да здравствует Красная Армия!

Глава третья

1

Ясный, солнечный день вставал над Будапештом. Розовое сияние, струившееся с задунайской равнины, коснулось вершин гор Вархеди и Геллерта, заиграло на плесе Дуная.

Ничто как будто не изменилось за прошедшую ночь. Где-то высоко в небе гудели самолеты. Стонали паровозы на станциях. Ожили все семь мостов через Дунай, по ним покатались трамваи, автомобили, пошли пешеходы. А под мостами, взбивая белую пену, спешили куда-то пароходы, катера. Зашумела Буда на правом берегу Дуная, отозвались заводы и фабрики на левом берегу — в Пеште, на Кебанье...

Степан Шегута не спал. Всю ночь не мог заснуть. Накануне он совещался с руководящими работниками Коммунистической партии Венгрии о положении в Закарпатье. Они полностью одобрили те меры, какие наметил краевой комитет Закарпатья.

Говорили и про Олексу Борканюка. Ведь та борьба с фашистами, пламя которой разгоралось на Карпатах, была продолжением его жизни и работы. Коммунисты Будапешта знали, что нестигаемый коммунист с Карпат заключен в «Маргит-керуте». Было известно и о суде над Борканюком. Ночью они совещались, как вырвать его из тюрьмы.

Рано утром к Степану Шегуте постучались. Пришел товарищ Михай, с которым он видался вчера. Но рядом с Михаем стоял молодой человек в жандармской форме.

— Это наш — товарищ Шандор, — сказал Михай, заметив, что Шегута с подозрением взглянул на жандарма.

— Друг мой! — обратился затем Михай к Шегуте. — Я пришел сообщить скорбную весть. Борканюка не стало. Солнце вставало из-за Дуная — большое, багряное.

— Когда это произошло? — спросил Шегута.

— Фашисты повесили его... сегодня на рассвете, — ответил Шандор. — Во дворе тюрьмы... Он успел крикнуть: «Меня вы убьете, но народ вам не покорить. Да здравствует Красная Армия!»

Наступило молчание.

— Народ не покорить, — тихо повторил, глядя в окно, Шегута. — Твоя правда, Олекса!

— Этой ночью я побывал у него в камере, — добавил Шандор, — я передал ему бумагу, и он написал письмо.

Шандор вынул из кармана и положил на стол сложенный вчетверо листок бумаги.

Когда Шегута брал листок, у него заметно задрожали руки. Он осторожно расправил листок, тихо положил его на стол...

Шегута знал почерк Борканюка. Сколько он прочитал его писем, статей! Он настолько знал этот почерк, что по письмам угадывал настроение Борканюка. И вот еще одно — последнее письмо! Ровные строчки, четко выведенные буквы, каждая фраза продумана, закончена, как всегда. Нет, он был спокоен! Таким нужно быть и всем им!

«Не оплакивайте меня, мои дорогие, и не горюйте по мне, — прочитал Шегута. — Война — это величайшее бедствие человечества. Теперь тысячи и сотни тысяч лучших сынов народа погибают за лучшее будущее человечества. Верьте — после этой войны настанет мир, который надолго, а может быть и навсегда, сделает это бедствие невозможным. Прощаясь с вами, желаю вам дождаться мира и счастливой жизни».

Михай порывисто подошел к окну и остановился там, отвернувшись от всех, прикинув головой к холодной раме.

— Какой позор для Будапешта! — горячо сказал Шандор.

Шегута дочитал письмо и обвел глазами комнату.

— Кедвеш баратаим!¹ — обратился он к Михай и Шандору. — Не Будапешт виновен в смерти Борканюка.

¹ Дорогие мои друзья! (венгерск.).

Разве хотели его смерти рабочие Кебаньи, Пешта, Чепеля? Его убили те, кто сидит в виллах на Буде, кто одинаково пьет кровь и трудящихся венгерцев, и закарпатских украинцев. Им — Гитлеру и Хорти, палачам и убийцам — вечный позор и грозная месть за Борканюка и за все наши жертвы. Нет Борканюка! Он не придет уже к нам, мы не услышим его голос, ушел от нас навек! Большое горе и у вас и у нас, на Закарпатье. Но я верю, — придет то время, о котором пишет Борканюк в своем письме, и освобожденные из фашистской тюрьмы труженники Будапешта придут и склонят головы перед могилой нашего Олексы. Сквозь море знамен мы пронесем его тело по всей Венгрии, чтобы похоронить там, где он жил и боролся.

Шегута сделал шаг вперед и протянул руки Михаяу и Шандору.

— Спасибо вам, друзья, — сказал он, — что вы пришли поддержать меня в эту тяжелую минуту. Спасибо и вам, Шандор, — вы сделали для нас неоценимое дело.

Он взял со стола письмо и спрятал в карман. Долгим взглядом обвел комнату, поглядел в окно.

— Вот, кажется, — закончил Шегута, — сделал я все, что мог, в Будапеште. Спасибо вам, кедвеш баратаим!

2

Линия Арпада! Сколько людей погибло в Карпатах на каторжной работе среди высоких гор и перевалов. О чем думали фашисты, начав еще в 1938 году сооружение линии Арпада и непрерывно укрепляя ее в годы войны? Отгородиться неприступной стеной от Советской Армии после поражения на восточных пространствах? Спасти за высокими Карпатами от расплаты за все совершенные ими преступления?

Но это был обычный маневр убийц и злодеев. Пробраться, пробраться как можно дальше вперед, побольше там навредить и накрасть, а если придется уносить ноги — еще и загородить за собой выход...

От взрывов в горах катилось гулкое эхо. Листву срывало с деревьев. Падали сосны, буки и ели, которые стояли здесь и гордо озирали со своей высоты окружаю-

щее и сто и двести лет назад. Где были скалы, там появлялась черная бездна, где зияли ущелья — вырастали горы.

Впервые Павло Тиснянец задумался тогда, когда произошел этот случай с троими...

На каторге в Карпатах у людей не было имен. Часовые называли их одним словом — «бейреш»¹, они и узникам запрещали называть друг друга по имени, вообще им запрещали говорить.

У этих троих тоже не было имен. Позднее, ночью, люди тихим шепотом передавали друг другу, будто бы один из троих был солекоп из долины, еще двое — отец и сын — бокораши... Так это или не так, но поступили они, как надлежит солекопам и бокорашам.

Два венгерских солдата стерегли узников, которые дробили камень у дороги. Солдаты стояли по бокам, держали наготове автоматы, но время от времени сходились, курили, переговаривались между собой. А трое работали молча, только искры сыпались из-под их кирок...

И вдруг, замахнувшись еще раз, будто бы для того, чтобы отбить кусок скалы, тот, кого позднее называли сыном бокораша, сделал несколько быстрых шагов вперед, и его кирка ударилась не о камень, а разрубила голову часового так, что тот повалился навзничь... Автомат же его до земли не долетел — его подхватил сын бокораша...

Люди, работавшие в горах, видели, как трое побежали — вниз, по дороге. Это была их ошибка, говорили заключенные, им надо было сразу свернуть, кинуться в кусты, а там и лес... Но они побежали по дороге, а между тем уже началась тревога, начал стрелять часовой, оставшийся в живых, начали стрелять все солдаты, на скалах и у дороги. И один из троих вдруг остановился, взмахнул руками и упал. Только тогда двое других свернули в кусты. Солдаты допоздна обшаривали лес, всюду рыскали их собаки... Двое убежали...

Павло часто вспоминал этих беглецов. Долгими ночами и на работе он задумывался над тем — поймали их жандармы или нет, а если убежали, то где они сейчас?

¹ Батрак (венгерск.).

Но нет, он был уверен, что отец и сын убежали далеко от линии Арнада, что они где-то работают. Он желал им счастья! Завидовал им!

И о том же думал Павло Тиснянец еще раз вечером, когда узников пригнали в дощатые бараки и когда они, усевшись прямо на земле, наклонясь вместе над корытами, ели бурду, которая называлась здесь «зупой».

В это время на кухню, находившуюся неподалеку, пришел их начальник — капитан войск СС Вакс.

— Есть горячая вода? — закричал он кухарю.

— Есть, пан капитан!

— Я хочу купаться.

Налили в корыто воды. Капитан Вакс скинул с себя портупею, револьвер, планшет и положил все это на траву. Усевшись на табурет, сбросил свой мундир, рубаху, потом сапоги и штаны. Не обращая никакого внимания на людей, сидевших около барака и глотавших «зупу», капитан Вакс стал голый на мешок, который ему услужливо подостлал кухарь, поглядел равнодушно на заключенных, отвернулся от них и принялся делать гимнастические упражнения.

— О... я! — сказал капитан, закончив упражнения. — Дайте мне теперь мыло... воду.

Капитан схватил мыло, принялся мыться и так намылил голову, что она стала напоминать снежный шар...

— О... я! О... я! — чуть не стонал от удовольствия капитан Вакс.

Люди не ели. Они сидели перед своими корытами, ложки выпадали и выпадали из их рук. Люди не могли смотреть на голое, намыленное, отвратительное тело капитана. Вот такие капитаны называли их темными, неграмотными, некультурными, но любой из них всегда имел стыд перед другими, когда купался. Узники с омерзением отворачивались от капитана.

Не смотрел на Вакса и Павло Тиснянец. Хлопец думал о своем — близко, за перевалом, родная хата, мать, сестрички, а он оторван от них. Те двое бежали и теперь где-нибудь на свободе, — Павло был убежден в этом, — а он и все заключенные прикованы к военной машине; живут под штыком и пульей. Воля! Вырваться бы на волю — в долины, в зеленые горы. Да еще если бы иметь револьвер и планшет, которые капитан Вакс кинул на

траву! Мысли в голове проходили каким-то сверкающим, многоцветным потоком...

С губ юноши сорвался такой глубокий вздох, что это заметили даже другие узники. Он взглянул еще раз на капитана Вакса, — тот все приплясывал на месте с намыленной головой, приговаривая: «О... я! О... я!» Потом хлопек кинул взгляд вокруг себя и увидел кухаря, который поливал водой капитана, часового с автоматом...

Будто стрела из лука, взметнулся Павло, на один миг остановился и пригнулся к земле возле кухни, а дальше тонкая тень его промелькнула за штабелями бревен.

Часовой вскрикнул. Прозвучала очередь из автомата.

— Что там такое? — кричал капитан с намыленной головой...

3

Золтан Репаша снова наведася к Потоки. Не ждали его Ласло и Коти. Все село говорило, что совсем взбесился бирюх — уже вовсе не признает людей, никого не узнает. «Правда, — горько шутили верховинцы, — может, это потому, что у Репаша живот выше носа вырос, за таким животом и кучи золота не увидишь!» Люди, конечно, шутили, потому что золото, называлось ли оно пенге, или как-нибудь иначе, Репаша узнал бы с закрытыми глазами и перед ним не кичился. Подати на селян сыпались за податями. Кто там разберет, за что Репаша с Магарычкой продают с торгов последнюю коровку и овцу, срывают с кросен недотканный кусок полотна? А тут еще надбавка к жалованью по случаю военного времени, пособие от правительства, как отцу военнослужащего, посылки от Яноша с восточного фронта.

Правда, с последней посылкой Янош прислал и письмо:

«Папа и мама! Я зашел очень далеко, где лечусь после ранения, и мечтаю только поскорее вернуться в свой дом, чтобы жить вместе с вами...»

— Ты понимаешь? — сказал Золтан Юдит, прочитав письмо от первой до последней буквы. — Теперь военное время, и Янош не может всего написать. Но из этого можно сделать три вывода...

Золтан Репаша замолчал и минутку смотрел, как

Юдит, опершись плечом о косяк кухонной двери, поблескивая перстнями на пальцах, курит сигаретку.

— Первый вывод такой,— принялся рассуждать Репаша.— Если он ранен, то его, наверно, уже не пошлют в эту кашу. Второе — он хочет ехать в свой дом на берегу Днепра; ведь я даже мысли не допускаю, чтобы Янош думал возвратиться в эти проклятые горы. Ну, и третье,— ты сама, наверно, понимаешь это,— он думает жить только с нами, и нам пора собираться в дорогу.

— Я согласна хоть завтра,— сказала Юдит.

— Завтра — это рано, однако мы должны быть готовы. Да погаси ты свою сигарету!..

— Привет! — сказал Золтан Репаша, едва пролезши в узкую дверь хижины Ласло Потоки.— Шел мимо, дай, думаю, зайду к земляку...

Он даже похлопал механика по плечу, что было свидетельством совершенного доброжелательства и благосклонности к бейрешу фирмы Клумаков.

— Может, пан биров хочет перекусить? — как и в прошлый раз, предложил Ласло Потоки.

— О нет,— сразу ответил Репаша,— я уже позавтракал...

И он перешел к делу.

— Так как же вы, Ласло,— спросил он, развалившись на скамье,— уже надумали?

— Вы о чем? — словно не понял его механик.

— Короткая у вас память,— насмешливо процедил биров,— неужто забыли, о чем мы с вами улаживались? Дом я предлагал вам купить... Учтите — он на двадцать пять сантиметров выше, чем у священника. Стоит мне крикнуть о продаже, так набегут из самого Рахова. Но я вам хочу услугу сделать, как венгерцу.

— А что, разве вы уже надумали выезжать? — поднял брови Ласло.

Не только он интересовался ответом бирова,— и Коти, возившаяся у печи, прислушалась к их беседе, повернула голову к столу, где сидел гость.

— О да! — горделиво ответил Золтан Репаша.— Я думаю, теперь это протянется совсем недолго. Мой Янош пишет в письме, что зашел очень далеко. Понимаете? Может быть, он у самой Москвы, может быть — на

Волге. Его недавно ранили, и уже, видно, он больше не будет воевать. Знаете, Ласло, в письме всего не напишешь, но он извещает нас с Юдит, что пришло время поселиться в нашем доме. Вот мы и готовимся... Так как же вы, Ласло, надумали? Ударим по рукам... Только вам, как венгерцу...

И дальше произошло то, чего совсем не ожидала Коти. Ласло Потоки, сидевший задумавшись, вдруг поднял голову и сказал:

— Хорошо, пан Репаша. Я покупаю ваш дом.

Они торговались! Это был отчаянный торг на десятки тысяч. Золтан Репаша не хотел уступить ни одного пенге.

Условились, что дом остается за Потоки и что механик должен выплатить деньги сразу после того, как Репаша соберется в дальнюю дорогу!

— Вот и ладно! — повеселел Репаша. — Получаете отличный домик. Поздравляю вас, мадам Коти! Вы еще не раз поблагодарите меня...

Золтан Репаша ушел. Ласло Потоки долго сидел молча у стола. Молча хозяйничала у печки Коти. Не выдержала Коти, она подошла тихими шагами к столу...

— Как ты хочешь, Ласло, но моей ноги в доме Золтана Репаша вовек не будет, — сказала она.

Он посмотрел на нее: седые пряди выбились из-под темного платка, морщины избороздили ее лоб, а все-таки хороша была его жена, ее нежный румянец на щеках, открытый взгляд.

— Что ты сказала, Коти? — словно бы недослышал он.

— Слушай, Ласло! — вспыхнула она. — Ты с ума спятил, что ли? Покупать усадьбу? Да на какие деньги? Откуда?

— Чего ты кричишь? — удивился Ласло. — Ты думаешь, что такие уж большие деньги каких-нибудь сто тысяч пенге? Тьфу! Если у человека есть сто тысяч, но нет совести, чего стоят эти деньги? Если же у человека всего одно пенге, но есть совесть, о, это уже большое богатство. Одно пенге у меня есть. Совесть тоже. Почему бы мне не купить усадьбу?

— Да вы слышите? — всплеснула руками она. — Ласло, что с тобой? Ты с ума сошел?

— Нет, я не сошел с ума, Коти. Репаша читал мне письмо своего сына. Но он не понял этого письма. «Они зашли очень далеко», — да, они зашли так далеко, что их

гибель неминуема. «Он ранен», — нет, он и все они ранены смертельно... «Янош хочет ехать в свой дом», — хотел бы я посмотреть, из каких досок будет сколочен этот дом. Ты понимаешь, Коти, почему я свободно, с одним пенге, могу покупать дом Репаши? Этот дом и все другие дома скоро заберет народ! Неужели ты думаешь, что здесь, в Карпатах, все будет всегда, как теперь?

— Мой миллионер. — Она подошла к нему совсем близко. — Нынче ночью мне снился Будапешт, Чепель, где я родилась, мой отец и мать. Разве мы никогда уже, Ласло, не будем жить в Будапеште?

— Человеку хорошо живется там, — ответил Потоки, — где у него искренние, настоящие друзья. Здесь у меня — такие друзья... Я, конечно, люблю и Будапешт, ведь человек должен любить землю, где жили его отцы. Но о каком Будапеште ты говоришь? О том, который убил моего отца, о том, где фашисты сейчас убили Борканюка? Нет, Коти, я не хочу жить в этом Будапеште. Я хотел бы жить, Коти, в том Будапеште, за который боролся и о котором мечтал мой отец, в свободном городе, освобожденном от рабства, где хозяева — трудящиеся — строят счастливую, радостную жизнь. В таком Будапеште, дорогая моя Катерина, я хочу и, верь моему слову, непременно буду жить. Мы с тобою там будем жить вместе.

4

Было далеко за полночь, когда кто-то постучался в ворота лесопилки.

— Кто там? — крикнул испуганно, вскинув автомат, Габор Бакони.

— Это я, Потоки, — донесся из-за ворот знакомый голос.

Габор открыл, впустил механика и сразу же запер ворота.

— Вы пришли и на эту ночь? — спросил жандарм. — Пусть уж я, так у меня жизнь на карте. Эти черти, — он кивнул на караулку, — перепились и спят. А кому-то нужно же нас охранять. Но вы могли бы ночью и поспать.

— Не спится, Габор. Сами видите — авария за ава-

рией. Машины у нас никудашные, старые. Надеяться ни на кого я не могу. Кто-то спит, а механику не ложится, голова только у него болит...

— Я вижу, пан Потоки, вашу работу,— сказал Габор.— По-моему, вы настоящий патриот.

— А как же иначе? — ответил механик.— Я очень люблю свою родину и болею за нее...

— Вам бы не здесь быть, а в таком городе, как Будапешт. Что здесь? Там — простор, размах.

— К сожалению, я не знаю Будапешта.

— О пан Потоки, какой это чудесный город! Вы себе не можете представить. Гора Геллерт, Буда, рестораны, бары. А Дунай!..

— Представляю,— вздохнул Потоки.

— Нет, нет, этого представить нельзя, это нужно видеть своими глазами. Пан Потоки, когда окончится война и я наконец вырвусь из этой дыры, обещаю вам похлопотать за вас...

— Сердечно благодарю, Габор! Но что я буду делать в Будапеште? Я ведь только механик...

— Ой, пан Потоки! Мой отец тоже когда-то был только машинистом на заводе Кенде. А посмотрели бы вы на него теперь! Какой вид, какие манеры. Это, Потоки, зависит от обстоятельств и от характера человека. Да и характер можно переделать. Разве я когда-нибудь думал быть военным? Отец учил меня в торговой школе, а вот видите — шинель, автомат. Ничего, поношу и шинель. Лишь бы на фронт не идти.

— На фронте в самом деле страшно,— согласился Потоки.— Эти убийства, кровь...

— Пан Потоки,— перебил его Габор.— Убийства и кровь существуют не только на фронте. Здесь их тоже хватает. Но здесь, понимаете, меньше шансов, что тебя убьют...

— Скажите, Габор,— спросил Потоки,— а вам как же — тоже приходилось убивать?

— Вы просто отсталый человек, как говорит мой отец. Ну, а как же иначе?

Он помолчал, глядя в темноту, где шумел горный поток.

— Вы чужак, Потоки! Как же в наше время не убивать! Эти коммунисты, все те, кто им сочувствует, просто недовольные... Когда-нибудь,— размечтался он,— когда

все это закончится, будет подсчитано, сколько каждый из нас сделал. Я могу выйти со светлым лицом. Вам, как патриоту, могу признаться... Девяносто восемь! На сегодня только. Но ведь война еще не закончилась...

— О чем вы говорите, Габор? — обернулся к нему лицом Потоки.

— Я говорю о том, — ответил Бакони, — что убил этой рукой девяносто восемь человек. Это мои и ваши враги, Потоки. Я служил при тюрьме в Будапеште, слышали, может, «Маргит-керут», я ездил с отрядами в степные села, потом еще два концлагеря.

— Расстреливали? — спросил Потоки.

— Нет, не только... и вешали, — равнодушно кинул Габор.

— Но это были, может, не венгерцы?

— Нет, немало было и венгерцев. Среди наших людей тоже имеются враги государства. Ну, а потом эти рутены, — я бы их всех перевешал, все они одинаковы. Было, представьте себе, и двое цыган — мужчина и женщина. Но я их всех считаю вместе, и это правильно...

— Я вижу, вы действительно много уже успели сделать, — сказал Потоки. — Такой молодой и столько...

— А что вы думаете, Потоки! Я не люблю отставать. Сейчас мне двадцать четыре года. Мой отец говорил, что молодой человек должен закончить свою карьеру к двадцати пяти годам. Еще два человека, и будет сто. Но, — зевнул он, — до чего хочется спать, Потоки! Как вы думаете, если бы я разбудил этого проклятого Иштвана?

— А что ж, попробуйте, — сказал Потоки.

Габор пошел в комнату механика и попытался разбудить Иштвана из Егера. Потоки стоял в это время на пороге и смотрел на свою загаженную, заплеванную комнату, где он раньше мог отдыхать в ночные часы.

Напрасно Габор толкал Иштвана под бок и упрашивал его:

— Постой на карауле хоть час.

Иштван даже глаз не открыл, только буркнул:

— Цецилия, кому я сказал — спи!

— Все они пьяны, как черти, — выругался Габор, выходя из комнаты механика, — и я бы заснул, да кто нас тогда будет охранять...

— Это правда,— согласился Потоки.— Кто-то кого-нибудь должен охранять. Но мы заговорились, Габор, я хочу еще немного поработать.

— Работайте,— сказал Габор Бакони.— Мне будет покойнее.

Ласло Потоки прошел в кладовую, рядом с караулкой, где стояли машины, а в углу валялся разный железный лом. А Габор Бакони остался на дворе... Он то присаживался на полозья, на которых подавались бревна и над которыми на столбе раскачивался фонарь, то вставал и подходил к горному потоку. Там шумела и шумела вода, Габору казалось, будто кто-то бредет через поток...

Ласло Потоки осмотрел машину, порылся в железе...

— Девяносто восемь,— шептал он.— Но ты забыл про моего отца — он девяносто девятый. Только сотого тебе убить не удастся!..

Он наклонился над кучей железа и вытащил оттуда железный шкворень с гайкой на конце.

Когда спустя некоторое время Ласло Потоки выглянул из кладовой, Габор сидел на полозьях и дремал. Крадучись, Потоки сделал несколько шагов, размахнулся и с силой ударил Габора шкворнем по голове. Послышался треск, автомат выпал из рук Габора и скользнул на песок, а сам он даже не шевельнулся...

Тогда механик прошел по дорожке,— она белела в темноте, как кусок полотна,— к реке.

— Я одного убил,— сказал он Данилу Ковачу, который с несколькими товарищами вышел из-за штабелей.— Я иначе не мог... Это убийца моего отца.

— А другие?

— Пьяны и спят!

— Идем! — приказал Ковач.

Несколько лесорубов вошли в караулку.

— Нужно бы этого прибрать,— указал Потоки на убитого, когда они снова вышли во двор.

Ковач толкнул полозья, и они заскользили в темноту. Потоки вошел в машинную и захватил с собой веревку. У берега полозья остановили, труп Габора сбросили на землю, привязали к ногам камень... Плеснулась вода в глубокой понорине, и все затихло...

Полозья оттянули назад, Ковач зажег спичку и внимательно осмотрел песок...

— Коти! — сказал Потоки, став в дверях. — Ты не спишь?

— О нет, — ответила она из темноты и вышла ему навстречу. — Я ждала тебя... Почему ты так поздно? Ведь скоро рассвет.

— Да, — проговорил Потоки, не сходя с места. — Скоро уже рассвет.

Коти в темноте положила свою руку ему на плечо и пальцами коснулась редких волос на голове.

— Ты, должно быть, устал? — сердечно, ласково и просто сказала она. — Разве можно так много работать, Ласло? В твои годы...

Он ничего не отвечал.

— Почему ты молчишь? — спросила она.

— Знаешь, Коти, — проговорил наконец он, и у него был какой-то особенный, необычный голос. — Я вспомнил своего отца, Коти...

— Отца?

— Да, да, Коти! Я вспомнил своего отца и подумал...

Он помолчал, взял ее за руку и прошел к столу.

— Сейчас у нас такое время, — сказал Ласло, — что те люди, которые боролись за наше счастье, хотя они и мертвы, но живут сегодня; живые продолжают их дело, потому что это дело бессмертно; а те, кто считает себя вечными, они уже сегодня мертвы...

5

Гаврило Клумак прислушался. Кто-то стучал в ворота, часовой на крыльце крикнул тревожно:

— Кто там? Эй, кто там?

Потом оба часовых пробежали под окнами, остановились и с кем-то заговорили возле ворот.

«Видно, с тартака, — подумал Клумак. — Вот и ломаются среди ночи. Ох-хо-хо!»

Он снова прилег на постель, чтобы подремать часок до рассвета. Но под окнами снова слышались шаги, скригнула входная дверь, и вдруг на пороге комнаты появился часовой.

— Беда, хозяин! — крикнул он.

— Что случилось? — как был, раздетый, вскочил Клумак.

— Часовой на тартаке пропал.

— Какой часовой? Когда?

Ежась от предрассветного холода, в одном пальто поверх сорочки, Клумак пробежал к воротам, пересек улицу. Впереди него с автоматом в руке шел один жандарм, сбоку шагал другой, а все-таки Клумак то и дело испуганно оглядывался назад — ему казалось, будто кто-то их догоняет.

Жандармы толпились под фонарем, раскачивавшимся на шесте. Никто из них толком ничего объяснить не мог, хотя они кричали и вместе и поодиночке, делая страшные глаза, дыша перегаром... Все сводилось к тому, что они трое — Томаш, Балинт и Иштван — спали в комнатке, потому что дежурил Габор Бакони.

Первым проснулся Томаш. Он вышел во двор и, конечно, поглядел, где же Габор. Но Габора не было. Томаш несколько раз окликал его, свистел, но Габор не отзывался, только ветер выл между штабелями да шумел и шумел горный поток. Тогда Томашу стало страшно, он вернулся в комнату и закричал: «Вставайте скорее, нашего Габора черти забрали!» Балинт и Иштван сразу поняли, что тут не все в порядке, кинулись к оружию...

— И что? — спросил Клумак, когда молчание жандармов стало нестерпимым.

— В том-то и дело, хозяин, — ответил Иштван из Егера, — оружия не оказалось. Нет ни Габора, ни нашего оружия...

— Инвизибл гармонайзер! — проговорил на непонятном для жандармов языке Гаврило Клумак и грузно опустился на полозья, где ночью сидел Габор. — Сюда бы их с десятков.

Жандармы переглянулись.

— Это все Габор Бакони, — громко сказал Иштван из Егера. — Он совершенно испорченный парень, хвастал своим отцом, днем и ночью толковал про Будапешт. Ну и сбежал.

— Дурак ты, — сказал Клумак. — А на что ему ваше оружие?

Наступило молчание. Светало. Над долиной клубился туман. Сердито, как всегда на рассвете, шумел горный поток.

Клумак с пятью жандармами — из них теперь только у двоих были автоматы — боязливо обошли штабеля до-

сок, груды бревен, постояли у потока, остановились над затянутой ряскою понориной. Понорина была спокойная, холодная.

Как раз в это время в воротах тартака появился Ласло Потоки. Он и сегодня, как всегда, рано пришел на работу.

Потоки остановился в воротах, удивленный, казалось, тем, что не видно дежурного жандарма. Вблизи стояли пустые полозья, на песке валялся шкворень.

— Ох, эти жандармы! — сказал Потоки. — Везде непорядок.

Он равнодушно огляделся по сторонам, поднял шкворень, открыл дверь машинной, кинул шкворень на кучу лома, снова затворил дверь.

Только тогда он как будто разглядел в углу двора, у понорины, Клумака с жандармами и пошел к ним.

— Вы видали? — крикнул Клумака.

— Что, хозяин? — спросил механик.

— Один из наших часовых исчез, а у этих забрали оружие.

— Да вот же они с автоматами, — указал Потоки на двоих жандармов.

— Это те, что в моей личной охране. А эти теперь носами стрелять будут. Пьяницы вы, лодыри, бандиты! — вдруг расвирепел Клумака.

— Ай-яй-яй, — встревоженно проговорил механик. — Ну, скажите, как такое могло случиться...

Когда Гаврило Клумака забежал домой, чтобы одеться и принять какие-то меры, к нему тут же прибежал Дмитро.

— Вот где несчастье! Вот беда! Что же теперь, Гаврюша, делать? — спрашивал он. — Вот тебе и Габор, сам сбежал, оружие забрал...

Гаврило посмотрел на Дмитра так, что у того все тело затряслось.

— Вижу, что и ты дурак дураком, — сказал он.

— В каком смысле? — поинтересовался Дмитро.

— В таком, что ничего ты, кроме своей бухгалтерии, не понимал и не понимаешь. Вот брата своего обдурить, триста метров у него украсть — это ты понимаешь...

— Гаврюша! — пропищал Дмитро.

— «Гав-рю-ша», — передразнил его брат. — Слушай! Никуда этот Габор не убегал, потому что Габор по-вен-

терски все равно, что по-нашему Гаврило. Этого будапештского Гаврила попросту забрали, забрали и оружие...

— Но кто же это мог сделать?

— Кто? — испепелил Дмитра взглядом Гаврило. — Борканюк, вот кто...

— Так его же, говорил ты, в Будапеште... того самого...

— Того самого! — процедил Гаврило. — Его нет, а они живут, действуют, вредят...

6

Данило Ковач держал в руках автомат, за ним шло еще несколько лесорубов, и они несли автоматы, а в торбах были на этот раз их боевые припасы.

Широко, размахисто шагал Данило. Вот лес — он знает в нем каждое дерево, кустик, тропинку. Вон темнеют горы и скалы — кому же, как не ему, ходить по ним. Он здесь дома.

И другое чувство возбуждало и волновало Ковача.

«За что убили нашего Олексу? — думал Данило, взбираясь горной тропой. — За что фашисты мучат и убивают тружеников Верховины? Погодите, у нас есть оружие, это оружие будет в вас стрелять».

Ему казалось — не только он с товарищами идет по горам, рядом с ним идет Борканюк, все трудящиеся Верховины. Грозен их шаг, уверенно они шагают, знают, куда идти!

Данило даже остановился на скале, постоял минуту, огляделся по сторонам. Тихо было в горах, молчали темные леса, высоко чернели горы. Волнами набегал холодный ветерок. Близился рассвет, тоненькая золотая полоска окаймляла тучу низко над перевалом, ночь, казалось, сгустилась, почернела.

— Скоро рассвет, — сказал Данило Ковач и даже вздрогнул, думая о том, что уже произошло и что еще произойдет. — Кажись, самая пора.

Да, это и был час, которого они напряженно ждали, ради которого поспешно шли среди ночи по горам.

Откуда-то издалека до них донеслись печальные

звуки. Эти звуки родились и как бы растаяли в глубокой долине, которая чернела перед ними. Стало тихо. Но снова слышались звуки в долине, а потом отозвались выше в горах, ближе к лесорубам.

Они узнали эти звуки. Да и кто из здешних людей не узнал бы этой печальной мелодии?

Глубоко в долине подала первый голос, прозвучала знакомая им чабанская трембита. Известно — если играет трембита, что-то случилось в горах. Трембита верховинца звучит в дни праздников — но играют трембиты и в дни печали, когда обрывается чья-то песня в горах, несут весть людям о смерти родных людей.

Сколько раз за последние годы рыдали, стонали трембиты! Что ни день, то смерть. Свирепствует фашистская чума, сеет смерть в Карпатах. Об этом тоскливо, много-много раз возвещали трембиты в горах.

Но на этот раз, в предрассветную пору, трембиты играли не так, как обычно. Печалью была полна мелодия трембиты, та, что первой родилась в долине; печально отозвались на ее голос другие трембиты в горах. Казалось, трембитари, которые играли где-то в темноте, возле хат или на высоких полонинах, не в силах были вместить в себя ту грусть и печаль, свидетелями какой они стали, и вот вышли они поведать свое горе другим людям, всем обездоленным верховинцам, высоким горам.

Молча стояли и слушали голос трембит Данило Ковач и его друзья. Уж кто-кто, а они знали, о чем тужат трембиты. Прошел накануне по селам Степан Шегута, побывал в лесу, тайком переговаривал с людьми. Вот и стонут трембиты: «Олексы нашего не стало. Слышите, люди? Замучили Олексу Борканюка фашисты!»

Но не только тоска и печаль были разлиты этою ночью в звуках трембит. Да, они передавали людям скорбную, безжалостную весть, но в их звуках слышалось также и то, о чем говорил людям Степан Шегута: «Олекса умер как герой, и последними его словами было: «Меня вы убьете, но народ вам не покорить».

И оттого, что обездоленный люд в долине и в горах слышал эти слова, — не одною тоской и печалью полны были на этот раз звуки трембит. В грозном звучании трембит перед тревожным, беспокойным рассветом в горах был призыв к непримиримой борьбе, грозной мести.

Быть может, кто-нибудь из богачей или попов в селах, услышав эту перекличку трембит, злился, ворчал: «И чего эти трембитари среди ночи раскричались?» Но бедным людям эти звуки говорили о многом.

Еще больше сказали звуки трембит Данилу Ковачу и лесорубам, тем, кто стоял на скале, дыша свежим, прохладным воздухом, глядя на тоненькую золотую кайму на востоке. Они знали больше, чем другие. Заиграла трембита в долине — значит, оттуда вышел эшелон с фашистскими солдатами и боеприпасами, который вчера грузили в Рахове; играют трембиты выше и выше в горах — значит, поезд крадется под покровом ночи к перевалу. Никто в этом поезде не знает и не должен знать, что за ним следят и подают друг другу весть звуками трембит народные мстители. Правду говорил Олекса Борканюк: «Народ не покорить!» Говорил Олекса: «Я еще вернусь!» И вот возвращается — непобедимый, грозный. Стоят на страже мстители в долине, готовы они и в горах.

Замолкла трембита в глубокой долине. Замолкали одна за другою трембиты выше и выше в горах. Только еще одна, где-то совсем близко, послала несколько призывных нот — и тоже замолкла.

Данило Ковач и его друзья без выстрела сняли часовых у моста над пропастью. Они спешили: из тумана, который на рассвете нахлынул с гор, еще и еще раз долетел хриплый гудок паровоза. Но волна тумана прокатилась, осела в долине, и они увидели, как поезд вышел из-за последнего поворота, как приблизился к мосту. Столб огня и дыма поднялся над паровозом возле самого моста, паровоз будто вздрогнул, замер и с грохотом обрушился в бездну. За ним летели с обрыва со скрежетом, треском вагоны. И там, под обрывом, раздался такой взрыв, что на окрестных скалах полегли деревья, выворачивались камни, а эхо этого взрыва и еще многих других, следовавших за ним, долго катилось по Карпатам...

В свете нового дня снова подали голос, отозвались трембиты. На этот раз они зазвучали сперва в горах, а потом и в долинах. Трудовой люд узнавал, что произошло, на рассвете в родных Карпатских горах. Играли, звали, будили людей трембиты. Народ не покорить!

Глава четвертая

1

Федор Стрыпский долго смотрел на грудь капитана Чакши, где блестел повенький орден.

— Так это и есть награда за Борканюка?

— За все в совокупности, — ответил капитан. — Разве один только Борканюк? Вы сами знаете, духовный отец.

— Это верно, — вздохнул о. Федор. — Сделано немало. Я полагаю, — за орденом пойдет и повышение. Полковником скоро будете, капитан, вот попомните мое слово.

— Я буду рад, духовный отец, — заискивающе сказал Чакши, — в чине полковника прийти к преосвященному епископу Федору, чтобы исповедаться во всех грехах и получить прощение. Ведь не имеет значения, что вы греко-католик, а я — римско-католик...

— Что вы, что вы! — ответил пан-отец. — Между греко-католиками и римско-католиками нет и не может быть никаких расхождений. У нас одна цель, одни и те же средства, а обрядность — только для людского глаза. Ведь здешние люди приходят в бешенство, услышав про Рим... Что ж, — мечтательно сказал он, — сделаем им такую уступку: пусть называются греко-католиками, лишь бы в наш мешок лезли. А за ваше пожелание — спасибо. И, конечно, — снисходительно закончил Стрыпский, — если бы мне суждено было стать епископом, то я простил бы вам все ваши грехи.

И замолчали. Зажмурились, будто крепкого вина выпили.

— Так, говорите, — с ним теперь все? — приоткрыл глаза о. Федор.

— Все покончено, — живо ответил капитан. — Через повешение.

— Не суть важно, повешение или расстрел, — небрежно махнул рукой о. Федор. — Главное, что его нет.

— Это так, духовный отец. Но вот телеграммы из Будапешта. Что-то здесь неладно. Проклятая Верховина, проклятые горы! Мы вешаем, расстреливаем этих бунтовщиков... Но они на диво живучи и то здесь, то там дают о себе знать. Прокламации, поджоги, взрывы...

— Так чего ж церемониться, — крикнул Стрыпский. — Если не покоряются — уничтожить...

— Будапешт этого и требует,— сказал капитан.— Еще раз прочесать горы... Еще раз проверить все села... Еще раз... Одним словом — ликвидировать все, уничтожить.

Савва Шепа прислушался. Капитан Чакши и Магарычка разговаривали в соседней комнате, дверь которой была полуоткрыта.

— Я, пан писарь,— говорил Чакши,— получил немножко денег за Борканюка. Вот вам тысяча пенге. А Клумак пускай еще мне заплатит.

— Это очень кстати,— сказал, похлопав в ладоши, Магарычка.— Поездка в Будапешт стоила мне бешеных денег. Я, правда, жил очень скромно, да все равно — чистый убыток.

— Ничего, вы сделали свое дело...

— Сколько было сил и насколько позволяли мне знания юриспруденции.

— Проверьте, пожалуйста, здесь тысяча!

Они помолчали. Слышно было только шуршание бумажек — Магарычка считал свою тысячу.

— Спасибо,— сказал наконец он.— Пенге в пенге.

— После Борканюка,— продолжал капитан,— исчезла основная опасность. Но, пан писарь, поджог на бутине, прокламации, которые вы мне переслали, это происшествие на лесопилке, наконец этот поезд...

— Что говорить,— вздохнул Магарычка.— Про Борканюка никто ни слова, но, верьте мне, эти голодранцы только о нем и думают. А прокламации — ведь я вчера сорвал одну со стены управы! Просто не понимаю, кто это может делать.

— Не понимаете?— засмеялся капитан.— Вы, пан писарь, опытный человек, но у вас нет нужного размаха. В этих селах на Верховине мы имеем лишь маленькую частицу подлинно наших, преданных людей. Родину, как известно, может любить только тот, у кого там есть своя собственность... А что они имеют? Воздух да воду. Нет, эти нищие, от первого до последнего,— наши враги.

— Совершенно согласен с вами, пан капитан.

— Вот почему нам и нужно все нежелательные элементы выселить отсюда или истребить.

— А что вы думаете? — подхватил Магарычка.— Это, пожалуй, единственный выход.

— Я получил новый приказ из Будапешта, пан писарь. В категорической форме. Вы думаете, там не осто-
чертели эти верховинские бунтовщики, борканюковцы, их
демонстрации, прокламации...

— И что же?

— Я вам сказал — выселить или истребить. Кто
когда-то был замечен, кто теперь что-то делает. В селе,
или на бутине, или на тартаке. Я должен, пан писарь,
иметь списки всего села с замечками о каждом лице.
А уж о сроках выселения или истребления я сам поза-
бочусь.

— Понятно, — ответил Магарычка. — Я этим занима-
юсь, и не только сейчас, а много уже лет.

Зашелестела бумага. Магарычка, видимо, показывал
что-то капитану.

— Правильно, — сказал капитан. — Значит, у вас име-
ются сведения на каждое лицо. И женщины есть, и дети.
Очень хорошо. Заканчивайте эту работу скорее и немед-
ленно извещайте...

Они заговорили совсем тихо, и сколько Шепа ни при-
слушивался, ничего больше не услышал. Он тихо сошел
с лестницы, сел на скамеечку. Когда капитан и Мага-
рычка вышли на крыльцо, бохтар вскочил и, что есть
силы, вытянулся. Но капитан и Магарычка не обратили
на него внимания. Чакши тут же попрощался и зашагал
к поповскому дому. Писарь постоял, опустив руки, слов-
но чем-то озабоченный и взволнованный, потом подошел
и сел рядом с бохтаром.

— Нездоровится вам, что ли? — спросил Магарычка.

— От безденежья хвораю, — ответил Шепа. — Третий
месяц жалованье не платят. Хоть подыхай.

— Вы сами виноваты, Савва, — сердито заметил пи-
сарь. — На одно жалованье сейчас не проживешь. Гово-
рил я вам, нужно прислушиваться, присматриваться. Вот
уж прокламации и на нашей управе лепят. А вы знаете
только веник да барабан. Сами вы барабан!

Писарь ошибался. Савва Шепа думал о том, что тво-
рится вокруг. По вечерам, когда все уходили из сельской
управы, он долго сидел на скамеечке возле дома, смот-

рел, как синеют и сливаются с небом горы вдали, как зажигаются в небе звезды.

Много мыслей рождалось в эти часы у сельского бохтара. Они проходили то темными тучами, то яркими полосами, и все были тяжкие и болезненные.

«Правда,— спрашивал он сам себя,— разве это не страшно: прожил Савва на свете, как доподлинно записано в метрических книгах Магарычки, шестьдесят и восемь годов, а за все эти годы не было ни дня просвета! Не жизнь, а тяжелая, черная ночь!»

Он так привык стоять перед людьми со своим барабаном и о чем-то объявлять, что и теперь, ночью, казалось ему, будто стоят вокруг него и слушают его люди. Собралось уже много народу у крыльца, идут со всех концов села, встают даже с кладбища. И не молчат они, а говорят ему: «Эге, Савва, слышишь ли ты? Да если бы могли мы говорить, так горы разверзлись бы от нашего крика, а леса и тучи так перепугались бы, что ниц упали...»

И он слышал не только слова, а его сердце терзал укор: «А ты, Савва, все бубнишь да бубнишь на перекрестках, ходишь как вестник нашей печали и скорби».

Никто, конечно, никогда не говорил таких слов Савве Шепе, да и не мог говорить. Бедняки хорошо знали своего бохтара. Он сам себе их говорил. А это страшно, когда человек самому себе становится судьей.

Услыхав разговор Чакши с Магарычкой, Савва Шепа даже затрясся. Нет, теперь он должен действовать...

Было поздно, когда он поднялся со своей скамеечки, прошел по двору, чтобы все проверить.

Шел он тихими шагами. И вдруг остолбенел, прижался к дереву у забора.

Кто-то пробежал по улице. Какие-то странные — тихие и мелкие — шаги. Ребенок? Да разве родители выпустят дитя на улицу в такую позднюю пору? Что-то не так.

Шепа выглянул из-за забора. Увидел. Кто-то тоненький, в светлой одежде, стоял у стены управы. Вот взмахнули в воздухе руки. Что-то зашелестело. Руки начали шарить по стене.

Да это чабанка Юлина, Данила Ковача сестра! Девочка, милая!..

Когда шаги затихли вдали, Савва Шепя вышел из-за прикрытия и направился туда, где только что стояла девушка.

На стене дома был приклеен листок бумаги. В сумраке ночи он тускло белел, а на нем чернели строки...

Уже не спал в ту ночь бохтар. Впервые он старательно, по-настоящему охранял помещение управы.

8

Павло Тиснянец совсем растерялся. Да и Юлина, как ни храбрилась, не могла скрыть своего волнения. Они стояли друг против друга, он — в поношенном киптарики, в дырявой крисане, в солдатских ботинках, она — в обычной своей одежде, но с ниткой красных бусинок на шее.

— Как же ты меня узнала? — спросил Павло.

— А кто бы еще, кроме тебя, взобрался сюда, на скалы? — ответила Юлина. — Я следом за тобою вон откуда шла. — Она указала рукой на далекие горы.

Только тогда девушка окинула его взглядом — с головы до ног.

— Ты, — сказала она, — вроде бы такой же, как и был.

— Ой, нет, Юля, не такой...

Он гордо блеснул глазами на револьвер, торчавший у него за поясом, на планшет, который болтался сбоку на ремешке.

— Нет, не такой, как был, — продолжал юноша. — Немного времени прошло, Юля, а чего только я не насмотрелся! Если бы все рассказать, — он глубоко вздохнул и посмотрел на перевалы, леса, ущелья, — ты бы и сон потеряла. С матерью бы мне встретиться. Как они там? — сорвалось с его губ.

— Да что? — ответила Юлина. — Как и прежде, живут да бедуют. А в долину тебе спускаться нельзя. И сам сгинешь, и на них накличешь беду...

— А я бы, Юля, тихонечко, ночью, чтоб никто и не услышал.

Не могла же Юлина сказать, что как раз накануне с перевала в село прискакали гонведы, ворвались во двор Тиснянцев. Они искали чего-то, хотя какие там розыски, когда во дворе одна хибарка да кусты бурьяна. Не найдя

ничего на дворе, гонимые все перебили в хате, полезли на крышу, сорвали все дранки.

Но и этого им было мало. Они подожгли хату Тиснянцев, только дым волной повалил по долине.

Обо всем этом Юлина не обмолвилась ни словом, а сказала:

— И чего тебя потянуло туда? Ведь знаешь — осень, кое-что уродило на огороде, немного мать собрала и в поле. Пока перебыются, а там видно будет. Если хочешь, я матери передам, может где-нибудь тут и встретишься...

— Нет, — решительно перебил он ее. — Ты ей ничего про меня не говори, Юлина. — Она, как услышит, сразу побежит искать меня в горы. А куда ей, зачем? Пускай уж будет так, увидимся после.

— Но сейчас, — девушка тревожно огляделась, — что тебе делать сейчас?

— Э, Юля, Юля, — ответил он. — Чего горюешь обо мне? Ведь я тут все горы и леса знаю. Где-нибудь в зимовье или под оборогом пересплю... У меня же, видишь, — он снова гордо блеснул глазами на револьвер за поясом, — пистолет есть. А в этой сумке, — кивнул на планшет, — до черта пуль...

— Там не только пули, — протянула она руку к планшету.

— Э, — махнул он рукой, — какие-то бумаги капитана Вакса. Жаль, еще не выбросил...

— Ой, нет, — испуганно сказала Юлина, — эти бумаги отдай мне.

— Да бери... Ты в школу больше ходила, так читай...

Юлина вынула бумаги из планшета, спрятала их за пазуху.

— Что бумаги? — продолжал Павло, пересыпая на ладони патроны. — Вот набрел бы сейчас на медведя, подпустил бы его близко-близко, а потом в морду: бах... бах... бах...

Он взял в руку револьвер и прицелился куда-то в хребет Карпат. Юлина проследила за его взглядом.

— Ой, Юлина, Юлина, — сказал он, опуская револьвер. — Как сладко на воле!

— Но где ты живешь?

— Я? Эге! Днем в лесах, ночью выхожу на полонины.

Лягу на траве, земля теплая, пахучая, звезды вверху переливаются... Так и засну.

— Но скоро зима...

— Ну так что?

— Студеная будет зима, все покроет снег, ни травинки...

— Ей-богу, Юлина, не пропаду. Не боюсь теперь ничего.

Лицо его горело, движения были решительны и быстры, он на самом деле никого не боялся.

Но Юлина покачала головой, тревога разливалась в ее больших глазах...

— Нет, Павлик,— сказала она,— ничего ты не понимаешь. Зимой очень трудно спрятаться в горах, на всех дорогах и тропах стерегут жандармы. Куда денешься, крошку хлеба где достанешь?

— Эге,— сказал дерзко Павло.— Прорвусь сквозь все преграды и дальше пойду.

— Да куда, Павло?

— Свет широк...

Она горько улыбнулась.

— Нет, ты таки ладный хлопчик.

Юлина села на вялую траву, рядом с нею сел Павло.

— Да мы ведь с тобою, Юля, одних лет? Да нет, я еще на год-два старше тебя.

— Полтора!

Он засмеялся и подсел к ней ближе.

— А помнишь, Юлина, как я тебя учил манить соловьев?

— Еще бы!

Девушка серьезно, очень сосредоточенно, смешно перебирая пальцами губы, проговорила:

Кум-кліщ, кум-кліщ...
косив, копав, орав, сіяв,
на дубі був, як сивий струк,
до вечора сам ся розпук...
Кум-кліщ, кум-кліщ,

Вот видишь,— сказала она,— ведь помню.

— И верила,— со смехом спросил Павло,— что соловей после этой песни так и сядет тебе на руку?

— А как же, верила!

Но теперь было не до песен и соловьев. Они были уже не те, как когда-то. Трудная жизнь сделала их старше своих лет. Тучами клубился перевал, резкий ветер начинал свистеть в ущельях, мгла закрывала долину.

Юлина пришла вторично, когда стемнело.

— Задержалась, думала — и не застаю тебя...

— Да ведь мы условились!

— А если бы не смогла прийти нынче?

— Так пришла бы завтра.

— Хлопец! Да ведь гонимые повсюду рыщут. И голодный ты.

— Эх, Юля, тут и есть не хочется.

— Опришок, настоящий опришок.

— И ты так! Это меня батко опришком называл, — сказал Павло.

Она молча положила на траву перед ним творог, кусок овсяного хлеба, поставила кринку с молоком, села.

Молчал и Павло. В эту минуту оба они вспомнили своих отцов — один задохся от чахотки, другой упал от вражеской пули на пороге хаты...

Темная была ночь, над отрогом горы, цепляясь за деревья, ползли тучи и закрывали звезды, ветер доносил вздохи сосен.

— Ты поел, Павло?

— Спасибо, Юлина.

— Так пойдем?

— Хорошо. А куда?

Юлина положила руку на плечо Павла, и он почувствовал тепло этой руки. Близко возле себя юноша увидел и лицо Юлины.

— Слушай, Павлик! Я буду говорить тихим голосом, и ты мне тихо отвечай, а то здесь повсюду шныряют враги. Неспроста я пошла в горы — искать тебя. Там внизу, в селе, известно, что ты бежал с перевала. Налетели вчера солдаты, искали тебя, а вашу хату спалили...

— Где же мать, сестры? — задыхаясь, спросил он.

— Не беспокойся, они в надежном месте. Никто о том в селе не знает, но я сама их в Рахов отвела. А потом меня послали в горы искать тебя. Вот я и нашла тут опришка...

— Да кто же это послал?
— Слушай, Павло! Есть кому послать. Неужто, думаешь, напрасно погиб твой батько и еще много людей? Разве, думаешь, напрасно погиб Борканюк?
— Они и его убили?
— Убили.
— Так слушай ты, Юлина, — стиснул Павло теплые руки Юлины. — Я за своего батька и за родных людей жизнь готов отдать. Отомщу и за него и за Борканюка. О, теперь у меня есть пистолет. Пусть берегутся.
— Погоди, — сдержала Юлина юношу. — На все свой час, Павло. Сейчас пойдем к нашим людям.
— Так веди, — сказал он.

4

Дом лесника Ярослава Гишки стоял в горах, далеко от людского жилья. Чтобы попасть туда из Рахова, нужно было пройти вверх по течению Тиссы и, перейдя ее возле Устье-реки, свернуть вправо, вдоль Белой Тиссы. Там, на склоне горы, откуда открывался широкий вид на долину, а с другой стороны стеной начинался лес, и стоял дом Ярослава Гишки.

Это был хороший дом, рубленный из лучшего дерева, с двумя широкими окнами на долину и одним оконцем на Карпаты. Ярослав Гишка сам ставил этот дом, когда в двадцатых годах приехал в Раховский округ и поступил на службу к графу Шенборн-Бухгейму. А до этого жил он в Татрах. Отец Ярослава был лесничим, глядя на него, учился и сын. Не было как будто ничего удивительного в том, что попал Ярослав Гишка в Раховское лесничество. Татры и Карпаты, как две волны гигантского моря, — и тут и там та же красота, полонины, шумы сосен, лесное приволье. Ярослав Гишка начал жизнь в Татрах, перебрался на Карпаты. Долгие годы служил он у графа Шенборна, а когда Шенборн продал за миллионы крон свои леса «Латорице», то продал он с ними вместе и своих лесников.

Но была более глубокая причина, которая привела Ярослава Гишку в Карпаты. Он должен был гнуть спину перед шенборновскими прихвостнями, перед латоричанскими панами. Должен был! Но у него разгибалась спи-

на, когда он один шел по лесу, когда беседовал с беднотой окрестных сел. Много лет был связан Ярослав Гишка с местной коммунистической организацией, знал Борканюка.

Когда Борканюк в хате Явдохи говорил с учителем Короджием и называл ему имена людей, к которым следовало обращаться в трудную минуту, среди них было имя и Ярослава Гишки.

И теперь еще раз, теплым осенним вечером, Иосиф Короджий пришел к старому леснику.

— Я к вам с новостями,— сказал Короджий.

— Мне кажется, новости бегут впереди вас,— усмехнулся Гишка и указал глазами на лужайку, где возле стога сена хлопотал Павло Тиснянец.

Улыбка пробежала и по лицу Короджия.

— Это очень хорошо,— заметил он,— но хлопец, пожалуй, и сам не знает, что он для нас сделал.

— Идемте в хату,— пригласил учителя Ярослав Гишка.

Они уселись за столом возле окна, откуда открывался вид на всю долину. Сквозь оконце в другой стене им видны были также и Карпаты. Никто бы не смог незаметно подойти к домику лесника в горах.

На карте, которую Короджий разостлал на столе, карандашом были начерчены Карпаты, обозначены горы, перевалы, важнейшие населенные пункты, горные пастбища, реки.

Но на этой же карте другими карандашами была вычерчена и линия Арпада, сооруженная фашистами. Она начиналась за несколько десятков километров от главного хребта, на восточных склонах Карпат. На карте были обозначены заминированные полонины, ряды укреплений, заграждения из колючей проволоки, огневые точки, окопы.

От переднего края линии Арпада шли наземные и подземные ходы к главному хребту Карпат. А там в линию обороны входили горы, помечены были артиллерийские позиции на склонах, огневые узлы.

— Вы знаете, что мне принесли? — широко улыбнулся Гишка.

— Ночью я сделал несколько экземпляров этой карты,— ответил Короджий.

— Вы предусмотрительны, мой друг,— сказал Ярослав Гишка.— Это для нас настоящий клад, и он нам очень пригодится, когда к Карпатам приблизится Красная Армия. А знаете,— прибавил он, глядя в окно,— Пав-

ло об этом тоже ничего не должен знать. Я немедленно передам карту куда нужно. Спасибо вам, дружище.

Когда стемнело, Ярослав Гишка проводил Короджия до Устье-реки, где сливаются Черная и Белая Тиссы. Шли темными лесными тропами, известными, может быть, только одному леснику. На земле сплошь лежал толстый слой вялой, опавшей листвы. Несколько раз переходили по гибким мостикам через шумные, сердитые осенние потоки.

Когда вышли возле Устье-реки из лесу, остановились. У обоих дух захватило от чудесного вида, открывшегося их глазам. Из-за Карпат вставала большая оранжевая луна. Темные, глубокие тени лежали под отвесными скалами. Густая роса окропила травы и камни, и тысячами мерцающих огней сияло все окрест. Там, где сливались Белая и Черная Тиссы, серебром сверкало озеро. А дальше это озеро вливалось в долину, и уже там видны были огоньки Рахова.

— А тихо как! — прошептал Гишка. — Вы только прислушайтесь!

Тихо было кругом, только шептались волны горного потока, только шелестел на ветке бука один запоздалый сухой листок.

— Прощайте, дорогой, — сказал Гишка. — От всей души желаю вам удачи.

— Желаю того же и вам, — ответил Короджий.

Ярослав Гишка долго еще сидел на камне. Ему некуда было спешить. Опершись на приклад своего ружья, он думал, мечтал...

«Вот какова жизнь, Ярослав, — сам с собою, казалось, говорил он. — Где-то там Татры, родная сторона, а вот Карпаты. Рахов, лесная делянка. Не он виноват, что судьба оторвала его от родного края и родных людей. Тем упорнее нужно бороться с фашистами, — ведь за родную землю, за права трудящихся можно и должно бороться везде».

Гишка вспомнил своего сына Яна — пылкого юношу. Ушел в Испанию, погиб. Где твоя могилка, Ян? Передавали товарищи, — схоронили его в братской могиле у Гвадалахары. Придется ли ему, старому Ярославу, побывать хоть раз на могиле своего сына? Жизнь такая, что, может, и придется. Но если и не посчастливится это сделать, то

до конца жизни отец будет носить в своем сердце жаркое воспоминание о сыне. И, может быть, еще много людей будут помнить Яна Гишку. Ян, дорогой Ян!

А разве только он один? Ярослав Гишка вспомнил свои встречи с Олексой Борканюком. Какой это был прекрасный человек, какой искренний друг. Никогда не забудут люди и Борканюка.

Где-то в лесу, на дороге, заскрипел воз. Долетело приглушенное: «Но, ди-и-и... Но, ди-и-и...» — так обычно верховинцы погоняют лошадей.

Лесник не шевельнулся. Вот еще кто-то из бедняков поехал ночью набрать хворосту в лесу. Крадет? Нет, крадет «Латорица», у которой должен служить лесник Ярослав Гишка. Смотрите, уже раховского лесничего Шимонка сделали государственным советником, вместо Кнайтла назначили директором «Латорицы». Недаром ездили к Шимонкаю гости из Будапешта. Пиявки, всю бы кровь выпили из убогих верховинцев.

Гишка беспокойно поглядел в ту сторону, откуда снова долетело: «Но, ди-и-и... Но, ди-и-и...» Видать, не могут вытянуть лошади. Но скрип немазаной оси удалялся. И хорошо! Еще у одного бедняка будет запас хворосту на зиму.

Из далекого-далекого прошлого возник вечер в доме его отца в Татрах. Отец в тот вечер привел из лесу незнакомых юноше людей.

— Это мой сын... Ярослав, — указал отец.

Неизвестные крепко жали руку юноше, говорили:

— Очень рады с вами познакомиться, Ярослав. О, да вы очень похожи на своего отца. Желаем и вам быть таким же, как он.

Отец с гостями сидели до поздней ночи. Они расспрашивали лесника о положении бедноты в Татрах, о порядках в панских лесах. Они поужинали вместе. Что мог поставить на стол лесник? Это был обычный ужин: молоко, творог, хлеб...

А вскоре полиция ночью вломилась в дом лесника и забрала старого Гишку. Мать умерла вскоре после этого. Ярослав вынужден был уехать на Карпаты.

Но он любил Карпаты. И сейчас сидел, слушал, любовался красотой карпатской ночи. Луна все выше поднималась в небе, стало светло кругом, все казалось сказочным,

— Я слышу твой голос, отец, — прошептал лесник.

Еще раз лесник из Яседей зашел к Ружене. До этого он походил по селу, посидел и потолковал с селянами в корчме и пришел в школу как раз тогда, когда там, кроме Ружены, никого не было.

Она думала, что он снова принес письмо от ее отца. Но письма не было.

— Пани Ружена,— сказал лесник,— на этот раз я должен вам кое-что передать на словах.

— Говорите скорее! Вы что-нибудь знаете о нем?

— Я ничего не знаю, пани Ружена. Я должен только передать вам, чтобы вы были завтра вечером в Рахове, у моста.

— Я вас прошу, пан лесник... Может, вы знаете, для чего я там должна быть?

— Нет, уважаемая пани. Я этого не знаю. Думаю только, что вам там нужно быть. Советую пойти. И опять-таки, забудьте, что я заходил к вам. Прощайте, пани Ружена.

В субботу под вечер Ружена была в Рахове. Ей это не трудно было сделать. Она часто ездила в Рахов на базар. И теперь поехала, наняв подводу. А выехала в субботу, чтобы переночевать в Рахове и в воскресенье пораньше возвратиться в Клены.

Она несколько раз прошла мимо моста. Потом перешла мост, направилась к леску.

Там ее и встретил лесник Ярослав Гишка. Он точно не ждал, что может встретить здесь эту женщину,— прошел мимо нее, присмотрелся и только тогда спросил:

— Вы... пани Ружена?

— Да, я Ружена,— ответила она.— Что вы хотите мне сказать?

— Я хочу проводить вас к вашему отцу,— сказал Ярослав Гишка.— Прошу вас идти за мною.

В сумерках она шла вдоль речки, свернула по тропинке вправо, углубилась в лес. Там было тихо, густые тени лежали под деревьями, птицы на ночь вспархивали

в гнезда. Далеко впереди размеренно шагал с ружьем на плече, с патронташем у пояса, точно осматривая свое хозяйство, лесник Ярослав Гишка.

— Папа! — вскрикнула Ружена, войдя в дом лесника. — Откуда ты? И как ты изменился!

Она положила руки ему на плечи, заглянула в глаза, приглядывалась к морщинам, — они густою сетью заплели лицо отца.

И он растерянно глядел на дочь: казалось бы, такая же она — и не такая. Усталое лицо, печальный взгляд.

— Садись, Ружена, — сказал он. — А я с тобой рядом сяду.

Где-то на дворе хозяйничал лесник Гишка. Долетел стук топора — лесник рубил хворост.

— Много я перевидал и пережил за это время, дочка, — начал Иозеф Гланец. — И все это тем больнее было переживать и видеть, что в прошлом у меня и у многих таких, как я, было много ошибок. Я не боюсь называть ошибкою то, что другие пытаются скрыть за словами: «сомнения... колебания... непонимание ситуации или событий». Нет, не стоит прятаться за словами, — вся моя жизнь в прошлом была непоправимой ошибкой...

Он помолчал и тепло поглядел на дочь.

— Ты, наверно, не все понимаешь, Ружена? Тогда я тебе скажу проще. Тебя привел сюда лесник Ярослав Гишка, а сейчас ты говоришь со своим отцом, Иозефом Гланцем. Так вот, между лесником Гишкой и Иозефом Гланцем — огромная разница. Ярослав всю свою жизнь, каждою своею мыслью и каждым поступком, принадлежал трудящимся и думал об их счастье. Я же думал, что политика — это дело одних людей, а мое дело — преподавание в школе, свой дом, ты, дочка. Это была моя ошибка. Когда народ несчастен, какое может быть счастье для отдельного человека? Я несчастен сейчас, потому что несчастен мой народ...

Он замолчал, и дочь заметила, как у отца несколько раз дернулся подбородок.

— Я не писал тебе последнее время, — продолжал он, — потому что сидел в тюрьме. Ты удивлена, Ружена, что твой отец сидел в тюрьме? Не удивляйся... Гитлер и Геббельс бросили в тюрьму не меня одного, а весь наш народ. И если хочешь знать, я счастлив, что судьба закинула меня в тюрьму, дочка. Там я увидел людей, которые

борются за подлинное счастье нашего народа и всех народов. Как это написано у Яна Неруды?

Мы родились в грозный, бурный час,
Сквозь тучи мы вперед идем походом,
Высокая мечта сплотила нас,
Чело склоняем лишь перед народом...

В тюрьме я познакомился, Ружена, с Юлиусом Фучиком. Запомни это имя, Ружена. Ты еще многое услышишь о нем.

— Как ты очутился здесь, отец? — спросила Ружена.

— А почему бы нет? — ответил он. — Я здесь среди своих людей. Ты понимаешь... с некоторого времени я чувствую себя дома там, где могу помочь трудящимся в борьбе за их освобождение.

— И ты здесь останешься, отец?

— Может, здесь, может, уйду дальше, в горы...

И тогда Йозеф Гланец спросил:

— Но что мы всё про меня да про меня? А ты-то как, Ружена?

Ружена помолчала. Ее поразили отцовские слова, и она поняла, что старику пришлось много пережить, прежде чем сказать всю правду о себе. Ей было жаль отца, и думала Ружена, что она не вправе увеличивать его страдания, а должна, напротив, чем-то их облегчить.

— Что мне рассказывать, папа, — проговорила Ружена. — Живу я на Верховине... Занимаюсь хозяйством...

— Я не о том, Ружена. Счастлива ли ты, дочка?

Он был погружен в свои мысли и не заметил, должно быть, как в эту минуту побледнела Ружена. И еще раз она пересилила себя.

— Да, я счастлива.

— А муж! Я всегда беспокоился за сына Герберы. Не верил я старику, не верил и его сыну...

— Нет, папа, — перебила она его решительно, — мой Василь совсем не такой, как его отец.

— Тогда я спокоен, дочка!

Ружена ночевала в одной комнате с отцом в доме Ярослава Гишки. Вечером они долго сидели и разговаривали втроем с лесником — им было о чем поговорить. А потом Ярослав Гишка ушел в свою комнату, и отец с дочерью остались вдвоем.

В комнате было темно. Где-то за печью трещал сверчок. На стене однозвучно стучали часы. За окном плыла тихая, спокойная ночь.

— Я тебе всего не открыла, папа,— призналась Ружена.— Василь Гербера совсем не такой, как я тебе сказала. Он недобрый, злой, следит за каждым и за всеми. Я думаю, папа, что он связан с фашистами.

— Почему же ты мне сразу этого не сказала, дочка?

— Я не хотела причинить тебе боль, папа.

— Нет, Ружена,— сказал отец,— причиняет боль тот, кто говорит неправду. Лучше самая суровая правда, чем самая лучшая ложь. Подожди, я подумаю, дочка.

В эти минуты решалась судьба Ружены. Да что там, она давно уже решила свою судьбу, но не знала, куда идти, как быть дальше.

— У меня теперь повсюду много друзей,— сказал отец.— Мои друзья — это твои друзья. Я останусь здесь. Меня послали сюда, на перевал, потому что у нас, коммунистов, сейчас здесь будет много работы. А ты ступай в долину...

Наутро Ружена ушла из хаты лесника. Отец стоял на крыльце и смотрел, как медленно спускается с горы в долину его дочь. Вот она еще раз остановилась, кажется махнула рукой — и исчезла.

В Рахове Ружена нашла на базаре возчика, с которым приехала из Кленов, и сказала ему:

— Скажите пану управителю, что я задержалась в Рахове.

— Так когда ж ему вас ждать, пани?

— Я тут написала... Отдайте ему эту записку.

В записке было:

«Я никогда не вернусь к тебе — негодяю. И не ищи меня».

Она пешком ушла из Рахова. Ружена знала, куда ей идти. Они с отцом, казалось, разошлись в разные стороны, но теперь шли одной дорогой.

2

Когда на вытоптанном дворе догорела хата Тиснянцев, Гафия, взяв за руки Софию и Настю, покинула село. С нею пробовали говорить, утешали — мать точно ничего

не слышала, ушла в ночь. Никто не знал, бродит ли она где-нибудь в лесной чаще, бросилась ли в горный поток, или провалилась в черную бездну.

После рассказывали, что кто-то из кленовчан видел вдову на базаре в Рахове. Ходила она будто бы между рядами, ей жертвовали, кто что мог, на погорелое, видели тогда же и дивчаток вдовы.

Павло Тиснянец нашел мать под вечер, обойдя несколько дворов на окраине Рахова и расспрашивая, где можно найти женщину с двумя девочками, что недавно пришла с гор.

Оказалось, люди знали эту женщину — тот дал вдове какую-то одежонку, у того она жила сколько-то дней, — на окраине Рахова мать была среди родных людей, ее как бы передавали со двора во двор...

— Вот я и пришел, — сказал Павло, найдя мать на чужом дворе, в каком-то дощатом сарайшке.

— Ой, боже мой! — вскрикнула она, но сразу поняла: вдруг, не дай бог, ее кто-нибудь услышит, — тише спросила: — Как же ты нас нашел, сын?

— Добрые люди сказали, мамо... А где дивчатки? Она махнула рукой.

— Где-то в селе... Видишь, ничего у нас теперь нема.

— Что ж! — Павло оглядел сарайчик. — Построим, мамо.

— Хозяин мой, хозяин! — срывалось у нее. Она смотрела на сына зоркими материнскими глазами, вокруг которых все вздрагивала мелкая сеть морщинок. Да неужто это ее Павло! Вырос, возмужал, настоящий лесоруб или бокораш — ишь и киптарь и крисаня. И все же мать нашла, что искала, — сняла пальцами сухой листочек, припавший к плечу Павла, смахнула щепочку с рукава, оборвала какую-то нитку.

Павло боялся, что мать заплачет. Еще когда шел в Рахов, то все приговаривал: «А я ей скажу — не плачьте, мамо, не плачьте, а то рассержусь, ей-ей рассержусь. Не плачьте, мамо!»

И теперь смотрел — нет, мать не плакала, у нее были сухие глаза, сжатые губы. Только кожа на лице стала какая-то странная, серая, как пепел. И все, все лицо ее было покрыто глубокими морщинами, как осенний вялый листок.

Павло хотел было сказать, как собирался, чтобы подбодрить мать: «И чего вы печалитесь? Не треба, мамо!» Но вдруг у самого стиснуло горло, передернулось лицо, и несколько предательских, таких жарких, точно закипели они на огне, слезинок сорвалось с его глаз и покатилося по щекам.

— Ты... Что с тобою, Павло? — испуганно проговорила мать. — Что ж это ты, Павлик?

Он шагнул в угол сарая, где стояло ведро, набрал в ковшик и несколько раз жадно глотнул воды, а в то же время другою рукою вытер щеки.

— Пить захотелось, — как будто сердито даже ответил Павло. — Прошли бы вы столько!

— Напейся, — вздохнула и все смотрела мать на сына. — Если устал — напейся. Это я из Тиссы набрала, наша водица, с гор...

Сели на деревянном чурбане, заменявшем скамью.

— Так как же ты теперь, Павлик?

— Сбежал с тамошней каторги...

— Знаю. Говорила Юлина. А теперь где?

— Возле Бóгдана, в хозяйстве «Латорицы», — шепотом сказал он. — Нас там собралось немало. До меня уже бежали с перевала — и те там. Мамо, — наклонился он к самому ее уху, — теперь у меня и пистолет есть. Спрятан в лесу.

Она вспомнила давние его разговоры о лесных чащах, об охоте, ружье.

— Может, теперь и медведя уложишь? — горько усмехнулась мать.

— А что ж? — ответил хлопец, и у него было суровое лицо. — Только я теперь не за медведем охотиться буду. Я теперь, мамо, Клумаков перебыю!

Она молчала и смотрела на горы, ущелья, леса, где лежало и их родное село.

— Сынок мой, сынок, — сказала мать. — Я тут ночей не сплю. Если бы не люди да еще один человек, что в лесу работает, — погибла бы, давно погибла бы.

— Кто ж он?

— Лесник... Ярослав... Вот фамилии не знаю.

— Ярослав? — Он посмотрел на мать.

— Так, так, сын. Но ты молчи, никому не говори о нем.

— Ой, нет, никому не скажу, мамо, — ответил Павло:

он понял, кто охраняет и его и его мать. — Это, видать, очень хороший человек — дядько Ярослав.

— Да, Павло, — все думала мать о своем. — Ночей я не сплю, понять хочу, чем мы перед ними провинились? Богатство — так его у нас никогда не было; чтобы грабили мы кого или убивали, так в роду нашем такого не было. Только и всего, что живем, дышим, хотим корочку какую иметь. Так и птица живет и каждая мурашка, но ведь их же не убивают? А только мы, мы им мешаем. Не должны вроде бы жить! Да почему же, почему?

Павло ждал, что дальше скажет мать, и лицо у него в эту минуту было как у взрослого, — внимательное и строгое.

— Когда-то я говорила тебе, — продолжала мать, — чтоб не ходил в лес, не брал оружия, не поднимал ни на кого руки. Нет, то неправда, сынок, так ничего не добьешься...

— Верно! — произнес Павло, и у него от волнения вздрогнули узкие плечи.

— Не можем больше терпеть, — приложила руки к груди мать. — За кровь — кровь, а за смерть — только смерть.

— Мамо! — по-прежнему тихим голосом, но горячо сказал Павло. — Я пистолет имею, у других есть винтовки. Будут у нас пушки и пулеметы, разнесем их, этих офицеров, что на перевале наших людей убивают...

— Убей! — твердо сказала мать.

— Клумаков, Репаша, Магарычку...

— Убей, сынок.

— Тех, что убили батька, забрали Антона...

— Убей! Убейте!

3

Крепко спал писарь Магарычка. Кажется, все сделано как следует! Списки на все село, с точнейшими заметками на каждое лицо, закончены и лежат под замком в шкафу, в сельской управе. И о некоторых «новостях» прослышал писарь.

Поздно ночью постучались в дом, где жил Магарычка.

— Кто там? — спросил он, подойдя к окну.

— Откройте! Это я...— долетел знакомый голос бохтара Шепы.

Магарычка, не зажигая света, отпер дверь.

На дворе было темно, Магарычка сначала ничего не разглядел.

— Где вы, Савва? — спросил он.

— Я тут, пан писарь,— проговорил бохтар. Он, оказалось, стоял совсем недалеко.

Бохтар подошел ближе, зашептал:

— Пан писарь! Приехал отряд капитана Чакши. Вас зовут. Вот со мной пришел и пан тержерместер¹.

Глаза Магарычки уже привыкли к темноте, и он действительно увидел на сером фоне неба несколько фигур.

— Добрый вечер, пан писарь,— поздоровался и тержерместер.— Просим прощения, что поздно побеспокоили, но у нас срочное дело, и пан капитан просил вас немедленно прибыть к нему.

— Так войдите в дом,— предложил Магарычка.— Ночь холодная, может, пан тержерместер, пока я оденусь, успеет выпить стаканчик вина.

— Благодарю,— отказался тот,— мы уж хорошо выпили. А вы собирайтесь.

— Так, может, я пойду, пан начальник,— спросил в это время бохтар.— Я еще должен зайти к бирову.

— Ступайте,— кинул коротко тержерместер.

Когда бохтар скрылся за углом хаты, военный подошел ближе и добавил:

— Капитан Чакши приказал передать, что облава будет этой же ночью и что он не заезжает в село, чтобы, часом, кого не спугнуть...

— Понимаю... Предусмотрительный капитан,— засмеялся Магарычка.

И, уже больше не разговаривая и не приглашая жандармов в дом, он метнулся, кое-как в темноте оделся, проверил, заперт ли сундук, где он обычно хранил деньги, и проворно выскочил во двор.

— Так пойдем,— сказал Магарычка, заперев дверь.

— Осторожно и тихо,— наклонившись к самой голове писаря, прошептал жандарм.— А то у них тоже есть уши.

— О, я понимаю, пан тержерместер,— ответил Магарычка.

¹ Фельдфебель (венгерск.).

Он, съежившись, втянув голову в плечи, быстро пошел вслед за жандармом, который, как видно, был хороший ходок. Из темноты выскочил и зашагал позади еще один жандарм.

В селе было тихо. Только журчал за левадами, переливаясь по камням, горный поток, да шелестела под ногами сухая листва. Прошли по главной улице, миновали дом священника, сельскую управу. Село осталось позади, и жандарм начал карабкаться в гору. Магарычка знал эту тропу. Так же шли они с Клумаком, когда ловили Борканюка. Только тогда была зима, а теперь стояла поздняя осень, пахло вялыми травами, влажной, сырой землей.

Глубоко в чаще, на лощинке, окруженной вековыми буками и соснами, горел костер. Ветви деревьев вверху сливались в сплошной шатер, снизу его окрашивал красноватым цветом и, казалось, согревал свет костра.

У костра сидел, опершись руками на посох, чабан Сегинь. У ствола одного из деревьев стоял Короджий. Данило Ковач и Потоки стояли под буками и о чем-то переговаривались вполголоса. Еще несколько чабанов и лесорубов стояли там и сям...

Вдруг вдали между деревьями замаячили тени. На земле толстым слоем лежала хвоя, шагов людей не было слышно. Но они шли очень быстро, приближались, и наконец на прогалину вышли Магарычка и еще два человека.

Сперва Магарычка, должно быть, не понял, что случилось. Он взглянул на того, кого называл в селе тержерместером, потом опрометью кинулся вперед, остановился, увидел Сегиня, Короджия, Потоки...

— Кедвеш баратаим, панове!

На прогалине стало тихо.

— Ты это к кому обращаешься? — спросил Сегинь. — Нет, мы тебе не милые друзья. Чего бежал сюда?

— Меня привели, — не соображая сам, что говорит, ответил Магарычка.

— Вы его привели? — спросил Сегинь у «тержерместера».

— Он сам побежал, как конь, чуть услышал, что будет облава на партизан, — отозвался молодой еще чабан

в накинутаой на плечи шинели.— Еще и расспрашивал, как будут делать облаву.

— Что ж ты врешь? — сказал Сегинь.— Привели? Нет, ты сам пришел сюда. Хотел поглядеть на партизан? Гляди! Быстрее гляди, а то немного времени осталось.

Люди, подошедшие к костру, засмеялись.

— Что ж,— сурово и скупо проговорил Сегинь.— Будем тебя судить. Я тебе буду судьей, а люди мне помогут.

— За что? За что? — завертелся Магарычка.

— Слушай, ты,— поднялся и ударил посохом о сухую землю Сегинь.— Уж кто-кто, а сам ты свои преступления знаешь. И мы знаем все, что ты сделал. Хочешь — скажу. Судим тебя за то, что всю свою собачью жизнь ты продавался кому-нибудь, а теперь продан фашистам. Судим тебя за то, что обкрадывал бедный люд Верховины, помогал убийцам и сам убивал наших честных людей...

— Я не убивал...

— Не убивал? А кто тогда ездил в Рахов, привез жандармов, повел их ночью туда, где скрывался наш Борканюк? А в Будапеште что ты говорил?

— Не только я,— пискнул Магарычка.— Гаврилс Клумак, капитан Чакши, сам пан-отец...

— Знаем,— сказал Сегинь.— Может, еще кого назовешь?

Магарычка молчал.

— А сколько всего наших людей ты загубил? Мужчин, женщин, детей? Кому ты только не служил! Ведь ты получал награды и от чешской охранки, и от Волошина, и от фашистов. Так кто же ты в конце концов? Убийца ты! А сколько вырвал из горла у людей, сколько украл и собрал денег в свой сундук?

— Я все отдам...

— Отдашь? — засмеялся Сегинь.— Хочешь отдать нам деньги, полученные за голову Борканюка и за кровь наших людей? Нет, этими деньгами тебе не откупиться, а сам ты получишь за них то, что давно заработал. А во сколько ты ценишь вот эти списки, которые готовился передать фашистам? — Сегинь швырнул списки в огонь.

Магарычка вдруг стал на колени.

— Я виноват! — крикнул он.— Меня заставляли это делать. Но я ведь и добро делал людям.

— Слушайте,— засмеялся Сегинь.— Хвалился волк, что копыта овце оставил. Где же и когда ты делал добро? Может, здесь, может на суде в Будапеште?

— Там — Клумак...

— Что ты нам — Клумак да Клумак. Не беспокойся, придет черед и ему. Сейчас ты отвечаешь. Встань и слушай!

Сегинь отвернулся от Магарычки, так противно было глядеть на него. Писарь поднялся, охватил голову руками.

— Люди,— обратился Сегинь ко всем.— Вы все слышали. Убийца он, злодей и предатель. И тут, на суде, ни слова он не сказал, которое смягчило бы его вину перед народом. Давайте же решим, как его покарать. Знаю вашу думку, а все же это суд. Скажите, может, среди нас кто-нибудь согласен оказать ему какое-нибудь снисхождение? Молчите? Понимаю вас, друзья. Видишь, писарь,— обратился он к Магарычке,— одна думка у людей, и некому тебе пожаловаться. Лесу и Карпатам? Так и они тебя не пожалеют.

Он замолчал и долго стоял, опершись на свой посох, глядя на огонь костра. Все молчали.

— Отведите волка подальше в лес,— поднял голову и решительным голосом сказал Сегинь.— Пусть идет к своим серым братьям.

Магарычка затрясся и поглядел на людей, но все они отвернулись от него. А с другой стороны был лес, ночь...

Он двинулся с места нетвердым шагом. За ним, держа в руках винтовки, пошли два чабана. Некоторое время мелькали фигуры между деревьями, а там и они исчезли. Издалека долетело приглушенное лесом эхо выстрелов.

Сегинь протянул руку и подбросил в костер сухих ветвей.

4

Капитан Чакши еще раз приехал в Клены.

— Теперь уж не скоро придется у вас побывать,— сказал он с ноткой печали в голосе, а в душе очень довольный.— Засыплет вас снегами, ни путей, ни дорог...

— А вы по свежему снежку,— вставила словцо попадьа.— Охотники это любят. По пороше ищи грóши, говаривал, да прощен будет, мой отец.

— Не зарекаюсь,— согласился капитан,— может, и не выдержу — приеду, кабана или медведя выслежу..

— Вас бы спаровать,— засмеялся о. Федор,— капитана — следы искать, а матушку — следы замечать...

— А что вы думаете? — подсел к столу капитан.— В своей ответственной работе мы должны использовать и женщин. Женщина легко может проникнуть в сердце мужчины...

— Это правда,— согласился о. Федор,— католическая церковь в своих целях использует и должна использовать женщин. А все же они ведьмы... Еще папа Иннокентий VIII...

— Завел! — сказала попадья и вышла на кухню.

— Как Мария? — спросил тогда капитан, кивнув на фотографию над диваном.

— Не нравится мне вся эта история с Марией,— ответил скорбно священник.

— А что такое, духовный отец? — пытливо взглянул на Стрыпского капитан.

— Снова получил я от нее письмо... и утратил спокойствие.

— Недовольна панночка Мария, или что?

— Нет, не то, высокочтимый пан капитан. Недовольны другие. Знаете, как говорил папа Лев XIII? «Если бы каждый по заветам церкви жил и поступал, земля превратилась бы в рай». Но эти схизматики не хотят признавать никаких заветов святой католической церкви. И в письме Марии я обнаружил, как бы сказать, пессимистические нотки...

— Но конкретно? — все интересовался капитан.

— Ничего конкретного... Она работает при каком-то штабе... Но в штабах отражается то, что происходит на фронте...

— Я представляю себе,— проговорил капитан Чакши, глядя куда-то за окно.

— А что, пан капитан,— принялся, в свою очередь, допрашивать о. Федор — Может, получены какие-нибудь нерадостные вести с фронта?

— О нет,— довольно живо ответил капитан.— Ведь вы читаете, отец духовный, газеты?

— Да, конечно,— налил себе и капитану по стаканчику о. Федор.— Читаю, читаю!

— Наши войска с большими боями продвигаются

вперед,— продолжал капитан.— Понятно, не так быстро, как в начале войны...

— Скажите, капитан,— болезненно сморщился Стрыпский.— Соппротивление их, казалось бы, давно уже должно быть сломлено... А мы, напротив того, продвигаемся все медленнее и медленнее. И потом этот Сталинград! Скажите, пан капитан, почему мы до сих пор его не взяли?

— Ничего! — Капитан пожал плечами, точно по ним пробежал холодок.— На все свое время, духовный отец! Кроме того, вскоре, видно, будет пущено в ход и новое оружие.

— Любопытно! — поднял голову о. Федор — Я читал уже много раз, что Германия владеет каким-то секретным уничтожающим оружием. Но все это подается в какой-то завуалированной форме. Может быть, вы мне скажете, что это за оружие, пан капитан? И почему одни разговоры о нем? Ведь проще же пустить его в ход, уничтожить всех схизматиков...

— Вы понимаете,— надменно сказал капитан,— что это оружие обладает огромной силой и будет применено только в последнюю минуту. Разрушительная сила этого оружия колоссальна..

— Так и разрушать! — с увлечением крикнул Стрыпский.— Чего ж еще ждать? До каких пор, я вас спрашиваю?!

— Видите, духовный отец,— сказал Чакши,— тут тоже нужна стратегия. Истребить их всех этим оружием очень просто и легко. Но это же оружие может повредить и нам. И нельзя к тому же оставлять землю без людей. А работать кто тогда будет?

— Это правда,— согласился о. Федор — Работать кому-то нужно. Христос сказал Петру: «Сотворю выловцы человеком...» Ловить их нужно и принуждать.

— Нет, мы должны бороться до последнего,— заметил Чакши.— На этой войне, отче духовный, возможны всякие неожиданности. Это тысяча сложнейших комбинаций, батюшка. Вы думаете, для чего мы строим линию Арпада?

— А скоро ли ее уже закончат? — спросил о. Федор.— Отгородиться бы..

— Да вот уж должны и закончить.

— Но, пан капитан, достаточна ли эта линия?

— О,— ответил Чакши.— Она начинается за двадцать километров от основного хребта, а там идет по хребту с узлами в районе Говерлы, близ Синевира, Воловца, Волосянки... Опять же и на западных склонах. Мы там недавно проезжали, линия, я вам скажу, чудесная...

— Так, так,— проговорил о. Федор, отмечая в своей памяти каждое слово, услышанное от капитана.

Попадья уже шла из кухни, неся в руках блюдо ароматной жареной баранины.

— Ой, матушка! — крикнул капитан Чакши,— вы всегда угостите чем-нибудь сказочным...

— За это я ее и люблю,— сказал, жмурясь, о. Федор.— Со-без-на-чальне,— завел он дребезжащим тенорком.

— Выпьем же за нашу Марию,— попросила попадья, тонкими ломтями нарезаая нашпигованную чесноком и салом баранину.

Капитан Чакши приехал в Клены не только для того, чтобы побывать в гостях у священника. Пообедав, он в сопровождении двух жандармов прошелся по селу и заглянул в сельскую управу.

Там, в сенцах, сидел, подшивая дратвой свой барабан, сельский бохтар. Шепа вскочил, увидев перед собой капитана.

— День добрый, пан! — сказал он.

— Пан писарь у себя? — не ответил на его приветствие Чакши.

— Нынче пана писаря не было.

— Так, может, он дома?

— Пан биров уже посылал меня за ним. Но и дома нет. Дверь заперта.

— Гм! — проговорил капитан.— Странно! Так-так! Может, он куда-нибудь уехал?

— Может, и уехал. Того уж я не ведаю, пан...

— Не ведаю... Не ведаю... — разозлился капитан.— Чтоб вас всех черти забрали.

Все же Чакши вошел в сельскую управу.

Писарь ему был крайне необходим! Ведь он же сообщал в письме, привезенном в Рахов Клумаком, что списки у него закончены, а кроме того, есть некоторые «инте-

ресантные известия». Поэтому капитан и примчался в Клены. Списки, где же списки? Может, писарь сам поехал в Рахов? Но нет, капитан встретил бы его по дороге.

И вдруг капитану стало почему-то страшно в комнате писаря. Было тихо кругом, за окном было светло, на крыльце о чем-то болтали с бохтаром жандармы. А у капитана неприятно похолодели пятки, с ним повторилось то же, что было в ночь ареста Борканюка.

Капитан опрометью выскочил на крыльцо.

— Пошли,— приказал он жандармам.

И они пошли назад, к попу.

По дороге капитан остановился возле тартака Клумаков. Там собралось много людей — братья Клумаки, Репаша, Поток и несколько жандармов.

Клумаки и Репаша были очень обеспокоены.

— Жандарм нашелся,— сказал Репаша.

Чакши, понятно, знал о происшествии на лесопилке, когда жандармы были обезоружены, а один неизвестно куда исчез, и потому он живо заинтересовался этим делом.

— Какой жандарм? Где он? — крикнул капитан.

В конце двора лесопилки, на затянутой ряской воде понорины, колыхался труп Габора Бакони. Был он вздутый, черный...

— Убийство,— проговорил Гаврило Клумаков.— Череп у него разрублен, а на ногах веревка. Он бы и еще лежал на дне, да его, видно, как бомбой, вырвало.

Габор Бакони колыхался и колыхался на воде, большой, неуклюжий, как колода.

Капитан поглядел на небо. Солнце вот-вот должно было закатиться за горы. Будь это днем — вскочил бы на коня, махнул бы по Раховской дороге со своими жандармами, только бы его и видели. А там пускай едут сюда следователи, доктора, пускай разбираются. Но... еще полчаса, стемнеет в горах — нет, ночью капитан не намерен соваться на шоссе. Только утром можно будет вырваться из этого проклятого села.

— Вы подтяните труп к берегу,— деловито сказал Чакши, обращаясь к бирову.— Тут придется провести экспертизу, ее непременно сделают завтра. Возле трупа выставить охрану,— приказал он.— Сколько на тартаке жандармов? Пять? Тогда один пускай стоит здесь, еще

два — на улице, возле тартака, а двоих я возьму с собой...

— Пан капитан,— проговорил Гаврило Клумак.— Двое — это моя личная охрана...

— Хватит вам и одного,— деланно-небрежно кинул Чакши.— Должен же я хоть кого-нибудь взять для связи...

Гаврило почесал затылок.

Жандармы, а особенно Иштван из Егера и Томаш с Балингом из Секешфехервара, думали сейчас, должно быть, не о том, чтобы стеречь мертвого Бакони, а чтобы поскорее вырваться из гор, подальше от Кленов, тартака...

Все ушли от понорины.

— А куда девался ваш писарь? — спросил капитан у Репаша.

— Он мне самому нужен. Вот так! — сдавил горло рукою Репаша.— И нету. Вчера, сегодня... А шкаф в управе раскрыт...

— Так его и вчера не было? — процедил Чакши.— Странно, совсем странно... И шкаф, говорите?

— Непорядок,— ворчал, идя, Гаврило Клумак.— Все же нам здесь, в горах, вооруженная сила нужна. Без нее — зарез...

— Будет вооруженная сила,— пообещал капитан.— Нельзя сразу обеспечить все фронты...

— А здесь и на самом деле точно фронт,— махнул рукой Клумак и закончил: — Что ж, доброй ночи, пан капитан! Айда со мной, Иштван!

До поповского дома капитан Чакши шел вместе с механиком Потоки. Механик на вопрос капитана, не болен ли он, ответил, что особых болезней не замечает, а просто утомился, тоскует...

Солнце зашло. В долине быстро темнело, только горы, как гигантские пылающие свечи, светились на горизонте. Холодно было. Поднимался ветерок.

— Вы, должно быть, нынче же в Рахов? — спросил Потоки.

— Избави боже,— ответил капитан.— Только утром. Чего мне спешить? Утром позавтракаю — и домой...

— Это правда,— проговорил Потоки.— Куда лучше утром. Что ж, прощайте, пан капитан.

— Кто-то стучится,— боязливо сказал Золтан Репаша.— Пойди, Юдит, спроси, кто там. И смотри никого чужого не впускай.

Он стал у косяка, слышал, как Юдит вышла в сени и громко спросила: «Кто там? Кто там? Что вам нужно?..»

Репаша ждал, что она вернется в комнату, скажет, кто там стучит. Может, от капитана Чакши, может, от Клумаков. Но Юдит все спрашивала в сенях: «Кто там? Кто там?» — а потом резко отодвинула засов, и в сенях раздался ее крик: «Золтан, Золтан!»

Биров, не помня себя от страха, так метнулся в угол комнаты, что зацепился за ножку стола. На пол упала и, тонко зазвенев, разбилась чашка. Остановился Репаша, стал в углу, оглянулся на окна...

В эту минуту дверь из сеней открылась. На пороге появилась Юдит. Следом за нею вошел кто-то в шинели.

— Кто это? — прошептал Репаша.

На пороге стоял и молча смотрел на отца сын, Янош. Смотрел... но как! У него был один только правый глаз, а вместо левого зияла впадина.

— Янош! — крикнул Золтан Репаша и, шагнув вперед, хотел схватить сына за руку.

Но правый рукав шинели Яноша был пуст.

— Что они с тобой сделали? — крикнул отец.

Сын оглядел комнату, словно не верил, что очутился здесь.

— Благодарите бога,— ответил он,— что так вырвался. Ну, чего же вы,— обозлился он,— выпучили глаза? Помогите хоть раздеться.

Это был совсем не тот голос Яноша, какой они когда-то знали,— это был раздраженный, очень сердитый голос.

— Иисус, мать божия, спаси нас! — стаскивала мать шинель с сына.

— Налейте в таз горячей воды,— сказал Янош.— Хочу помыться. Осточертели мне вши.

Он до пояса разделся и молча, разбрызгивая воду, мылся в кухне. Золтан Репаша ходил из угла в угол по комнате. Заметив на полу разбитую чашку, подобрал черепки. Мать вынула из комода чистое белье, слежавшийся, с искорками нафталина, костюм. Янош вышел из

кухни в комнату разомлевший, смягчившийся, но все же глядел на мать и отца волком.

«Видно, он так привык на фронте», — подумал Золтан Репаша.

Но сын не успокаивался.

— Вы, вижу, ничего, — кивнул он на живот отца. — Вроде похудели...

— Хвораю я.

— Свинская у вас хвороба, — нагло засмеялся Янош.

— Слушай, Янош, — обиженно проговорил старый Репаша. — Что это такое? Чего ты?

— Да будь оно проклято, все, все на свете! — вырвалось у Яноша. И, словно все это происходило не в доме отца, а в какой-нибудь корчме, он приказал матери: — Паленки, сала, у вас там есть грибы, кислая капуста.

И хотя это очень удивило Золтана Репаша и его супругу, но на самом деле в этом ничего странного не было. Отец смотрел на окривевшего сына и думал: «А ведь подкачал Янош, не выдержал». Сын поглядывал на отца и проклинал его: «Кто же, как не он, посылал меня когда-то в Будапешт».

Но было одно, что их объединяло:

— Вы же здесь не все сами пожрали, собрали что-нибудь? — спросил Янош.

— Ты мою натуру, Янош, знаешь, — ответил отец. — Недоем и недосплю, а пенге к пенге буду складывать.

— Хоть это хорошо! — ласковее поглядел глаз сына. — Эти пенге нам еще понадобятся.

— А ты как, Янош? Ведь ты писал про имение над Днепром, — спросил, в свою очередь, отец. — Как там дела?

Янош поглядел на порожний рукав и сказал:

— В этом имении сделали кладбище для наших солдат.

— Неужели такой ад? — скривился Золтан Репаша.

— Вы говорите, ад! — нагло засмеялся Янош. — В сравнении с тем, что там сейчас творится, ад — рай...

— Но эти газеты...

— Газеты? — уже захохотал Янош. — Я бы этими газетами...

Он выпил стакан паленки, второй, третий, глотал сало, капусту, грибы, словно куда-то торопился. Глаз у не-

го стал какой-то зеленоватый и все поглядывал на пустой рукав.

— Я думал,— откровенно признался Янош,— что обойдется одним глазом. Но сии все равно не отпускали, и я решил пожертвовать пальцем на руке. Кто мог думать, что это закончится гангреной...

«Он совсем пьян, но говорит правду»,— думал Золтан Репашн.

— Так что ж это,— спросил он вслух,— неужели конец?..

— Конец? — раздраженно и сердито процедил Янош.— Нет, это еще не конец. Может быть, это лишь начало.— И он задумался.— У нас в армии говорят, что проиграл Гитлер. Но очень много говорят и про Америку... Ведь второго фронта все нет. Вы думаете, это просто? О нет! Америка не хочет победы большевиков... Мы, национал-социалисты, за Америку. Выпьем, папаша!

6

Ноги их неслышно скользили по мху, шли они тихо, по-чабански. Временами где-то в вершинах деревьев кричала какая-то птица; однажды совсем близко в кустах протопотал олень. А больше ничего не было слышно, молчала ночь, и сами они молча шагали.

Впереди шел Сегинь. За ним шли два чабана. Если бы кто-нибудь увидал их в лесу, он не отличил бы, что передний среди них — старый уже человек, а два другие — юноши, так уверенно и твердо шли все они. В руках у них были автоматы, в кожаных поясах патроны, а кроме того — ножи.

Светало, когда дошли до Раховской дороги. Сегинь приказал чабанам оставаться в кустах, а сам спустился вниз и внимательно все осматривал.

Едва зеленело небо. Высоко над Говерлой ярко горела звезда. Падала холодная роса, где-то близко звенел в чаще ручей, у самой дороги вздыхала меж камнями Черная Тисса.

Сегинь не вышел на дорогу, потому что ее серебряной пленкой затянула роса и каждый его шаг лег бы черным следом. Он только прошел кустами вдоль дороги, остановился на повороте.

Как раз в этом месте дорога круто сворачивала над Тиссой, будто врезывалась в речку, и Сегиню, стоявшему возле куста, хорошо видна была дорога в обе стороны — и к перевалу и на Рахов.

— Нехай так и будет,— проговорил вполголоса чабан.— Лучшего места не найти.

Он возвратился к своим помощникам.

— Мое место будет там,— указал Сегинь на большой куст,— а вы залегайте вон в тех кустах. Я беру на себя капитана, а вы рассчитайтесь с этими двумя жандармами. А если их будет больше, все равно будем делать наше дело. А вон той стежкой будем уходить, взберемся выше, на ту горку.

Движения Сегиня были уверенны, голос ровный и спокойный, так же держались и его помощники. Все было, как и в горах, на полонинах. Они исполняли приказание старшего чабана, разошлись, каждый залег на своем месте.

Время шло очень медленно. Звезда над Говерлой долго мерцала и лучилась, как пойманная в сеть блестящая рыба, а потом растаяла и, послав несколько прощальных лучей, исчезла. С востока волнами, точно прилив могучего океана, шел рассвет, день. Сначала прошла волна зеленоватого света, за нею хлынула голубая волна, пролетел, как вестник, легкий ветерок, а там зарозовело все окрест — солнце вставало из-за гор.

Солнце! Его приветствовало все в горах и в долине. Запели разными голосами и каждая по-своему птицы, сильнее зашумел горный поток, зашевелились в кустах какие-то зверьки, откуда-то со склонов гор долетел звон колокольчиков на шеях коров и монотонная мелодия сопилки, за которою угадывались такие знакомые чабанам слова:

Не сама туй прійшла,
вода ня принёсла,
бодай тота вода
каменем зарóсла...

Как серебряная река, струилась покрытая росой дорога, а когда луч солнца лег на нее, поднялся пар, заволновался воздух, и встало над дорогой несколько многоцветных радуг; они приветом встретили солнце и исчезли.

Все вокруг славилó солнце, день, все хотело жить. Да почему было и не жить людям под благодатным солнцем, среди зеленых лесов и гор, над быстрыми реками?

Но болела старая рана на виске у чабана, и это была не только его рана,— в самое сердце был уже ранен обездоленный люд на Верховине, так ранен, что не хватало дальше сил терпеть.

— Да свершится суд! — сказал Сегинь, ложась на холодную землю под кустом.

— Да свершится суд! — проговорили и младшие чабаны, садясь на влажные от росы камни.

Все трое смотрели только в одну сторону — на дорогу из Кленов.

Сегинь видел — в условленном месте, на склоне гор, поднялся в голубое небо черный дымок. Он понял: это сигнал друзей — они сторожили в селе,— и сделал рукой знак своим чабанам.

И вот они увидели тех, кого напряженно ждали. Вдали, на дороге, над которой поднимался легонький пар, что-то замелькало, а потом стали видны несколько всадников. Впереди гарцевал на коне капитан Чакши, за ним ехали еще два жандарма.

Чабаны лежали и напряженно ждали. Жандармы громко, как гуси, гоготали. Вот видны стали их сытые рожи.

Сегинь считался в селе метким стрелком. Когда-то у него, еще смолodu, было ружье, и он, проведя лето со стадами на полонинах, сразу после зимнего Михайла, тайком, чтобы не поймали его случаем жандармы и егерь, под свиткой выносил из села ружье, бродил в чащах мараморошских гор и, встретив какого-нибудь зверя, никогда не промахивался...

Теперь Сегинь целился твердой, уверенной рукой. За ним стоял весь бедный люд Верховины, это он наводил его ружье, поддерживал его руку, приказывал:

«Целься в него вернее, он убил уже много наших людей и, если еще оставить его на воле, убьет больше! Целься метко — за Борканюка, за мужчин, женщин, детей, за тех, кто погиб, и во имя тех, кто хочет жить! Убей его!»

Раздался выстрел. Ударили винтовки из кустов.

Это были меткие выстрелы. Пуля раздробила орден, который недавно получил Чакши, и угодила в волчье сердце капитана. «Завоеватель гор» лежал неподвижно, раскинув руки, в дорожной пыли, рядом с ним упали жандармы. Испуганные лошади мчались по дороге в Рахов.

Уже по тому, как о. Федор быстро, широко размахивая руками, шагал от сельской управы, попадья почувствовала, что случилось что-то необычайное и что духовный отец чем-то очень озабочен.

Она не ошиблась. Войдя в столовую прямо в грязных сапогах, чего раньше никогда не случалось, так как панотец всегда снимал их в коридоре и там же надевал мягкие туфли, о. Федор остановился на пороге, осмотрелся растерянными глазами, сделал пальцами движение, будто сучил нитку, и сказал тихим голосом:

— А знаешь, Таня, ведь нашего капитана убили...

— Ой! — вскрикнула попадья, и лицо у нее сразу побелело, а сама она схватилась рукой за сердце.

Пстом матушка взглянула на стену, где висела фотография Марии в позолоченной рамке.

— Помнишь, Федя, как он любил ее! Может быть, и ее сердце отвечало взаимностью. Я уверена, у них была настоящая романтическая любовь. Но ты мне не сказал, как, когда и где его убили.

— На Раховской дороге. Это было вчера... С ним вместе убито двое жандармов.

— Ах, ах, ах! — вздохнула попадья. — Какие жестокие люди!

— Жестокие? — посмотрел на нее о. Федор. — Нет, этих бунтовщиков нужно просто истребить... Но достанется же им теперь за нашего капитана. Что только начнется тут теперь! — Он взволнованно потер руки и, заметив, что стоит в грязных сапогах, вышел в коридор надеть мягкие туфли.

— Его похоронят в Рахове? — спросила попадья, поглядывая в зеркальце.

— Нет, — долетел голос о. Федора из коридора. — Его, наверно, повезут в Ужгород.

— Жалко, — сказала попадья, — если бы это было в Рахове, мы бы с тобой могли пройти за его гробом.

— А знаешь, — вошел в столовую уже в мягких туфлях о. Федор, — может, и лучше, что все так случилось.

— Ты о чем говоришь?

— Я говорю об этом убийстве...

— Ну как можно такое говорить?—перебила она его.

— Нет, нет, Таня, не спеши, а вдумайся в то, что я говорю. Ведь понимаешь,— он все делал пальцами обеих рук такое движение, будто сучил палку,— все может быть, Таня! Вся эта верховинская беднота зла и неблагодарна — такую уж сотворил ее бог. Ведь это капитан забрал тогда одиннадцать человек. И с Борканюком — его дело. Я не раз уже об этом думал: ведь наши голодранцы в сто глаз смотрят, у кого бывал капитан, с кем он разговаривал. Да и сам он мог кому-нибудь проговориться — помнишь, сколько болтал, когда бывал у нас. А сколько уж у меня спрашивали: «Не думаете ли вы, батюшка, породниться с капитаном? Он — человек с будущим, у вас дочка на выданье». Ну, а теперь, известно, только он виноват, при чем тут я, политика никогда не была моим делом. И если говорить правду, то покойный капитан был довольно неприятная, нахальная, жестокая личность.

— Да... да... — прошептала попадья.— Может, и лучше, что его нет.

И беседа их оборвалась. В комнате воцарилась тишина. Легонько, словно боясь потревожить тишину, тикали в углу часы. Папа Пий XI на картине Мункачи, как добрый садовник, осматривал в саду розы...

— Ты бы согрела мне кофе,— сказал о. Федор.— Мне ведь еще нужно идти к вечерне.

— Кофе готов,— ответила попадья и проплыла на кухню.

— Какой тяжелый день нынче,— проговорил о. Федор, когда она принесла две чашки кофе и сама села за стол.— В «Благовестнике» пишут, что трагически погиб отец Марк Михневич... Вот и фотография его...

— Я помню отца Марка,— взглянула на снимок в газете матушка.— Как живой!

— Пишут, что убит на дороге в горах,— раздраженно кинул на стол газету о. Федор.— Ну кто же, как не коммунисты? Нет, просто с ума сойти можно! Поверишь, иду это улицей, а сзади из-за плетня кто-то как крикнет: «Палажка!» Я сразу: «А? Слушаю!» Понимаешь, уж если я до Палажки дошел, так это не шутки. Отец Палажка! Ты такого еще не слыхала? Тьфу! Сны эти! От Марии писем нет!

Попадья все помещивала и помещивала серебряной ложечкой в чашке, словно бы совсем равнодушная к тому, что говорил о. Федор.

Федор Стрыпский тихими шагами шел в церковь. Торжественный, погруженный в свои думы, далекий, казалось, от всего земного, весь исполненный того, что церковь называет благодатью божией, благодатью духа. Только золотого нимба вокруг его головы не хватало, а то был бы самый настоящий святой.

— Слава Иисусу! — встречали настоятеля Клумаки, Репаша...

— Вовеки слава! — отвечал он, чуть поднимая правую руку, в которой был пастырский его посох.

На колокольне в это время, завидев издалека о. Федора, сторож Кузьма так резко ударил в колокол, что грачи, сидевшие на вербах вокруг церкви, взвились, как от выстрела, в небо. А Кузьма ударял в колокол сильнее и сильнее, и эхо плыло над долиной, отзывалось в горах.

Отец Федор остановился и постоял минутку, заслышав звон, поглядел на залитые багряным сиянием Карпаты, словно любовался красотой суетного мира, а мыслями улетал в другой мир, мир духовный, незримый, воображаемый.

— Слава в вышних богу и на земле мир! — прошептал о. Федор.

Но думал в этот вечерний час о. Федор, хотя никто этого не мог даже предположить, не о духовном мире, а о простой, будничной земле.

«До чего умен отец Александр Демьянович, — припомнил Федор Стрыпский статью раховского священника в «Благовестнике» и фото Михневича. — Демьянович сдержал свое обещание: «Он будет нем, как труп!» Ты, отче Марк, отступился от основ католической церкви, вот и стал трупом. А «Благовестник» еще и пишет, что Михневича убили коммунисты... Так, так, использовать все, даже и смерть врага. Ведь мертвый Михневич не сможет защищаться. До чего умен этот отец Демьянович!»

И главное было в том, что о. Федор теперь, как и всегда, не чувствовал за собой ни малейшей вины в смерти и союзника — венгерского капитана, и врага — священника Михневича. Он смотрел на свои белые, пух-

лые руки, но не видел на них хотя бы капельки крови, и его совесть не мучило никакое сомнение.

Правда, о. Федор недаром, идя в церковь, снова и снова оглядывал свои руки. Католическая церковь учит, что «рабы рабов божиих» не должны делать грязные дела своими руками, священный долг духовных отцов — только благословлять.

Именно потому священник Федор Стрыпский — а он был верным и послушным учеником папы, — благословлял в свое время чешских аграриев, помогал волошинцам, молился за Хорти, с надеждой смотрел на гитлеровские войска, а по ночам садился у своего радиоприемника и слушал Америку. У него было много друзей во всем мире, не было только и не могло быть друзей среди трудового люда, потому что применял он в отношении их только один закон: «Плати, подчиняйся, молчи».

Верил ли хоть сам Федор Стрыпский в то, что проповедовал, — в какого-то там Христа, деву Марию, небо?

Нет! Никто из них в это не верил, начиная с папы и кончая кленовским священником. Да они не скрывали этого. «Я верю в деву Марию так же мало, как и в ослицу, а в ее сына, как в осла», — говорил папа Бонифаций VIII. В анналах католической церкви записано, что папа Александр VI утверждал: «Каждая религия хороша, но лучшая из них та, которая глупее всех». Никто из них не верил, и хотя они проповедовали и обещали другим счастье на небе, но сами искали счастья только на настоящей, твердой земле.

Положив на престол холодный крест, Стрыпский долго смотрел в зарешетченное окно, на восток.

Когда он прежде смотрел в это окно, счастливая, ангельская улыбка появлялась на устах преподобного отца. Теперь его лицо было сурово.

Стрыпский припомнил прошлую ночь... О, это была долгая ночь! Он ловил станцию за станцией, в определенный час нашел волну Ватикана.

Оттуда лилась та же благоговейная музыка, долетал перезвон колоколов, говорил тот же диктор, читалась еще одна энциклика папы.

Но как это могло случиться! Отец Федор подумал даже, что он ошибся и поймал не ту станцию. Папа Пий XII, который благословлял гитлеровцев на поход против коммунизма, папа, который молчал, когда гитле-

ровцы порабощали Чехословакию и кровью заливали Польшу, который приветствовал гитлеровцев, когда они начали войну с Советским Союзом, говорил, что не может быть никакой пощады и снисхождения к безбожным коммунистам,— этот самый папа говорил теперь о милосердии к побежденным.

У о. Федора пот выступил на лбу. Милосердие к побежденным коммунистам? О нет, папа не мог говорить о милосердии к ним. Слишком много проклинал их и он и предшественник его Пий XI,— они с пеной у рта говорили о коммунистах, они жаждали и жаждут только их гибели, смерти...

Так тогда?..

А что, если папа говорит о побежденных гитлеровцах, о битве на Волге? Неужели правду говорят русские радиостанции, голос которых не хотел бы слышать о. Федор, но чей голос гремит на весь мир:

— Гитлеровцам никогда не перейти Волги. Гитлеровцам не победить город Сталина.

И сейчас о. Федор стоял перед окном в алтаре, смотрел на звезды, мерцавшие холодно, далеко, и, сжимая кулаки, шептал: «Не допусти, господи, спаси и сохрани!».

Была уже ночь, когда о. Федор вышел из церкви и направился домой. Не было видно огней в селе, не слышно было людских голосов, только горный поток шумел по камням. Пан-отец почему-то представил себе этот поток в образе чабана, который крадется за ним, держа в руке нож. Он сам начал красться вдоль плетней и, когда вошел в ворота усадьбы, долго стоял, слушая, как колотится сердце.

«Нет, надо будет раньше начинать вечерню,— думал Стрылский.— А может, и совсем не служить... Но ведь они должны верить, эти верховинцы!»

8

Легковая машина промчалась по улице Кленов. Гаврило Клумак вышел в это время освежиться во двор. Он проводил машину равнодушным взглядом. Сколько их едет и едет через село на перевал. Всех и не сочтешь!

Но эта машина постояла минутку возле сельской управы, повернула назад и вдруг остановилась возле усадьбы Клумака.

Тогда Гаврило проворно пробежал к калитке, решив, что это, может быть, приехал кто-нибудь из раховских начальников, а то и из самого военного министерства.

Это были не гости из Рахова и не чиновники из министерства. Из машины вылез и направился к Клумаку мужчина в военных сапогах, в шинели английского сукна, в меховой шапке.

Лицо военного показалось Клумаку очень знакомым. Но его скрывали темные очки от снега, меховая шапка, закрывавшая лоб и щеки...

— Я к вам на минутку,— сказал незнакомец и вошел во двор.

— Прошу! Прошу! — ответил Клумак.

Он пошел рядом с незнакомцем, раз и другой искоса глянул на него. Кто бы это мог быть? Из волошинцев, может, из венгерских чиновников, агент полиции...

— Неужели не узнаете, мистер Клумп? — спросил гость, поднимаясь по ступенькам на крыльцо, и засмеялся.

— Мистер Стог! — задохнувшись, проговорил Клумак. — Неужели это вы? В Кленах?

— Тише,— ответил мистер Стог и, не спрашивая позволения, вошел в сени.

— Как же вы очутились тут, мистер Стог, и что делаете? — спросил Клумак, когда гость снял шинель, шапку и удобно уселся в кресло.

— Пан Клумак,— холодно и строго сказал мистер Стог,— я хочу начать наш разговор теми словами, какие услышал когда-то от вас в ресторане в Нью-Йорке...

— Напомните,— промычал Клумак,— а то что-то мне память изменяет.

— «Тише, ради бога»,— сказали вы мне тогда. И я вам то же говорю. Ну, хорошо, я назывался когда-то мистером Стогом, ну, хорошо, я был американцем. Но об этом сейчас не нужно вспоминать.

— Так, может, вы наконец стали Стогарчуком или Стогалюком?

— Не угадывайте, пан Клумак! Сейчас я Альберт Стогаль и прибыл сюда из Швейцарии...

— Из Швейцарии? — облизал сухие губы Клумак.

— А что ж? Ведь Швейцария — испокон веку нейтральная страна. Ней-траль-ная! — засмеялся Альберт Стогаль. — Следовательно, мы с этой «нейтральной» страной можем торговать. И торгуем... Вся промышленная Америка торгует! Не забудьте, что и «Латорица» — швейцарско-французская фирма. Ведь существует такая на Карпатах?

— А как же! Существует! Можно сказать — конкуренты, — засмеялся и Клумак. — Теперь я кое-что начинаю понимать. Получается — война войною, а вас интересует и Германия и Закарпатье?

— Бизнес! — коротко сказал Стогаль.

— Здорово! — вырвалось у Гаврила Клумака. — Вы не обижайтесь, пан Стогаль, я тоже имею американский паспорт. Ведь помните, выдали. Но я вам скажу, до чего ж хитрые американские компании! Ну, и «Дженерал моторс»! А «Стандарт ойл компани»... Вы подумайте — вроде бы с немцами воюют и этим же немцам оружие в руки суют...

— Мы воюем прежде всего с большевиками, — сказал Стогаль. — И, если мне не изменяет память, вы тоже...

— Везде и всюду! — вырвалось у Клумака.

— Везде — не нужно, — перебил его Стогаль, — но вы были нашим инвизибл гармонайзером в Америке и обещали быть им и на Карпатах.

— Как вам не совестно, пан Стогаль, — укоризненно кинул Клумак. — А разве я не выполнил того, за что мне было заплачено?

— О нет, пан Клумак, вы все выполнили, как надо... Мы имели информацию и о ваших беседах с Волошиным, и о вашем выступлении на сейме в Хусте... Наши люди подсчитали также, сколько лесу вы вывезли с гор. Жаль, что вы не истребили на Карпатах всех лесов.

Гаврило Клумак оглядел комнату, словно здесь, кроме них двоих, был еще кто-то третий, и, не поверив, видимо, глазам, встал с кресла, прошелся по комнате.

— Так, может, вы и про Борканюка знаете? — спросил он.

Альберт Стогаль кивнул утвердительно.

— Наш корреспондент из Будапешта писал о суде и приговоре.

— Умгу,— потер себе шею Клумах.— Понимаю... Организация...

— Доллары,— коротко сказал Стогаль.

— Так что ж вы мне теперь скажете, пан Альберт? — заблестели глаза у Клумака.— Вы сюда надолго или проездом?

— Надолго,— ответил Стогаль.— В Югославии живет сын графа Шенборна. Его жена — русская княжна. Я живу у них — очень приятное общество...

— А скажите, будьте ласковы,— спросил Клумах,— эта княжна, часом, не Константиновна? По батюшке, значит, как ее прозывают?

— Почему это вас интересует? — спросил Стогаль.

— У моего брата Дмитра,— зашептал Гаврило,— жена... тоже будто бы русская княжна... Константиновна...

— Любопытно,— заметил Стогаль.— Нужно будет проверить...

— Проверьте, пан Стогаль,— сказал Клумах.— Это мне интересно знать.

— Ладно,— согласился швейцарский подданный, поглядывая в окно.— А теперь скажите мне, что у вас нового?

— Что ж у нас нового? — почесал затылок Клумах.— Не нравится мне то, что творится вокруг. Как там на фронте, я не знаю, у меня от газет живот болит. Но тут очень беспокойно, пан Стогаль. Борканюка, правда, не стало, но коммунисты какие-то неуловимые и неузнаваемые. Я даже у себя на воротах ихние прокламации читал. Да еще какие прокламации! Мороз по коже подирает. А сколько всяких происшествий в одном только нашем селе! На нашем тартаке один жандарм убит, а у других забрали оружие. Потом сельский писарь — ведь пропал человек, будто сквозь землю провалился. Теперь капитан Чакши и два жандарма. Среди бела дня, на дороге. Кто это делает? Просто какой-то невидимый фронт.

— Я это знаю,— раздраженно процедил пан Стогаль.— И должен сказать, что вы в этом тоже виноваты.

— Да что ж мне, из пушки палить или как, по-вашему? И куда целиться?

— Из пушки стрелять не нужно,— заметил Стогаль,— но деньги на это дело жалеть нельзя.

— О нет,— решительно заявил Клумак.— На ветер деньги выбрасывать я не стану. И если на то пошло, то мы с братом содержим сейчас одиннадцать дармоедов. Одного уже убили...

— Перебьют и остальных,— сказал Стогаль.

— Что вы? — вскинулся Клумак.

— Да, да,— еще раз подтвердил Стогаль.— А вам их что, жаль?

— Для чего бы я стал их жалеть, пан Стогаль? — ответил Клумак.— Пускай их быют, и расстреливают, и топят... Денег мне жалко!

— Тогда слушайте...

— Весь тут...

— Через день после начала войны Германии с Россией,— говорил Стогаль,— в Америке было сказано: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше...» Это сказал Гарри Трумэн. Вы еще услышите о нем...

— Да мы так и делали... Конечно, помогаем Германии.

— Мы говорили о помощи России,— продолжал Стогаль,— в надежде, что победит Германия, но теперь пришло время подумать и о себе.

— Разве там, на фронте, плохи дела? — поглядел на Стогалья, выпучив глаза, Клумак.

— Да, на фронте дела плохи,— вздохнул Стогаль.— Россия начинает побеждать. Америке теперь приходится думать о втором фронте...

— Что вы? — ужаснулся Клумак.— Бить фашистов в спину?

— В спину? Нет, скорее, идти к ним. Мы их пойли, кормили, но они оскандалились. А нам Европа нужна. Рынок и плацдарм. Может, нам удастся дойти и до Карпат. Вы думаете, мы зря вложили столько денег в эти проклятые горы?

— А уж и горы,— поддакнул Гаврило Клумак.— Вот теперь я все понимаю. С Жатковичем в восемнадцатом году, с Волошиным и Венгрией теперь.

— И поэтому мы с вами, пан Клумак, должны договориться,— сказал сухо и по-деловому Стогаль.— Нам предстоит много работы. Может быть, на года...

— Лишь бы деньги! — согласился Клумак.

Глава шестая

1

Завеяло, замело, засыпало Карпаты. Только Говерла и Поп-Иван, точно покрытые льдом гигантские корабли, гордо стояли, принимая на себя удары ветров, склоны же гор покрылись волнистыми снежными коврами, забелели леса и долины, глубоко в ущельях подо льдом скрылись потоки.

А северный ветер, «Поляк», не стихая ни на час, все рвался и рвался через перевалы, наметал новые горы снега, ломал сучья в лесах и, вырвавшись в долину, взявшись за руку с южным, «Балканом», уже вместе с ним бесновался над Тиссой, летел в венгерскую степь.

Тоскливо было в эту пору в верховинских жилищах. Чтобы укрыться от холода, в задымленные хижины собиралось все живое — старые, молодые, дети; у кого было, те приводили в хижину и весь скот — корову, овцу с ягненком. Посреди хижин курились слабые огни, к ним из дыма тянулись руки людей, в темноте блестели испуганно глаза животных.

Голод свирепствовал на Верховине. Часто бывало, что в одном углу хижины уже лежал кто-нибудь, сложив навеки руки, а в другом углу живые прислушивались, как воет за стенами ветер, как он срывает дранки с крыши, как смерть рыщет по долине.

Косила смерть людей и на перевалах, на хребте гор. Ни в мороз, ни в метель не прекращалась работа на линии Арпада. Одетые в меха, разжиревшие гонведы до света поднимали оборванных, голодных людей, гнали их на работу, приказывали рвать скалы, рубить мерзлую землю, ставить мосты. Работа шла и ночью — люди работали при слабом свете затемненных сверху фонарей.

А когда днем стихала выюга, по Верховине вихрем пролетали жандармы, — они арестовывали и гнали на смену мертвым еле живых людей. Уже тысячи погибли на работе в горах, уже сто тысяч погнали фашисты на каторгу в Германию.

Гибла Верховина, погибала беднота долин. Немецкие и венгерские фашисты делали черное свое дело — они

1

стремились погубить как можно больше народу на восточном фронте, хотели превратить Карпаты в «зону пустыни».

Осуществлялось то, что уже давно готовили американские империалисты. Ведь это Америка вооружала фашистскую Германию для похода на восток, это она готовила «Пьемонт на Карпатах», как открыто писалось в «Нью-Йорк Таймс». И теперь не случайно американский шпион с паспортом швейцарского подданного, Альберт Стогаль, появился на Верховине. Уолл-стрит продолжал делать свое черное дело!

Не было мысли о страданиях народа на Карпатах и у деятелей «нейтральной страны» — швейцарских акционеров общества «Латорица», которое, как паук, опутало Верховину и пило людскую кровь. Для них кончался всего-навсего очередной операционный год. За этот год швейцарцам, правда, пришлось уступить часть акций венгерским банкам, а часть — банкам итальянским, шефами которых были Чиано и Ватикан. Но баланс «Латорицы» за 1942 год был блестящий. Тысячи процентов на вложенные капиталы!

Не беспокоило горе людское и тех «рабов божиих», которые в теплых церковных домах мечтали о всемирном папстве. Умирают верховинцы — и пускай, — католические пастыри давно мечтали видеть безлюдными и мертвыми все Карпаты.

Беспокоило их всех совсем иное! Шли поезда на восток, но это уже ехали не те «завоеватели»; которые красовались в первые месяцы войны на перронах станций и надменно поглядывали на окружающих из окон вагонов. Эти вояки выглядели теперь по-иному. Куда девалась их кичливость и уверенность! Среди них самих шли разговоры о том, что Венгрия потеряла уже сотни тысяч людей на восточном фронте, но ничего еще не выиграла и вряд ли выиграет.

«Парад мертвых» — так называли тогда поезда, спускавшиеся с перевалов в долины Тиссы. «Посчастливилось» разве одному только надпоручику воздушных сил Венгрии, заместителю регента, Иштвану Хорти... Труп его привезли с почетом, о гибели этого Иштвана писали газеты. Тысячи же других трупов везли без всякого почета, набивая гробами вагоны по самую крышу. «Парад мертвых» тянулся слишком долго, ему не видно было конца.

По ночам поезда шли с потушенными огнями. На горах и в долине также запрещено было зажигать огни. Сначала это объясняли тем, что огни, мол, дезориентируют венгерскую авиацию, которая проводит «смелые ночные налеты». Позднее появилась версия, будто бы огни мешают продвижению наземных войск. А после никто ничего не пояснял, а гонимые попросту стреляли и кидали гранаты в любое подозрительное окно, где только мелькнет свет.

Огни в долине и в горах были опасны по другой причине. Кому из местных жителей случалось в те ночи бывать на дворе, тот слышал, как высоко-высоко вверху над Карпатами гудят самолеты. Они шли и шли в просторах неба — звеньями, эскадрильями. И удивительно — моторы на этих самолетах гудели совсем не так, как на немецких и венгерских. Да и летели они не за Карпаты, а из-за Карпат, направляясь к нефтяным районам Румынии и к военным заводам Чехословакии и Венгрии.

Удивляло еще одно. На площадях Ужгорода и Мукачева стояли фанерные щиты — «карты восточного фронта», и флажки на них, до некоторого времени, передвигались на восток.

Внезапно эти линии замерли. Флажки покрылись снегом, обледенели, точно вмерзли в фанеру. Особенно много флажков засыпало снегом и покрыло ледяной корой возле одной точки на карте, где значилось слово «Сталинград».

«Оз орсак» и «Уй Модьоршаг» писали:

«Наши армии в районе Сталинграда окружили большие вражеские силы... Наши армии сжимают кольцо...»

Но только это «окружение вражеских армий» и «сжатие кольца» продолжалось почему-то слишком долго... Шли поезда на восток, с перевалов катились поезда с гробами, флажки на картах восточного фронта обмерзали и совсем обмерзли, напоминая обледенелые смешные фигурки, а кольца на картах никак не сжимались...

И вдруг появился правительственный приказ о том, что по всей Венгрии объявляется трехдневный траур по дивизиям, окруженным в районе Сталинграда, в течение которого учреждения и частные лица обязаны вывесить на домах траурные флаги; мужчинам предлагалось надеть черные повязки на левую руку, а женщинам — надеть темные платья.

Ласло Потоки нетерпеливо ждал в домике посреди гор раховского лесника Ярослава Гишку. Лесник накануне выехал в Мукачево и обещал вернуться на другой день утром. И вот этот день кончался, а Гишки все не было.

Потоки, понятно, не терпелось. Но он должен был дожидаться Ярослава: этот трехдневный траур по дивизиям, окруженным под Сталинградом, эти эсэсовские части, которые выгрузились в Рахове и начали продвигаться к Богдану над Белой Тиссой и ущельем вдоль Черной Тиссы... Он условился с Короджием, что не возвратится, пока не привезет подробных, исчерпывающих сведений...

Чтобы не попасть кому-нибудь на глаза, Ласло Потоки выехал даже на своей машине из Рахова, направился в горы, в дом лесника. Там он и провел вместе с шофером Хомой весь день, помогая по хозяйству жене лесника, и все поглядывал и поглядывал на долину.

Ярослав Гишка возвратился, когда солнце склонилось за розовые, заснеженные горы, а в ущелье Тиссы клубился голубой туман.

— Вы тут, Ласло? — обрадовался лесник, увидев во дворе Потоки. — Это очень хорошо. Мы только что в Рахове советовались, кого же послать к вам, в горы. Выходило вроде бы идти мне.

— Есть какие-нибудь новости? — спросил озабоченно Потоки.

— Пойдем в хату, — сказал, поглядев на склоны гор, Гишка.

— Я привез с собою приказ Сталина, — с глубоким, радостным волнением сказал Ярослав Гишка.

Он вынул из своего походного рюкзака большую пачку листовок, взял одну из них и продолжал:

— Эти окруженные в Сталинграде несколько дивизий, как пишет «Оз орсаг», и трехдневный траур по ним, который будто бы может помочь немецко-венгерским войскам, — это фашистская брехня. Советские войска уже два месяца назад перешли в наступление, они прорвали на широком фронте оборону фашистских войск, разбили сто две их дивизии, захватили свыше двухсот тысяч пленных, взяли бесчисленное количество разной техники и

продвинулись вперед на четыреста километров. Четыреста километров! И советские войска идут и идут вперед — по эту сторону Сталинграда, на Дону, на Северном Кавказе, к югу от Ладожского озера... Вот читайте, читайте!

— Какое счастье! — вырвалось у Потоки. — Теперь можно сказать, что над миром взошло солнце и что на нашей улице тоже наступает праздник.

— Да, — согласился Гишка. — Нашего солнца никому не погасить. — Вы понимаете, почему я задержался в Мукачеве? Сегодня ночью этот приказ был напечатан в нашей типографии, сейчас его читают уже в Рахове. Вот эту пачку листовок я вам дам с собой. Нужно, чтобы о победе советского народа узнали все. Так сказали мне в краевом комитете.

— Спасибо! — поблагодарил Потоки. — Я сейчас же отправляюсь в дорогу...

— Но это еще не все, — продолжал Тишка, заворачивая в бумагу пачку листовок. — Краевой комитет передает вам боевой приказ...

— Я слушаю, — взял пачку листовок Потоки.

— Поражение гитлеровцев под Сталинградом, — сказал Гишка, — свидетельствует о начале полного разгрома немецко-фашистских захватчиков и их союзников. Фашисты будут теперь думать не о какой-то победе, а о том, как им спастись. Нынче я проехал по долине, — нет, это уже не те «победители», каких мы видели раньше. Но они еще будут бороться, пока не выдохнутся совсем. Там, на фронте, сейчас будет очень тяжело. Эти звери пойдут на все. И, конечно, они будут жестокими и свирепыми на Карпатах. Ведь и здесь у них земля горит под ногами. А наши люди теперь еще больше оживут, у них по-настоящему вырастут крылья. Фашисты это знают, ощущают на своей шкуре... Товарищ Шегута приказал передать, что в наши руки попал план фашистского командования — речь в нем идет о создании «зоны пустыни» в Карпатах и над Тиссой.

— В Рахов прибыла эсэсовская часть, — продолжал Гишка. — Они уже в Богдане, выступили на Квасы, идут дальше. Начинается кровавая расправа, волошинцы и венгерские кулаки выдают активистов — их убивают на месте, а остальных гонят на каторгу.

— Товарищ Гишка, — сказал Потоки, — но есть оружие и у нас, наши люди готовы...

... — Да... да... — перебил его Гишка. — Как раз об этом и говорил мне Шегута. Но он предупредил, что расправой с отдельными фашистами сейчас дела не поправить. Они бросают на нас большие силы — с такою же силой мы должны ответить на удар. Отдельные партизанские отряды должны существовать, наши люди должны действовать во всех селах, но сейчас нужно в один кулак собрать как можно больше сил и нанести решающий удар по врагу. Такие силы мы соберем в районе Синевирского озера. Кленовский отряд имени Борканюка должен этой же ночью выступить туда. У лесника в Устье-Черной вас встретит Шегута.

3

Машина быстро продвигалась в горы. Ласло Потоки спешил. Он вез с собою драгоценный документ, у него в сердце был запечатлен боевой приказ, который нужно было немедленно передать друзьям. Этот приказ нужно было передать раньше, чем фашистская волна хлынет в горы.

Все шло удачно. Машина бешено подскакивала на ухабах, ее заносило на крутых поворотах, временами она буксовала на скользких подъемах, но все-таки продвигалась выше и выше в горы. Уже далеко позади остался Рахов, мимо промелькнули хатки Квасов, машина пронеслась сквозь облако пара, которое всегда стоит над горячим ключом...

И вдруг сквозь завывание мотора Ласло Потоки услышал выстрелы. Через затянутое инеем стекло кабины он увидел нескольких солдат, — они стояли на дороге.

— Не останавливайся! Быстрее! — крикнул Ласло Потоки шоферу.

Но выстрел раздался возле самой машины. Хсма принужден был затормозить.

— Марш ки! ¹ — Солдаты приказали Ласло выйти из машины.

Потоки не боялся. Мысль о смерти не приходила ему в голову. Стоять вот так на снегу перед осатанелыми фашистскими солдатами приходилось ему не раз. А разве не стоял он ежедневно перед жандармами-душегубами

¹ Выходи! (венгерск.)

на лесопилке? Нет, мысль о собственной жизни и смерти не приходила ему в голову.

Он боялся за другое. В ящике кабины лежали драгоценные листовки, которых нетерпеливо ждал трудящийся люд Верховины. Нужно было любой ценой довести до тех, кого это касалось, и решение краевого комитета.

— Откуда?

— Из Кленов...

— Где работаешь?

— На тартаке... механиком.

Мысль работала молниеносно, и Ласло добавил:

— Наш тартак работает на военное министерство. Мы работаем для армии.

Возможно, эти слова и уладили дело. Солдаты — их было около десятка — переглянулись между собой.

— Спирт есть?

Ласло Потоки даже улыбнулся. Мысленно он поблагодарил Дмитра Клумака, который приказал ему непременно привезти из Рахова бутыль румынки.

— Если говорить правду, многоуважаемые, то у меня есть румынка. Только это не моя, а хозяина тартака, пана Клумака...

— Клумака мы знаем, — крикнул один из солдат, рыжий и поджарый. — Скажи ему, что румынка осталась на берегу Румынии. Давай живее!

Хома снял бутылку с кузова машины, поставил ее на снег. Все как будто кончалось счастливо. Потоки направился было к машине...

Но тот же рыжий поджарый солдат крикнул ему и загородил дорогу к машине.

— погоди! Нам нужна к румынке еще и закуска. Есть что-нибудь вкусное?

— Да нет, многоуважаемый, не предвидел.

— Не предвидел? — захохотал рыжий. — Общайте его машину.

«Теперь все пропало, — подумал Ласло Потоки. — Они найдут приказ...»

Солдаты кинулись к кабине, раскрыли ящик. Ласло Потоки стоял у обочины, глядел на горы. Синие дымки сновали над склонами, где-то мерцал уже огонек — так близко Клены.

А вот сейчас они найдут пакет листовок, уничтожат их, убьют Ласло Потоки. Кто же тогда передаст боевой

приказ друзьям? Он повернул голову и встретил взгляд шофера Хома.

Почему же молчат солдаты? Они перерыли весь ящик, выбросили оттуда краюху черствого хлеба, какую-то сухую рыбицу. Они только не выбрасывали из ящика пакет с листовками...

Не чувствуя ног, Ласло Потоки медленно пошел вперед. На него в эту минуту никто не обратил внимания. Солдаты обыскивали кабину, они хотели найти закуску. Ласло подошел к самой машине и тоже заглянул в ящик.

В ящике ничего не было.

— Слушай, механик! — прекратил наконец обыск и с угрозой сказал рыжий солдат. — Когда будешь ехать в другой раз, не забудь взять с собой сала. Не то...

— Я надеюсь угостить уважаемого пана салом, — ответил Потоки, — у себя дома. Ведь вы скоро будете в Кленах?

— Встретимся завтра! — крикнул солдат. — Да поезжайте вы ко всем чертям, чего стали?

Когда машина тронулась, Ласло еще раз оглянулся. Нет, теперь солдатам было не до них — они направлялись с бутылкой румынки к хатам под горой.

— Вот они ничего и не нашли, — сказал тогда шофер Хома, беря крутой подъем. — Румынка! Ха-ха-ха! — Он громко захохотал.

— Но где же листовки, Хома? — спросил Потоки.

Шофер на один только миг обернулся к механику, но тот увидел его хитроватые, прищуренные глаза, усмешку на губах...

— Я спрятал пакет в ящик, — сказал Хома. — Только не в тот, что в кабине. Это — рискованный ящик. А у меня есть еще один, потайной ящик, под кузовом. Знаете, товарищ механик, какое наше дело. Ведь все время приходится что-нибудь возить. Ну, вот и Клены...

4

Оставалась еще одна только ночь. Ласло и Юлина известили людей. Решили — в горы пойдут Данило Ковач, с ним еще три лесоруба, уже принимавшие участие в операциях. Сегинь посылает двух своих чабанов и сам проведет отряд до Устье-Черной. По дороге к ним присоеди-

нится группа партизан из Ясений. Условились собраться в полночь, когда затихнет село, в хате Данила Ковача.

А остерегаться теперь нужно было. На первый взгляд в селе было как будто тихо, мирно. Ранним вечером Федор Стрыпский справил службу в церкви и поспешил домой. Гаврило и Дмитро Клумаки, точно сговорившись, побежали вечером в тартак. У них обоих началась «бессонница» — днем братья отсыпались, а ночи проводили на тартаке, чтобы быть поближе к своему богатству и к вооруженной силе. Когда начало смеркаться, раздался выстрел во дворе у Репаша. Старый Золтан приказал Яношу каждый вечер стрелять в воздух — для острастки бедноты, чтобы все знали, что Репаша сидят с оружием в своей усадьбе. Наконец к Короджию зашел и управляющий школой Василь Гербера. Все они были наготове, притихли, но следили.

После того как Ружена бежала из Кленов, управляющий школой Гербера часто заходил к Короджию. Конечно, он не признавался, почему исчезла Ружена, а говорил: «Моей жене, знаете, что-то нездоровится в горах... Климат... Пришлось поехать к родным, в долину».

Короджий точно знал, почему Ружена уехала из гор. У раховского лесника Ярослава Гишки учитель познакомился с ее отцом — профессором Гланцем. Чудесный человек! Он ушел в горы, куда-то на Воловое. Может быть, теперь им придется снова встретиться? Да, наверно придется. Такие, как Гланец, если уж решают, то никогда не отступают.

А Гербера вел свое, все одно и то же. Если верить ему, то он родился в семье виноградаря, но ненавидел богатство своего отца, тянулся к народу, к науке, оттого и поступил в Дебреценский университет. Он даже не закончил университета — будто бы потому, что хотел скорее попасть на Верховину.

— Но, — всплескивал своими длинными руками Гербера, — в школьном управлении, прошу вас, вопрос тогда поставили категорически: «Либо вы являетесь проводником идей национал-социалистской партии, либо вы нам не нужны». И в отношении венгерского языка вопрос ставился категорически. Вы ведь, прошу вас, помните нашу беседу, пан Короджий? Думаете, это я говорил? Диктовали обстоятельства. Ха-ха-ха, обстоятельства!

Что-то собачье было в глазах Герберы, как и в длин-

ных его ушах, в каждом жесте, в манере прибавлять за каждым словом: «прошу... прошу...»

— Мое сердце спрашивает,— говорил в этот вечер Гербера,— с кем мне быть, что наконец делать? Ведь все события, какие совершаются вокруг нас, вселяют в каждую душу тревогу. Признаюсь, мне приходилось читать книжку Борканюка «Все в бой...». И, прошу вас, они, бесспорно, правы. Им есть на что надеяться. А у национал-социалистов, ей-ей, сейчас плохи дела. Что вы скажете, пан Короджий?

И он собачьими глазами глядел на Короджия, точно хотел из души у него вырвать правду о тружениках Верховины,— вырвать и продать.

Когда Гербера вышел, Короджий долго сидел, наклонясь над столом.

«Подхалим! — думал он об управляющем.— Ишь ты, сочувствует трудящимся. Уже, видно, прослышал о поражении фашистов под Сталинградом и пришел на разведку. И действует не от себя, а от Клумака, Стрыпского, Репаша. О чем же ты думал раньше, когда вместе с Федором Стрыпским сидел в «испытательной комиссии» и подписывал смертные приговоры бедным людям? Блюдолиз, как удачно окрестили Герберу и таких, как он, труженики Верховины. погоди, пан управитель, ты еще глаз на глаз встретишься с Руженой и трудящимися людьми. Они будут мстить врагам, оплатят, как писарю Магарычке, и всем тем, кто помогал фашистам».

Близко за окном слегка колыхалась засыпанная снегом ветка. Давно, еще тогда, когда Короджий приехал в Клены, это была тоненькая, слабая веточка. Но вот прошло много лет, и прутик стал веткой, и она протянулась к самому окну, словно заглядывает в комнату к учителю.

«Все растет, все крепнет, тянется к солнцу,— думал Короджий.— Но больше всего растут люди, которых уверенно ведут вперед коммунисты. Вот началась и идет ночь в горах. Сейчас ночь над Карпатами. Но долетели слова величественного приказа с востока, под Сталинградом, произошла незабываемая в веках битва, солнце победы советских людей светит трудящимся всего мира, лучи этой победы прорезывают темную ночь на Карпатах».

Он видел в окно высокие Карпаты, заснеженные склоны гор, перевалы, а внизу, в долине, непокоренное родное село Клены.

Но нужно было спешить. Короджий окинул взглядом комнату, в которой прожил так много лет. Картины на стенах, книги на полке, стол и кровать. Бедное верховинское житье!

Из этюдов, лежавших в ящике, он взял один небольшой этюд...

Олекса Борканюк — бледный и измученный, с запекшейся кровью на виске, с волосами, которые развеивал ветер с гор, но непоколебимый, гордый, с легкой улыбкой на губах, как живой смотрел с рисунка и, казалось, говорил:

«Боритесь! Я еще вернусь к вам!»

Учитель взял с собой этот рисунок, несколько тетрадей, карандаши и вышел из дому.

5

Приказ Верховного Главнокомандующего читал Иосиф Короджий.

Тихо, необычайно тихо было в хате Ковачей. Народу собралось много: Короджий и Данило, Потюки, Юлина, несколько чабанов, лесорубов. Но каждый из них боялся ступить, пошевелинуться — такая была неповторимая, величественная минута.

Поднимало людей также и то, что на этот раз у каждого было оружие — Короджий приказал взять его с собой. Вооруженные часовые стояли у хаты и на тропинке в село.

— Карательные отряды идут в горы, чтобы уничтожить весь трудовой люд, чтобы превратить наши родные Карпаты в «зону пустыни», — сказал, прочитав приказ, Иосиф Короджий. — Нам нужно ответить ударом на их удар.

Данило Ковач сидел на деревянном чурбане у стены и, казалось, вбирал в себя каждое слово. Он знал, что скажет Короджий: перед началом собрания они — учитель, Ковач и Сегинь — совещались, как провести отряд в Устье-Черную...

— Проведу, — уверенно сказал Сегинь.

Но они не упомянули об одном, и именно об этом говорил сейчас Короджий.

— Нам нужно выбрать себе руководителя, командира, чтобы повел нас в горы, — предложил Короджий.

— А вы... — кинул Ковач.

— Нет, — ответил Короджий, — я пойду с вами, но нам нужно выбрать человека, который хорошо знает горы, который на деле доказал, что умеет руководить нашим партизанским отрядом...

— Значит, Данила? — сказал Сегинь.

— Да, товарищи, — сказал Короджий. — Я предлагаю избрать командиром отряда имени Олексы Борканюка — Данила Ковача.

— Верно, верно! — пролетело по хате.

— Что ж, — сказал Короджий. — Все за тебя, друже Данило.

Ковач встал.

— Дорогие товарищи! — сказал он, прижав к груди автомат. — Не ждал я этого. Вот не ждал. А вижу — так нужно. Что ж, должен, обещаю. Хочется мне сказать так много, много. Но не умею складно говорить, не учился...

Он оглядел хату. За столом сидел, подперев голову рукой, и теплым взглядом как бы подбадривал его Короджий. Рядом с учителем, охватив обеими руками чабанский свой посошок, сидел чабан Сегинь. Юлина — беспокойная, бледная — стояла у порога, не отрывая глаз от брата. Много говорил ее взгляд — в их доме никогда не было таких людных собраний, никогда она не думала, что Данило будет вот так стоять перед людьми, как командир.

— Спасибо вам, товарищи, — поклонился Данило Ковач, — за честь, за великое доверие! Это доверие — оправдаю! Я хотел только попросить вас, Иосиф, чтобы вы мне помогли, были помощником в этом великом деле.

— Обещаю, — сказал Короджий. — Буду первым помощником у вас, Данило.

— Верно, — одобрительно зашумели все партизаны.

— О, вот это хорошо! — оживился Ковач. — Я, да еще наш учитель, да все вы, товарищи, — он улыбнулся лесорубам и чабанам, всем, кто сидел на скамьях и стоял в хате в будничной своей одежде, точно за какой-то работой. — Ведь все мы — это великая сила.

Помолчав немного, он продолжал:

— Я повидал свет и знаю, где та сила, что сметет врагов. Немецкие и венгерские фашисты хотят поработить нас тут, на Карпатах. А там, за океаном, сидят американские богачи и только и ждут, чтобы наших людей

побольше было уничтожено. Они уже снова пробираются сюда. На днях один американец приезжал к Клумаку. Слышал я, как Клумак прощался со своим гостем: «Гуд бай!» Погоди, мы тебе покажем «гуд бай». — Он взмахнул автоматом.

— Мы знаем, куда нам идти и куда ведет наша дорога, — продолжал Ковач. — Живет и будет жить Коммунистическая партия. Она ведет нас и приведет к победе. Нам в нашей борьбе есть кому протянуть руку. За горами — родные нам русские люди.

Он высоко-высоко поднял свой автомат.

— Поклянемся же все не щадить ни сил, ни жизни, — говорил Ковач.

— Клянемся! — встали и подняли свои автоматы лесорубы и чабаны.

— Клянемся!

— Значит, в дорогу, друзья!

Тогда Юлина, стоявшая все время у дверей, выступила вперед. Она взволнованно прижимала руки к сердцу.

— Данило! — прозвучало в хате.

— Что, сестра?

— Возьми и меня с собой, — сказала она. — Я ведь не боюсь и все, все сумею.

— Нет, сестра, — ответил командир. — Не можем тебя взять. И не потому, что ты не выдержишь в горах. Знаю тебя — выдержишь и нам во многом пособить сможешь. Но ведь нам нужно оставить своих людей и тут. В селе не легко будет, сестра. Трудно будет тебе, Поток, всем товарищам, которые должны оставаться здесь. Но будем держаться, вы — тут, мы — в горах, и никто нас не одолевает. Прощай, ласточка!

Она припала на миг к плечу брата.

— Хорошо, Данило! Иди!

* * *

Далеко впереди шагал чабан Сегинь. Иногда, и очень редко, фигура его появлялась между деревьями и скалами. А больше шли по его следам — они хорошо были видны на свежем снегу. Следы были ровные, глубокие, точно впечатанные, а вправо от них тянулся бороздкой еще один след — это чабан опирался на свой посошок, уверенно шел вперед, все выше и выше в горы.

Партизаны растянулись цепочкой. Вернее, они шли тремя отдельными звеньями. В первом шли Данило Ковач, шофер тартака Хома и еще три лесоруба. Второе звено, также из пяти человек, возглавлял Иосиф Короджий. Это звено шло на расстоянии ста метров от первого. И, наконец, еще в какой-нибудь сотне метров шло третье звено — чабаны и лесорубы. Так им приказал идти командир Данило Ковач.

Трудные расстилались перед ними дороги, и грозные часы наступали. Можно было с уверенностью сказать, что в долине и в горах еще будет длиться ночь, во мраке этой ночи фашисты будут терзать богатый край, не оставят камня на камне, приложат все силы, чтобы не слышно было здесь человеческого голоса и чтобы некому было даже оплакивать убитых — ни матери, ни ребенку.

Но вот услышали весть о великой победе советских людей, дали нерушимую клятву партизаны отряда имени Борканюка, — шли они в ночь, чтобы встретить день.

И когда партизаны пробирались уже высоко в горах, где-то за Карпатами, на востоке, слышался гул самолетов. Они шли звеньями и целыми эскадрильями, победно гудели, и по горам и долинам сразу покатилось эхо, словно Карпаты ответили: «Слышим!»

На линии Арпада блеснуло несколько прожекторов, их лучи, как серебристые ножи, пронизали небо над Карпатами. Но самолеты шли на очень большой высоте, прожекторы не в силах были уловить их...

Партизаны стояли и с восторгом слушали могучий гул самолетов. Нет, это не были фашистские самолеты, — это в небе, в ночной темноте, стремились вперед родные люди — братья, неся смерть врагам, освобождение трудовому народу.

— Вперед! — приказал Ковач, когда гул самолетов стих на западе и прожекторы над хребтом один за другим погасли.

Была на Карпатах суровая, холодная зима. Но в холоде этой зимы уже чувствовалось дыхание весны. Кто неудержимо жаждет весны, тот всегда почувствует ее приближение, тот ее дождется.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая . .	7
Часть вторая	210
Часть третья .	335

Семен Скляренко
КАРПАТЫ, кн. 1

Редактор *Г. Фальк*. Художественный редактор *Г. Кудрявцев*
Технический редактор *Н. Соколова*. Корректоры *А. Юрьева*
и *Д. Эткина*

Сдано в набор 28/X 1959 г. Подписано к печати 30/XI 1959 г.
Бумага 84×108¹/₈—13,75 п. л.=22,55 усл. печ.; +1 вкл.=22,86
уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Зак. 1741. Цена 8 р. 40 к.

Гослитиздат Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19

Книжная фабрика им. Фрунзе Главполиграфиздата Министерства
культуры СССР, Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

.

.

1

8.10.12